З. Н. ГИППИУС



З. Н. ГИППИУС



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

Гуманитарное агентство
«Академический проект»

З. Н. ГИППИУС

СТИХОТВОРЕНИЯ

Санкт-Петербург
1999

ББК 84. Р I-5
Г 506

Редакционная коллегия

А. С. Кушнер *(главный редактор)*,
К. М. Азадовский, В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров, А. Л. Зорин,
А. В. Лавров, Д. С. Лихачев, А. М. Панченко,
И. Н. Сухих, Е. Г. Эткинд

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и примечания
А. В. Лаврова

Редактор Л. А. Николаева

Гуманитарное агентство «Академический проект» благодарит Комитет по печати мэрии Санкт-Петербурга и Российское авторское общество за содействие в осуществлении издания.

ISBN 5-7331-0137-7

© *А. В. Лавров, вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания, 1999*
© *Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999*

З. Н. ГИППИУС И ЕЕ ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

«...От первых сознательных дней, в самом раннем детстве, я уже взглянул на жизнь, как на нечто мучительно странное... В иные мгновенья я, со внезапным ужасом, осматривался и говорил себе: да что это такое?! Зачем я должен во всем этом участвовать?!.. и хотя бы на одну страшную секунду, но уже тогда мутилась моя мысль до отчаяния, я чувствовал, будто падаю в бездну...»

Этой цитатой из С. А. Андреевского, юриста и поэта, одного из провозвестников русского «декадентства», З. Н. Гиппиус начинает мемуарный очерк о нем.[1] Слова, показавшиеся ключевыми для характеристики личности ее близкого и многолетнего друга, могли бы в полной мере быть использованы и как косвенная автохарактеристика самой Гиппиус. Пытливый, напряженный интерес к «странностям» жизни, метафизический лейтмотив, неизменно сопровождавший все ее жизненные обстоятельства, переживания и устремления, погруженность в «бездны» неустанно рефлектирующего сознания, доходившая в своем аналитическом ригоризме почти до маниакальности, — таковы определяющие особенности духовной натуры З. Н. Гиппиус, в совокупности сочетающиеся в совершенно уникальный образ — уникальный даже на неординарном фоне других отобразителей символистской эпохи. «...На пути моих знакомств с типами различных женщин — это была женщина в полном смысле слова необыкновенная», — заявляет Аким Волынский, близко знавший Гиппиус на протяжении ряда лет.[2] И сама Гиппиус взращивала, культивировала эту «необыкновенность» — одержимая прежде всего желанием осознать и воплотить свое «я», дойти во внутренних исканиях до предельной глубины и определенности. Избранная ею стезя была тяжка и неблагодарна, и она сама хорошо это осознавала: «Нет отрады // Смотреть во тьму души моей тяжелой» («Последнее», 1900).

В своей книге о Гиппиус, озаглавленной — с оглядкой на эти строки — «Тяжелая душа», В. А. Злобин, ее секретарь, изо дня в день общавшийся с нею в последние тридцать лет ее жизни, приводит стихотворение, написанное ею, как он сообщает, в возрасте девяти лет:

---

[1] Гиппиус З. Все непонятно (О Сергее Аркадьевиче Андреевском) // Звено. 1926. № 171, 9 мая.

[2] Волынский А. Л. Русские женщины / Предисловие, комментарии, публикация А. Л. Евстигнеевой // Минувшее. Исторический альманах. 17. М.; СПб., 1995. С. 264.

Довольно мне тоской томиться
И будет безнадежно ждать!
Пора мне с небом примириться
И жизнь загробную начать.[3]

Правомерно усомниться в том, что перед нами — действительно плод творчества девятилетнего автора: Злобин зафиксировал эти строки явно со слов самой Гиппиус, любившей разного рода мистификации и «аберрации». Несомненно, однако, что в них в самой лапидарной форме аккумулирована основная проблематика поэтических произведений Гиппиус, как бы задана «программа» дальнейшего развертывания творческой индивидуальности — и в ее инвариантных тематических ориентирах, и в четко обозначенном волевом векторе: «тезис» двух начальных стихов уравновешивается «антитезисом» двух заключительных. Исполнена значения и еще одна особенность этих строк: пробуя свои силы в четырехстопном ямбе, автор лишь эксплуатирует стихотворную форму для воплощения определенного мысленного строя; первейшей задачей оказывается не исполнение эстетического задания, а попытка высказать насущное — наболевшее и сокровенное. Этой приоритетной задачей Гиппиус будет руководствоваться во всем своем последующем творчестве.

Тот же Злобин написал в своей книге о Гиппиус: «Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма. Но главное — стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них — вся ее жизнь, без прикрас, со всеми срывами и взлетами».[4] Стихи, художественные проекции авторской индивидуальности, не противопоставляются сугубо биографическим документам, а предстают как естественное продолжение записных книжек, дневников, писем — как «настоящая» автобиография, наиболее полно и глубоко обнажающая суть личности. Применительно к поэтическому творчеству Гиппиус такой подход оправдан и закономерен: ее лирика, при всем многообразии затрагиваемых тем, проблем, стилевых решений, — прежде всего опыт самораскрытия, исповедальный монолог. Монолог, рождающийся на диалогической почве — из постоянно сталкивающихся друг с другом внутренних авторских голосов, а также из реплик Гиппиус, обращенных к ее собеседникам. Многочисленные собеседники, корреспонденты, конфиденты играли в ее жизни и творчестве огромную роль: эгоцентрическая, по сути, натура Гиппиус, видимо, никогда бы не смогла в полной мере реализоваться без них, и в этом — один из самых ярких парадоксов ее литературной судьбы.

Осмыслению и объяснению этой незаурядной личности уже было уделено немало усилий: о Гиппиус много писали современники — критики и мемуаристы, новыми и неожиданными гранями она предстала в ряде посмертных архивных публикаций, о ней изданы моно-

---

[3] Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 14.
[4] Там же. С. 9—10.

графии.[5] И тем не менее все это — еще только подступы, а не постижения. Мы лишь надеемся указать на некоторые из этих подступов, а также сообщить тот минимум сведений, без учета которых постижение нашего автора не может начаться.

1

Происходила Гиппиус из старинного немецкого дворянского рода, переселившегося в Россию еще в XVI веке. Дед писательницы, Карл-Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой; их первый сын, Николай Романович, по окончании Московского университета стал «кандидатом на судебные должности» в Туле, женился (в январе 1869 года) на дочери екатеринбургского полицмейстера В. Степанова Анастасии и обосновался в городе Белёв Тульской губернии, где получил место. В этом небольшом провинциальном городке 8 ноября 1869 года и родилась Зинаида Николаевна Гиппиус. Вскоре ее отца перевели в Тулу товарищем прокурора; последующие годы прошли в постоянных переездах, вызванных очередными его служебными назначениями (Саратов, Харьков, Петербург, Нежин). Но и после ранней смерти отца (в 1881 году от туберкулеза) скитальчества продолжались: Москва, Ялта, Тифлис — уже в основном по причине болезни Зинаиды, грозившей развиться в наследственный туберкулез (под угрозой этого недуга прошли и зрелые годы ее жизни: регулярные поездки на курорты Средиземноморья были продиктованы в значительной мере медицинской необходимостью). Будущая поэтесса принуждена была оставить московскую Женскую классическую гимназию С. Н. Фишер; образование, которое она получила, было в основном домашним: гувернантки, студенты. С ранних лет Гиппиус отмечает свое пристрастие к чтению и «бесконечным писаниям — писем, дневников, стихов»; из стихов она читала другим только шутливые, а «серьезные» — прятала или уничтожала.

Сведения о начальной поре жизни Гиппиус довольно скудны, сосредоточены главным образом в ее «Автобиографической заметке»[6] и на первых страницах ее позднейшей книги «Дмитрий Мережковский». Все же из них можно со всей определенностью заключить, что детство будущей писательницы протекало отнюдь не в теплич-

[5] См.: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale — Edwardsville, 1971; Matich Olga. Paradox in the Religious Poetry of Zinaida Gippius. München, 1972. В России общей характеристике творческой деятельности Гиппиус посвящена популярная брошюра: Савельев С. Н. Жанна д'Арк русской религиозной мысли. Интеллектуальный профиль З. Гиппиус. М., 1992.

[6] Опубликована в кн.: Русская литература XX века (1890—1910) / Под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 1914. Т. I. Кн. II. С. 173—177; перепечатана в кн.: Гиппиус З. Чертова кукла: Проза. Стихотворения. Статьи. М., 1991. С. 17—22; Гиппиус З. Стихи и проза. Тула, 1992. С. 5—8.

ной атмосфере: мать Гиппиус осталась после смерти отца с небольшими средствами и большой семьей — четырьмя дочерьми (у Зинаиды было три младших сестры), бабушкой, незамужней сестрой. С ранних лет Гиппиус постигала жизнь в ее непарадном обличье; позже в письме к Д. В. Философову (7—8 августа 1913 года) она признавалась: «Я лучше знаю Россию, чем ты и Дм<итрий> вместе взятые. Я ее двадцать лет тому назад много колесила, и в самых бедных условиях. <...> Ты же трезв, но гораздо кореннее меня избалован. <...> Ведь факт, что не ездил в третьем классе далеко, по России, и никогда потому не радовался даже второму. Я знаю, чем в 3 кл<ассе> пахнет <...> Впрочем, не думай, что я своим демократизмом хвастаюсь. Просто у меня есть забытая привычка, очень забытая, но все же есть, и тиф бывает вторично все-таки слабее».[7] В литературной среде Гиппиус, действительно, избегала делиться своим «демократическим» опытом, но в ее творчестве он в известной мере сказался — главным образом в художественной прозе, в повестях и рассказах из народной жизни, отмеченных подлинным знанием запечатленных в них характеров и среды. К этому тематическому ряду принадлежит первая публикация Гиппиус, обратившая на себя внимание читателей и критики, — рассказ «Простая жизнь», появившийся в «Вестнике Европы» в 1890 году (№ 4) под заглавием «Злосчастная» (переименовал рассказ редактор этого влиятельного журнала М. М. Стасюлевич).

Летом 1888 года в Боржоме Гиппиус познакомилась с Дмитрием Сергеевичем Мережковским, молодым поэтом из Петербурга, уже успевшим издать первую книгу стихов; 8 января 1889 года в Тифлисе она вышла за него замуж. Этот брак положил начало духовному союзу, которому в истории литературы едва ли удастся подыскать какие-либо аналогии. Гиппиус утверждала, что, прожив с Мережковским со дня свадьбы 52 года, не разлучалась с ним ни разу, ни на один день[8]; признавалась Н. М. Минскому в одном из недатированных писем: «Я люблю Д. С. — вы лучше других знаете, как — без него я не могла бы жить двух дней, он необходим мне, как воздух».[9] Их творческое содружество было тем более примечательно, что по внутреннему психологическому складу, по типу поведения и душевному темпераменту Мережковский и Гиппиус мало походили друг на друга. У Мережковского в эпицентре сознания всегда — идея, масштабные культурно-исторические процессы, всеобщее, отражающееся в частном; для Гиппиус точка отсчета — индивидуальность, конкретное «я», ищущее себя в связи со всеобщим. Он — по-человечески одинок и едва ли глубоко этим тяготится, поскольку всецело обращен к книгам, дающим ему необходимую полноту знания о бытии и

---

[7] РНБ, ф. 481, ед. хр. 160. Дмитрий — Д. С. Мережковский.

[8] См.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 5. Ср. запись В. В. Розанова, сделанную со слов сестер Гиппиус, Татьяны и Наталии: «А Дим<итрий> Серг<еевич> и Зина *никогда в жизни не расставались на полный день*» (РГБ, ф. 249, карт. М 3872, ед. хр. 2, л. 1 об.).

[9] ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205.

жизненных ценностях; она — обращена к людям, требовательно всматривается в них, пристрастно анализирует, пытается свои человеческие контакты осмыслять в обусловленной связи с высшим, безусловным началом и выстраивать их под знаком приближения к «последней» истине. В своих произведениях Мережковский неизменно декларирует определенную систему убеждений, он одержим пафосом духовного созидания — отвечает на вопросы, разрешает сомнения; Гиппиус же — чаще всего вопрошает, критикует, разоблачает, а если и декларирует — то всегда с элементом сомнения, с противовесом из контраргументов, с готовностью к новым переоценкам. Отстаивая, при всех этих оговорках, «общее дело», оставаясь всегда единомышленниками в религиозно-философских вопросах и в социально-политических оценках, Мережковский и Гиппиус являли внутренне контрастную, но на редкость цельную пару: взаимовосполнение и взаимообусловленность обеспечивали эту цельность.

В читательском сознании Мережковский всегда занимал гораздо более заметное место, чем Гиппиус; среди писателей-современников он был если не в числе самых популярных, то хотя бы в ряду широко известных: его исторические романы неоднократно переиздавались, в 1910-е годы вышли в свет два многотомных собрания его сочинений, книги его активно переводились на иностранные языки, его публицистические выступления часто вызывали сильный общественный резонанс, и т. д. В этом отношении роль Гиппиус в литературном процессе была несравненно более скромной. Однако в «своем» кругу, меж писателей и мыслителей символистской ориентации, Мережковский и Гиппиус воспринимались вполне на равных; более того, многие говорили о приоритете Гиппиус в этом творческом содружестве. Так, С. П. Каблуков, секретарь петербургского Религиозно-философского общества, зафиксировал в своем дневнике суждения Вяч. Иванова (5 июня 1909 года): «По мнению Вяч<еслава> Ивановича, З. Н. гораздо талантливее Мережковского как поэтесса и автор художественной прозы. Она принадлежит к классическим поэтам, т<ак> н<азываемым> поэтам minores, как, напр<имер>, Катулл и Проперций в Риме, Баратынский у нас и др. Она была творцом Религиозно-Философского Об<щест>ва; многие идеи, характерные для Мережковского, зародились в уме З<инаиды> Ник<олаевны>, Д. С. принадлежит только их развитие и разъяснение. <...> Мистического опыта в ней также несравненно более, чем у ее мужа».[10] В. В. Розанов в своих записях о Гиппиус (1914), при всей их беглости, вполне определенно заявляет: «Митя "без Зины", кажется, сейчас же бы умер; замерз или рассыпался. "Я только дух Зины, а самого меня собственно нет" — вот впечатление их жизни».[11]

Подобные мнения, возможно, подкреплялись гораздо более активным самовыражением Гиппиус, в сравнении с Мережковским, в сфере «частной» жизни, в непосредственном общении. В Мережков-

[10] РНБ, ф. 322, ед. хр. 4, л. 162, 163.

[11] РГБ, ф. 249, карт. М 3872, ед. хр. 2, л. 1 об.

ском ценили прорицателя. Гиппиус была собеседницей; интеллектуальные построения, оттачивавшиеся или спонтанно рождавшиеся в беседах, почти всегда затрагивали религиозно-философскую и литературно-эстетическую проблематику, и в них многие готовы были видеть исходный стимул для последующих широковещательных словесных манифестаций Мережковского. В. А. Злобин, И. В. Одоевцева и другие современники Мережковских сходились в признании того, что в этом союзе двух первичная, оплодотворяющая, «мужская» роль досталась Гиппиус, Мережковский же исполняет «женскую» роль — являет плодородную почву, вынашивает, производит на свет. О том, что подобная схема — при всей ее обескураживающей однозначности — отчасти верна, можно судить и по признаниям самой Гиппиус, которые, думается, наиболее точно передают реальное положение дел: «У него — медленный и постоянный *рост*, в одном и том же направлении, но смена как бы *фаз*; изменение (без измены). У меня — остается раз данное, все равно какое, но то же <...> оттого и случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д. С-ча. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была ему встретиться на его пути. В большинстве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу *махровее*, принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним. Потому что — это необходимо прибавить — разница наших натур была не такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, между собою известную гармонию». Впрочем, добавляет Гиппиус, «иногда случалось, что первая идея принадлежала ему. Если я ее не понимала и была несогласна, я редко следовала за ней, пока не убеждалась в ее правоте. Так же и он, и тогда происходили между нами ссоры, мало похожие на обычно-супружеские».[12]

«Известная гармония» натур, отмеченная Гиппиус, не выражалась в непосредственном соавторстве (совместно написанных произведений у них почти нет, исключения — единичны: драма «Маков цвет» (1907), третьим соавтором которой был Д. В. Философов, киносценарий «Борис Годунов», относящийся к поре эмиграции[13]), но находила своеобразное преломление в публикациях текстов, сочиненных Гиппиус, за подписью Мережковского, и наоборот. Сборник стихотворений Гиппиус «Походные песни» (1920), изданный под псевдонимом Антон Кирша, открывается стихотворением «1917», автор которого — Мережковский (черновой автограф стихотворения выявлен К. А. Кумпан, обнаружившей и другие аналогичные случаи «двойного» авторства). Публикации произведений Гиппиус за подписью Мережковского многочисленны. С. П. Каблуков свидетельствует в

---

[12] Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. С. 42—43.

[13] См.: Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н. Данте. Борис Годунов: Киносценарии / Под ред. и со вступ. статьями Темиры Пахмусс. New York, [1990].

дневнике (22 июня 1910 года): «Сегодня разговор с З. Н. по телефону по поводу ее статей и рассказов <...> Ее признание, что некоторые ее статьи появляются в печати за подписью Д. С. Мережковского, как это было со статьей "Все против всех" в "Золотом Руне" и "Декадентство и общественность" в "Весах" 1906 года. Также и французские ст<атьи> "La vrai force du Tzarisme" и "La révolution et la violence" — были прочитаны в Париже как ему принадлежащие — публ<ичные> лекц<ии>».[14] Гиппиус принимала также активное участие в написании очерка о декабристах «Первенцы свободы», опубликованного в журнале «Нива» (1917, № 16, 17) и вышедшего в свет отдельным изданием (Пг., 1917) под именем Д. С. Мережковского.[15] За подписью Мережковского появились в 1890-е годы и несколько стихотворений Гиппиус, позднее включенных в ее первый авторский сборник, а одно ее стихотворение, «Снежные хлопья» (впервые опубликованное в 1894 году как стихотворение Мережковского), практически одновременно было напечатано в двух книгах — «Собрании стихов» Гиппиус (1904) и одноименном сборнике Мережковского.[16] Упоминая о стихотворениях Гиппиус, В. Брюсов извещал П. П. Перцова (13 декабря 1895 года): «В Москве о них странные толки: одни говорят, что их пишет Мережковский; другие, наоборот, склонны многие стихотворения, подписанные Мережковским, приписывать его жене».[17] Основания для подобных толков, как видим, имелись.

Главной «внешней» причиной обращения к аллониму в затрагиваемой ситуации, по всей вероятности, была гораздо бóльшая значимость в читательской среде имени Мережковского по сравнению с именем Гиппиус. В 1890-е годы Мережковский, в отличие от Гиппиус, был автором нескольких сборников стихов, имел уже определенную литературную репутацию, тексты за его подписью охотно принимались журнальной и газетной периодикой; у стихов за подписью Гиппиус тогда было больше шансов оказаться забракованными. Аналогичным образом критические и публицистические высказывания по поводу обстоятельств текущей литературной жизни, исходившие от Мережковского, гарантировали более широкий общественный резонанс, чем суждения Гиппиус, уделявшей гораздо больше, чем Мережковский, внимания этой актуальной проблематике, но пользовавшейся авторитетом в сравнительно узком кругу. Были, однако, для наблюдаемого явления и более прихотливые, внутренние причины. Оставаясь каждый при отчетливом осознании собственного лич-

---

[14] РНБ, ф. 322, ед. хр. 10, л. 54. Упомянутые статьи Гиппиус, опубликованные под именем Мережковского, — «Все против всех» (Золотое Руно. 1906. № 1. С. 90—97), «Декадентство и общественность» (Весы. 1906. № 5. С. 30—37).

[15] См.: Колоницкий Б. А. Ф. Керенский и Мережковские в 1917 году // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 100.

[16] См.: Мережковский Д. С. Собрание стихов. 1883—1903 гг. М., 1904. С. 13.

[17] Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову 1894—1896 гг. (К истории раннего символизма). М., 1927. С. 52.

ностного суверенитета, Мережковский и Гиппиус в то же время осмысляли свой союз и как некое двуединство — неразрывно спаянную, но двусоставную творческую субстанцию, отдельные элементы которой могли мигрировать от одного суверенного «я» к другому. Подобный подход к текстам друг друга провоцировал на различные неординарные функциональные решения, которые порой оборачивались игровой мистификацией. Так, среди многочисленных писем Гиппиус к А. Л. Волынскому (Флексеру) два (от 15 января 1894 года и 12 октября 1896 года) представляют собой стихотворные послания, второе имеет заглавие «Признание» и предуведомление: «Посвящаю А. Л. Флексеру»; адресат посланий имел все основания видеть в них душевные признания Гиппиус, обращенные к нему. Между тем в данном случае Гиппиус за «свое» выдала «чужое» поэтическое слово: обе эпистолы составлены из строф стихотворения Мережковского «Признание», не претерпевших в новой версии никаких существенных изменений (лишь строка, естественная под пером Мережковского: «Быть может, я и сам еще не знаю», — превратилась в строку, естественную под пером Гиппиус — сочинительницы посланий в стихах: «Быть может — я сама еще не знаю!..»).[18]

Подобные прецеденты вынуждают к оговорке: у нас нет полной уверенности в том, что все стихотворения, включенные в авторские сборники Гиппиус или печатавшиеся под ее именем в периодике, написаны — целиком или частично — именно ею; нельзя исключить, что какие-то тексты, строфы, строки «подарены» Мережковским. Окончательную ясность в этот вопрос едва ли удастся внести, поскольку черновых рукописей стихотворений Гиппиус, которые могли бы послужить бесспорным доказательством ее авторства, сохранилось совсем немного. С полной уверенностью можно говорить об участии Гиппиус в формировании корпуса текстов Мережковского. И тем не менее, при наличии определенной «общей зоны», творческие территории Мережковского и Гиппиус лишь соседствовали друг с другом: отмеченная «гармония» натур уравновешивалась контрастными различиями авторских индивидуальностей.

Брак с Мережковским открыл для Зинаиды Гиппиус (избравшей девичью фамилию как свое литературное имя) дорогу в столичную писательскую среду. Литературный дебют ее состоялся еще до замужества, но явно через посредничество Мережковского: в декабрьском номере петербургского журнала «Северный Вестник» за 1888 год были помещены два ее стихотворения, подписанные криптонимом З. Г., — совсем еще несамостоятельные опыты, в которых контуры будущего поэтического облика едва угадывались. Об этих и других своих ранних стихотворных упражнениях, не напечатанных

[18] См.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. 15. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1914. С. 14; Oxford Slavonic Papers. New Series. 1991. Vol. XXIV. P. 136—137 (публикация Стэнли Рабиновича); Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / Публикация А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой // Минувшее. Исторический альманах. 12. Paris, 1991. С. 283, 326—327.

и, скорее всего, не сохранившихся, сама она писала в «Автобиографической заметке»: «Как я ни увлекалась Надсоном, — писать "под Надсона" не умела и сама стихи свои не очень любила. Да они, действительно, были довольно слабы и дики».[19] Известность в литературных кругах Гиппиус получила не благодаря первым публикациям, а как «муза» Мережковского. Супруги обосновались в Петербурге — сначала на Верейской улице (дом 12), а через несколько месяцев — в доме Мурузи, на углу Литейного и Пантелеймоновской; с годами их квартира в этом доме стала одним из самых примечательных литературных салонов. Среди близких знакомых и друзей Гиппиус оказались те почтенные представители уходящего литературного поколения, которых она впоследствии опишет в мемуарном очерке «Благоухание седин»: А. Н. Плещеев, П. И. Вейнберг, Я. П. Полонский, Д. С. Григорович, А. Н. Майков. Теплые, доверительные и даже дружеские отношения с некоторыми из них тем более достойны внимания, что Гиппиус уже в ту, раннюю пору своего внутреннего самоопределения разительно выделялась на фоне литературных и около-литературных дам, уже обнаруживала те экстравагантные черты, которые впоследствии создадут ей репутацию «декадентской мадонны».

И. И. Ясинский, познакомившийся с Гиппиус вскоре после ее приезда в Петербург, вспоминает: «Зинаида Николаевна Мережковская, урожденная Гиппиус, была прехорошенькой девочкой, в коротеньких платьицах, с длинной русой косой, наивная и кокетничавшая своей молодостью. С мужем, в ожидании гостей, она ложилась на ковер в гостиной и увлекалась игрою в дурачки или же являлась с куклою-уткой на руках. Утка эта должна была символизировать разделение супругов, считавших пошлостью брачную половую связь».[20] О нарочитом инфантилизме, симулированной «полудетскости» Гиппиус в начале ее литературной карьеры писали также Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынский; последний, однако, отмечал: «Странная вещь, в этом ребенке скрывался уже и тогда строгий мыслитель, умевший вкладывать предметы рассуждения в подходящие к ним словесные футляры, как редко кто».[21] С годами ее образ видоизменился, вобрав в себя новые специфические черты — видимо, столь же игровые, ориентированные на стороннего наблюдателя. Постепенно Гиппиус приобрела обличье манерной, претенциозной и недоброжелательной литературной «мэтрессы», дерзкой нарушительницы моральных и бытовых устоев, стала источником всевозможных слухов и легенд, зачастую совсем далеких от реальности, хотя вымысел нередко рождался на реальной почве. Гиппиус сама устанавливала правила игры, стремилась достичь определенного эффекта, порой доходя до эпата-

---

[19] Гиппиус З. Стихи и проза. С. 6.

[20] Ясинский Иер. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 255.

[21] Волынский А. Л. Сильфида // Минувшее. Исторический альманах. 17. С. 260—261. Ср.: Гуревич Л. История «Северного Вестника» // Русская литература XX века (1890—1910). Т. I. Кн. II. С. 240.

жа. Когда в Петербурге начались Религиозно-философские собрания с участием высших представителей православного духовенства, она «заказывает себе черное, на вид скромное, платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении складки расходятся и просвечивает бледнорозовая подкладка. Впечатление, что она — голая. Об этом платье она потом часто и с видимым удовольствием вспоминает, даже в годы, когда, казалось бы, пора о таких вещах забыть. Из-за этого ли платья, или из-за каких-нибудь других ее выдумок, недовольные иерархи, члены Собраний, прозвали ее "белая дьяволица"».[22] Некий провинциальный батюшка, увидев фотокарточку «известной декадентки, З. Гиппиус», отметил «вид несвойственный благочестию».[23]

«Неблагочестие» и экстравагантность в облике Гиппиус сочетались с отмеченной многими «нематериальностью», дистанцией по отношению к привычным «плотским» человеческим контурам. Бунин, человек весьма трезвого и скептического ума, передал свои первые впечатления так: «...медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З. Н. Гиппиус, сопровождаемая сзади Мережковским».[24] Эту дистанцию — уже не только во внешнем облике, но и во всех аспектах личности — подчеркивает С. К. Маковский, хорошо знавший Гиппиус на протяжении всей ее жизни: «Вся она была вызывающе "не как все": умом пронзительным еще больше, чем наружностью. Судила З. Н. обо всем самоуверенно-откровенно, не считаясь с принятыми понятиями, и любила удивить суждением "наоборот". Не в этом ли и состояло главное ее тщеславие? Притом в манере держать себя и говорить была рисовка: она произносила слова лениво, чуть в нос, с растяжкой, и была готова при первом же знакомстве на резкость и насмешку, если что-нибудь в собеседнике не понравится. Сама себе З. Н. нравилась безусловно и этого не скрывала. Ее давила мысль о своей исключительности, избранности, о праве не подчиняться навыкам простых смертных... И одевалась она не так, как было в обычае писательских кругов, и не так, как одевались "в свете", — очень по-своему, с явным намерением быть замеченной. Платья носила "собственного" покроя, то обтягивавшие ее, как чешуей, то с какими-то рюшками и оборочками, любила бусы, цепочки и пушистые платки. Надо ли напоминать и о знаменитой лорнетке? Не без жеманства подносила ее З. Н. к близоруким глазам, всматриваясь в собеседника, и этим жестом подчеркивала свое рассеянное высокомерие. А ее "грим"! Когда надоела коса, она изобрела прическу, придававшую ей до смешного взлохмаченный вид: разлетающиеся за-

---

[22] Злобин В. Тяжелая душа. С. 22.

[23] Мережковский Д. Ночью о солнце // Русское Слово. 1910. № 138, 18 июня. С. 1.

[24] Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 281 («Из записей», 1927).

витки во все стороны; к тому же — было время, когда она красила волосы в рыжий цвет и преувеличенно румянилась ("порядочные" женщины в тогдашней России от "макийяжа" воздерживались)».[25]

Не удивительно, что этот искусно и искусственно выстроенный «имидж» мог вызывать негативные эмоции и отторжение. Вадим Андреев, увидевший впервые Гиппиус на склоне ее лет, незадолго до Второй мировой войны, отметил ту же «неестественность и вычурность всего облика»[26], которая и раньше бросалась в глаза многим. Конечно, особенно последовательны в своем неприятии были литераторы, по тем или иным причинам оказавшиеся с нею в отношениях конфронтации. М. Кузмин, попавший под критический обстрел Гиппиус в печати, изобразил ее под именем Зои Николаевны Горбуновой, героини рассказа «Высокое искусство» (1910), — властной, безапелляционной и самонадеянной декадентствующей дамы, которая невольно содействует гибели своего мужа. В романе В. Набокова «Дар» (1938) отдельными чертами Гиппиус наделен влиятельный парижский критик, выступающий под многозначительным псевдонимом Христофор Мортус (*лат.* mortuus — мертвый, мертвец; согласно словарю Вл. Даля, это же слово означало — служитель при чумных, обреченный уходу за трупами в чуму), — приверженец утилитаристских, идеализированных воззрений на искусство.[27] С. Есенин в наброске «Дама с лорнетом» (1925), не скупясь на грубую брань по адресу Гиппиус («Безмозглая и глупая дама», «лживая и скверная», «контрреволюционная дрянь» и т. п.), разоблачил вероятный первоисточник своих эмоций — давний эпизод общения с нею, которым он, безусловно, остался глубоко уязвлен: « — Что это на Вас за гетры? — спросила она, наведя лорнет», — и, получив разъяснение («Это охотничьи валенки»), заметила: «Вы вообще кривляетесь».[28] Разумеется, для Гиппиус не было загадкой, во что обут ее визитер, но она

---

[25] Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 90.

[26] Андреев В. Детство. М., 1966. С. 138.

[27] См.: Морев Г. А. Полемический контекст рассказа М. А. Кузмина «Высокое искусство» // А. Блок и русский символизм: проблемы текста и жанра. Блоковский сборник X (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 881). Тарту, 1990. С. 92—100; Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925—1938) / Публикация Джона Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. 3. Paris, 1987. С. 286; Долинин А. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар». 2. Христофор Мортус // В. В. Набоков: pro et contra: Антология. СПб., 1997. С. 717—721.

[28] Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 229—230. Попутно укажем на полную недостоверность в этом тексте Есенина (его комментаторами нигде не отмеченную) высказываний о Гиппиус, приписанных им А. Блоку («Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура»): немыслимое в контактах между Блоком и Есениным обращение на «ты» (ср. письмо Блока к Есенину от 22 апреля 1915 г. // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 444—445) изобличает более чем вольную передачу блоковских оценок, даже если они имели место в действительности.

дала понять, что разгадала позу, нарочитость есенинского «пейзанства» (В. Шкловский, присутствовавший при этой сцене, раньше Есенина описал ее в очерке «Современники и синхронисты» (1924), добавив: «Конечно, и Гиппиус знала, что валенки не гетры, и Есенин знал, для чего его спросили. Зинаидин вопрос обозначал: не припомню, не верю я в ваши валенки, никакой вы не крестьянин»[29]).

Образ «петербургской Сафо» и «декадентской мадонны», который Гиппиус с немалым эффектом демонстрировала перед обществом, был не только одной из форм выражения свойственного ей спонтанного артистизма, но и своего рода маской, защитной оболочкой, позволявшей под личиной внешней аррогантности и экстраординарности таить от сторонних посягательств интимные пласты ее личности. Н. Берберова проницательно подметила «постоянную борьбу-игру» между Гиппиус и внешним миром: «Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой».[30] Эта «личина» Гиппиус получила свое безукоризненно точное и выразительное живописное воплощение — портрет работы Л. Бакста (помещенный в 4-м номере «Золотого Руна» за 1906 год), на котором поэтесса изображена в камзоле былых времен и мужских панталонах. Маскарадная одежда здесь — как бы вещественная составляющая того маскарада личности, к которому прибегала Гиппиус, чтобы уберечь сокровенные тайники души, и в то же время — один из опосредованных способов самовыражения личности, органично вбирающей в себя и то содержание, которое отразилось на портрете (Анастасия Чеботаревская справедливо отмечала, что Бакст «чудесно передаст <...> изломанную надменность фигуры Зинаиды Гиппиус, все *характерное*, основное, — то, что французы называют *essentiel...*»[31]).

Прибегая к разного рода симуляциям в «общественных» контактах, Гиппиус в глубинной сущности тяготела к предельной искренности и правдивости, бывших для нее путеводными ориентирами в страстных и непрестанных исканиях жизненной подлинности. Г. В. Адамович, доверительно общавшийся с Гиппиус в период парижской эмиграции, отмечает в рецензии на монографию о ней Т. Пахмусс: «В личности, в поведении, в литературных повадках Зинаиды Гиппиус осталось до старости немало надуманного и выдуманного, но было в ней и что-то редкое, даже единственное, душевно-встревоженное, остро-проницательное, непогрешимо-чуткое».[32] Этими эмоциональными критериями она стремилась руководствоваться в отношениях с близкими людьми, которые постоянно приобретали мучительный и конфликтный характер — и часто не по каким-то конкретным житейским причинам, а именно из-за несоот-

---

[29] Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М., 1990. С. 372.

[30] Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 282—283.

[31] Чеботаревская Ан. На празднике «нового» искусства // Прометей. 1906. № 2. С. 30.

[32] Новый журнал. Кн. 104. Нью-Йорк, 1971. С. 293.

ветствия тем предельным морально-психологическим и идейным требованиям, которые она выдвигала своему собеседнику или корреспонденту, из-за неготовности собеседника выдерживать тот уровень общения — без обычных удобных коммуникативных условностей, этикетных жестов и недомолвок, — который она задавала; уровень, на котором преодолевалась видимость и постигалась сущность. Непременными условиями этих постижений были для Гиппиус незамутненность сознания, интеллектуальная отвага и внутренняя моральная ответственность. «...Я люблю прямые пути и ясные слова — даже с людьми, с которыми это почти невозможно», — признавалась Гиппиус [33]; прямоту и ясность она старалась соблюсти даже в самых запутанных и противоречивых коллизиях. Эта черта личности сказывалась в характерных внешних особенностях, иногда поражавших не меньше, чем иные ее экстравагантности. «...Такая пунктуальность во всех действиях, такая аккуратность в почерке, в ведении своих дел, что диву даешься!» — записала Г. Н. Кузнецова, знавшая Гиппиус «издали» и судившая о ней главным образом по наглядным проявлениям.[34] Примечательно, что Кузнецова обратила внимание на почерк: в «графологической» ипостаси натура Гиппиус действительно отобразилась вполне зримо, отчетливо и откровенно. Мариэтта Шагинян, в юности «полоненная» Гиппиус и ставшая на некоторое время ее преданной духовной последовательницей, свидетельствует, что почерк писем ее «водительницы» был значим для нее не меньше, чем их содержание: «...в извилинах букв, в ритме слов передавался характер <...> Гиппиус всегда писала элегантно-твердым, почти печатно ровным, с густым чернильным нажимом, ювелирно-красивым почерком, неизменным при всяком содержании письма — хвалила или ругала, соглашалась или спорила»; «Я сидела на кровати, глядя на Зинин почерк, на его элегантную ровность, несокрушимую твердость и полное отсутствие нервности или хотя бы ничтожного расхождения в начертании букв, в линии строчек».[35]

Глубинное содержание своей индивидуальности Гиппиус раскрывала в доверительных письмах, обращенных к близким людям, в дневниковых записях-самоотчетах, в стихах и — более опосредованным образом — в художественной прозе. Известность в литературе она получила именно как прозаик, сочинению рассказов, повестей и романов уделяла в 1890-е годы больше всего времени и сил. Первые две книги Гиппиус, «Новые люди» (1896) и «Зеркала» (1898), вызвавшие широкий резонанс в печати, — это сборники прозы, содержащие также каждый по небольшому стихотворному разделу (всего в обеих объемистых книгах было помещено 22 стихотворения); при

---

[33] Письмо к В. Д. Комаровой от 12 сентября 1897 г. // РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154.

[34] Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995. С. 42 (запись от 15 сентября 1927 г.).

[35] Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 213, 261.

этом в них вошли далеко не все из ее опубликованных прозаических произведений. «Кроме сборников, у меня около ста листов рассказов и романов, написанных в течение моей двенадцатилетней литературной деятельности», — сообщала Гиппиус 6 июня 1900 года Л. Е. Оболенскому.[36] Многие из беллетристических сочинений Гиппиус были вызваны к жизни потребностью в писательском заработке, большого значения им она не придавала, однако то, что наиболее определенные надежды осуществиться на литературном поприще она поначалу связывала со своими опытами в художественной прозе, — факт самоочевидный. По контрасту с этой установкой, писание стихов она осознавала — или упорно убеждала в этом себя и других? — как занятие исключительное интимное, а применительно к литературным ценностным критериям — дилетантское. «Стихи я всегда писала редко и мало, — только тогда, когда не могла не писать. Меня влекло к прозе», — отмечает она в «Автобиографической заметке».[37]

С тем общепризнанным высоким статусом, который получила поэзия Гиппиус в общей панораме литературы символистской эпохи, решительно контрастируют самооценки, на которые поэтесса не скупилась: «...для меня стихи писать — это камни ворочать!»[38]; «Я даже теперь решила мои стихи не печатать. Это не нужно, и только отнимает их у меня: перестаю их чувствовать»[39]; «Какие у меня омерзительные стихи! Ей-Богу, даже противно корректуры исправлять. Недаром я так не хотела издавать сборника. И не следовало».[40] «Зин<аида> Ник<олаевна> сама говорит, что она не "заправская поэтиха"», — свидетельствует поэт Владимир Гиппиус.[41] Можно заподозрить в этом упорном самоуничижении самоутверждение наоборот (подобные ходы не противоречат натуре Гиппиус, всегда готовой распознавать в одной крайности крайность противоположную), можно увидеть в такой установке потаенную ориентацию на сходные высокие образцы — прежде всего на поэзию Тютчева, чуравшегося текущей литературной жизни и замыкавшего себя в рамки своеобразного поэтического дилетантизма. Даже если в приведенных автохарактеристиках и в ряде других аналогичных высказываний Гиппиус и выступала под очередной защитной маской, приходится признать, что не только другие, но и сама она стала объектом самовнушения: об отсутствии каких-либо серьезных художественных претензий в своих стихотворных опытах она продолжала говорить и в ту пору, когда ее твор-

---

[36] ГЛМ, ф. 348, оп. 1, ед. хр. 58, оф 9549.

[37] Гиппиус З. Стихи и проза. С. 7.

[38] Письмо к О. Н. Чюминой от 9 января 1903 г. // ИРЛИ, ф. 333, ед. хр. 57.

[39] Письмо к З. А. Венгеровой от 27 мая 1897 г. // ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542.

[40] Письмо к В. Я. Брюсову от 13 июля 1903 г. // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 303 (Публикация М. В. Толмачева).

[41] Письмо к Ф. Сологубу от 7 августа 1900 г. // ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 185.

чество снискало общее признание. Уже будучи автором двух поэтических сборников, она отправила Брюсову (редактировавшему тогда «Русскую Мысль») автографы нескольких своих новых стихотворений с такими оговорками: «...я вам послала их просто "на всякий случай"; совсем не надо там над ними думать и о них заботиться; я очень люблю не печатать своих стихов. В конечном счете всегда так выходит, что их где-нибудь нужно напечатать, и приходится, но чем дольше этот "счет" не наступает, тем я довольнее».[42] И еще ряд лет спустя — признавалась В. Ф. Ходасевичу: «Никогда я не умела писать стихов. Это очень точно: не умела. Как не умею мостовую мостить. Если и писала, то всякий раз, — по выражению Бунина, — "с большими слезами, папаша". Уж когда было не отвертеться».[43]

Берясь за сочинение стихов лишь по насущной внутренней необходимости, Гиппиус в 1890-е годы создала не так много поэтических текстов, как другие ее современники — приверженцы «нового» искусства, однако именно ее стихотворениям — отчасти, видимо, и потому, что писались они «с большими слезами», — суждено было в значительной своей части стать идейно-художественными манифестами; сообщая в них о своих сокровенных настроениях и устремлениях, Гиппиус находила удивительно емкие словесные формулы, которые воспринимались как квинтэссенция того нового, непривычного, даже шокирующего, с чем вступили на российскую литературную авансцену декадентствующие символисты. «Мне нужно то, чего нет на свете» («Песня», 1893), «Люблю я себя, как Бога» («Посвящение», 1894), «О, милый друг, отрадно умирать!» («Отрада», 1889), «Неумолимою дорогою // Идем — неведомо куда» («Крик», 1896), «Я — раб моих таинственных, // Необычайных снов...» («Надпись на книге», 1896), — эти и многие другие строки ее ранних стихотворений стали самыми заметными опознавательными знаками нового поэтического мировидения. В выражении этого мировидения Гиппиус была последовательней и смелей своих «сочувственников»: искренность и прямота в передаче настроений и мыслей для нее были главными критериями творческого самовыражения, их не заслоняли и не отодвигали в сторону сугубо эстетические задания.

На протяжении длительного времени поэтическое творчество Гиппиус расценивалось как альфа и омега русского декаданса. Все характернейшие параметры этого явления — индивидуализм, эгоцентризм, «упадочничество», внутренний надлом, мистические устремления, антиобщественный пафос, отвращение к жизни, уход в мир фантазии и т. д.: можно вновь вернуться к процитированным стихотворным строкам — нашли в ее поэзии и миросозерцании свое законченное воплощение. «Вот настоящая декадентка тех замечательных дней, — писал о Гиппиус Волынский, — не выдуманная, плоть от плоти эпохи, и самая исковерканность, даже играющая лживость

[42] Письмо от 25 апреля 1911 г. // РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 42.

[43] Письмо от 26 июня 1926 г. // Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 45.

входили в подлинный облик конца века <...> В этой эпохе глубочайших переломов патология и не может отсутствовать: новый свет проникает в общество сквозь щели разорванной и раздвоенной личности».[44] Настолько устойчивой и аксиоматичной казалась эта идейно-эстетическая атрибуция, что даже в 1915 году незадачливый критик из духовного сословия, взявшийся — с явным опозданием — обличить пороки декадентства и ущербную психологию декадентов, для иллюстрации своих тезисов не нашел более подходящего материала, чем стихотворения Гиппиус.[45] Между тем, принеся — главным образом в первые годы литературной деятельности — щедрую дань декадентству, Гиппиус стремилась всеми силами изжить этот тип мироощущения, очень рано распознав его изъяны и бесперспективность — задолго до того, как декадентский катехизис овладел многими умами и превратился в «уличную философию». На пути ее идейного самоопределения родимые пятна декаданса были различимы еще довольно длительное время, но в плане эстетическом писательница отвергала это явление с самого начала — и самым решительным образом. В «Автобиографической заметке» она сочла необходимым подчеркнуть: «...европейское движение "декаданса" не оказало на меня влияния. Французскими поэтами я никогда не увлекалась и в 90-х годах мало их читала. Меня занимало, собственно, не декадентство, а проблема индивидуализма и все к ней относящиеся вопросы».[46]

Вряд ли эти признания целиком и полностью соответствуют действительности. Поэзия Гиппиус отмечена многими чертами специфически символистских новаций, и опыт французских мастеров стиха имплицитно в ней сказывается, вероятны и какие-то непосредственные воздействия. В. Брюсов, например (статья «З. Н. Гиппиус», 1913), обнаруживает в строках стихотворения Гиппиус «Снег» (1897):

Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
Тебя люблю... За что люблю — не ведаю... —

отголосок знаменитого «стихотворения в прозе» Бодлера об облаках («L'Etranger»), а в известнейшей ее строке «Мне нужно то, чего нет на свете» — повторенные «в сжатой формуле обычные жалобы первых французских символистов, возобновивших мистическую тоску романтиков по несказанному».[47] В самооценке Гиппиус существенно не отражение в ней реального положения дел, а стремление отмежеваться от «декаданса» в любых его, даже и самых высоких, эстетически безупречных, проявлениях. Еще в 1896 году она называла в письмах к Владимиру Гиппиусу «болезненное декадентство и бессилие» «неум-

---

[44] Волынский А. Л. Сильфида // Минувшее. Исторический альманах. 17. С. 262—263.

[45] См.: Радченко Пол., свящ. Характеристика декадентства как литературного направления по стихотворениям Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус // Странник. 1915. Апрель. С. 574—586.

[46] Гиппиус З. Стихи и проза. С. 7.

[47] Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 453.

ной заразой», заявляла: «...пуще огня боюсь всякого декадентства, и даже всякого к нему прикосновенья»[48]; с удовлетворением отмечала, ознакомившись с новыми стихами того же Гиппиуса: «Я рада за него, декадентничанье его, Добролюбова и Квашнина было жалко и стыдно, хорошо, что он один сумел это победить»[49]; предостерегала Е. П. Иванова: «Поберегайтесь "декадентов", и не заметишь, как беса утешишь с ними».[50] В сугубо эстетическом плане термин «декадентство» в понимании Гиппиус вбирал в себя наиболее неприемлемые для нее стороны «нового» искусства — «темноты», стилевой и смысловой сумбур, стремление писать «непонятно», «скользкие» темы, эмоциональные чрезмерности, тягу к внешним эффектам.

Преодоление декадентства явилось одним из исходных стимулов для тех религиозных исканий, которым Гиппиус (в неизменном союзе с Мережковским) с самозабвением предалась на рубеже веков. Путь к новой религии для нее — это путь выхода из тупиков индивидуалистического самоопределения, путь преодоления разорванности сознания и мучительных антиномий бытия, путь к Богу через обретение высшего единства, заключающегося в синтезе «правды о небе» и «правды о земле». Свои помыслы и действия она все яснее начинает воспринимать и выстраивать в аспекте религиозного служения, угадывает в них провиденциальное начало:

Воля Господа — моя.
Будь же, как Ему угодне...
Хочет Он — хочу и я.
Пусть войдет Любовь Господняя...

(«Благая весть», 1904)

Эволюция религиозно-философских воззрений Гиппиус совершалась параллельно с развитием «неохристианских» идей Мережковского и в постоянном диалоге с ним. Религиозная проповедь Мережковского в первые годы нового века была сконцентрирована главным образом на задаче преображения исторического христианства в христианство новое, апокалипсическое, на исповедании Третьего Завета, или Церкви св. Иоанна — религии св. Духа, третьей ипостаси Божественной Троицы, призванной сочетать религию Отца и религию Сына в новом и окончательном единстве, в Христе Грядущем. Традиционно-церковное, «историческое» христианство, по убеждению Мережковского и Гиппиус, закоснело в формальной обрядовости и исчерпало себя, на смену ему должно прийти «новое» христианство, для воплощения которого необходима новая церковь. Эта идея, как свидетельствует Гиппиус в дневниковых записях «О Бывшем», определилась в сознании ее и Мережковского — знаменательным образом — одновременно: «В *октябре* тысяча восемьсот девяносто

---

[48] Из писем к Вл. В. Гиппиусу от 8/19 апреля и 24 февраля / 7 марта 1896 г. // РНБ, ф. 481, ед. хр. 38.

[49] Письмо к Ф. Сологубу от 7 июня 1897 г. // РГАЛИ, ф. 482, оп. 2, ед. хр. 21.

[50] Письмо от 2/15 мая 1907 г. // ГЛМ, ф. 104, оф 3331.

девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о *Евангелии*, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал: "Нет, нужна новая *Церковь*". Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: *Церковь* нужна как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови».[51]

В последующие месяцы Мережковские обсуждали идею «новой церкви» в узком кругу лиц, близких им по устремлениям (В. Розанов, П. Перцов, Д. Философов, Вл. Гиппиус и др.). 29 марта 1901 года, в Великий Четверг, произошло событие, которое Гиппиус осмысляла как конкретное зарождение «новой церкви», — молитва втроем (она, Мережковский и Философов) по ритуалу, выработанному ими самими. Новые ритуальные действия и молитвы, создававшиеся Гиппиус («Я стала работать над молитвами, беря их из церковного чина и вводя наше»), дали основу домашним интимным богослужениям, которые стали для Мережковских прообразом чаемого общего религиозного действия.[52] В эти богослужения вовлекались наиболее созвучные им по духовным исканиям люди; из них ближе всех к ним оказался Д. В. Философов, критик из круга дягилевского «Мира Искусства» (заведуя литературным отделом одноименного журнала, он способствовал публикации в нем ряда произведений Мережковского и Гиппиус, в том числе знаменитой книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»). В сознании Гиппиус все более действенную силу обретает идея мистического союза «троих» (она, Мережковский, Философов) — некоего принципиально нового духовно-психологического единства в неслиянности: «Это не значит, что мы навеки должны порвать со всеми, к кому только были близки прежде; но надо укрепить в себе и друг в друге новую точку зрения, новый взгляд на мир, так, чтобы это уже всегда, во все минуты и везде присутствовало, незабываемое, чтобы от него уже исходило все».[53] Теснейшая связь Мережковских с Философовым продлится два десятилетия.

С поисками новой духовной человеческой общности, безусловно, был связан и жгучий интерес Гиппиус к общению с людьми, в той или иной степени ей внутренне близкими, к интеллектуальным упражнениям в диалогах и спорах с ними. Тот факт, что квартира Мережковских стала в начале века одним из центров петербургской литературной, религиозно-философской, а затем и политической жизни, превращаясь порой в своего рода домашний парламент, является главным образом заслугой хозяйки дома. Мережковский, как уже

---

[51] Возрождение. 1970. № 218. С. 52 (Публикация Темиры Пахмусс).

[52] Подробнее см.: Там же. С. 56—60, 69; Возрождение. 1970. № 219. С. 57—59. Молитвенник с текстами выработанного Мережковскими чина богослужений опубликован в кн: Pachmuss Temira. Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. Из переписки З. Н. Гиппиус. München, 1972. С. 714—770.

[53] Письмо Гиппиус к Е. В. Дягилевой от 11 августа 1905 г. // ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118.

отмечалось, по натуре был скорее проповедником-анахоретом, Гиппиус же воспринимала и оценивала идеи через людей, а людей испытывала идеями: «Она каждого встречного немедленно клала, как букашку, под микроскоп и там его так до конца и оставляла».[54] Контакты с людьми, бесконечные дискуссии были для Гиппиус тем необходимым ферментом, который придавал обсуждаемым проблемам жизненную значимость и подлинность.

Религиозно-преобразовательные устремления Мережковских находили продолжение в их общественной деятельности: искания «нового синтеза» они считали возможными лишь при условии преодоления индивидуалистической уединенности. «..."Дело" любви не мечтание, не фантастика, — подчеркивает Гиппиус в позднейшей статье. — Оно такое же реальное и волевое, как "дело" общественное. <...> И оба "дела" одинаково ведут к "улучшению действительности"».[55] Результатом этих усилий (не в малой мере стимулированных Гиппиус, хотя в число официальных инициаторов — «членов-учредителей» — она не входила) стало значительное общественное событие — открытие в ноябре 1901 года в Петербурге Религиозно-философских собраний, задуманных как дискуссионный центр, направленный к преодолению разлада между интеллигенцией и церковью, к поиску путей религиозного, социального и политического обновления России. Пропасть между «церковным» и «светским» мирами представлялась тогда совершенно непреодолимой; речь шла, по свидетельству Гиппиус, «даже не о внутренней разности», «а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно совсем другая культура».[56] Религиозно-философские собрания, продолжавшиеся всего полтора года (5 апреля 1903 года, в результате нападок охранительной и ортодоксально-церковной печати, они были запрещены), явились дерзновенной попыткой добиться взаимопонимания между православными иерархами и интеллигенцией, отринувшей заветы позитивизма и нащупывавшей пути навстречу новым — и прежним — духовным ценностям; взаимопонимания, которое тогда оказалось недостижимым.

Проблематику собраний, вызвавших шумный резонанс, призван был отразить журнал «Новый Путь», который издавался в 1903—1904 годах под руководством Мережковских совместно с П. П. Перцовым, позднее — с Д. В. Философовым. Работе в «Новом Пути» Гиппиус отдавала все силы: она не только обильно публиковала там свои стихи, прозу, многочисленные статьи (именно в это время она стала активным и темпераментным критиком-публицистом), но и была фак-

---

[54] Берберова Н. Предисловие // Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914—1919. Нью-Йорк, 1990. С. 14. Ср. замечание Гиппиус в письме к М. М. Винаверу от 11 сентября 1926 г.: «А *все* люди интересны, даже считающиеся "неинтересными", если уметь к ним подойти!» (РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 21).

[55] Гиппиус З. Н. Искусство и любовь // Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 1. С. 116.

[56] Гиппиус З. Правда о земле (К истории русского христианства) // Мосты. № 7. Мюнхен, 1961. С. 306.

тическим редактором журнала, приняла на себя бо́льшую часть всех тягот труда по комплектованию и выпуску в свет его номеров.[57] Ведение «Нового Пути» стало для писательницы первым большим и ответственным литературным делом и одним из наиболее значимых событий ее жизни, исполненных общественного звучания. Ставя во главу угла религиозно-обновленческие и в конечном счете жизнестроительные цели, Гиппиус сознательно отодвигала на второй план собственно литературные задачи; умеренно и осторожно ориентируясь на представителей «нового» искусства, она поставила твердый заслон заведомо «декадентским» опусам и весьма критически реагировала на самоценный эстетизм литераторов-символистов. В «новопутейской» статье с характерным заглавием «Нужны ли стихи?» (1903) Гиппиус утверждает, что единственный смысл и оправдание формальных экспериментов современных поэтов — в религиозной сверхзадаче: «Это — искание *своих* звуков, соответственных нарождающемуся душевному трепету новой, *своей* — пока одинокой молитвы. Они ищут, не нашли, — может быть, найдут. Кто-нибудь найдет».[58] Религиозные устремления во многом роднили Гиппиус с представителями нового поколения символистов — поэтами-теургами и религиозными мистиками, но и с ними у нее намечались определенные линии расхождения. Иррационализм, созерцательность, соблазны духовного эгоцентризма и панэстетизма, которым были подвержены «младшие», часто вызывали у нее неприятие; почти двадцатилетняя история ее общения с Андреем Белым и А. Блоком представляет собой драматическую смену взаимных притяжений и отталкиваний, исповедальных сближений и резких конфликтов, «очарований» и разочарований.[59]

---

[57] О работе Гиппиус в «Новом Пути» см.: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Вступ. заметка, подготовка текста и примечания М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124—159; 1992. № 1. С. 134—157; Максимов Д. «Новый Путь» // Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930. С. 131—254; Корецкая И. В. «Новый Путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX—начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 179—233.

[58] Антон Крайний (Гиппиус З.). Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908. С. 168.

[59] См. об этом в мемуарном очерке Гиппиус «Мой лунный друг. О Блоке» (Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 214—250), а также: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 535). Тарту, 1981. С. 116—222. Воспоминания Андрея Белого, в которых в подробностях описываются встречи с Мережковскими, не являются вполне безукоризненным фактическим источником: в книге «Воспоминания о Блоке» (1922—1923) на портреты Мережковского и Гиппиус легли тени от разрыва взаимоотношений между ними и Белым, вызванного октябрьскими событиями, а в позднейших книгах «Начало века» и «Между двух революций» эти искажения усугубились вынужденным стремлением автора соответствовать в своих интерпретациях былого советским цензурно-идеологическим нормам.

Расширение общественных горизонтов сказалось и в пробуждении интереса Гиппиус и Мережковского к народной жизни — не столько как к окружающей их реальности, сколько в плане изыскания в «непросвещенных» слоях религиозных настроений и чаяний, созвучных их собственным исканиям. В модифицированном виде воскресла идея «хождения в народ» — но уже не с целью социального просвещения, а ради совместного приближения к духовной истине. В июне 1902 года Мережковские совершили дальнее путешествие в российскую глухомань — в керженские леса Нижегородской губернии к озеру Светлояр, скрывающему, по народной легенде, невидимый древний град Китеж, где ежегодно собирались паломники, в том числе староверы и сектанты. Несмотря на все тяготы поездки, Гиппиус осталась ею глубоко удовлетворена (9 июля 1902 года она писала Н. М. Минскому: «Я ужасно устала от нашего великолепного путешествия (беспримерное нечто! перевертывающее все теории! поучительное и значительное до ужаса. Вот куда надо ехать, а не за границу!) <...> Да вы бы не выдержали! Триста верст на перекладных по старым гатям! Это я такая железная»).[60] «...То, что нам пришлось видеть и слышать, — признавалась она в письме к З. А. Венгеровой, — так громадно и прекрасно — что у меня осталась одна лишь печаль — о <...> "литераторах", путешествующих за границу и пишущих о неприложимой философии и ничего не знающих о жизни, как дети. Передать непонимающим этого нельзя. Надо поехать и посмотреть».[61] Дневник этого путешествия, который вела Гиппиус, под заглавием «Светлое озеро» впервые напечатанный в «Новом Пути» (1904. № 1, 2), полон надежд на обретение «одной сущности» с народом. Настолько значимыми для нее стали «светлоярские» переживания, что много лет спустя, уже в эмиграции, она вновь обратилась к подробному описанию этой поездки в очерках «Старый Керженец», и вновь подчеркнула плодотворность состоявшихся тогда бесед с «искателями» из народа: «Мы думали сначала, что ни мы их, ни они нас не будут понимать, ведь самый язык у нас разный... Но с полуслова они понимали наш, метафизический, книжный, и переводили на свой, простой. Чем дальше, тем говорить было все легче».[62] «Народная» тема, разрабатывавшаяся в прозе Гиппиус в первые годы ее литературной деятельности, оказывается определяющей и в пору утверждения «неохристианских» идеалов и устоев: «народная» правда — одна из необходимых составляющих того взыскуемого синтеза, который будет явлен в царстве Третьего Завета.

Идея религиозного синтеза, выношенная в умозрительных исканиях, проходит теперь красной нитью и в поэтических текстах Гиппиус:

И чем мольба моя безгласнее —
Тем неотступней, непрерывнее,

[60] ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205.

[61] Письмо от 11 июля 1902 г. // Там же, ед. хр. 542.

[62] Последние новости. 1931. № 3896, 22 ноября.

И ожидание — прекраснее,
Союз грядущий — неразрывнее.

Эти строки — из стихотворения «Белая одежда» (1902), заключительного в первой поэтической книге Гиппиус «Собрание стихов 1889—1903». Открывается книга ее известнейшим стихотворением «Песня» («Окно мое высоко над землею...») — своего рода катехизисом «декадентства», заканчивается — стихотворением, утверждающим силу божественного абсолюта и сопровождаемым эпиграфом из Апокалипсиса. Зримо запечатлев совершившийся цикл внутренней жизни, «Собрание стихов», вышедшее в свет в конце 1903 года, стало определенным итогом творческого становления и одновременно воплощением поэтической индивидуальности, раскрывшейся во всем своем масштабе и многообразии.[63] И в то же время «Собрание стихов» — не только личностный итог: не случайно Иннокентий Анненский, отнюдь не склонный к дифирамбическим формулировкам, отметил, имея в виду прежде всего эту книгу, что в творчестве Гиппиус отразилась «вся пятнадцатилетняя история нашего лирического модернизма».[64]

2

В альбом поэта Д. Н. Фридберга Гиппиус занесла следующую запись: «Символизм делает прозрачными явления жизни и говорит понятно о непонятном».[65]

Как нередко бывает с суждениями на общие темы, они не столько отражают реальное положение дел, сколько сигнализируют об убеждениях и предпочтениях высказавшего их. Приведенное лапидарное определение творческого метода — безусловно, из этого ряда. Говоря о символизме, Гиппиус не сочла необходимым подчеркнуть, что имеет в виду прежде всего собственное понимание символизма и свои творческие задачи, осуществляемые под знаком названного эстетического направления.

«Прозрачность» как непременное условие поэтической интерпретации явлений жизни означала для Гиппиус в первую очередь метафизический ракурс в их осмыслении. Ее стихи перенасыщены вполне конкретными земными реалиями, но впечатления жизненной конкретности и определенности от этого не возникает: поэтические образы и мотивы лишены самоценного значения, они лишь указывают, «кивают» (как позднее, касаясь символизма в целом, отметит О. Мандельштам в статье «О природе слова») на те смыслы, которые за ними угадываются. Образная ткань стихотворения предстает как

---

[63] Подробно о формировании и издании этой книги см.: Богомолов Н. А., Котрелев Н. В. К истории первого сборника стихов Зинаиды Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3. С. 121—132.

[64] Анненский Ин. О современном лиризме. 3. «Оне» // Аполлон. 1909. № 3. Отд. I. С. 8.

[65] ИРЛИ, р. I, оп. 42, ед. хр. 70, л. 3.

эманация отвлеченных понятий и представлений, как форма выражения невыразимого. «Материальный», условно говоря, мир поэзии Гиппиус скрепляется нематериальными связями и освещается потусторонними лучами. Характерно в заглавиях ее стихотворений изобилие местоимений, обстоятельственных слов, указывающих на признаки действия, качества или предмета, а также слов служебных, обозначающих различные семантические отношения («Там», «Вместе», «Ничего», «Нет», «Они», «Между», «Ты», «Если», «Опять», «Так ли?», «Оно», «Сызнова», «Внезапно», «А потом...?», «Напрасно», «Непоправимо», «Оттуда?», «Пока», «Тогда и опять», и т. д.); эти предпочтения отражают специфику поэтического мировидения Гиппиус: субстанция и живительный нерв ее творчества — не реалии, а соотношения, условные умопостигаемые линии между реалиями, главным образом — между реалиями явленными, «физическими», и метафизическими.

Сама Гиппиус признавалась, что не видит особого интереса в сочинении вещей «посюсторонних», не выходящих за пределы жизненных горизонталей: «Я <...> очень искренно считаю себя неспособной к вещам трезвым, сочным, как я выразилась — "из плоти и крови". Именно теперь я пишу подобную вещь (в последний раз!) и с каждой строкой в отчаянии повторяю: не то! не то! И веселья никакого нет в писании, душа участвует лишь наполовину, и я с нетерпением жду момента, когда опять начну что-нибудь в моем духе — на поларшина от земли».[66] Именно в стихотворчестве Гиппиус более всего удавалось достигать желаемого состояния — «на поларшина от земли». «...Нет поэта более отрешенного от всего зримого», — подчеркивал Д. П. Святополк-Мирский. И в то же время Гиппиус присуще, по его же словам, едва ли не единственное в русской литературе умение воплощать «глубочайшие абстрактные переживания» «в образы изумительно жуткой конкретности».[67]

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.

Образ, выстраиваемый в этой строфе стихотворения «Она» (1905), казалось бы, в своей сугубой вещности вполне дистанцирован от авторского «я», однако на деле он — его непосредственная проекция, точнее — проекция тех его негативных аспектов, которые оказались в эпицентре пристрастного поэтического самоанализа:

Своими пальцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

---

[66] Письмо к В. Д. Комаровой от 29 июля 1897 г. // РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154.

[67] Святополк-Мирский Д., кн. Годовщины // Версты. 1928. № 3. С. 142, 143.

Метафизические сферы Гиппиус пытается одолеть и освоить не путем ухода от мира явлений или его «теургического» преображения, а через обнаружение в самих явлениях их ноуменальной, умопостигаемой, «прозрачной» сущности. «Гиппиус пошла не мимо, а *сквозь* мирское, — и в этом был ее первый религиозный опыт, — писала М. Шагинян. — Войдя в мирское, она прошла сквозь него, вышла с другой стороны феноменального (если можно так выразиться), и оказалось, что религиозное прохождение сквозь феноменальное приводит в результате к той же абсолютной реальности, что и резиньяция».[68] «Мирские» приметы в ходе подобного преображения меняют свой статус, «феномены» прорастают отвлеченными, символическими смыслами, порой приобретающими самое широкое философское звучание и допускающими самые разнообразные перекодировки. Показательно, например, что А. Ф. Лосев, приведя в своей «Диалектике мифа» (1927) стихотворение Гиппиус «Всё кругом», почти полностью составленное из определений, исполненных предельной «феноменальной» конкретности:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
и т. д. —

трактовал его как наглядное воплощение «лика всякого позитивизма».[69]

Сформулированное Гиппиус второе требование к символизму — говорить «понятно о непонятном» — также является одним из составляющих ее эстетического символа веры. И в «декадентстве» 1890-х годов, и в творчестве символистов-мистиков, вошедших в литературу в начале 1900-х годов, для нее более всего были неприемлемы попытки писать об иррациональном иррационально. Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке» свидетельствует, что Гиппиус в разговорах с ним постоянно отвергала «метерлинковское косноязычие. "Что-то", "где-то" и "кто-то" вместо открытого Лика и Имени».[70] На фоне других символистов, выстраивавших сложные иерархические ряды образных соответствий или разрабатывавших поэтику намеков, блуждающих смыслов, иносказаний, поэзия Гиппиус воспринимается как семантически прозрачная и едва ли не элементарная художественная система. Тяготение к ясности и предельной отчетливости в во-

---

[68] Шагинян М. О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус. М., 1912. С. 26—27.

[69] Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 512.

[70] Андрей Белый. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 154.

площении творческого задания было для писательницы непременным условием самого творчества. Разумеется, эта ясность и «понятность» не имели ничего общего с эксплуатацией поэтических шаблонов — с теми приемами стихописания, над которыми издевалась сама Гиппиус, разбирая творчество Г. Галиной: «Перевернул несколько страниц — все весна да весна. И без конца так и мелькали предо мною цветы — мечты, слезы — березы, вновь — любовь... <...> все это даже не дешевые слова, а мертвый, разложившийся, пыльный сор и хлам, давно выметенный за ненадобностью».[71] Простота, которой добивалась Гиппиус, — это не первоначальная элементарность, а преодоление сложности, итог прохождения через сложность. В письме к В. Ходасевичу (7 сентября 1926 года) она замечала о его стихах: «...меня пленяет этот ваш современный уклон к простоте, искание *второй* простоты (первая — ненаходима, да и сохрани Бог к ней возвратиться)».[72] В этих словах правомерно, опять же, видеть косвенное высказывание о собственных творческих опытах: показательны определения «вторая искренность», «вторая непосредственность», которые применил к «Собранию стихов» Гиппиус начинающий поэт и будущий историк литературы А. А. Смирнов, отметивший «девственную чистоту и прозрачность», фиксированность и четкость поэтических образов, резко контрастировавшие с «импрессионистической» стилистикой в произведениях новейших поэтов.[73]

«Вторичность» простоты, отличающей поэзию Гиппиус, сказывается и в ее резко своеобычных качествах, лишь оттеняемых кажущейся порой скудостью художественных средств (по наблюдениям М. Л. Гофмана, «стих Зинаиды Гиппиус всегда свободный, легкий, красивый, напевный, очень индивидуальный, характерный, очень гибкий; общих мест, общеупотребительных рифм в нем почти совсем не встречается»[74]). «Вторичность» этой простоты — и в том, что она часто оказывается лишь видимой, формальной простотой, оборачивающейся загадочностью, игрой со смыслами, а порой и откровенной тайнописью. Для образного мира поэзии Гиппиус характерно сочетание четкости образов с зыбкостью их семантического наполнения, с конструктивными приемами и интонационными ходами, в совокупности создающими впечатление многозначительной недоговоренности.[75] Сама Гиппиус осознавала двусмысленность и условность «простоты» своих стихов; в позднем стихотворении «Сложности» (1933) — по внешним параметрам столь же «простом», как и большинство ее текстов, — она признавала недостижимость для нее

[71] Антон Крайний [Гиппиус З. Н.]. Весна пришла (Поэзия г-жи Галиной) // Новый Путь. 1903. № 4. С. 175.

[72] Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. С. 45.

[73] Хроника журнала «Мир Искусства». 1903. № 16. С. 182.

[74] Гофман М. З. Н. Гиппиус // Книга о русских поэтах последнего десятилетия/ Под ред. М. Гофмана. СПб.; М., [1909]. С. 183.

[75] Ср.: Гаспаров М. Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 295.

даже искомой «второй простоты» («До второй простоты не дойду») и декларировала:

К простоте возвращаться — зачем?
Зачем — я знаю, положим.
Но дано возвращаться не всем.
Такие, как я, не можем.

Отметив чрезвычайную характерность этих стихов для Гиппиус, критик С. Осокин пояснял: «...не о формальной простоте говорится в них — формально Гиппиус всегда была очень "простым" поэтом, а о той душевной, пушкинской ясности, отсутствие которой, быть может, является одним из свойств поэзии З. Гиппиус».[76] Цель, которую преследовала поэтесса, заключалась в ясном и предельно достоверном отображении сознания, вскрывающего и анализирующего собственную сложность, внутреннюю противоречивость. Вновь в этом отношении допустима параллель с ровным, каллиграфически безукоризненным почерком, посредством которого Гиппиус воспроизводила на бумаге порой весьма прихотливые и запутанные умозрительные построения. Безусловными образцами в умении говорить «понятно о непонятном» для нее были классики русской философской лирики — Баратынский и Тютчев. Перед этими поэтами она преклонялась; Баратынский, полузабытый в конце XIX века, вписан в сюжет ее повести «Златоцвет» (1896): героиня повести, alter ego автора, устраивает вечер поэзии Баратынского, в текст вмонтированы его поэтические строки, «спокойные и властные», как своего рода аккомпанемент развертыванию характеров и сюжета.[77]

Философичность стихов Гиппиус и связанные с этой доминирующей линией господство рационального начала и дефицит эмоциональной непосредственности неизменно отмечались как наиболее уязвимые черты ее поэтического творчества. М. Кузмин сводил поэзию Гиппиус к «мозгологии»; И. Эренбург видел в ней «дневник ума, не сердца»; даже чрезвычайно расположенный к Гиппиус и ее произведениям Г. Адамович замечал, что «стихи ее, конечно, замечательны, резко индивидуальны, ни на чьи другие не похожи, но это всего менее "Божьей милостью" стихи», что ее постоянное томление о потустороннем было «рассудочным — и в этом-то и была ее драма!»[78] Гиппиус и сама не отрицала, что видит обусловленную связь своего творчества главным образом с метафизическими реалиями, а не с наблюдаемой реальностью: «...в литературе я даю *в чистом* виде

[76] Русские Записки. 1938. № 10. С. 194.

[77] См.: Гиппиус (Мережковская) З. Н. Зеркала. Вторая книга рассказов. СПб., 1898. С. 385—402.

[78] Кузмин М. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 8. С. 62; Эренбург И. В смертный час (Статьи 1918—1919 гг.). СПб., 1996. С. 49 («На тонущем корабле», 1918); Адамович Г. [Рец. на кн.:] Temira Pachmuss. «Zinaida Hippius. An Intellectual Profile» // Новый Журнал. Кн. 104. Нью-Йорк, 1971. С. 294; Адамович Г. Зинаида Гиппиус // Мосты. 1968. № 13/14. С. 208.

то, чего никогда в жизни в чистом виде не бывает, и не бывало, да и не может, вероятно, быть <...> На что мне литература как отражение жизни! <...> литература просто сопутствующий указатель, уяснитель, схематизатор того, что часто без схемы трудно видеть, а надо видеть, что оно есть».[79] В рационалистическом «схематизме» проявлялась сознательная установка Гиппиус, сказывались ее представления о назначении собственных писаний, и без учета этого обстоятельства нельзя найти к ним верный подход. Ключ к стихам Гиппиус предлагает М. Шагинян, истолковывающая ее поэзию не по строго эстетическим, а по мировоззрительным меркам — как стихотворную оболочку «идейно-целостного, религиозно-действенного волеучения»[80] (оболочку, впрочем, отличающуюся мастерством отделки, изысканностью и утонченностью).

В многообразии индивидуальных манер, характеризующем поэзию русского символизма, можно выделить несколько основных линий и тенденций, в согласии с которыми формировалось творчество того или иного мастера, слагалась система условностей и законов, им самим над собою признанных. В творчестве одних — как, например, у Вячеслава Иванова — преобладала риторическая доминанта: продиктованный установкой на культурный синтез, осуществляемый в символизме, пышный, архаизированный, перифрастический стиль, словесная литургика, соприкасающаяся без каких-либо посредствующих звеньев с «плетением словес» Епифания Премудрого и в целом встраиваемая в глобальную систему культурно-исторических соответствий.[81] Другие символисты раскрывались в полную меру под знаком лирической доминанты; в их творчестве всем управляла эмоциональная стихия, сочетавшая раскрытие индивидуальной психологии с тайнозрительными обертонами, растворявшая локальные словесные смыслы в иррациональном музыкальном потоке, сливавшая звучания земных «скрипок» и небесных «арф» в подобие «мирового оркестра»: излишне называть имя Александра Блока как ярчайшего выразителя отмеченной тенденции. В этом отношении поэзия Гиппиус осуществлялась в согласии со своим, особым кодом — и была последовательна в исполнении условий, этим кодом предписываемых. Доминирующее начало в ней — исповедально-аналитическое: Гиппиус стремится с предельной искренностью и откровенностью раскрыть свое внутреннее «я» и пытливо разобраться в его противоречивых составляющих. О том, каким ей видится назначение стихов, писательница передоверила сказать своей Валентине, героине повести «Златоцвет»: «Они — "всё" человеческой души».[82] А

[79] Письмо к В. Ф. Нувелю от 13 ноября 1906 г. // РГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 4.

[80] Шагинян М. О блаженстве имущего. С. 41.

[81] См.: Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 99—101; Барзах А. Е. Материя смысла // Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Т. 1. С. 38—41, 47—48 («Новая Библиотека поэта»).

[82] Гиппиус (Мережковская) З. Н. Зеркала. С. 397.

в статье «Два разговора с поэтами» она утверждает своего рода презумпцию личностной аутентичности как первичное условие стихописания: «Форма, в которой высказывается самое свое интимное *всем*, — это и есть стихи»; подлинный талант, по ее убеждению, — это сочетание двух даров — дара «собственно "слова", уменья находить слова и удачно соединить», и дара «своего я»: «Лишь в соответствии с ценностью последнего приобретает значение и первый дар».[83]

Стихотворческие задачи Гиппиус определяет, в согласии с этими основоположениями, весьма ригористично — и не только для себя, но и для любого сочинителя: «Стихи надо писать не тогда, когда можешь писать, а когда их не писать не можешь. Только тогда».[84] Она не ощущала потребности в поэтических «профессиональных» упражнениях, в сложении стихов на заданные «посторонние» темы, не продиктованных потребностью в непосредственном внутреннем самовыражении, и даже бравировала собственным «непрофессионализмом». Однако, не уставая повторять, что она «в сущности только неудавшаяся стихотворица», Гиппиус утверждала, что, сочиняя стихи — в которых неизменно обнажались и концентрировались самые глубокие, значимые и интимные пласты ее существа, — она переживала высшие миги своей жизни: «Ничто в мире не доставляет мне такого наслаждения, как писание стихов — может быть потому, что я пишу по одному стихотворению в год — приблизительно. Но зато после каждого я хожу целый день, как влюбленная, и нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Мне кажется, у всякого должна быть потребность молиться, и это разно проявляется. Я говорю, что стихи — это моя молитва. И дар писать их — все равно, худы они или хороши — я не променяла бы ни на какой другой дар».[85] Попытку интерпретировать писание стихов, вбирающих «мгновенную полноту нашего сердца», по аналогии с молитвой Гиппиус предприняла в предисловии к своей первой поэтической книге («Необходимое о стихах»), которое правомерно рассматривать как ее эстетический манифест.

Слово «молитва» в понимании Гиппиус не локализировалось на обрядовой богослужебной практике, но вбирало в себя более широкие и обобщенные смыслы. Предполагая исповедальную искренность и устремленность к метафизическим основам бытия, возносящую в

---

[83] Звено. 1926. № 159, 14 февраля. С. 4

[84] Запись в альбоме А. В. Ширяевца (30 мая 1915 г.) // De Visu. 1993. № 3(4). С. 39. Публикация Ю. Б. Орлицкого, Б. С. Соколова, С. И. Субботина.

[85] Письмо к В. Д. Комаровой от 29 июля 1897 г. // РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154. Ср. сходные признания в письме Гиппиус к З. А. Венгеровой (27 мая 1897 г.): «Я ведь редко пишу стихи и пишу их особенно, с тем чувством, с каким другие молятся. И потому для меня, только для меня одной, тут каждое слово важно, а для других оно не имеет силы, я это понимаю и покоряюсь» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542).

конечном своем пределе в религиозные сферы, молитвенность связывалась в ее сознании с воплощением того внутреннего трепета, который обычно называют творческим вдохновением. Значимо, однако, что истинная суть поэтического самовыражения раскрывается для Гиппиус в религиозном плане; художественное начало поглощается началом религиозным, подлинно сущностным и безусловным, выступает как его эманация. При этом религиозное содержание в поэзии Гиппиус было далеко от церковной каноничности (а нередко даже было дерзновенно нацелено против богословской ортодоксии), однако относительно подлинной его природы обычно сомнений не возникало. Критик А. А. Измайлов отмечал, как преобладающий в стихах Гиппиус, «характер молитвенного гимна, экстатически вырывающегося религиозного стона, в тоне и строении тех, какие вырывались у Ефрема Сирина, у Андрея Критского, религиозной оды, но не державински-ясной и ортодоксальной, но манихейски, гностически смелой, причудливой и фантастической».[86] «Молитвенная» направленность стихов Гиппиус вызывала и контраргументы. С идеей уподобления стихотворения молитве полемизировал, в частности, Ходасевич, указывавший на принципиальные различия в природе этих двух явлений: «В молитве (какое бы широкое значение ни придавать этому слову) форма и содержание могут быть разобщены. В поэзии — нет. Молитве, чтобы стать поэзией, надо не только соответственным образом оформиться, но и возникнуть из специфически художественного импульса. Это генетическое различие между стихотворением и молитвой в высшей степени существенно. Оно предохраняет поэзию от эстетического безразличия, а молитву — от религиозного легкомыслия».[87] «Молитвенные» стихи Гиппиус представляли собой образец безусловной поэзии, однако вынашиваемая их создательницей идея «молитвенности» обусловила многие самоограничения, на которые она шла в своей работе и которые бросаются в глаза при сопоставлении ее стихов с поэтическим творчеством ее современников-символистов.

Элемент «эстетического безразличия», от которого предостерегал Ходасевич, действительно, заметен в поэтической палитре Гиппиус, отличающейся исключительным своеобразием тонов, но не слишком широким их спектром. По сути, о том же «эстетическом безразличии» Гиппиус, давая развернутое описание этого феномена, говорил и Г. Адамович, антагонист Ходасевича и столь же влиятельный в эмигрантской среде литературный арбитр: «Нет в стихах этих никакого стремления к обольщению, к тому, чтобы "нравиться", столь типичного вообще для женской поэзии. Наоборот, они замкнуты в себе, "эгоцентричны", слегка даже высокомерны в своем самоограничении. В них нет меланхолии, которая всегда находит отклик в

---

[86] Измайлов А. А. Помрачение божков и новые кумиры. Книга о новых веяниях в литературе. М., 1910. С. 233.

[87] Ходасевич В. Двадцать два // Возрождение. 1938. № 4136, 17 июня. С. 9.

душах. В них еще меньше сентиментальности. Вместе с тем Зинаиде Гиппиус и совсем чужда забота о создании "образцов искусства", не связанных с автором, способных существовать самостоятельно, вне авторской биографии и судьбы, — вроде, скажем, сонетов Эредиа. Стихи ее можно принять, как исповедь».[88]

Посвятив себя в стихах главным образом созданию духовно-психологических автопортретов, Гиппиус невольно была обречена на движение по весьма узкой стезе. Ее поэзия лишена того тематико-стилевого богатства, которое характеризует творчество многих представителей «новой» поэзии; у нее сравнительно мало «сюжетных» стихотворений, редко обращается она к культурно-исторической проблематике, столь притягательной для большинства символистов: «очарование отраженных культур» (по формуле Бердяева) ее не завораживает; что касается поэтической техники, то и в этом отношении используемый ею репертуар сравнительно беден: ее не соблазняют «опыты» по использованию твердых стихотворных форм и реставрации традиционной строфики, которым уделяли столь много внимания Брюсов, Вяч. Иванов, Сергей Соловьев, Волошин и многие другие ее современники. Гиппиус удавалось оставаться оригинальной и изобретательной в обиходной формальной оболочке; если же она и обращалась к необиходным формам стихосложения, то использованию изощренных старинных образцов, «канонов», предпочитала вольные размеры и экспериментальные эксцессы. В корпусе ее стихотворений встречаются как образцы дольника и тактовика, освоение которых в русской поэзии конца XIX века только начиналось, так и собственные «технические» изобретения — например, строки с рифмами в начале стиха (при отсутствии концевых рифм), сочиненные еще до аналогичных футуристических экспериментов:

Верили
мы в неверное,
Мерили
мир любовью,
Падали
в смерть без ропота,
Радо ли
сердце Божие?

(«Неуместные рифмы»)[89]

Присущие в целом поэзии русского символизма «книжный» характер, панэстетизм, установка на освоение всего культурного универсума, вариации «чужих» сюжетов, мотивов, образных построений также не получили в поэтическом творчестве Гиппиус интенсив-

---

[88] Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1938. № 6283, 9 июня. С. 3.

[89] См.: Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х—1925-го годов в комментариях. М., 1993. С. 50—53; Богомолов Н. А. Стихотворная речь. М., 1995. С. 124—125.

ного развития. Стихи ее в этом отношении отличаются заметной «бедностью» в сопоставлении даже с миром образов поэзии Мережковского, не говоря уже о Бальмонте, Брюсове или Вячеславе Иванове. Весьма значимо отсутствие в ее творчестве художественных переводов: на этом поприще с полной силой проявили себя почти все крупные русские символисты. Сама Гиппиус осознавала свою литературную «недостаточность» и даже иронизировала по такому поводу: «Я — parvenu, бездомная, без корней, без традиций, "революционерка" в самом декадентстве <...>».[90] Мифологический, исторический, литературный пантеон осваивается ею очень избирательно — но не робко. Если в большинстве своем символисты эксплуатируют «чужое» слово и все обозримые пласты культурно-исторического наследия с целью раскрытия их мифопоэтических семантических резервов и прослеживания глубинных символических соответствий, то для Гиппиус тот или иной образ-предмет, извлекаемый из этого огромного багажа едва ли не наугад, служит тому, чтобы внести еще один штрих в бесконечную работу авторефлексии.

Гиппиус стремится не к исчерпанию или наращению смыслов «чужого» слова, образа, сюжетного мотива, а к самой себе, к тайникам собственной души посредством осмысления «чужого»; она принимает «чужое» и движется с ним, как с компасом, в нужном ей направлении. И притягивают ее к себе в основном не «вечные» образы, освоенные многовековой культурной аурой, а фигуры маргинальные, случайные, часто непрезентабельные. Дьявол под ее пером предстает как «дьяволенок», «худой и щуплый — как комар», который «пахнет псиной» и «шерстку лижет у огня» («Дьяволенок», 1906); и этот «дьяволенок» — «чужой», развившийся из кошмара Ивана Карамазова (там черт — «дрянной, мелкий», у него хвост «длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый...»[91]). Развитие «чужого» образа до полной его противоположности продемонстрировано в стихотворении «Гризельда» (1895): под пером Гиппиус идеальная благодетельная героиня одноименной сказки Шарля Перро побеждает искушения «Повелителя Зла», но, в согласии с «декадентским» кодексом, втайне томится греховными соблазнами; добродетель оборачивается обманом, а в «грехе» угадывается красота — истинная добродетель:

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —

[90] Письмо к Д. В. Философову от 13 апреля 1912 г. // РНБ, ф. 481, ед. хр. 158.

[91] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 15. Л., 1976. С. 86.

Непонятый Учитель
Великой красоты?

Стихотворение «Хобиас» (1919) — еще один наглядный пример того, как использование заимствованного образа, опять же довольно случайного и свободного от мифопоэтических коннотаций, дает возможность свободного творческого полета в произвольном направлении. В детской сказке-«страшилке» В. В. Каррика «Хобиасы» развивается незамысловатый сюжет о злых и прожорливых хобиасах, съевших старика и старушку и утащивших в мешке девочку; охотник спас девочку, посадил в мешок вместо нее собаку, которая выскочила оттуда и съела всех хобиасов. В стихотворении Гиппиус — уже не множество тварей, а один «Хобиас» — воплощенный символ злого начала, концентрация всего отвратительного, низкого, гадкого — того, что уже было представлено цепочками определений в стихотворении «Всё кругом».

Как чья-то синяя гримаса,
Как рана алая стыда,
Позорный облик Хобиаса
Преследует мои года.

И перья крыл моей подруги,
Моей сообщницы, — Любви,
И меч, и сталь моей кольчуги,
И вся душа моя — в крови.

В заключительной строфе стихотворения:

Мы побеждаем. Зори чисты.
Но вот опять из милых глаз
Большеголовый, студенистый,
Мне засмеялся — Хобиас! —

к отзвуку из «первоисточника» («Как ночь — хобиасы по очереди подходят к девочке, щелкают ее по голове и каждый приговаривает: — Посмотри-ка на меня! Посмотри-ка на меня!»[92]) добавляется характеристика («Большеголовый, студенистый»), не имеющая аналогий в сказке, но, возможно, возникшая по ассоциации с описанием лунных обитателей в фантастическом романе Г. Уэллса «Первые люди на Луне» (Гиппиус обыгрывает его в рассказе «Лунные муравьи»[93]). Отталкиваясь от готового и художественно элементарного образа, Гиппиус развивает интерпретацию, которая параболически устремлена в сферы, подвластные ее метафизической интуиции; однозначное начинает мерцать многообразием смыслов, «понятное» преображается в «непонятное».

---

[92] Каррик В. Хобиасы (Английская сказка). СПб., 1912. С. 14.
[93] См.: Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 575—576.

Если касаться проблемы творческой эволюции, то и в этом отношении приходится говорить об особом месте Гиппиус в ряду крупных писателей-символистов. «Историю развития Гиппиус» критик Е. Лундберг считает возможным «изобразить условно прямой линией: ненависть к себе, отвращение к повседневности, требование "чуда", отречение от своей воли, соблазн небытия в робком, непродуманном буддизме и, наконец, торжество христианских надежд на обновление».[94] Отмеченные вехи указывают исключительно на идейно-содержательные аспекты, нашедшие отражение в творчестве Гиппиус, в том числе и в ее стихах. Что же касается ее поэтического идиостиля, то приходится констатировать в нем максимум постоянных параметров и минимум хронологических изменений: зримой эволюции художественного мировидения не наблюдается, творческие этапы разграничиваются исключительно историческими событиями и событиями духовной и общественной жизни автора. «К поэтам гиппиусовского склада неприменимо понятие развития, — писал Адамович. — Гиппиус сразу, чуть ли не с первых "проб пера" — вроде знаменитого "Люблю я отчаяние мое безмерное" — нашла тон и ритм, в точности соответствующие ее внутреннему миру».[95] Движение, совершающееся в ее поэтическом мире, — это движение по кругу, регулярное возвращение к повторяющимся мотивам и образным построениям. В ее стихотворном наследии встречаются тексты с одинаковыми заглавиями, манифестирующими единство темы в многообразии ее воплощений («Любовь — одна» — стихотворения 1896 и 1912 годов), эпиграфы из более ранних текстов к более поздним, подчеркивающие связь в составе цельного высказывания — всего поэтического корпуса, часто возникает явный или скрытый диалог между вновь созданными и прежними текстами.

При этом поэтический мир Гиппиус, колеблясь внутри самого себя, отличается своеобразным динамизмом — подобно морской волне, в проникновенное описание которой поэтесса, возможно, вложила интимно значимые ассоциации: «...она взлетала наверх, выше, выше, с бессильным и ненужным порывом, становилась тонкой, прозрачной, гнулась <...> — и падала, не умея удержаться наверху, и разлеталась в белый, мыльный дым, который кое-где сверкал радужными искрами. И опять торопилась, неведомо зачем, умирать, — другая ворчащая волна».[96] Воспроизводя вибрации душевной жизни автора, поэзия Гиппиус имеет по преимуществу дневниковый характер: не случайно это жанровое определение вынесено в заглавие книги ее стихов, изданной в 1922 году. Определяющие жанровые особенности

---

[94] Лундберг Е. Религия и лирика несвободной души (З. Н. Гиппиус) // Лундберг Е. Мережковский и его новое христианство. СПб., 1914. С. 186—187.

[95] Адамович Г. Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. СПб., 1993. С. 91.

[96] Гиппиус З. На берегу Ионического моря // Мир Искусства. 1899. Т. I. № 10. С. 166.

дневника — конкретная хронологическая закрепленность текущего самоотчета о событиях и переживаниях, сосредоточенность пишущего на фиксации собственных восприятий и размышлений в их видоизменении — читателям стихотворений Гиппиус раскрывались как одна из их родовых черт. В трактовке И. Анненского характерное качество поэзии Гиппиус — «какая-то *безусловная минутность*, какая-то настойчивая, почти жгучая потребность ритмически передать "полное ощущение минуты", и в этом — их сила и прелесть»[97] (критик обыгрывает определение поэзии, восходящее к Баратынскому: «полное ощущение данной минуты», — приведенное Гиппиус в предисловии к «Собранию стихов» как наиболее ей говорящее и — добавим — указывающее на вполне осознанное ею стремление к «дневниковости»). Ту же особенность подмечал Модест Гофман: «Творчество З. Гиппиус — творчество минут, а не жизни. Вот почему у нее почти нет циклов, вот почему ее сборники стихов, рассказов, статей — являются случайными сборниками разных стихов, рассказов, статей, а не живым целым — книгою».[98]

Действительно, в отличие от подавляющего большинства символистов, формировавших свои поэтические книги как цельные художественные единства, с членением на четко выделенные тематические разделы, выдержанные каждый в своей образной-стилевой тональности, сборники стихов Гиппиус не имеют внутренней рубрикации, тексты в них сливаются в единый поток; лишь в сборнике «Стихи. Дневник 1911—1921» выделены разделы («У порога», «Война», «Революция», «Там и здесь») — отражающие, однако, не свободное авторское распределение стихотворений по тематическому, жанровому или какому-либо иному принципу, а лишь хронологическую смену крупных исторических вех русской жизни, от кануна мировой войны до послереволюционного исхода в эмиграцию, отразившуюся в содержании поэтического дневника. Характерно и то, что лишь последняя книга стихов Гиппиус «Сияния» имеет название, несущее в себе образный смысл (попутно отметим, что это заглавие, предельно емкое, при всем лаконизме, по своему семантическому наполнению и столь же адекватно концентрирующее специфические для творческого мировидения Гиппиус мотивы, могло бы быть предпослано всему корпусу ее поэтических текстов). Заглавия большинства ее стихотворных книг представляют собой лишь жанровые и хронологические обозначения. В этом правомерно увидеть непрерывную связь с досимволистской традицией, сказывавшейся в творчестве Гиппиус достаточно отчетливо, — с авторскими сборниками многих поэтов последней трети XIX века, озаглавленными аналогичным образом; но столь же правомерно истолковать безымянность «собраний стихов» Гиппиус как отражение авторского взгляда на собственные тексты: поэтесса не отделяет творение от творца, она предлагает читателю

---

[97] Анненский Ин. О современном лиризме. 3. «Оне». С. 10.

[98] Гофман М. З. Н. Гиппиус // Книга о русских поэтах последнего десятилетия. С. 181.

поэтический дневник, который должен восприниматься как своего рода двойник авторского «я», обозначенного именем на титульном листе. Дневник не обязан иметь отдельного сюжета и имени; если же он поименован — значит, в нем произведен определенный отбор тем и размышлений и задан ракурс восприятия.

Дневниковая природа поэтического творчества Гиппиус обнаруживается и в том, что однотипные, и даже заключенные в одни и те же словесные формулы, размышления и образные построения встречаются у нее в стихах, художественной прозе, статьях, автобиографических записках («Contes d'amour», «О Бывшем» и др.), письмах. «Дневниковость» — первичная субстанция ее творческого самовыражения; та или иная идея, созревшая в ее сознании, благодаря изначальной общей установке на «дневниковую» исповедальность может выплеснуться на поверхность в различных жанровых плоскостях, и для Гиппиус нет существенной разницы, воплощена она в стихотворные строки, отданные в печать, или высказана в письме, предназначенном только его адресату. «Буду или не буду писать, но если буду — то всё "на правах стихов": ни для кого и ни для чего, — признавалась она Ходасевичу. — Само для себя. Понадобится когда-нибудь кому-нибудь — хорошо; нет — тоже хорошо».[99] Самые заветные формулировки жизненного кредо Гиппиус, закрепленные в стихах, можно встретить и в других ее текстах: «О, пусть будет то, чего не бывает», «Мне нужно то, чего нет на свете» («Песня», 1893) — «Я хочу невозможного, подснежников в июле <...> чтобы было то, чего нет» (письмо к А. Л. Волынскому от 28 февраля 1895 года), «...значит, есть то, может быть то, чего нет на свете» (рассказ «Время»)[100]; «...люблю я себя, как Бога» («Посвящение», 1894) — «Разве я вам не советовала возлюбить себя как Бога <...>?» (письмо к Н. М. Минскому от 21 ноября <1893?> года)[101]; «Мне мило отвлеченное» («Надпись на книге», 1896) — попытка контраргумента: «Я слишком склонна к отвлеченности, игра с *этим* огнем — для меня опасна» (письмо к А. А. Блоку от 6 августа 1902 года)[102]; «Концы концов коснутся — <...> // Сплетенные сольются, // И смерть их будет — Свет» («Электричество», 1901) — «...освещается вся темная комната, когда конец тонкой проволоки прикасается к другому концу» (путевые записки «Светлое озеро»)[103]; и т. д.

Косвенным признаком, обусловленным «дневниковой» природой поэтического творчества Гиппиус, является очевидный «эзотеризм» некоторых ее стихотворений. Дневник, пишущийся по обыкновению для себя, может включать намеки, недомолвки, иносказа-

---

[99] Письмо от 8 августа 1926 г. // Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. С. 50.

[100] Минувшее. Исторический альманах. 12. С. 286; Гиппиус (Мережковская) З. Н. Новые люди. Рассказы. СПб., 1896. С. 331.

[101] ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205.

[102] Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими. С. 127.

[103] Гиппиус З. Н. Алый меч. Четвертая книга рассказов. СПб., 1906. С. 380—381.

ния, понятные только автору или небольшому кругу лиц, автора близко знающих. Подобной «тайнописи» в стихах Гиппиус более чем достаточно: ясные и определенные, на первый взгляд, строки часто скрывают подспудные смысловые слои, до которых сторонний читатель докопаться не в состоянии; кое-что в этих подтекстах ныне проясняется благодаря специальным биографическим изысканиям и введению в оборот архивных материалов, однако во всем «дойти до самой сути» исследователю поэзии Гиппиус едва ли когда-нибудь удастся. «...Сложная интимность отдельных страниц ясна, быть может, только автору-поэту, замыкая в слове цепь только им пройденных исканий, — писал в отзыве на «Стихи. Дневник 1911—1921» Саша Черный. — Поэтому многие строки и строфы ускользают, прячутся в себя, оставляя чувство неудовлетворенности, точно подслушанные отрывки чьей-то взволнованной речи».[104] Гиппиус подобные читательские недоумения не смущали. В первую книгу своих стихов она включила даже стихотворение «Числа» (1903), построенное на обыгрывании числовой семантики, рождающейся из датировок дней рождений — своего, Мережковского и Философова, без какого-либо автокомментария, поясняющего смысловое наполнение чисел 2, 26 и 8; много позже, в 1933 году, в парижском альманахе «Числа» (как бы стараясь «соответствовать» его заглавию!) поместила стихотворение «Цифры» — своего рода числовой пасьянс: конструкцию и смысл его еще предстоит разгадывать проницательным исследователям. Гиппиус, конечно, понимала, что может вызвать подобными публикациями нарекания в неуважении к читателю, но ей, видимо, важнее было заявить об одной из самых существенных составляющих своего внутреннего мира. Абстрактная устремленность ее творческого сознания находила свое крайнее и последовательное воплощение в завороженности «божественными числами». В автобиографической анкете (8 марта 1915 года) в графе «Credo или девиз» она указала: «1, 2 и 3».[105] Подобно философам-пифагорейцам, исходившим из онтологического понимания числа, Гиппиус провидела в числах идеальное субстанциональное бытие; вслед за Бальзаком могла бы предположить, что числа — это «дыхание, исходящее от Бога, чтобы организовать материальный мир».[106]

Коснувшись числовых выкладок в стихах Гиппиус, мы вплотную подошли к одной из наиболее существенных сторон ее мировидения, выразившейся в девизе «1, 2 и 3» и многообразно запечатлевшейся в поэтическом творчестве. Единство собственной личности Гиппиус переживает главным образом в энергии борьбы составляющих его двух начал: «В одной моей душе, одна моя душа <...> — точно Фауст и Мефистофель вместе».[107] Ее поэтический мир, при всей его

[104] Новости литературы (Берлин). 1922. № 1, август. С. 54. Подпись: А. Черный.

[105] РНБ, ф. 290, ед. хр. 96.

[106] Бальзак Оноре де. Серафита. М., 1996. С. 204. (Перевод Л. Гуревича).

[107] Письмо к Д. В. Философову от 16 июля 1905 г. // Pachmuss Temira. Intellect and Ideas in Action. P. 71.

метафизической определенности и законченности, предельно подвижен, он реализуется как непрестанный диалог между двумя противоположными полюсами: с одной стороны — индивидуалистический бунт, «дерзание», уверенный в себе эгоцентризм, с другой — доминирующее религиозно-мистическое начало. Богооставленность — и ощущение Бога; антицерковность — и потребность веры, молитвенный пафос; прославление смерти — и стремление к жизни; самоутверждение — и самоуничижение; сознание греховности — и жажда любви; возмущение — и смирение, — этими «противовесами» регулируется все мировосприятие Гиппиус, первичный импульс которого можно схематизировать лаконичным заглавием ее одноактной пьесы — «Нет и да». Провиденные некогда Тютчевым бездны «двойного бытия» становятся для нее объектом магнетического притяжения — переместившись из стихийных сфер в тесные пределы индивидуального сознания. Непрекращающийся диалог осуществляется на различных уровнях: внутри строки («Мне близок Бог — но не могу молиться, // Хочу любви — и не могу любить» — «Бессилье», 1893), внутри строфы:

Идут — красивые, и безобразные,
Идут веселые, идут печальные;
Такие схожие — такие разные,
Такие близкие — такие дальные...

(«Цепь», 1902), —

в двухчастной образно-тематической композиции стихотворения, в двуединстве, возникающем из соположения самостоятельных текстов (за стихотворением «Христианин» непосредственно следует «Другой христианин», стихотворению «Днем» предшествует стихотворение «Ночью», одно за другим печатаются два стихотворения, одинаково озаглавленные — «Она», — но если в первом «она» — душа — «мертвая», «черная», «вялая», «холодная», то во втором — «свободная» и «чище пролитой воды», и т. д.); даже в различных авторских вариантах одной и той же строки, как в сонете «16»: «Любовию иль нежностью волнуем» — «Жестокостью иль нежностью волнуем». Любому выстраданному и глубоко, искренне пережитому тезису неизбежно противополагается столь же закономерно возникающий антитезис. И сами стихи для Валентины, «авторской» героини «Златоцвета», — «в одно время и величайшая истина и величайшая ложь».[108]

Подчеркивая эту «религиозную полярность» в поэзии Гиппиус, «антиномичность тем, почти ни у кого из наших поэтов не встречающуюся», М. Шагинян заключает: «Это есть именно *поэзия пределов*, самое творчество является тут не по пути переживания, а венцом его, на пределе пережитого».[109] Такое одновременное страстное устремление к двум противоположным метафизическим бесконечностям не-

---

[108] Гиппиус (Мережковская) З. Н. Зеркала. С. 397.
[109] Шагинян М. О блаженстве имущего. С. 18, 16.

редко озадачивало, порождая гипотезы о неадекватности поэтической индивидуальности Гиппиус самой себе. «...Когда задумываешься, — писал Роман Гуль, — где у Гиппиус сокровенное, где необходимый стержень, вкруг которого обрастает творчество, где — "лицо", то чувствуешь: у этого поэта-человека, м. б., как ни у кого другого, нет единого лица. Страшное двойное лицо. Раздвоенность. Двоедушие».[110] К. И. Чуковский считал, что лирика Гиппиус всецело находится во власти «мании противоречия» (mania contradictionis): «В мятежности и дерзости — святость; в молитве — кощунство; в гордыне — любовь». «И если бы случайно как-нибудь я прочитал у вас, — пишет критик, обращаясь к поэтессе, — что горе, например, тягостно, а радость сладостна, я бы этому весьма изумился, как самому диковинному парадоксу. <...> Любовь без ненависти и веселость без скорби вам, я думаю, недоступны»; «Каждое чувство, едва родившись, тотчас же умерщвляется противочувствием, приводится к нулю, к пустоте».[111] И все же, думается, основные начала внутреннего мира Гиппиус не аннигилируются в своей неизбывной антитетичности, а утверждаются в той неразложимой универсальной сути, которая постигается уже за пределами четко очерчиваемых пределов, конкретных идей и понятий. Сама Гиппиус не случайно указывала, что «двойственность есть уже признак несовершенности, неконечности»: «Не говорите же мне никогда, что есть две правды и два Бога. <...> А у тех, у кого две правды, — нет ни одной».[112] Она же утверждала, что состояние двойственности неприемлемо в этическом плане: «С уверенностью в окончательной двойственности мира и неистребимости зла — жить нельзя».[113] Очень проницательно разгадал эту последнюю и всеобъемлющую субстанцию, вбирающую в себя всю бесконечную иерархию противоборствующих метафизических явлений и структур, И. Ф. Анненский: «Для З. Гиппиус в лирике есть только *безмерное Я*, не ее *Я*, конечно, не Ego вовсе. Оно — и мир, оно — и Бог; в нем и только в нем весь ужас фатального дуализма; в нем — и все оправдание и все проклятие нашей осужденной мысли; в нем — и вся красота лиризма З. Гиппиус».[114] Не пустоту, а глубинную целостность и стабильность, внутреннюю закономерность и целесооб-

---

[110] Новая русская книга. 1922. № 8. С. 16 (рецензия на книгу Гиппиус «Стихи. Дневник 1911—1921»). Ср. более раннее аналогичное высказывание о природе поэтической натуры Гиппиус: «Джиокондовская, двойственная улыбка — превыше добра и зла — вот истинный пафос этой тончайшей и дерзостной поэтической натуры» (Малахиева-Мирович В. О смерти в современной поэзии // Заветы. 1912. № 7. Отд. II. С. 100).

[111] Чуковский К. Лица и маски. СПб., [1914]. С. 170, 167, 171.

[112] Из письма к З. А. Венгеровой от 6 июля 1897 г. // ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542.

[113] Гиппиус З. Зверебог // Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 27.

[114] Анненский Ин. О современном лиризме. 3. «Оне». С. 11.

разность, таящиеся под кажущимися противоречиями в мыслях и настроениях, почувствовал в поэтическом мире Гиппиус и А. А. Смирнов: «На самом деле в нем есть лишь одна большая идея, постепенно раскрывающаяся в своих разных степенях, подобная цельному кристаллу, поворачиваемому к нам то одной, то другой из своих очень несходных сторон».[115]

«Безмерное Я», «большая идея» в творческой метафизике Гиппиус обусловливают трактовку всех тем и мотивов, определяют тональность всех лирических эмоций и настроений, сконцентрированных в ее поэзии. Осуществление «большой идеи» открывается Гиппиус как путь к неведомому Богу: «Я знаю только одно, верю только в одно — это что *надо* Бога, что Бог — это то, что *не я*, и что мне нужно направление от *я* к этому *не я* <...> я не хочу творить кумира, я ищу одна это *направление* от меня к не ко мне, а ко Христу иду лишь как к Учителю, и он идет со мной <...> он Учитель, мой Учитель, самый мне близкий, но не Бог, не сам Бог, а звезда к Нему».[116] Потребность соприкоснуться с главной в мире божественной тайной связывается с мистической идеей троичности — развитой на основе центрального догмата христианской теологии концепцией грядущей церкви «белого, Иоаннова Евангелия» (подробно разработанная Мережковским, эта мировоззренческая система в интерпретации Гиппиус осмысляется как Троебратство — религиозно освященный метафизический союз людей). Мистический императив побуждает Гиппиус к отвлеченно-иносказательным формам поэтического высказывания. В ее стихах, при всей остроте наблюдательности и отчетливости мысли, редко встречаются пластические приметы материального мира как самоценный объект художественной интерпретации, чаще всего они возникают как форма выражения душевных пульсаций. «Жизнь», творимая подобным методом, не является слепком с действительности, это — жизнь умопостигаемая, обретаемая в скрещениях интеллекта с интуицией, рождающаяся на путях напряженного религиозного искания и молитвенного озарения. Гиппиус, по замечанию Н. Бердяева, «все ищет "смысла", и иногда кажется, что "жизнь" она любит меньше "смысла"».[117] Замкнутость в кругу отвлеченных смыслов и развоплощенных образов характерна для многих стихотворений Гиппиус; приведя одно из них («Предел», 1901), с заключительными строками:

Звуков хотим, — но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,

---

[115] Хроника журнала «Мир Искусства». 1903. № 16. С. 182.

[116] Письмо к З. А. Венгеровой от 4 мая (н. ст.) 1900 г. // ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542.

[117] Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 336 (статья «Преодоление декадентства», 1909).

Вечно их любим, вечно страдая, —
И умираем, не достигая... —

И. Анненский заметил: «это — ноты и аккорды, но на немом пианино».[118]

Путь к неведомому Богу, приводящий к достижению конечного единства и преодолению метафизических двойственностей, Гиппиус обретает через Любовь, которая для нее — и главная действенная жизненная сила, и важнейший атрибут души. Любовь в ее понимании — менее всего «земное», плотское чувство; божественная по своей природе, но обманчивая и постоянно ускользающая, она становится для Гиппиус и высшим мерилом всего совершающегося, и постоянным стимулом к выявлению своего подлинного «я» и к благому пересозданию мира. В письмах к З. А. Венгеровой писательница восклицает: «Любовь! Я истратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда всё истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что ее нет. Нет — или есть, как Бога нет или есть. Нельзя без него — и он есть, и плачем вечно о нем — ибо его нет. Я на расстоянии и не различаю теперь, точно ли я любви искала, хотела и ждала, — мне кажется, что я не думала о любви, а только о Боге» (18 мая 1897 года); «Я все свои силы любви отдала любви. Я люблю любовь так, как люблю Бога. Это один из бесконечных символов Бога» (2 мая 1897 года).[119] Порой Бог и Любовь в сознании Гиппиус сливаются до полной нерасторжимости: «Я ищу Бога-Любви, ведь это и есть Путь, и Истина, и жизнь. *От* Него, *в* Нем, *к* Нему — тут начинается и кончается все мое понимание выхода, избавления».[120]

Идеал божественной Любви, согласно трактовке Гиппиус, осуществим и в плане личной любви — «моста, который строит Эрос между двумя личностями»; чувство любви и рождаемое им состояние души «сопровождается ощущением, во-первых, абсолютной *единственности* любимого, и, во-вторых, — *вечности* любви»: «Меньше, чем на вечность, любовь не соглашается».[121] Этот идеал служил для Гиппиус мерилом человеческих отношений, которые, как уже отмечалось, играли в ее жизни исключительно значимую роль, и той нормой, которой она руководствовалась в своих многочисленных интеллектуальных «романах», страстных и мучительных по психологической напряженности, но непременно «умозрительных», вопреки широким пересудам (отчасти, возможно, спровоцированным самой Гиппиус — изготовившей, якобы, в молодости ожерелье из обручальных колец своих женатых поклонников[122] и всегда любившей драз-

[118] Анненский Ин. О современном лиризме. 3. «Оне». С. 8—9.

[119] ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542.

[120] Письмо к Д. В. Философову от 16 июля 1905 г. // Pachmuss Temira. Intellect and Ideas in Action. P. 69.

[121] Гиппиус З. Н. Арифметика любви // Числа. Кн. 5. Париж, 1931. С. 153, 154.

[122] См.: Злобин В. Тяжелая душа. С. 23.

нить приверженцев внешней «благопристойности»). Хорошо знавший ее П. П. Перцов замечал: «З. Н. и "любовь" в каком бы то ни было виде и смысле — "две вещи несовместные"»[123] — подразумевая под «любовью», разумеется, плотский эрос. Союз Гиппиус с Мережковским при этом оставался вне той сферы взаимоотношений и переживаний, в которой развивались ее метафизические «романы». «Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь, — записала Гиппиус 23 февраля 1893 года. — А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу».[124] В своих заметках о Гиппиус (1914) В. В. Розанов упомянул о браке с Мережковским: «...ни для кого не было сомнения из окружающих, что они собственно и "не живут". Это прямо невообразимо относительно их. <...> Да и очевидно оба в этом не нуждались и не могли».[125] В том же духе высказывался и Вяч. Иванов (согласно записи С. П. Каблукова от 5 июня 1909 года): «...она — по видимости (законная) жена Д. С. на самом деле — девушка, ибо никогда не могла отдаться мужчине, как бы ни любила его. В ее жизни были любовные увлечения, напр<имер> известным Флексером (А. Л. Волынским), с которым она одно время даже жила вместе в "Пале-Рояле", но эти увлечения не доходили до "падения". И в этом для нее — драма, ибо она женщина нежная и страстная, мать по призванию. <...> С Мережковским ее союз — чисто духовный теперь, как и с Дм. Философовым. Все трое они живут как аскеты, и все намеки на "ménage en trois" — гнусная выдумка».[126]

Любовь, к которой стремилась Гиппиус, простиралась за пределами «здоровья и жизни», она обреталась в страстно желаемом «том, чего нет на свете»; любовь для нее — это возможность преодоления земных условностей и обязательств, это — вечное движение к недосягаемому. Еще в начале 1890-х годов, объясняясь с Ф. А. Червинским, Гиппиус писала ему: «Вы хотели от меня преданности, чистоты и правды. Я хотела от вас «чудесной» любви, которой я не достойна <...>. И хорошо для Вас, что вы меня не любите. Потому что если б Вы любили — знаете, слишком глубоко в жизнь не надо заглядывать. Я хочу слишком много и слишком сильно. То, чего я хочу, больше меня самой. Я это вижу и покоряюсь этому».[127] Любовь, постигаемая в плоскости конкретных человеческих взаимоотношений, — это для Гиппиус, всегда и неизменно, «поединок роковой», по формуле Тютчева.

«Поединком роковым» оборачивались все ее глубокие и продолжительные любовные привязанности — «роман» с Н. М. Минским,

---

[123] Письмо к М. П. Перцовой от 22 сентября 1903 г. // РГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 67.

[124] Гиппиус З. Contes d'amour // Возрождение (Париж). 1969. № 211. С. 29.

[125] РГБ, ф. 249, карт. М 3872, ед. хр. 2, л. 1 об.

[126] РНБ, ф. 322, ед. хр. 4, л. 161—162.

[127] РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 9.

пережитый главным образом в 1891—1893 годах, но сказывавшийся и в последующие годы, не менее бурный «роман» с А. Л. Волынским, завязавшийся в 1894 году и закончившийся резким разрывом весной 1897 года, отношения с Д. В. Философовым, длившиеся около двух десятилетий и постоянно претерпевавшие свои внутренние метаморфозы.[128] Волынский подмечал двойственный характер «амурсточной игры», которой с самозабвением предавалась Гиппиус: «На поверхности была, по отношению ко всякому сколько-нибудь интересному собеседнику, — настоящая комедия любви, обаянию которой все и поддавались <...>. А внутри кипели бури серьезнейших мотивов».[129] «Тайна двух» была для нее шире пола: подобие любовных привязанностей правомерно усмотреть в отношениях Гиппиус с Е. Овербек, З. А. Венгеровой, П. С. Соловьевой, А. О. Фондаминской, Т. И. Манухиной, в последние годы — с шведской художницей Гретой Герелль (первую же, полудетскую, любовь-влюбленность Гиппиус пережила к своей двоюродной сестре Наташе[130]). Гиппиус постоянно рассуждает о своем желании оторваться от власти тела — «отказаться от старого нашего пола», как она призывает в одном из писем к Философову (1906?).[131] Попытки Минского перевести их отношения в сферу «земной» чувственности встречали у Гиппиус решительный протест. Подлинная любовь для нее — это «бесконечная близость в странах неведомых, доверие и правдивость», это «любовь слишком беспредельная», чувственная же любовь — любовь «рабская», лживая, оскорбительная. Все нюансы человеческих отношений она осмысляет и оценивает по критериям религиозно-этического максимализма.

Отношение Гиппиус к теме любви и «проблеме пола» было столь шокирующе непривычным, что невольно порождало кривотолки об «анатомических дефектах» и андрогинной физической природе писательницы [132], докатившиеся и до наших дней. Н. А. Бердяев замечает, что в Гиппиус «явно была перемешанность женской природы с мужской и трудно было определить, что сильнее».[133] Сама Гиппиус подчеркивала преобладание мужского начала в своей творческой индивидуальности: лирическое «я» в ее стихах — неизменно в мужском роде, псевдонимы, которыми она пользовалась, — также

---

[128] См.: Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / Публикация А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой // Минувшее. Исторический альманах. 12. С. 274—341; Злобин В. Тяжелая душа. С. 47—93 (глава «Гиппиус и Философов»).

[129] Волынский А. Л. Сильфида // Минувшее. Исторический альманах. 17. С. 261.

[130] См.: Гиппиус З. Моя первая любовь // Звено. 1924. № 71, 9 июня. С. 2—3.

[131] Pachmuss Temira. Intellect and Ideas in Action. P. 110.

[132] См.: Яновский В. С. Поля Елисейские. Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 138; Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». С. 114—115.

[133] Бердяев Н. Собр. соч. Т. 1. Самопознание. Paris, 1989. С. 162.

исключительно мужские (Антон Крайний, Л. Денисов, Н. Ропшин, Товарищ Герман, Роман Аренский, Лев Пущин, Никита Вечер, Антон Кирша, В. Витовт); не раз она заявляла о своей принципиальной «антиженственности», о дистанции, отделяющей ее от «обыкновенных» женщин и от их обиходных интересов и забот: женщины, признается Гиппиус, «редко встречаются такие, которым я интересна; обыкновенно они сразу смотрят на меня недоброжелательно <...> Женщина, когда она не человек, а женщина, когда она влюблена и несчастна,— способна решительно на все; я ее прощу — только отойду, чтобы она меня не ушибла, и пережду, пока она не придет в себя. Но я должна сказать, что я все-таки не сразу верю, что женщина только женщина — и хочу каждую считать человеком».[134]

«Бисексуальные» установки Гиппиус во многом подкреплялись идеями Отто Вейнингера, развитыми в исследовании «Пол и характер», о человеке как промежуточном явлении между двумя полярно-противоположными началами — мужским и женским (М и Ж). Интерпретации положений Вейнингера Гиппиус посвятила статью «Зверебог»; в ней подчеркивалась несводимость абстрактных дефиниций М и Ж к конкретным мужчинам и женщинам. Мужскому началу, как мыслительной категории, присущи активность, энергия мысли и творчества, примат индивидуальности, женскому — пассивность, безличностность, тенденция к ассимиляции: «В женском начале нет памяти, нет творчества, нет личности»; «Если человеческая женщина, как-никак, — иногда говорит, мыслит и развивается — это вмешанное в нее мужское начало творит»; «Ум женщины лежит в ее мужском Начале, поскольку оно в ней присутствует; и если в современной женщине оно *почти* не присутствует, то мы должны с полной справедливостью сказать, что у женщины *почти* нет ума», и т. д.[135] К банальной «женофобии» сводить все эти умозаключения было бы опрометчиво, поскольку Гиппиус рассуждает об условно обозначенных умозрительных полярностях, а не о людях; в идеале же человек должен нести в себе гармоническое сочетание, единство этих противоположных начал: «...мир *еще слишком* дифференцирован. Прямее говоря: сильное преобладание одного которого-нибудь Начала в каждом реальном индивидууме, — что мы фактически наблюдаем, — есть причина несовершенной Личности; и, напротив, ре-

[134] Письмо к В. Д. Комаровой от 21 августа 1898 г. // РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154. Ср. рассуждения Гиппиус в письме к Б. В. Савинкову (июнь 1908 года): «Дм<итрий> Влад<имирович> говорит, что я женщин ненавижу<...> Это неверно; я очень люблю женщин, очень, но очень понимаю их непонятность (больше их самих), очень жалею их, ясно вижу, где "не то", но помочь им нельзя, пока у них не будет сознания, что они "не то". А сознания не будет, пока они будут *только* женщинами. (Впрочем, я против "эмансипации" так, как она доселе понималась» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126. Дмитрий Владимирович — Философов).

[135] Гиппиус З. Зверебог. С. 20, 21, 24.

альное (пусть еще малое) существование обоих начал в одном и том же индивидууме — есть надежда, обещание, заря этой Личности».[136] В аспекте половых полярностей мы видим все ту же коллизию «двоемирия» и универсальную для мироощущения Гиппиус тенденцию к преодолению двойственности в единстве.

«Мировоззрительная» абстрактность творческих заданий, которые ставила перед собой Гиппиус, несомненно, ограничивала и будет ограничивать круг поклонников ее поэзии. В ряду поэтических систем символистов, отличающихся формальными новациями, широтой тематического диапазона и щедростью изобразительных средств, своеобразие стихов Гиппиус может быть лапидарно описано как набор «минус-приемов»: значимое отсутствие многих констант символистского эстетизма — одна из их наиболее индивидуальных и ярких черт. И в то же время, передавая с обнаженной откровенностью содержание сознания автора, эти стихи отнюдь не тусклы, не монотонны и никак не исчерпываются «мозгологией», усмотренной в них Кузминым; гораздо более верно отличительную черту поэзии Гиппиус подметил И. Ф. Анненский: «Отвлеченность Гиппиус вовсе не схематична по существу, точнее — в ее схемах всегда сквозит или тревога, или несказанность, или мучительные качания маятника в сердце».[137] Подлинная поэтичность, свойственная стихам Гиппиус — отвлеченным, строгим, холодно-сдержанным и подчеркнуто рационалистичным, — действительно, могли бы показаться чистым парадоксом, если бы темы и образы, волнующие автора, не были оплачены подлинными переживаниями и выстраданными рефлексиями, честным и пристрастным самоанализом.

Поэзия в понимании Гиппиус — это прежде всего лирическая медитация. Не менее отчетливо, чем в собственных творческих опытах, ее поэтические пристрастия и предпочтения отразились в любопытном сборнике «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус» (1917); в него вошли стихи многих поэтов, знаменитых и малоизвестных, но в композиции, выстроенной составительницей, все они доносят звучание ее лирического голоса. В. Ф. Ходасевич справедливо отмечал, что по стихам сборника можно судить, какие поэтические мотивы для Гиппиус дороже других: «И в самом деле по предлагаемой книге узнаем, что раздумье ближе ей, чем описание, что чистой лирике отдает она преимущество перед стихами, в которых есть элемент эпический».[138] Действительно, в центре мировосприятия Гиппиус — не жизнь, самоценная и самодостаточная, а мысль, экспериментирующая с жизненными реалиями и восприятиями, и эта особенность личности автора всецело подчиня-

[136] Там же. С. 23. Позднее Гиппиус в подробностях развила эти положения в речи «Арифметика любви», в которой утверждала, что андрогинизм — «коренное свойство человека»: «Человек <...> существо или *мужеженское* или *женомужское*; причем само сложение двух начал в каждом — лично, т. е. как личности единственно и неповторимо» (Числа. Кн. 5. С. 156).

[137] Анненский Ин. О современном лиризме. 3. «Оне». С. 9.

[138] Русские Ведомости. 1917. № 269, 6 декабря. С. 2. Подпись: W.

ет себе поэтическое творчество. Строки любимого ею Баратынского: «Но пред тобой, как пред нагим мечом, // Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная» («Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..», 1840) — Гиппиус по праву могла бы избрать эпиграфом к любой из своих поэтических книг. Эмоции, описания, наблюдения в стихах Гиппиус всегда зависимы от ее дисциплинирующего рационализма. «Судьбой ей было отказано в тех интуитивных состояниях, которые знал, например, Блок, — в состояниях, может быть, даже не «умных» с точки зрения интеллекта», — замечает Ю. К. Терапиано.[139] Трезвость аналитического ума и интеллектуальный скепсис при этом вовсе не оборачивались отрешенной рассудочностью. Призывая за собой на «спокойные и беспощадные высоты» и будучи убеждена в том, что путь к ним возможен лишь при «ясной свече разума» («Я люблю ясное, люблю то, что мне чистыми словами говорит разум»), Гиппиус в то же время оговаривает: «Я часто боюсь рассудка. Он наш враг, он порою идет против Бога и разума и шепчет нам подлые речи». Именно напряженно и свободно ищущий разум — а не формализирующий рассудок — открывает благую возможность «жить в отвлеченной борьбе» и «делать из явлений лестницу на небеса».[140] Того же принципиального различия между рассудком и разумом касается и Б. А. Садовской, когда пытается определить суть ее поэтической индивидуальности: «На всем творчестве З. Н. Гиппиус лежит печать глубокой мысли, отнюдь не рассудочности; в нем, если можно так выразиться, преобладает *чистый ум*. Умом Гиппиус постигает то, что смутно другие ощущают в сердце, ум освещает и охлаждает сердечные движения; оттого холодом веет от ее творений, благодатным холодом горной выси. <...> Самые стихи Гиппиус — спокойные, холодные мысли, овеянные дыханием поэзии».[141]

Главенствующее в творчестве Гиппиус интеллектуальное начало сказывается и в выборе тех средств поэтического самовыражения, которые отличительны для ее лирики. Строгий и одновременно свободный, легкий стих, ясная, четко обозначенная образная фактура, замкнутая в пределы неизменно выдержанной поэтической формы и неукоснительной логической нормы, лаконизм высказывания, доходящий до афористичности, пренебрежение внешними впечатлениями и эффектами, порой оборачивающееся аскетизмом, — во всем этом сказывается диктат разума, препятствующего неумеренным лирическим разливам, хаотическим эмоциональным всплескам, иррациональным наитиям и бесконтрольным импровизациям. В стихах Гиппиус иногда готовы были видеть осуществленный нонсенс — «поэзию, лишенную очарования и прелести», построенную «на какой-то жесткой и терпкой сухости»,[142] — но та же жесткость, волевая чет-

---

[139] Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 39.

[140] Из писем к З. А. Венгеровой от 27 мая, 2 июля и 18 августа 1897 г. // ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542.

[141] Современник. 1912. № 5. С. 363. Подпись: Б. С.

[142] Адамович Г. Одиночество и свобода. С. 83.

кость, идейная целостность этой поэзии и вся совокупность авторских самоограничений могли вызывать и совсем иные оценки: «...ее стихи так жестки порой, словно выжжены царской водкой на металлической поверхности».[143] Валерий Брюсов, убежденный поклонник поэзии Гиппиус, находил в образе из стихотворения «Водоскат» — «кипящая льдистость» — «лучшее определение пафоса» ее лирики: «...ее стихи, на первый взгляд, кажутся холодными и, пожалуй, однообразными, как белое ледяное поле, но в их глубине, действительно, есть "световой огонь". Как отважным путешественникам к полюсу, читателям должно преодолеть холод этой поэзии, чтобы перед ними заблистали наконец удивительные северные сияния». Такие читатели оценят и достоинства поэтического языка Гиппиус — его исключительную сжатость и певучесть, виртуозную способность к созданию сложных звуковых узоров, неброскую изысканность рифмовки, умение вдохнуть новую жизнь в банальные, отработанные приемы, гармоническую энергию в выстраивании образных контрастов и параллелизмов, сдержанную простоту, сочетающуюся с новизной и неожиданностью, в природоописаниях, в которых поэтесса, по замечанию того же Брюсова, «достигает иногда чисто тютчевской прозорливости».[144] Сравнительно небольшое по объему, неширокое по диапазону лирических тем и мотивов, внешне неяркое и неброское — в особенности на фоне переливающихся всеми цветами радуги поэтических миров многих ее современников, — стихотворное наследие Гиппиус имеет сугубо свое «лица необщее выраженье», в полной мере запечатлевшее основные черты ее уникальной творческой личности.

3

Около полутора десятилетий литературная деятельность Гиппиус сводилась преимущественно к ее индивидуальным поискам и свершениям. В начале века, в ходе двухлетней работы над изданием «Нового Пути» и в последующие годы, в этой деятельности все более значимое место начинают занимать «общественные» темы и интересы. В писательском облике Гиппиус теперь обозначаются две ипостаси, две равнозначные составляющие, — З. Н. Гиппиус и Антон Крайний, подразумевавшие, соответственно, ее индивидуальное и «общественное» «я»: девичьей фамилией обычно подписаны художественные тексты, псевдонимом — литературно-критические и философско-публицистические статьи. Используя этот псевдоним, Гиппиус вовсе не задавалась целью скрыть от читателя подлинного автора опубликованных текстов: на титульном листе сборника ее статей «Литературный дневник (1899—1907)» обозначено двойное авторское имя: Антон Крайний (З. Гиппиус), — но желала подчеркнуть, что мыслит свою

---

[143] Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». С. 101.
[144] Брюсов В. Среди стихов. С. 459, 462.

«общественную» работу, текущую журнальную публицистику, как некое «отдельное производство» — и вместе с тем как одно из двух равнозначимых воплощений собственной «двоящейся» натуры. В статье «Преодоление декадентства» Бердяев расценивал появление в литературе Антона Крайнего как один из симптомов того явления, которое обозначил ее заглавием: «А. Крайний тонко понимает, что личность гибнет на почве крайнего, ничем не ограниченного индивидуализма, что декадентство в пределе своем есть гибель, а не торжество индивидуальности. Сознание своего "я" связано с сознанием "не-я", с сознанием и признанием всех других "я"».[145] С годами становится все более различимым вклад Антона Крайнего и в поэтическое творчество Гиппиус: общественно-публицистическая проблематика окажется в ее стихах преобладающей в годы мировой войны и революции. Произведения, составившие поэтический раздел «Война», — это, по сути, первая последовательно осуществленная попытка Гиппиус рассказать в стихах не только о себе; дневник души в них выверен по историческому календарю.

События 1905 года дали мощный стимул развитию социально-политических взглядов Мережковского и Гиппиус, которые теперь становятся теснейшим образом связанными с их религиозно-мистическими доктринальными установками. Новый их лозунг — «религиозная общественность», предполагающая соединение задач общественно-политического и религиозного обновления. Мережковские верили, что только «религиозная общественность» способна обеспечить решение исторически сиюминутных задач и открыть пути к «Грядущему Граду», к повсеместному торжеству «нового» христианства. Если ранее они оставались фактически индифферентными к социально-политической жизни, то в течение 1900-х годов становятся все более непримиримыми и последовательными радикалами, убежденными борцами с самодержавием и всей консервативной государственной системой старой России. 9 января «перевернуло нас», признается Гиппиус; 21 июля 1905 года она записала: «Да, самодержавие — от Антихриста!»[146] Полоненные этой идеей,

---

[145] Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 338. Ср. позднейшие рассуждения Гиппиус о двух ликах своего авторского «я» в письме к М. М. Винаверу от 12 июля 1926 г. (в связи с окончанием работы над статьей «Лик человеческий и лик времени («Недавнее»)», напечатанной в парижской газете «Звено» 25 июля 1926 г. за подписью Гиппиус): «...я непременно хотела исполнить ваше желание и дать статейку З. Гиппиус. А она пишет критику гораздо медленнее (и скучнее, по правде сказать). Как это ни странно, но психологическое перевоплощение в А. Крайнего дает мне другие способности, хотя иных, в то же время, лишает»; высылая Винаверу рукопись статьи, Гиппиус заметила (13 июля 1926 г.): «Хотя и не А<нтон> Кр<айний> ее писал, но некоторая "суховатость" в ней все-таки заметна» (РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр.21).

[146] Гиппиус З. О Бывшем // Возрождение. 1970. № 219. С. 71, 72.

Мережковские в феврале 1906 года отбывают в Париж, где проводят более двух лет.[147] В Париже они выпускают в свет антимонархический сборник политических статей на французском языке («Le Tsar et la Révolution», 1907), вращаются в кругах революционной эмиграции (сближаясь с наиболее «крайними» — И. И. Фондаминским, одно время членом боевой организации эсеров, а затем и с Б. В. Савинковым); во французской среде их также более всего интересуют представители радикальных политических партий. Погружение в «общественность» не способствует умалению религиозных интересов Гиппиус: и в этой сфере перед ней возникают новые горизонты — новые грани грядущего синтеза (открывавшиеся, в частности, в западноевропейском неокатолическом движении, отчасти созвучном по религиозно-обновленческим задачам с построениями Мережковских). При этом весьма острой ощущалась проблема литературного пристанища: после прекращения «Нового Пути» у Мережковских не было «своего» журнала; участие в главном символистском органе — «Весах», руководимых Брюсовым, — было ограничено как скромным объемом издания, так и его идейно-тематическими рамками и установкой на приоритет эстетических задач перед мировоззренческими и жизнестроительными; попытки взять под свою эгиду журналы «Образование», «Русская Мысль» (в 1908 году, по возвращении из-за границы) и другие органы печати также не давали желаемых результатов. Однако внешние сложности не умаляли действенного пафоса, которого была исполнена Гиппиус в своих оценках современного положения России и состояния общественной психологии. Признавая, что в среде интеллигенции царят растерянность, разброд, упаднические настроения, абсурдные идеи, она тем не менее видела в идейной сумятице потенции позитивного развития: в окружающем бурлящем хаосе «есть зерна истинного сознания, в нем рождается новая мысль, новое ощущение себя, людей и мира, надежда на иное искусство, иное действие»; условием осуществления этих потенций является активная, конструктивная общественная позиция и разумно направленная воля: «...довольно стонать, ныть, браниться и Гиппиус "все отвергать". Это капризы и ребячество. Будем искать доброго, а худое само от-

[147] См.: Соболев А. Л. Мережковские в Париже (1906—1908) // Лица. Биографический альманах. 1. М.; СПб., 1992. С. 319—371. Политические воззрения и «компрометирующие» личные связи Мережковских не могли остаться вне поля зрения надзорных и полицейских инстанций; в этой связи постоянно обсуждалась тема возможной эмиграции. 4 февраля 1912 г. Гиппиус писала Б. В. Савинкову из Парижа: «...по тому судя, чем в России сейчас пахнет, — очень просто: пошпыняют и вышлют. Мы — надоели. Мы — редкие "неуспокоившиеся" обыватели. На нас глядят с досадой. Сыщик буквально не отходит от наших дверей, другой приник к нашему телефону, а вместо писем мы просто получаем пустые конверты, с пометкой, что "письмо вынуто"» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126).

падет. Тьму, сколько ни размахивай руками, не разгонишь; а затеплится огонь — она сама отступит».[148]

Общественные приоритеты с годами со все большей силой начинают влиять на литературную стратегию Гиппиус и характер ее самоопределения в писательской среде. Вспоминая о встречах в 1905 году, Андрей Белый отмечал: «З. Гиппиус уходила в "*проблемы*", отмахивалась от поэзии».[149] Значимость поэзии теперь открывалась для Гиппиус во многом в возможности ставить «проблемы» в наиболее острых ракурсах; «проблемное» начало начинает безраздельно господствовать и в ее художественной прозе. Ее романы «Чертова кукла» (1911) и «Роман-царевич» (1912) — сугубо «идейные» конструкции, романы à thèse, в которых средства художественной выразительности всецело подчинены выявлению определенных теоретических тезисов и построений, в данном случае — обоснованию соединения революционного дела с религиозным началом как пути к человеческому совершенству и свободе. С годами антидекадентство и антиэстетизм переходили у Гиппиус в заведомое пренебрежение эстетическими запросами, в готовность к прямолинейно-прагматическому исполнению творческого задания. Иногда эта тенденция порождала образцы сухого повествовательного стиля, не нуждавшегося в дополнительном украшательстве, иногда — оборачивалась безликостью (чаще всего в прозаических опытах). Необходимо подчеркнуть, что новое «разрушение эстетики», на которое готова была отважиться Гиппиус, было тоже следствием ее общей идейно-эстетической позиции, какой она определилась в 1910-е годы — в период всеобщего торжества «нового» искусства, появления новых поэтических школ, эстетических программ и разнообразных художественных «дерзновений».

Ограничение творческой деятельности рамками эстетических, узкопрофессиональных задач Гиппиус считала делом несерьезным и недостойным и выступала против искусства, игнорировавшего актуальную общественную проблематику, с непримиримым ригоризмом. В давней и неизбывной коллизии противостояния «поэта» и «гражданина», очерченной Некрасовым, Гиппиус определенно предпочитала позицию «гражданина» и с особой силой отстаивала ее в дни, когда репутация «поэта» стала решающим образом зависеть от его «гражданского» поведения. «Вы мне вчера сказали (и правильно сказали): "Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан", —

---

[148] Антон Крайний. Добрый хаос // Образование. 1908. № 7. Отд. III. С. 14, 18. В своих актуальных выводах и призывах, направленных к современникам, Гиппиус оставалась последовательно верна основаниям собственной метафизики. Например, 11 марта 1911 г. она писала Б. В. Савинкову: «...я не очень верю в пассивное ожидание, думаю, что *воля и дело* важны в каждое мгновенье жизни <...>. К вере толкает жизнь; вера же толкает к жизни, — и вот так получается необходимая цепь, — или, если хотите, лестница вверх» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126).

[149] Андрей Белый. О Блоке. С. 93.

писал Гиппиус 2 октября 1922 года журналист С. В. Познер. — В воспоминаниях о Блоке Вы особенно подчеркнули великое значение сознания ответственности в жизни человека и особливо — писателя».[150] Согласно убеждению Гиппиус, лишь «правда души», «единственность» в ее высказывании могли придавать значение произведению, игнорирующему «гражданские» мотивы, — а отнюдь не художественные совершенства.[151] Став с годами признанным литератором и обладая тем самым широкими возможностями опубликования своих произведений, она предпочитала издания массовые — элитарным, широкие и даже «всеядные» по эстетическим установкам — «программным» и кружковым. В дни, когда с немалым эффектом дебютировал модернистский «Аполлон» (журнал, в котором она не выступила ни разу), Гиппиус с явным вызовом писала Брюсову: «...вообще же лучшим для себя журналом я признаю — провинциальное Новое Слово (приложение к Биржевке) и лучшим редактором — Ясинского. Тихо, мирно и выгодно».[152] А несколько лет спустя, характеризуя в письме к А. В. Ширяевцу литературно-политический еженедельник «Голос жизни», к деятельности которого она имела прямое касательство, отмечала, что у него «демократическая и простая редакция».[153]

---

[150] Королева Н. В. Неизвестные письма А. А. Блока к Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1994. М., 1996. С. 41. Те же некрасовские строки приводит Г. В. Адамович, рассуждая о двух тенденциях в поэтическом творчестве Гиппиус, наглядно выявляющих двойственность и «диалогичность» ее мировосприятия: «То, что Гиппиус, не переставая быть поэтом, так страстно увлекается то общественностью, то религией, то политикой, резко выделяет ее из ряда российских Орфеев. <...> Это вполне новые ноты в русской литературе.

Помните:

Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв!

Как бы в ответ на эти знаменитые строки было сказано:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

Вся литературная деятельность Гиппиус есть как бы комментарий к этим двум «наставлениям», желание соединить и примирить их» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. № 125, 22 июня. С. 2).

[151] Ср. замечание Гиппиус в письме к В. А. Злобину от 26 сентября 1916 г.: «...уж очень много "хороших" стихов, которые так плохи... *по какому-то...* (выражение Андр<ея> Белого), а я скажу — плохи по неуловимой их "неединственности" (каждое стихотворение, в конечном счете и суде, или "единственное", или не существует)» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 41).

[152] Письмо от 20 ноября 1909 г. // РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40.

[153] Письмо от 24 мая 1915 г. // De Visu. 1993. № 3(4). С. 27.

«Демократические» тяготения Гиппиус нашли свое неожиданное преломление после начала мировой войны — в изложенных ею в «простонародном» стиле стихотворных женских письмах солдатам в действующую армию, которые составили книгу «Как мы воинам писали и что они нам отвечали». Отправительницы писем — Катя Суханова, Аксюша Алексеева и Дарья Павловна Соколова, но «писала от имени трех своих прислуг З. Гиппиус-Мережковская. <...> Вместе с тем З. Н. Гиппиус послала в один из пехотных полков подарки кисеты; в них также было вложено по письму».[154] Затея получила неожиданно широкий резонанс (стихотворные послания были перепечатаны «Вестником X армии», было получено до четырехсот ответных писем, из которых в книжке помещены пятьдесят), однако трудно признать эти опыты «лубочного» творчества новым художественным достижением писательницы. Такие строки, как:

Лети, лети подарочек,
На дальнюю сторонушку,
Достанься мой подарочек,
Кому всего нужней.

Поклоны шлю я низкие
Солдатикам и унтерам,
Со всеми офицерами
(Коль ласковы до вас).
. . . .
Кто дома кинул детушек,
Иль тайную зазнобушку,
Иль милую жену —

Пускай не беспокоится:
Семья его накормлена,
Жена его устроена,
Зазнобушка верна[155] —

видимо, вполне красноречиво свидетельствуют, что ни в стилизации, ни в имитации «чужого» слова Гиппиус, поэт принципиально «однострунный», проявить себя с успехом не могла.

Чужеродность «солдатских писем» поэтическому творчеству и внутреннему миру Гиппиус подтверждается и тем, что в отношении к войне у нее даже в первые месяцы патриотического подъема не было и тени того энтузиазма, который роднил тогда многих русских писателей:

В часы неоправданного страдания
И нерешенной битвы

---

[154] Слонимский Н. Солдатские письма (Новая книга З. Гиппиус) // Журнал журналов. 1915. № 33, декабрь. С. 10.

[155] Как мы воинам писали и что они нам отвечали. Книга-подарок. Составлено З. Гиппиус. М., 1915. С. 9—10.

Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы.

(«Тише!», август 1914)

По мере развития событий антивоенная позиция Гиппиус становится все более жесткой и непримиримой: «Нет оправдания войне, // И никогда не будет» («Без оправданья», апрель 1916 года); столь же резко обостряется ее неприятие российской самодержавной власти, вкупе с нарастающей тревогой ожидания надвигающихся общенациональных потрясений.[156] Она пытается распознать и поддержать живительные силы в обществе, способные противостоять лихолетью, и обращает ищущий взор к молодому поколению. С молодежью и ее исканиями Гиппиус связывает свои надежды на благотворное общественное обновление России: «Да здравствуют молодость, правда и воля! // Вперед! Нас зовет Небывалое» («Молодое знамя», март 1915 года). Очередное «проблемное» произведение Гиппиус — пьеса «Зеленое кольцо», написанная еще до войны, в январе 1914 года, и воплотившая эти надежды, — возникло, по ее признанию, из «общенья с петербургской молодежью того времени», с посетителями ее «воскресений»[157]: среди них были и начинающие поэты Г. Маслов, Д. Майзельс, Н. Ястребов, и в их числе будущий ее секретарь В. Злобин.

Подобие литературного молодежного кружка, сложившегося вокруг Гиппиус в предреволюционные годы, было именно подобием, а не профессиональным творческим объединением, каких в 1910-е годы возникло немалое количество, и сама она менее всего стремилась приобрести амплуа поэтической «мэтрессы» (хотя содействовала печатанию произведений своих питомцев и даже включила несколько их вещей в упоминавшийся выше сборник «Восемьдесят восемь современных стихотворений», наравне с текстами признанных поэтов). Реальное объединение, давшее идею «Зеленого кольца», представляло собой не столько поэтический цех, сколько интеллектуальный клуб, индифферентный по отношению к сформировавшимся «школам» и литературным направлениям; решение эстетических задач ставилось в нем в тесную обусловленную связь с глубиной и правдой самовыражения, и только. Характерно, что из-под крыла Гиппиус не вышло ни одного крупного поэта, хотя в начинающих стихотворцев она всматривалась с пристальным интересом и в некоторых находила определенные задатки к подлинному творчеству: ее поразил «мальчик в пелеринке» из захолустной Шуши, семнадцатилетний М. Део (Морис Джанумян), сильное впечатление осталось от тетради стихов пятнадцатилетней Софьи Богданович,

---

[156] О позиции Гиппиус во время мировой войны см.: Hellman Ben. Poets of Hope and Despair. The Russian Symbolists in War and Revolution (1914—1918). Helsinki, 1995. P. 139—155.

[157] Гиппиус З. Старая, новая и вечная // Сегодня (Рига). 1933. № 194, 17 июля.

и т. д.[158] — и причина этой литературной нереализованности не только в кровавых драмах российской истории (М. Део был убит в Гражданскую войну на Кавказе, но Софья Богданович дожила до преклонных лет, как и некоторые другие, начинавшие под опекой Гиппиус). В пробах пера молодых поэтов Гиппиус привлекали главным образом те опыты, в которых она — сознательно или бессознательно — обнаруживала структурные подобия собственного типа творчества, уникального по сочетанию энергии самовыражения с непроизвольным художественном мастерством, и не удивительно, что более или менее близкие и «говорившие» ей индивидуальности, не наделенные столь же своеобразным и сильным природным дарованием и не ориентированные ею на овладение «техникой» писательства, так и не вливались в литературу или оказывались на ее периферии.

Своеобразный «утилитаризм» в эстетических оценках, к которому тяготела Гиппиус, был существенным образом обусловлен установками «религиозной общественности» — магистральной идеей преемственности по отношению к прежним поколениям русских революционеров, начиная с декабристов, к исканиям и духовным заветам — святым и абсолютным — радикальной русской интеллигенции, в том числе и к ее эстетическим требованиям. Чрезвычайно знаменателен в этом отношении резко критический отклик Гиппиус на статью А. Блока «Судьба Аполлона Григорьева» (1915), в которой очерк жизни и деятельности прочно забытого к тому времени замечательного поэта и критика-«почвенника» сопровождался нелицеприятными характеристиками «генералов русской интеллигенции» — Белинского, Чернышевского и других выразителей «западнических», демократических и революционных традиций.[159] «Я искала *понять* страдание Белинского, Чернышевского, Бакунина, — писала Гиппиус Блоку 5 декабря 1915 года, — и у каждого мне что-то понялось, открылось, увиделось во времени, и для меня нет этой "пустоты безвременья", провала между Ап<оллоном> Гр<игорьевым> и нами, он заполнен тоже страданьем и любовью. <...> И как-то близко-понятно мне открывается иногда "жертвенность" Белинского, Чернышевского, Бакунина, даже Некрасова <...>. Мы — в самом деле *сегод-*

[158] См. очерки Гиппиус «Мальчик в пелеринке (Встреча)» (Сегодня. 1924. №№ 69, 70, 23 и 25 марта), «Два разговора с поэтами» (Звено. 1926. № 159, 14 февраля), заметку А. Л. Соболева «"Грядущее" Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус» (De Visu. 1993. № 2(3). С. 43) и дополнение к ней Р. Тименчика (De Visu. 1993. № 5(6). С. 99), а также статью Константина Петросова «Опавшие лепестки. Стихи Мориса Део» (Русская мысль. 1998. № 4222, 14—20 мая. С. 14), излагающую, наряду с биографическими сведениями о М. Део, содержание его единственной книги стихотворений «Опавшие лепестки» (Кисловодск, 1915).

[159] См.: Гиппиус З. «Судьба Аполлона Григорьева» (по поводу статьи А. А. Блока <...>) // Огни. Кн. 1. Пг., 1916. С. 263—278.

пяшние Ап<оллоны> Гр<игорьевы>, и сегодня *не можем* сплошь отрицать Белинского и Черн<ышевского> в их абсолютной, в истории переломленной, в личности отраженной, правде».[160]

Думается, что в этой полемике уже явственно обозначается линия того расхождения, которое станет для Гиппиус и Блока непреодолимым после появления «Двенадцати», выявив совершенно различную природу «музыки революции» Блока и тех революционных заповедей, которым сохраняли верность Мережковские. Революция, принятая Блоком, — это некий иррациональный максималистский акт, своего рода благой апокалипсис, возвещающий «крушение гуманизма» и открывающий за стихийными катаклизмами «новое небо и новую землю»; атрибут этой революции — именно «музыка», гипнотизирующая личность и растворяющая ее в себе, а не разум и выпестованные им нормы общественного поведения, не нравственные начала, не историческое, и уж подавно не социально-политическое, сознание и осознание совершающегося; это — торжество нового «почвенничества» в «скифском» обличье. Революция, отвергнутая Гиппиус, — это попрание подлинно гуманистических — генетически «западных» — заветов и ценностей, идей свободы и основ демократии, это, по сути, самая кромешная реакция и самая насильственная из форм самодержавия, скрывающаяся под революционной личиной.

Подлинная революция для Гиппиус и Мережковского совершилась в феврале—марте 1917 года, и они встретили ее с величайшим воодушевлением. Стихотворение Гиппиус «Юный март» (8 марта 1917 года), исключительно цельное по своему одическому пафосу, передает со всей полнотой их настроения тех дней:

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.
Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч.
Но свяжемся клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!

Сразу после падения самодержавия Мережковские с головой погрузились в политическую жизнь; наиболее близка им была позиция А. Ф. Керенского, и поначалу они возлагали на его лидерство в новом революционном правительстве России большие надежды. Вхождение Мережковских в самое горнило событий имело свой наглядный «топографический» аналог: с 1913 года они жили в доме на углу Сергиевской и Потемкинской улиц, рядом с Таврическим дворцом, в котором вершилась судьба страны; квартира их оказалась одним из неформальных центров общественной жизни. Однако еще накануне революции, в январе 1917 года, предчувствуя неотвратимость ее, Гиппиус ощущала, что в революции могут открыться две ипостаси —

---

[160] Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими. С. 199, 200.

«Она», средоточие всех ее упований, и «Оно», нечто «гибло-ужасное» и «бесплодное». Постепенно обличье этого «Оно» вырисовывается для нее в набирающем силы большевизме, провоцирующем на бунт — «бессмысленный и тупой»: «Главные вожаки большевизма — к России никакого отношения не имеют и о ней меньше всего заботятся. <...> Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах... право, не знаю точно, своих или германских, только *не* в интересах русского народа» (18 июня 1917 года). Ратуя за революционно-творческое начало, Гиппиус безмерно отчаивается, видя, как революция от месяца к месяцу вырождается, благодаря политическим ошибкам ее лидеров, безвластию, разноголосице в среде интеллигенции, нарастанию диких разрушительных сил. Во вторник 24 октября 1917 года Гиппиус записала: «...готовится "социальный переворот", самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час».[161]

Октябрь 1917 года Гиппиус восприняла как контрреволюционный путч и зримое пришествие того «хама», которого Мережковский провидел «грядущим» еще в 1905 году. Октябрь для нее — это и конкретное преступление политических проходимцев, и великий общий грех народа, допустившего их к власти и позволившего измываться над собою. «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, // Народ, не уважающий святынь!» — восклицала она в стихотворении «Веселье» (29 октября 1917 года). Долгие годы на примере этих строк советских читателей заверяли в том, что Гиппиус ненавидела свой народ и готова была вершить над ним расправу, хотя самоочевидно, что не себя и не себе подобных, представителей российской интеллектуальной и культурной элиты, подразумевала поэтесса в роли «усмирителей» народа, а скорее тех, кто на деле совершил предугаданное ею. Политические стихи Гиппиус, исполненные гнева и пристрастия, шокировали многих ее современников, привыкших к совсем иному звучанию ее музы, по просвещенному читателю конца XX века они едва ли покажутся чрезмерно резкими или даже вообще тенденциозными. По-прежнему ее стихи имеют дневниковый характер, но содержание их вбирает уже не только душевную жизнь автора, но и историческую хронику. Энергию и силу этих афористически сжатых стихотворных вердиктов признавали порой и те критики, которые по своим политическим взглядам были от Гиппиус весьма далеки; в их числе — идеолог «скифства» Иванов-Разумник (статья «Бобок», 1919) и «евразиец» Д. П. Святополк-Мирский, утверждавший преемственность Гиппиус Тютчеву главным образом в стихах «общественного» звучания: «Особенно сближает ее с ним то, что одна изо всех русских поэтов после него она создала настоящую поэзию политической инвективы. Даже написанные в состоянии крайнего озлобления стихи 1917—18 годов — подлинно-поэтическая брань,

---

[161] Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914—1919. Нью-Йорк, 1990. С. 68, 132—133, 190.

достойная сравнения со стихами Тютчева на приезд Австрийского Эрцгерцога или на князя Суворова».[162]

Царство большевиков, по убеждению Гиппиус, — это начало исчезновения «*человека* как единицы», это «перманентная война» («Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т. е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных»), это «в истории небывалое, всеобщее *рабство*» («Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров»), это отсутствие на деле того, что объявлено большевистскими завоеваниями («Революции — *нет*. Диктатуры пролетариата — *нет*. Социализма — *нет*. Советов, и тех — *нет*»), это, наконец, тотальная ложь — «основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления».[163] Особый грех, как убеждена Гиппиус, при этом лежит на тех представителях литературно-художественного мира — «искусниках» и «культурниках», «русских болтунах в тогах на немытом теле», — которые пытаются уклониться от «политики», оставаясь в мире «вечных ценностей», или придумать оправдание совершившемуся.[164] Утверждая, что главный признак человека — это ответственность за свои взгляды и свершения, Гиппиус отказывается простить Блоку и Белому — их послеоктябрьские революционные экстазы, М. Горькому — непоследовательность убеждений и двойственную, колеблющуюся линию поведения, Герберту Уэллсу — политический дальтонизм его книги «Россия во мгле».[165] Видя первейшую и единственную цель в свержении большевизма, она выступает против каких-либо компромиссов с теми, кто думает иначе, и в то же время готова на любые компромиссы с теми, кто разделяет ее основные установки: «...кто бы ни боролся с большевиками — лишь бы победил; кто бы ни шел против них — всякому помогать. Ибо КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ ДЕНЬ ИМЕННО БОЛЬШЕВИЦКОЙ ВЛАСТИ — ЛИШНИЙ ГОД ПОЗОРА РОССИИ. <...> Чем больше они усидят — тем дольше будут сидеть» (5 января 1918 года). С особой горечью она констатирует всеевропейское «ничегонепониманье и ничегонепредвиденье» (1/14 октября 1918 года) перед лицом российской катастрофы, взывает к зарубежным лидерам: «...не ставьте никаких условий больше-

---

[162] Святополк-Мирский Д., кн. Годовщины // Версты. 1928. № 3. С. 142.

[163] Гиппиус З. Петербургские дневники. С. 230, 253, 299, 303, 304.

[164] См.: Антон Крайний. Литературный фельетон // Вечерний звон. 1917. № 3, 8 декабря. С. 3. Часть статей Гиппиус этого времени вошла в нашу публикацию «"Люди и нелюди". Из публицистики З. Н. Гиппиус первых послеоктябрьских месяцев» (Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 52—62).

[165] См.: Гиппиус З. Роман о мистере Уэллсе // Грани. № 83. Мюнхен, 1972. С. 117—128 (Публикация Т. Пахмусс).

викам! Никаких — потому что они *все примут*, а *вы поверите*, что они их исполнят. Есть только одно единственное "условие", которое им можно поставить, да и оно, если условие — бесполезно, а благодатно лишь как повеление. Это — "УБИРАЙТЕСЬ К ЧЕРТУ"» (12 января 1919 года).[166]

Продолжая жить в первые послеоктябрьские годы в Петрограде, Мережковские в полной мере ощутили на своей судьбе все гримасы эпохи «военного коммунизма» — голод, разруху, абсурдные реляции новой власти, обыски, не миновавшие и их квартиру. Идти на какое-либо, хотя бы и формальное, сотрудничество с учреждениями, подконтрольными большевикам, они не считали для себя возможным, литературных и жизненных перспектив не открывалось никаких, выход был один — в эмиграции.

24 декабря 1919 года Мережковский, Гиппиус, Философов и В. Злобин выехали из Петрограда в Гомель, в январе 1920 года они нелегально перешли польскую границу. Несколько месяцев в Варшаве были заняты активной пропагандистской деятельностью — основанием газеты «Свобода», встречами с Б. В. Савинковым, лекциями, писанием политических статей.[167] Под псевдонимом Антон Кирша Гиппиус выпустила небольшой сборник «Походных песен»; в очередной раз демонстративно пренебрегая «эстетикой», поэтесса представила в этих «песнях» характерные образцы жанра публицистических агитационных стихов, по иронии жанрового и стилевого сходства перекликавшиеся с теми, что в ту же пору по другую сторону польской границы в изобилии выходили из-под пера Демьяна Бедного. Все усилия организовать действенный отпор советской власти не дали желаемых результатов, и с ноября 1920 года Мережковские, расставшиеся с Философовым [168], обосновались в Париже. Последние двадцать пять лет жизни Гиппиус прошли по большей части в столице Франции.

Литературная деятельность Гиппиус в Париже продолжалась с не меньшей интенсивностью, чем на родине. Ее стихи, рассказы, статьи

---

[166] «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подготовка текста М. М. Павловой. Вступ. статья и примечания М. М. Павловой и Д. И. Зубарева // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 44, 117, 131.

[167] См.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. С. 249—292; Гиппиус З. Польша 20-го года (Записи из дневника) // Возрождение. 1950. № 12. С. 118—132; Гиппиус З. Варшавский дневник // Возрождение. 1969. № 214. С. 77—86; № 215. С. 90—111; № 216. С. 27—44.

[168] Глубокое разочарование итогами своей варшавской деятельности Гиппиус отразила в «Коричневой тетради» — дневниковых записях 1921—1925 годов, обращенных к Философову и полных резких суждений по адресу Савинкова — по ее мнению, злого гения Философова, соблазнившего его бесплодными политическими комбинациями (см.: Возрождение. 1970. № 221. С. 28—39).

постоянно появлялись в авторитетнейших изданиях русской эмиграции — журналах «Современные Записки», «Иллюстрированная Россия», «Новый Дом», «Новый Корабль», «Числа», газетах «Общее Дело», «Последние новости», «Звено», «За свободу», «Сегодня», «Возрождение», во многих других органах печати. В числе немногих писателей русского зарубежья Гиппиус пользовалась репутацией живого классика. Житейские тяготы эмиграции для Мережковских были менее болезненными, чем для многих других изгнанников, поскольку у них оставалась в Париже своя квартира с довоенных времен, и, «приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте: книги, посуду, белье». И все же чувство утраты родины и осознание всей глубины катастрофы, с ней совершившейся, делало их внешне благополучную жизнь горькой и мучительной. Н. Берберова свидетельствует, что диалоги супругов постоянно были выдержаны в одной тональности: «Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?» — «Свобода без России, — отвечала она, — и потому я здесь, а не там». — «Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но... на что мне, собственно, нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?»[169]

Идея свободы оставалась для Гиппиус высшей прерогативой во всех ее устремлениях и начинаниях; из верности этой идее она предлагала исходить в попытках самоопределения русской эмиграции. При обсуждении своего доклада «Русская литература в изгнании», прочитанного 5 февраля 1927 года в обществе «Зеленая лампа», она провозгласила: «Некогда хозяин земли русской, Петр, посылал молодых недорослей в Европу, на людей посмотреть, поучиться "наукам". А что если и нас какой-то Хозяин послал туда же, тоже поучиться, — между прочим и науке мало нам знакомой — Свободе?»[170] В представлении Гиппиус идея свободы, ниспосланная человеку Богом, предполагает право всякого индивидуума самореализоваться сообразно своим способностям, осуществить свою личность; претворение этой идеи в реальность возможно лишь в условиях демократии и устанавливаемой ею системы государственно-общественной регуляции.[171] Верность идеалам свободы, возвещенным в России Февральской революцией, Гиппиус полагала в основу всех проектов общественно-политических объединений, над которыми она размышляла в эмиграции. В их числе — парижская религиозно-политическая организация начала 1920-х годов «Союз Непримиримости», в которую, кроме нее и Мережковского, входили А. В. Карташев, В. А. Злобин, патриарх народничества Н. В. Чайковский, И. П. Демидов (помощник П. Н. Милюкова в газете «Последние новости») и Н. В. Вакар, член кадетской партии; духовно-революционный союз «февра-

[169] Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 283, 284.

[170] Новый Корабль (Париж). 1927. № 2. С. 41.

[171] См. статью Гиппиус «Оправдание свободы» (Современные Записки. 1924. № 22. С. 293—315).

листов», надпартийный и всенациональный, призван был, по убеждению Гиппиус, исходя из христианских основоположений и руководствуясь принципом сознательной ответственности, подготавливать почву для возрождения России на путях последовательного противостояния большевистской контрреволюции «в красной маске».[172] Исполнить свою миссию русская эмиграция могла, как указывала Гиппиус в программной публицистической статье «Наше прямое дело», лишь будучи крепко спаянной, лишь в общем осознании того, что она обязана приобретать и накапливать зарубежный опыт цивилизованной жизни ради будущего своей родины, ввергнутой в новое варварство: «Все, чему можно научиться, что можно создать, добыть трудом и волею, живя *в условиях свободы*, все это зарубежный русский народ должен понести в Россию. Лишь с таким имением нужен он родной земле... так же, как земля нужна — ему».[173]

Как и в России, в Париже Мережковские создали вокруг себя один из центров литературной и общественной жизни. Каждое воскресенье в их квартире на улице Колонель Бонне в Пасси проходили традиционные собрания-собеседования с участием как маститых авторов дореволюционной эпохи, так и «молодых», вступивших на литературное поприще в эмиграции. Постоянный участник этих «воскресений», поэт и критик Ю. Терапиано вспоминает: «Около Гиппиус шли разговоры о литературе, о поэзии, об "общих идеях". Она, естественно, была в курсе всех литературных событий и происшествий».[174] Юрий Фельзен свидетельствует, что Гиппиус выдвигала одно-единственное условие участия в собеседованиях — «чистоту в смысле антибольшевизма», тематический же спектр их был самым широким: «О чем только не говорилось на этих воскресных собраниях. Толстой, политика, большевики, религия, Марсель Пруст, русские символисты, французские неокатолики, греческая трагедия...»[175] Домашние «воскресенья» дали толчок для создания общества «Зеленая лампа», возникшего по инициативе Мережковского и Гиппиус в феврале 1927 года и просуществовавшего до 1939 года. Это содружество стало не просто одной из наиболее заметных достопримечательностей русского Парижа, но средоточием его интеллектуальной жизни,

---

[172] См. осуществленные Темирой Пахмусс публикации программных документов этого объединения, составленных Гиппиус: «Зинаида Гиппиус: profession de foi» (Новый Журнал. 1975. № 121. С. 127—143), «Зинаида Гиппиус: о *непримиримости*, о коммуно-большевизме и его противниках» (Современник (Торонто). 1975. № 28/29. С. 34—47), «Из архивов Зинаиды Николаевны Гиппиус: Ранние годы эмиграции» (Записки Русской Академической группы в США. Т. XXIII. New York, 1990. С. 213—222).

[173] «Что делать русской эмиграции»: Статьи З. Н. Гиппиус и К. Р. Кочаровского с предисловием И. И. Бунакова. Париж, 1930. С. 14.

[174] Терапиано Ю. Встречи. С. 45.

[175] Фельзен Ю. У Мережковских по воскресеньям // Даугава. 1989. № 9. С. 105, 106.

местом обсуждения самых разнообразных актуальных вопросов. В администрацию «Зеленой лампы» входили Мережковский, Гиппиус и Георгий Иванов, в собраниях постоянно участвовали крупнейшие писатели (И. Бунин, А. Ремизов, Б. Зайцев, В. Ходасевич, Тэффи, М. Алданов), философы (Н. Бердяев, Г. Федотов, Л. Шестов), журналисты (И. Бунаков-Фондаминский, М. Вишняк, В. Руднев), молодые поэты; аудитория иных собраний насчитывала несколько сотен человек. «Зеленую лампу» Мережковские задумывали, по словам того же Терапиано, как «нечто вроде "инкубатора идей", род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов».[176] Название общества, напоминавшее о литературно-политическом кружке «Зеленая лампа», в котором участвовал юноша Пушкин, недвусмысленно намечало ту линию преемственности, которой Мережковские стремились остаться верными и в своей эмигрантской жизни и писательской деятельности. В дискуссиях, протекавших в «Зеленой лампе» и выплескивавшихся за ее пределы, Гиппиус стремилась отстаивать свои заветные мысли, которые не уставала повторять вновь и вновь, — об исполнении общественного долга как задаче свободного искусства: «Насильственно оторванное от полноты жизни, от истории, от действительности, принуждаемое служить только самому себе, как бы стать змеей, кусающей свой хвост, — оно не может не захиреть и не завянуть, в конце концов. <...> Прямое дело, — или, по принятому, не точному выражению, — задача искусства — действительно улучшать действительность, подталкивать ее вперед, *содействовать изменению реальности*».[177]

Стихи Гиппиус, создававшиеся в пору эмиграции, составили небольшой сборник «Сияния»; за пределами этой книги, однако, осталось довольно много стихотворений, написанных в те же годы. В «Сияниях» Гиппиус восстанавливает сугубо «метафизический» облик своей поэзии; страниц из «исторического дневника» в книге не встречается, хотя в отдельных стихотворениях можно уловить отголоски того духовно-психологического опыта, который был приобретен уже по мере проживания на чужбине. Впрочем, гораздо больше подобных стихотворений, локализованных обстоятельствами времени и места, не вошло в «Сияния», и в этом нельзя не видеть сознательной авторской установки — преодолеть сиюминутное, сосредоточиться на изначально сущем и непреходящем. Видимо, Гиппиус, составляя книгу, осмысляла ее как подведение итогов в своих стихотворных медитациях, и такая задача диктовала определенные принципы отбора. Стремление сказать самое главное обусловило и заметное изменение общей идейно-психологической тональности. В прежние годы Гиппиус часто оказывалась завороженной хаотическими

---

[176] Терапиано Ю. Встречи. С. 46. О деятельности «Зеленой лампы» см. также: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 38—79.

[177] Антон Крайний. Прописи // Новый Дом (Париж). 1926. № 1. С. 20.

безднами, которые открывала в своей душе, пыталась в стихах постичь и исчерпать этот хаос — но нередко и раскаивалась в подобных самозабвенных экспериментах; 31 января 1917 года, например, она писала Э. Ф. Голлербаху: «Не опирайтесь на мои стихи: в них, правда, борьба, — но мало побед и много падений, которые, тем самым, соблазнительны. Я слишком часто показываю темные колодцы, а тех факелов, которые мне их освещают и меня охраняют, показать не умею. Это мой грех — грех слабости. Ведь слабость, как болезнь, — вина».[178] В «Сияниях» нет преобладающей сосредоточенности на «темных колодцах», дисгармоническое содержание внутреннего и внешнего мира уравновешивается и искупается знанием о гармонии, волевой устремленностью к миру непреходящих ценностей. В этом смысле образ-камертон, вынесенный в заглавие последнего сборника стихов Гиппиус, характеризуя, как уж отмечалось, пафос всего ее поэтического творчества, адекватно соответствует и непосредственному содержанию книги, подчеркивает усиление в ней сакрального начала.

Исход из «темных колодцев» к «сияниям» в поэтическом мироощущении Гиппиус последних лет сказался и в появлении новых волнующих ее тем и образов. Важнейший из них — образ св. Терезы Лизьеской, «маленькой Терезы», ставший для Гиппиус объектом благоговейного почитания. Преклонение перед новоканонизированной католической святой, нашедшее свое отражение в «Сияниях», в поздних стихах, в эту книгу не вошедших, в письмах, дневниковых размышлениях, статьях писательницы, определялось прежде всего тем, что в житии юной монахини-кармелитки Гиппиус угадала обретение того окончательного и безусловного, органического религиозного единства, к которому стремилась всю жизнь, томление по которому стало сквозной темой ее творчества: «"Тот" мир, быть может, и "здесь"... <...> мы воочию видим, что избравшие путь, святые христианства, та же св. Тереза, — *уже были там, будучи здесь. Здесь* дается им все, на *здесь* пролегающем пути: победа над всяким страданием, — новое, несравнимое счастие любви и света».[179] Особой притягательностью для русской писательницы в св. Терезе обладали «детскость» и кротость, наивная цельность ее религиозного чувства. Гиппиус, имевшая позади долгие годы напряженных интеллектуальных и душевно-умозрительных исканий, сконцентрированных вокруг единой темы предстояния перед Богом, в своей «последней» полноте непостигаемым и недостижимым, безусловно, ощущала в незамысловатых признаниях маленькой Терезы («*Лифт*, который должен поднять меня на небо, *это Твои руки, Иисусе*», «Я ведь, увы, всего

---

[178] РНБ, ф. 207, ед. хр. 29.

[179] Гиппиус З. Выбор? // Возрождение. 1970. № 222. С. 69. Подробная интерпретация образа св. Терезы в связи с метафизическими концепциями Мережковских дана во вступительной статье Темиры Пахмусс в кн.: Мережковский Д. Маленькая Тереза. Ann Arbor, 1984. С. 14—76.

лишь бедная пташка, покрытая одним только легким пушком. Я не орел; от него у меня лишь очи да сердце... Но, несмотря на мою крайнюю малость, я все же дерзаю вперить свой взор в божественное Солнце любви» [180], и мн. др.) знаки подлинной святости, осуществившейся на путях, автором «Сияний» не освоенных. «Простотой» св. Терезы Гиппиус мыслила преодолеть «сложность» своей собственной веры; ее религией сердца — восполнить и укрепить свою религию разума:

Ты знаешь всё, ничего не зная,
Тебе знакомы пути неиденные
. . . .
Она не судит, она простая,
Желанье сердца она услышит,
Розы ее такою чистою,
Такой нежной радостью дышат...

(«St. Thérèse de l'Enfant Jésus», 1925)

Другой образ, вышедший на первый план в сознании Гиппиус в последние годы ее жизни, — Данте. Единственное крупное ее произведение в стихах, философская поэма «Последний круг», построено как вариации на темы «Божественной Комедии»; правда, образы и проблематика первоисточника затрагиваются Гиппиус, как и в более ранних ее опытах обращения к «чужому» слову, лишь «по касательной»: лирическое «я» поэмы — не Данте, а «Новый Дант», и озабочен этот герой решением метафизических, этических, психологических проблем, с которыми мы сталкиваемся в размышлениях Гиппиус, облеченных в иные жанровые оболочки. Имея внешние подобия с «Божественной Комедией», развивая дантовскую идею всеобъемлющей Любви, соединяющей Небо и Землю в окончательное единство, поэма Гиппиус лишена, однако, динамики построения, яркости образов и картин, драматизма положений; своей отвлеченной «теоретичностью» и доктринальными установками «Последний круг» напоминает скорее образцы средневековой аллегорической дидактической поэзии, исполненные в жанре «видений». Давая итоговый очерк поэтической метафизики Гиппиус и представляя собой тем самым безусловную ценность, это объемное произведение, однако, по своим художественным качествам несопоставимо с ее короткими стихотворениями.

Обращаясь к Данте и св. Терезе, Гиппиус вновь, в который уже раз, осуществляла опыт внутреннего сотворчества с Мережковским, написавшим незадолго до смерти двухтомное художественно-философское исследование «Данте» и книгу «Маленькая Тереза». Двуединство, сохраненное без малейшего ущерба в десятилетиях совме-

---

[180] Святая Тереза имени Младенца Иисуса. Повесть об одной душе, ею самою написанная. С предисловием В. Н. Ильина. <Abbeville, 1955>. С. 223, 295.

стной жизни, нашло тем самым свое зримое подтверждение и на закате их дней. «Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! — восклицал В. Злобин. — Это почти нельзя себе представить, как Д. С. без З. Н. <...> По-человечески жестоко, по-Божьему, может, и милосердно, что первый умер он, — легко, в одночасье».[181]

Кончина Мережковского (7 декабря 1941 года) стала для Гиппиус тяжелейшим ударом. Тяжесть усугублялась и тем, что произошло это в дни войны, на фоне бытовых лишений, в ситуации отчуждения со стороны значительной части эмигрантской среды: после выступления Мережковского в оккупированном Париже по радио, в котором он сравнивал Гитлера, напавшего на СССР, с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола — ныне Сталина и большевиков, от них отвернулись многие из прежних друзей. Вера в то, что избавление от одной тоталитарной деспотии может принести другая, аналогичная ей, оказалась иллюзорной, действия немецкой армии на российской территории быстро охладили пыл Мережковского [182]; Гиппиус же (более скептическая по натуре, чем ее муж) ни в каких ситуациях Третьим Рейхом не обольщалась, а Гитлера определяла как «клинически помешанного» (запись от 1 июня 1940 года) [183], — однако широковещательный «германофильский» жест, конечно, не мог не сказаться на их общей репутации. Надежды на падение большевизма в ходе войны Гиппиус не теряла, вновь, как и в первые пореволюционные годы, возлагая свои упования на русское освободительное движение (Н. Берберова свидетельствует, что в марте 1944 года Гиппиус принимала у себя Н. Давиденкова, соратника генерала А. А. Власова и друга Л. Н. Гумилева, от которого они услышали стихи из потаенного «Реквиема» Ахматовой).[184]

После смерти Мережковского Гиппиус уже не жила, а доживала — в осознании, что жизнь окончена, — и дописывала: работала над поэмой «Последний круг» (переложение текста терцинами осталось незавершенным), над биографической книгой «Дмитрий Мережковский», создание которой считала своей литературной миссией — и действительно, передоверить исполнение этого труда было некому; завершить жизнеописание Мережковского, представляющее собой одновременно и опыт собственной автобиографии, и ретроспективный очерк литературно-общественной жизни минувших десятилетий, ей не удалось: повествование обрывается на 1921 годе. Последним коллективным литературным замыслом, осуществленным Гиппиус, стал сборник «Литературный смотр», который она задумала

---

[181] Злобин В. Тяжелая душа. С. 129.

[182] См.: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. С. 93—97.

[183] Гиппиус З. Серое с красным. Дневник 1940 // Новый Журнал. 1953. № 33. С. 221. См. также: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. P. 279—283.

[184] См.: Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. С. 496—497.

как «первый опыт свободы слова»: каждый участник мог сказать в нем все, что хочет и как хочет. Во вступительной статье к сборнику («Опыт свободы») Гиппиус утверждала: «Русский человек не достоин, конечно, тех глубин физического и духовного рабства, в которые сейчас Россия спущена; но что он в свое время свободе не научился, не доучился, и даже здесь, в Европе, пока что, до ее настоящего понимания не дошел, — на это незачем закрывать глаза».[185] Вся жизнь Гиппиус, с ее духовными порывами и творческими осуществлениями, с ее разуверениями и обретениями, может быть осмыслена как настойчивая и глубоко осознанная попытка обрести тяжкий, ответственный и благотворный «опыт свободы» — в конечном счете той свободы, которая приоткрывает, по формуле ее позднего стихотворения, «Трепещущую Вечность»:

Увы, разделены они —
Безвременность и Человечность.
Но будет день: совьются дни
В одну — Трепещущую Вечность.

(«Eternité Frémissante», 1933).

Скончалась Зинаида Николаевна 9 сентября 1945 года, похоронена под одним надгробием с Мережковским на русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа близ Парижа. Перед смертью долго болела, отходила мучительно. В момент смерти (3 часа 33 минуты пополудни) В. Злобин ощутил на ее лице «выражение глубочайшего счастья».[186] «Что мне делать со смертью — не знаю», — писала она еще в 1915 году в стихотворении «Неизвестная», которое завершила признанием:

А я ее всякую — ненавижу.
Только свою люблю, неизвестную.
За то и люблю, что она неизвестная,
Что умру — и очей ее не увижу.

А. В. Лавров

---

[185] Литературный смотр: Свободный сборник / Редакторы З. Гиппиус и Д. Мережковский. Париж, 1939. С. 10.

[186] См.: Злобин В. Тяжелая душа. С. 133—140.

СОБРАНИЕ СТИХОВ
1889—1903

НЕОБХОДИМОЕ О СТИХАХ

Стихи мои я в первый раз выпускаю отдельной книгой, и мне почти жаль, что я это делаю. Не потому, что их написано за пятнадцать лет слишком мало для книги, и не потому, что считаю мою книгу хуже всех, без счета издающихся, стихотворных сборников: нет, я думаю — она и хуже, и лучше многих; но мне жаль создавать нечто совершенно бесцельное и никому не нужное. Собрание, книга стихов *в данное время* — есть самая бесцельная, ненужная вещь. Я не хочу этим сказать, что *стихи не нужны.* Напротив, я утверждаю, что стихи нужны, даже необходимы, естественны и вечны. Было время, когда всем казались нужными целые книги стихов, когда они читались сплошь, понимались и принимались. Время это — прошлое, не наше. Современному читателю не нужен, бесполезен сборник современных стихов. Это и не может быть иначе, и вина (если тут есть вина) лежит столько же на читателях, сколько на авторах. Ведь и те, и другие — одинаковые дети своего времени. Ему подчиняясь, современный поэт утончился и обособился, отделился, как человек (и, естественно, как стихотворец), от человека, рядом стоящего, ушел даже не в индивидуализм, а в тесную субъективность. Именно обособился, перенес центр тяжести в свою особенность, и поет о ней, потому что в ней видит свой путь, святое своей души. Это может казаться печальным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого; и опечаленных пусть утешает мысль, что это — современное, а все «современное» — временно. Неизбежная одинокая дорога, быть может, ведет нас, и в области поэзии, к новому, еще более полному, общению. Но возвращусь к тому, что есть.

Я считаю естественной и необходимейшей потребностью человеческой природы — молитву. Каждый человек непременно молится или стремится к молитве,— все равно, сознает он это или нет, все равно, в какую форму выливается у него молитва и к какому Богу обращена.

Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение в частности, словесная музыка — это лишь одна из форм, которую принимает в нашей душе молитва. Поэзия, как определил ее Баратынский,— «есть полное ощущение данной минуты». Быть может, это определение слишком обще для молитвы,— но как оно близко к ней!

И вот мы, современные стихописатели, покорные вечному закону человеческой природы, молимся — в стихах, как умеем, то неудачно, то удачно, но всегда берем наше «свое», наш центр, все наше данное «я» в данную минуту (таковы законы молитвы); — виноваты ли мы, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого «я», и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение,— отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого заветное «свое» — другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем,— говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя.

Некоторые из нас, стыдясь и печалясь, совсем оставляют стихотворную форму, как слишком явно молитвенную, и облекают иной, сложной и туманной, плотью свое божественное устремление.

Если есть где-нибудь один, кто поймет нашу молитву,— он поймет ее и сквозь печаль тумана. Но есть ли он? Есть ли чудо?

Я считаю мои стихи (независимо от того — бездарны они или талантливы,— не мне судить, да и это к делу не относится) — очень современными в данном значении слова, то есть очень обособленными, своеструнными, в своеструнности однообразными, а потому для других ненужными. Соединение же их в одной книге — должно казаться просто утомительным. Книга стихотворений — даже и не вполне «обособленного» автора — чаще всего утомительна. Ведь все-таки каждому стихотворению соответствует полное ощущение автором *данной* минуты; оно вылилось — стихотворение кончилось; следующее — следующая минута,— уже иная; они разделены временем, жизнью; а читатель перебегает тут же с одной страницы на другую, и смены, скользя, только утомляют глаза и слух.

Но, повторяю, было время, когда стихи принимались и понимались всеми, не утомляли, не раздражали, были нужны всем. И не оттого, что прежние поэты писали прекрасные стихи, а теперешние пишут плохие; что толкуют о вырождении стиха, об исчезновении поэтических талантов! Исчезли не таланты, не стихи,— исчезла возможность общения именно в молитве, общность молитвенного порыва. Я утверждаю, что стремление к ритму, к музыке речи, к воплощению внутреннего трепета в правильные переливы слов — всегда связано с устремлением молитвенным, религиозным, по-ту-сторонним,— с самым таинственным, глубоким ядром человеческой души, и что все стихи всех действительно-поэтов — молитвы. Молитвенны стихи и прежних наших стихотворцев,— тех, в свое время принятых, понятных. Был и будет Пушкин; он принят навсегда, он был и будет нужен; его песни, он сам — как солнце; он вечен, всепроникающ, но,— как солнце,— неподвижен. То, что *есть* молитвы Пушкина,— не утоляет нашего порыва, не уничтожает нашего искания: он — не цель, не конечный предел, а лишь некоторое условие существования этого порыва, как солнце не жизнь, а только одно из условий жизни. Пушкин — вне времени, зато он и вне нашего пути, исторического и быстрого.

Но вот Некрасов, поэт во времени, любимый и всем в свое время нужный. И его «гражданские» песни — были молитвами. Но молитвы эти оказались у него общими с его современниками. Дрожали общие струны, пелись хвалы общему Богу. Каковы они были — все равно. Они замолкли и уже не воскреснут, как молитвословия. Но они звучали широко и были нужны, они были — общими. Теперь — у каждого из нас отдельный, сознанный или несознанный,— но свой Бог, а потому так грустны, беспомощны и бездейственны наши одинокие, лишь нам и дорогие, молитвы.

Есть и в прошлом один, нам подобный, «ненужный всем» поэт: Тютчев. Любят ли его «все», понятны ли «всем» его странные, лунные гимны, которых он сам стыдился перед другими, записывал на клочках, о которых избегал говорить? Каким бесцельным казался и кажется он! Если мы, редкие, немногие из теперешних, почуяли близость его и его Бога, сливаемся сердцем с его славословиями,— то ведь нас так мало! И даже для нас он, Тютчев, все-таки — из прошлого, и его Бог не всегда, не всей полностью — наш Бог...

Я намеренно не вхожу здесь в оценку величины и малости того или другого поэта. Вопрос о силе таланта не имеет значения для тех мыслей, которые мне хотелось высказать. Я думаю, явись теперь, в наше трудное, острое время, стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный,— и он очутился бы один на своей узкой вершине; только зубец его скалы был бы выше,— ближе к небу,— и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пенье. Пока мы не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к Нему, Единственному,— до тех пор наши молитвы,— наши стихи,— живые для каждого из нас,— будут непонятны и не нужны ни для кого.

З. Гиппиус

1. ПЕСНЯ

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,—
С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

1893

2. ПОСВЯЩЕНИЕ

Небеса унылы и низки,
Но я знаю — дух мой высок.
Мы с тобою так странно близки,
И каждый из нас одинок.

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога,—
Любовь мою душу спасет.

Если я на пути устану,
Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
И счастья осмелюсь желать,—

Не покинь меня без возврата
В туманные, трудные дни.
Умоляю, слабого брата
Утешь, пожалей, обмани.

Мы с тобою единственно близки,
Мы оба идем на восток.
Небеса злорадны и низки,
Но я верю — дух наш высок.

1894

3. ОТРАДА

Мой друг, меня сомненья не тревожат.
Я смерти близость чувствовал давно.
В могиле, там, куда меня положат,
Я знаю, сыро, душно и темно.

Но не в земле — я буду здесь, с тобою,
В дыханьи ветра, в солнечных лучах,
Я буду в море бледною волною
И облачною тенью в небесах.

И будет мне чужда земная сладость
И даже сердцу милая печаль,
Как чужды звездам счастие и радость...
Но мне сознанья моего не жаль,

Покоя жду... Душа моя устала...
Зовет к себе меня природа-мать...
И так легко, и тяжесть жизни спала...
О, милый друг, отрадно умирать!

1889

4. БАЛЛАДА

Сырые проходы
Под светлым Днепром,
Старинные своды,
Поросшие мхом.

В глубокой пещере
Горит огонек,
На кованой двери
Тяжелый замок.

И капли, как слезы,
На сводах дрожат.
Затворника грезы
Ночные томят.

Давно уж не спится...
Лампаду зажег,
Хотел он молиться,
Молиться не мог.

— Ты видишь, Спаситель,
Измучился я,
Отдай мне, Учитель,
Где правда твоя!

Посты и вериги
Не Божий завет,
Христос, в Твоей книге
Прощенье и свет.

Я помню: в оконце
Взглянул я на сад;
Там милое солнце,—
Я солнцу был рад.

Там в зарослях темных
Меня не найдут,
Там птичек бездомных
Зеленый приют.

Там плачут сирени
От утренних рос,
Колеблются тени
Прозрачных берез.

Там чайки мелькают
По вольной реке,
И дети играют
На влажном песке.

Я счастлив, как дети,
И понял я вновь,
Что в Божьем завете
Простая любовь.

Темно в моей келье...
Измучился я,
А жизнь,— и веселье,
И правда Твоя,—

Не в пыльных страницах,
Не в тусклых свечах,
А в небе, и птицах,
И звездных лучах.

С любовью, о Боже,
Взглянул я на всё:
Ведь это — дороже,
Ведь это — Твое!
. . . .

1890

5. НИКОГДА

Предутренний месяц на небе лежит.
Я к месяцу еду, снег чуткий скрипит.

На дерзостный лик я смотрю неустанно,
И он отвечает улыбкою странной.

И странное слово припомнилось мне,
Я всё повторяю его в тишине.

Печальнее месяца свет, недвижимей,
Быстрей мчатся кони и неутомимей.
Скользят мои сани легко, без следа,
А я всё твержу: никогда, никогда!..

О, ты ль это, слово, знакомое слово?
Но ты мне не страшно, боюсь я иного...

Не страшен и месяца мертвенный свет...
Мне страшно, что страха в душе моей нет.

Лишь холод безгорестный сердце ласкает,
А месяц склоняется — и умирает.

1893

6. БЕССИЛЬЕ

Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу...
Стою над пропастью — над небесами,—
И улететь к лазури не могу.

Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить...
Мне близок Бог — но не могу молиться,
Хочу любви — и не могу любить.

Я к солнцу, к солнцу руки простираю
И вижу полог бледных облаков...
Мне кажется, что истину я знаю —
И только для нее не знаю слов.

1893

7. СНЕЖНЫЕ ХЛОПЬЯ

Глухим путем, неезженным,
На бледном склоне дня
Иду в лесу оснеженном,
Печаль ведет меня.

Молчит дорога странная,
Молчит неверный лес...
Не мгла ползет туманная
С безжизненных небес —

То вьются хлопья снежные
И, мягкой пеленой,
Бесшумные, безбрежные,
Ложатся предо мной.

Пушисты хлопья белые,
Как пчел веселых рой,
Играют хлопья смелые
И гонятся за мной,

И падают, и падают...
К земле всё ближе твердь...
Но странно сердце радуют
Безмолвие и смерть.

Мешается, сливается
Действительность и сон,
Всё ниже опускается
Зловещий небосклон —

И я иду и падаю,
Покорствуя судьбе,
С неведомой отрадою
И мыслью — о тебе.

Люблю недостижимое,
Чего, быть может, нет...
Дитя мое любимое,
Единственный мой свет!

Твое дыханье нежное
Я чувствую во сне,
И покрывало снежное
Легко и сладко мне.

Я знаю, близко вечное,
Я слышу, стынет кровь...
Молчанье бесконечное...
И сумрак... И любовь.

1894

8. СОНЕТ

Не страшно мне прикосновенье стали
И острота и холод лезвия.
Но слишком тупо кольца жизни сжали
И, медленные, душат, как змея.
Но пусть развеются мои печали,
Им не открою больше сердца я...
Они далекими отныне стали,
Как ты, любовь ненужная моя!

Пусть душит жизнь, но мне уже не душно.
Достигнута последняя ступень.
И если смерть придет, за ней послушно
Пойду в ее безгорестную тень: —
Так осенью, светло и равнодушно,
На бледном небе умирает день.

1894

9. ЦВЕТЫ НОЧИ

О, ночному часу не верьте!
Он исполнен злой красоты.
В этот час люди близки к смерти,
Только странно живы цветы.

Темны, теплы тихие стены,
И давно камин без огня...
И я жду от цветов измены,—
Ненавидят цветы меня.

Среди них мне жарко, тревожно,
Аромат их душен и смел,—
Но уйти от них невозможно,
Но нельзя избежать их стрел.

Свет вечерний лучи бросает
Сквозь кровавый шелк на листы...
Тело нежное оживает,
Пробудились злые цветы.

С ядовитого арума мерно
Капли падают на ковер...
Всё таинственно, всё неверно...
И мне тихий чудится спор.

Шелестят, шевелятся, дышат,
Как враги, за мною следят.
Всё, что думаю,— знают, слышат
И меня отравить хотят.

О, часу ночному не верьте!
Берегитесь злой красоты.
В этот час мы всех ближе к смерти,
Только живы одни цветы.

1894

10. ГРИЗЕЛЬДА

Над озером, высоко,
Где узкое окно,
Гризельды светлоокой
Стучит веретено.

В покое отдаленном
И в замке — тишина.
Лишь в озере зеленом
Колышется волна.

Гризельда не устанет,
Свивая бледный лен,
Не выдаст, не обманет
Вернейшая из жен.

Неслыханные беды
Она перенесла:
Искал над ней победы
Сам Повелитель Зла.

Любовною отравой,
И дерзостной игрой,
Манил ее он славой,
Весельем, красотой...

Ей были искушенья
Таинственных утех,
Все радости забвенья
И всё, чем сладок грех.

Но Сатана смирился,
Гризельдой побежден.

И враг людской склонился
Пред лучшею из жен.

Чье ныне злое око
Нарушит тишину,
Хоть рыцарь и далеко
Уехал на войну?

Ряд мирных утешений
Гризельде предстоит;
Обняв ее колени,
Кудрявый мальчик спит.

И в сводчатом покое
Святая тишина.
Их двое, только двое:
Ребенок и она.

У ней льняные косы
И бархатный убор.
За озером — утесы
И цепи вольных гор.

Гризельда смотрит в воду,
Нежданно смущена,
И мнится, про свободу
Лепечет ей волна,

Про волю, дерзновенье,
И поцелуй, и смех...
Лепечет, что смиренье
Есть величайший грех.

Прошли былые беды,
О, верная жена!
Но радостью ль победы
Душа твоя полна?

Всё тише ропот прялки,
Не вьется бледный лен...
О, мир обмана жалкий!
О, добродетель жен!

Гризельда победила,
Душа ее светла...
А всё ж какая сила
У духа лжи и зла!

Увы! Твой муж далеко,
И помнит ли жену?
Окно твое высоко,
Душа твоя в плену.

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?

1895

11. ОДНООБРАЗИЕ

В вечерний час уединенья,
Уныния и утомленья,
    Один, на шатких ступенях,
Ищу напрасно утешенья,
Моей тревоги утоленья
    В недвижных, стынущих водах.

Лучей последних отраженья,
Как небывалые виденья,
    Лежат на сонных облаках.
От тишины оцепененья
Душа моя полна смятенья...
О, если бы хоть тень движенья,
    Хоть звук в тяжелых камышах!

Но знаю, миру нет прощенья,
Печали сердца нет забвенья,
И нет молчанью разрешенья,
И всё навек без измененья
    И на земле, и в небесах.

1895

22

Слиянье

Посвящается Зинаиде Афанасьевне Венгеровой.

Был человек. И умер для меня.
И, знаю, вспоминать о нем не надо.
Концу всегда, как смерти, сердце радо,
Концу земной любви, — закату дня...

Уснувшего я берегу покой.
Да будет прошлое землей забвенья!
Распались руки старой цепи звенья....
Но жизнь сплела иную связь — с тобой.

Ты: в тебе, как я, былое, в нем, —
Не вернется, — но и не позабыто...
И только сплетутся мне запах цвета
В твоих речах, в движеньях, — во всем...

Когда бываем мы наедине,
Он, мертвый, третий, — всегда между нами.
Твоими на меня глядит глазами
И дышит тобою во мне...

Ни тщетного я чувства твоего,
Ни мертвого в тебе — не призываю.
И неизменно-строгим сердцем знаю,
Что не люблю тебя — как и его.

6 Августа 98.

З. Гиппиус

Беловой автограф стихотворения «Слиянье» («Ты любишь?»), 6 августа 1898 г. Рукописный отдел ИРЛИ.

Что есть грѣхъ?

В. Ф. Нувелю.

Грѣхъ — маломыслiе и малодѣянье,
Самонелюбiе — самовлюбленность,
И равнодушное саморазвѣнчанье,
И успокоенная упоенность.

Грѣхъ — легкочувствiе и легкодумiе,
Полу-прозорливость — полу-влеченье.
Благоразумное полу-безумiе,
Полу-вниманiе — полу-забвенье.

Грѣхъ — цвѣсть безъ дерзости и безъ мечтанiя,
Не привлекаемымъ — и не гонимымъ.
Не знать ни ужаса, ни упованiя,
И быть прiемлемымъ, но не любимымъ.

Къ стыду и гордости — равнопрезрѣнiе...
Всему — покорственный привѣтъ безъ битвы..
Тяжелѣе всѣхъ грѣховъ — Богоубiенiе,
Жизнь безъ проклятiя — и безъ молитвы.

2. 2. 02.

Беловой автограф стихотворения «Что есть грех?».
Рукописный отдел ИРЛИ.

12. ИДИ ЗА МНОЙ

Полуувядших лилий аромат
Мои мечтанья легкие туманит.
Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет.

Мир — успокоенной душе моей.
Ничто ее не радует, не ранит.
Не забывай моих последних дней,
Пойми меня, когда меня не станет.

Я знаю, друг, дорога не длинна,
И скоро тело бедное устанет.
Но ведаю: любовь, как смерть, сильна.
Люби меня, когда меня не станет.

Мне чудится таинственный обет...
И, ведаю, он сердца не обманет,—
Забвения тебе в разлуке нет!
Иди за мной, когда меня не станет.

1895

13. ОСЕНЬ

Длиннее, чернее
Холодные ночи,
А дни всё короче,
И небо светлее.
Терновник далекий
И реже и суше,
И ветер в осоке,
Где берег высокий,
Протяжней и глуше.
Вода остывает,
Замолкла плотина,
И тяжкая тина
Ко дну оседает.
Бестрепетно Осень
Пустыми очами
Глядит меж стволами
Задумчивых сосен,
Прямых, тонколистых
Берез золотистых,—
И нити, как Парка,
Седой паутины

Свивает и тянет
По гроздьям рябины,
И ласково манит
В глубь сонного парка...
Там сумрак, там сладость,
Всё Осени внемлет,
И тихая радость
Мне душу объемлет.
Приветствую смерть я
С бездумной отрадой,
И муки бессмертья
Не надо, не надо!
Скользят, улетают —
Бесплотные — тают
Последние тени
Последних волнений,
Живых утомлений —
Пред отдыхом вечным...
Пускай без видений,
Покорный покою,
Усну под землею
Я сном бесконечным...

1895

14. К ПРУДУ

Не осуждай меня, пойми:
Я не хочу тебя обидеть,
Но слишком больно ненавидеть,—
Я не умею жить с людьми.

И знаю, с ними — задохнусь.
Я весь иной, я чуждой веры.
Их ласки жалки, ссоры серы...
Пусти меня! Я их боюсь.

Не знаю сам, куда пойду.
Они везде, их слишком много...
Спущусь тропинкою отлогой
К давно затихшему пруду.

Они и тут — но отвернусь,
Следов их наблюдать не стану,
Пускай обман — я рад обману...
Уединенью предаюсь.

Вода прозрачнее стекла.
Над ней и в ней кусты рябины.
Вдыхаю запах бледной тины...
Вода немая умерла,

И неподвижен тихий пруд...
Но тишине не доверяю,
И вновь душа трепещет,— знаю,
Они меня и здесь найдут.

И слышу, кто-то шепчет мне:
«Скорей, скорей! Уединенье,
Забвение, освобожденье —
Лишь там... внизу... на дне... на дне...»

1895

15. КРИК

Изнемогаю от усталости,
        Душа изранена, в крови...
Ужели нет над нами жалости,
        Ужель над нами нет любви?

Мы исполняем волю строгую,
        Как тени, тихо, без следа,
Неумолимою дорогою
        Идем — неведомо куда.

И ноша жизни, ноша крестная,
        Чем далее, тем тяжелей...
И ждет кончина неизвестная
        У вечно запертых дверей.

Без ропота, без удивления
        Мы делаем, что хочет Бог.
Он создал нас без вдохновения
        И полюбить, создав, не мог.

Мы падаем, толпа бессильная,
        Бессильно веря в чудеса,
А сверху, как плита могильная,
        Слепые давят небеса.

1896

16. ЛЮБОВЬ — ОДНА

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.

Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна.

Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна,
Проходит жизнь... И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.

Лишь в неизменном — бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И всё ясней: любовь одна.

Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа — верна,
И любим мы одной любовью...
Любовь одна, как смерть одна.

1896

17. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ

Час одиночества укромный,
Снегов молчанье за окном,
Тепло... Цветы... Свет лампы томный —
И письма старые кругом.

Бегут мгновения немые...
Дыханье слышу тишины...
И милы мне листы живые
Живой и нежной старины.

Истлело всё, что было тленьем,
Осталась радость чистоты.
И я с глубоким умиленьем
Читаю бледные листы.

«Любовью, смерти неподвластной,
Люблю всегда, люблю навек...»
Искал победы не напрасно
Над смертью смелый человек.

Душа, быть может, разлюбила —
Что нам до мимолетных снов?
Хранит таинственная сила
Бессмертие рожденных слов.

Они когда-то прозвучали...
Пусть лжив торжественный обет,
Пускай забыты все печали —
Словам, словам забвенья нет!

Теснятся буквы черным роем,
Неверность верную храня,
И чистотою, и покоем
От лжи их веет на меня.

Живите, звуков сочетанья,
И повторяйтесь без конца.
Вы, сердца смертного созданья,
Сильнее своего творца.
. . . .

Летит мгновенье за мгновеньем,
Молчат снега, и спят цветы...
И я смотрю с благоговеньем
На побледневшие листы.

1896

18. ТЫ ЛЮБИШЬ?

Был человек. И умер для меня.
И, знаю, вспоминать о нем не надо.
Концу всегда, как смерти, сердце радо,
Концу земной любви — закату дня.

Уснувшего я берегу покой.
Да будет легкою земля забвенья!
Распались тихо старой цепи звенья...
Но злая жизнь меня свела — с тобой.

Когда бываем мы наедине —
Тот, мертвый, третий — вечно между нами.
Твоими на меня глядит очами
И думает тобою — обо мне.

Увы! в тебе, как и, бывало, в нем,
Не верность — но и не измена...
И слышу страшный, томный запах тлена
В твоих речах, движениях,— во всем.

Безогненного чувства твоего,
Чрез мертвеца в тебе,— не принимаю;
И неизменно-строгим сердцем знаю,
Что не люблю тебя, как и его.

1896

19. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я всё уединенное,
Неявное люблю.

Я — раб моих таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов...

1896

20. РОДИНА

В темнице сидит заключенный
Под крепкою стражей,
Неведомый рыцарь, плененный
Изменою вражей.

И думает рыцарь, горюя:
«Не жалко мне жизни.
Мне страшно одно, что умру я
Далекий отчизне.

Стремлюся я к ней неизменно
Из чуждого края

И думать о ней, незабвенной,
Хочу, умирая».

Но ворон на прутья решетки
Садится беззвучно.
«Что, рыцарь, задумался, кроткий?
Иль рыцарю скучно?»

Тревогою сердце забилось,
И рыцарю мнится —
С недоброю вестью явилась
Недобрая птица.

«Тебя не посмею спугнуть я,
Ты здешний,— я дальний...
Молю, не цепляйся за прутья,
О, ворон печальный!

Меня с моей думой бесплодной
Оставь, кто б ты ни был».
Ответствует гость благородный:
«Я вестником прибыл.

Ты родину любишь земную,
О ней помышляешь.
Скажу тебе правду иную —
Ты правды не знаешь.

Отчизна тебе изменила,
Навеки ты пленный;
Но мира она не купила
Напрасной изменой:

Предавшую предали снова —
Лукаво напали,
К защите была не готова,
И родину взяли.

Покрыта позором и кровью,
Исполнена страха...
Ужели ты любишь любовью
Достойное праха?»

Но рыцарь вскочил, пораженный
Неслыханной вестью,

Объят его дух возмущенный
И гневом, и местью;

Он ворона гонит с укором
От окон темницы...
Но вдруг отступил он под взором
Таинственной птицы.

И снова спокойно и внятно,
Как будто с участьем,
Сказал ему гость непонятный:
«Смирись пред несчастьем.

Истлело достойное тленья,
Всё призрак, что было.
Мы живы лишь силой смиренья,
Единою силой.

Не веруй, о рыцарь мой, доле
Постыдной надежде.
Не думай, что был ты на воле
Когда-либо прежде.

Пойми — это сон был свободы,
Пускай и короткий.
Ты прожил все долгие годы
В плену, за решеткой.

Ты рвался к далекой отчизне,
Любя и страдая.
Есть родина, чуждая жизни,
И вечно живая».

Умолк... И шуршат только перья
О прутья лениво.
И рыцарь молчит у преддверья
Свободы нелживой.

1897

21. СОНЕТ

Один я в келии неосвещенной.
С предутреннего неба, из окна,
Глядит немилая, холодная весна.

Но, неприветным взором не смущенной,
Своей душе, в безмолвие влюбленной,
Не страшно быть одной, в тени, без сна.
И слышу я, как шепчет тишина
О тайнах красоты невоплощенной.

Лишь неразгаданным мечтанья полны.
Не жду и не хочу прихода дня.
Гармония неслышная таится
В тенях, в нетрепетной заре... И мнится:
Созвучий нерожденных вкруг меня
Поют и плещут жалобные волны.

1897

22. ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я вижу край небес в дали безбрежной
И ясную зарю.
С моей душой, безумной и мятежной,
С душою говорю.

И если боль ее земная мучит —
Она должна молчать.
Ее заря небесная научит
Безмолвно умирать.

Не забывай Господнего завета,
Душа,— молчи, смирись...
Полна бесстрастья, холода и света
Бледнеющая высь.

Повеяло нездешнею прохладой
От медленной зари.
Ни счастия, ни радости — не надо.
Гори, заря, гори!

1897

23. ПЫЛЬ

Моя душа во власти страха
И горькой жалости земной.
Напрасно я бегу от праха —
Я всюду с ним, и он со мной.

Мне в очи смотрит ночь нагая,
Унылая, как темный день.
Лишь тучи, низко набегая,
Дают ей мертвенную тень.

И ветер, встав на миг единый,
Дождем дохнул — и вмиг исчез.
Волокна серой паутины
Плывут и тянутся с небес.

Ползут, как дни земных событий,
Однообразны и мутны.
Но сеть из этих легких нитей
Тяжеле смертной пелены.

И в прахе душном, в дыме пыльном,
К последней гибели спеша,
Напрасно в ужасе бессильном
Оковы жизни рвет душа.

А капли тонкие по крыше
Едва стучат, как в робком сне.
Молю вас, капли, тише, тише...
О, тише плачьте обо мне!

1897

24. ВЕЧЕР

Июльская гроза, шумя, прошла.
И тучи уплывают полосою.
Лазурь неясная опять светла...
Мы лесом едем, влажною тропою.

Спускается на землю бледный мрак.
Сквозь дым небесный виден месяц юный,
И конь всё больше замедляет шаг,
И вожжи тонкие дрожат, как струны.

Порою, туч затихнувшую тьму
Вдруг молния безгромная разрежет.
Легко и вольно сердцу моему,
И ветер, пролетая, листья нежит.

Колеса не стучат по колеям.
Отяжелев, поникли долу ветки...
А с тихих нив и с поля, к небесам,
Туманный пар плывет, живой и редкий...

Как никогда, я чувствую — я твой,
О милая и строгая природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой...
В душе моей покорность — и свобода.

1897

25. МОЛИТВА

Тени луны неподвижные...
Небо серебряно-черное...
Тени, как смерть, неподвижные...
Живо ли сердце покорное?

Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.

Жизни мне дал унижение,
Боль мне послал непонятную...
К Давшему мне унижение
Шлю я молитву невнятную.

Сжалься, о Боже, над слабостью
Сердца, Тобой сотворенного,
Над бесконечною слабостью
Сердца, стыдом утомленного.

Я — это Ты, о Неведомый,
Ты — в моем сердце, Обиженный,
Так подними же, Неведомый,
Дух Твой, Тобою униженный,

Прежнее дай мне безмолвие,
О, возврати меня вечности...
Дай погрузиться в безмолвие,
Дай отдохнуть в бесконечности!..

1897

4 Зак. 3216

26. СЕРЕНАДА

Из лунного тумана
Рождаются мечты.
Пускай, моя Светлана,
Меня не любишь ты.

Пусть будет робкий лепет
Неуловимо тих,
Пусть тайным будет трепет
Незвучных струн моих.

Награды не желая,
Душа моя горит.
Мой голос, дорогая,
К тебе не долетит.

Я счастье ненавижу,
Я радость не терплю.
О, пусть тебя не вижу,
Тем глубже я люблю.

Да будет то, что будет,
Светла печаль моя.
С тобой нас Бог рассудит —
И к Богу ближе я.

Ищу мою отраду
В себе — люблю тебя.
И эту серенаду
Слагаю для себя.

1897

27. СНЕГ

Опять он падает, чудесно молчаливый,
Легко колеблется и опускается...
Как сердцу сладостен полет его счастливый!
Несуществующий, он вновь рождается...

Всё тот же, вновь пришел, неведомо откуда,
В нем холода соблазны, в нем забвение...
Я жду его всегда, как жду от Бога чуда,
И странное с ним знаю единение.

Пускай уйдет опять — но не страшна утрата.
        Мне радостен его отход таинственный.
Я вечно буду ждать безмолвного возврата,
        Тебя, о ласковый, тебя, единственный.

Он тихо падает, и медленный и властный...
        Безмерно счастлив я его победою...
Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
        Тебя люблю... За что люблю — не ведаю...

1897

28. АПЕЛЬСИННЫЕ ЦВЕТЫ

Н. В—t

О, берегитесь, убегайте
От жизни легкой пустоты.
И прах земной не принимайте
    За апельсинные цветы.

Под серым небом Таормины
Среди глубин некрасоты
На миг припомнились единый
    Мне апельсинные цветы.

Поверьте, встречи нет случайной,—
Как мало их средь суеты!
И наша встреча дышит тайной,
    Как апельсинные цветы.

Вы счастья ищете напрасно,
О, вы боитесь высоты!
А счастье может быть прекрасно,
    Как апельсинные цветы.

Любите смелость нежеланья,
Любите радости молчанья,
    Неисполнимые мечты,
Любите тайну нашей встречи,
И все несказанные речи,
    И апельсинные цветы.

1897

29. ЛЕСТНИЦА

Сны странные порой нисходят на меня.
И снилось мне: наверх, туда, к вечерним теням,
На склоне серого и ветреного дня,
Мы шли с тобой вдвоем, по каменным ступеням.

С неласковой для нас небесной высоты
Такой неласковою веяло прохладой;
И апельсинные невинные цветы
Благоухали там, за низкою оградой.

Я что-то важное и злое говорил...
Улыбку помню я, испуганно-немую...
И было ясно мне: тебя я не любил,
Тебя, недавнюю, случайную, чужую...

Но стало больно, странно сердцу моему,
И мысль внезапная мне душу осветила,
О, нелюбимая, не знаю почему,
Но жду твоей любви! Хочу, чтоб ты любила!

1897

30. УЛЫБКА

Поверьте, нет, меня не соблазнит
Печалей прежних путь давно пройденный.
Увы! душа покорная хранит
Их горький след, ничем не истребленный.

Года идут, но сердце вечно то же.
Ничто для нас не возвратится вновь,
И ныне мне всех радостей дороже
Моя неразделенная любовь.

Ни счастья в ней, ни страха, ни стыда.
Куда ведет она меня — не знаю...
И лишь в одном душа моя тверда:
Я изменяюсь,— но не изменяю.

1897

31. МГНОВЕНИЕ

Сквозь окна светится небо высокое,
Вечернее небо, тихое, ясное.
Плачет от счастия сердце мое одинокое,
Радо оно, что небо такое прекрасное.

Горит тихий, предночный свет,
От света исходит радость моя.
И в мире теперь никого нет.
В мире только Бог, небо и я.

1898

32. КРУГИ

Я помню: мы вдвоем сидели на скамейке.
Пред нами был покинутый источник
и тихая зелень.
Я говорил о Боге, о созерцании и жизни...
И, чтоб понятней было моему ребенку,
я легкие круги чертил на песке.
И год минул. И нежная, как мать, печаль
меня на ту скамейку привела.
Вот покинутый источник,
та же тихая зелень,
те же мысли о Боге, о жизни.
Только нет безвинно-умерших, невоскресших слов,
и нет дождем смытых,
землей скрытых,
моих ясных, легких кругов.

1899

33. ПОСЛЕДНЕЕ

Порой всему, как дети, люди рады
И в легкости своей живут веселой.
О, пусть они смеются! Нет отрады
Смотреть во тьму души моей тяжелой.

Я не нарушу радости мгновенной,
Я не открою им дверей сознанья,
И ныне, в гордости моей смиренной,
Даю обет великого молчанья.

В безмолвьи прохожу я мимо, мимо,
Закрыв лицо,— в неузнанные дали,
Куда ведут меня неумолимо
Жестокие и смелые печали.

1900

34. ПРОГУЛКА ВДВОЕМ

Дорога всё выше да выше,
Всё гуще зеленые сени,
Внизу — чуть виднеются крыши,
В долине — лиловые тени,
Дорога всё выше да выше...
        Мы с нею давно уж в пути,
        И знаю — нам надо идти.

Мы слабы и очень устали,
Но вверх всё идем мы послушно.
Под кленами мы отдыхали,
Но было под кленами душно...
Мы слабы и очень устали.
        Я ведал, что трудны пути,
        Но верил, что надо идти.

Она — всё слабее и тише...
Ее поддержать я пытался,
Но путь становился всё выше,
Всё круче наверх подымался,
И шла она тише да тише...
        И стала она на пути.
        Не знала, что надо идти.

И было на сердце тревожно...
Я больше помочь не умею.
Остаться в пути невозможно,
Спускаться назад я не смею,
И было на сердце тревожно.
        Она испугалась пути,
        Она не посмела дойти.

И вот я бреду одинокий,
А полдень тяжелый и жаркий...
Тропой каменистой, широкой
Иду я в бестенности яркой,

Иду всё наверх, одинокий...
Я бросил ее на пути.
Я знаю: я должен идти.

1900

35. СОБЛАЗН

П. П. Перцову

Великие мне были искушенья.
Я головы пред ними не склонил.
Но есть соблазн... соблазн уединенья...
Его доныне я не победил.

Зовет меня лампада в тесной келье,
Многообразие последней тишины,
Блаженного молчания веселье —
И нежное вниманье сатаны.

Он служит: то светильник зажигает,
То рясу мне поправит на груди,
То спавшие мне четки подымает
И шепчет: «С Нами будь, не уходи!

Ужель ты одиночества не любишь?
Уединение — великий храм.
С людьми... их не спасешь, себя погубишь,
А здесь, один, ты равен будешь Нам.

Ты будешь и не слышать, и не видеть,
С тобою — только Мы да тишина.
Ведь тот, кто любит, должен ненавидеть,
А ненависть от Нас запрещена.

Давно тебе моя любезна нежность...
Мы вместе, вместе... и всегда одни;
Как сладостна спасенья безмятежность!
Как радостны лампадные огни!»
. . . .
О, мука! О, любовь! О, искушенья!
Я головы пред вами не склонил.
Но есть соблазн,— соблазн уединенья,
Его никто еще не победил.

1900

36. СТУК

Полночная тень. Тишина.
Стук сердца и стук часов.
Как ночь непонятно черна!
Как тяжек ее покров!

Но знаю: бессильных сердец
Еще неподвижней мрак.
Тебе я молюсь, о Отец!
Подай мне голос, иль знак!

Сильней, чем себя и людей,
Я душу свою люблю.
И надвое волей моей
Я душу переломлю.

И стала живой тишина.
В ней, темной, слышу ответ:
Пусть ночь бесконечно длинна,—
Из тьмы да родится свет!

1900

37. ТАМ

Я в лодке Харона, с гребцом безучастным.
Как олово, густы тяжелые воды.
Туманная сырость над Стиксом безгласным.
Из темного камня небесные своды.
Вот Лета. Не слышу я лепета Леты.
Беззвучны удары раскидистых весел.
На камень небесный багровые светы
Фонарь наш неяркий и трепетный бросил.
Вода непрозрачна и скована ленью...
Разбужены светом, испуганы тенью,
Преследуют лодку в бесшумной тревоге
Тупая сова, две летучие мыши,
Упырь тонкокрылый, седой и безногий...
Но лодка скользит не быстрей и не тише.
Упырь меня тронул крылом своим влажным...
Бездумно слежу я за стаей послушной,
И всё мне здесь кажется странно-неважным,

И сердце, как там, на земле,— равнодушно.
Я помню, конца мы искали порою,
И ждали, и верили смертной надежде...
Но смерть оказалась такой же пустою,
И так же мне скучно, как было и прежде.
Ни боли, ни счастья, ни страха, ни мира,
Нет даже забвения в ропоте Леты...
Над Стиксом безгласным туманно и сыро,
И алые бродят по камням отсветы.

1900

38. ЛЮБОВЬ

В моей душе нет места для страданья:
        Моя душа — любовь.
Она разрушила свои желанья,
        Чтоб воскресить их вновь.

В начале было Слово. Ждите Слова.
        Откроется оно.
Что совершалось — да свершится снова,
        И вы, и Он — одно.

Последний свет равно на всех прольется,
        По знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеется,
        Идите все — к Нему.

К Нему придем в земном освобожденьи,
        И будут чудеса.
И будет всё в одном соединеньи —
        Земля и небеса.

1900

39. КОНЕЦ

Огонь под золою дышал незаметней,
Последняя искра, дрожа, угасала,
На небе весеннем заря догорала,
И был пред тобою я всё безответней,
Я слушал без слов, как любовь умирала.

Я ведал душой, навсегда покоренной,
Что слов я твоих не постигну случайных,

Как ты не поймешь моих радостей тайных,
И, чуждая вечно всему, что бездонно,
Зари в небесах не увидишь бескрайных.

Мне было не грустно, мне было не больно,
Я думал о том, как ты много хотела,
И мало свершила, и мало посмела;
Я думал о том, как в душе моей вольно,
О том, что заря в небесах — догорела...

1901

40. ДАР

Ни о чем я Тебя просить не смею,
всё надобное мне — Ты знаешь сам;
но жизнь мою,— то, что имею,—
несу ныне к Твоим ногам.
Тебе Мария умыла ноги,
и Ты ее с миром отпустил;
верю, примешь и мой дар убогий,
и меня простишь, как ее простил.

1901

41. НЕСКОРБНОМУ УЧИТЕЛЮ

Иисус, в одежде белой,
Прости печаль мою!
Тебе я дух несмелый
И тяжесть отдаю.

Иисус, детей надежда!
Прости, что я скорблю!
Темна моя одежда,
Но я Тебя люблю.

1901

42. ПРЕДЕЛ

Д. В. Философову

Сердце исполнено счастьем желанья,
Счастьем возможности и ожиданья,—
Но и трепещет оно и боится,
Что ожидание — может свершиться...

Полностью жизни принять мы не смеем,
Тяжести счастья поднять не умеем,
Звуков хотим,— но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,
        Вечно их любим, вечно страдая,—
        И умираем, не достигая...

1901

43. ХРИСТУ

Мы не жили — и умираем
        Среди тьмы.
Ты вернешься... Но как узнаем
        Тебя — мы?

Всё дрожим и себя стыдимся,
        Тяжел мрак.
Мы молчаний Твоих боимся...
        О, дай знак!

Если нет на земле надежды —
        То всё прах.
Дай коснуться Твоей одежды,
        Забыть страх.

Ты во дни, когда был меж нами,
        Сказал Сам:
«Не оставлю вас сиротами,
        Приду к вам».

Нет Тебя. Душа не готова,
        Не бил час.
Но мы верим,— Ты будешь снова
        Среди нас.

1901

44. ТИХОЕ ПЛАМЯ

Я сам найду мою отраду.
Здесь всё мое, здесь только я.
Затеплю тихую лампаду,
Люблю ее. Она моя.

Как пламя робкое мне мило!
Не ослепляет и не жжет.
Зачем мне грубое светило
Недосягаемых высот?

. . . .

Увы! Заря меня тревожит
Сквозь шелк содвинутых завес,
Огонь трепещущий не может
Бороться с пламенем небес.

Лампада робкая бледнеет...
Вот первый луч — вот алый меч...
И плачет сердце... Не умеет
Огня лампадного сберечь!

1901

45. МЕРТВАЯ ЗАРЯ

Пусть загорается денница,
В душе погибшей — смерти мгла.
Душа, как раненая птица,
Рвалась взлететь — но не могла.

И клонит долу грех великий,
И тяжесть мне не по плечам.
И кто-то жадный, темноликий,
Ко мне приходит по ночам.

И вот — за кровь плачу я кровью.
Друзья! Вы мне не помогли
В тот час, когда спасти любовью
Вы сердце слабое могли.

О, я вины не налагаю:
Я в ваши верую пути,
Но гаснет дух... И ныне — знаю —
Мне с вами вместе не идти.

1901

46. ГЛУХОТА

Часы стучат невнятные,
Нет полной тишины.
Все горести — понятные,
Все радости — скучны.

Угроза одиночества,
Свидания обет...
Не верю я в пророчества
Ни счастия, ни бед.

Не жду необычайного:
Всё просто и мертво.
Ни страшного, ни тайного
Нет в жизни ничего.

Везде однообразие,
Мы — дети без Отца,
И близко безобразие
Последнего конца.

Но слабости смирения
Я душу не отдам.
Не надо искупления
Кощунственным словам!

1901

47—48. ПЕСНИ РУСАЛОК

(ИЗ ДРАМЫ «СВЯТАЯ КРОВЬ»)

1

Мы белые дочери
озера светлого,
от чистоты и прохлады мы родились.
Пена, и тина, и травы нас нежат,
легкий, пустой камыш ласкает;
зимой подо льдом, как под теплым стеклом,
мы спим, и нам снится лето.
Всё благо: и жизнь! и явь! и сон!

Мы солнца смертельно-горячего
не знаем, не видели;
но мы знаем его отражение,—
мы тихую знаем луну.
Влажная, кроткая, милая, чистая,
ночью серебряной вся золотистая,
она — как русалка — добрая...
Всё благо: и жизнь! и мы! и луна!

но мы знаем его отражение,—
мы тихую знаем луну.
Влажная, кроткая, милая, чистая,
ночью серебряной вся золотистая,
она — как русалка — добрая...
    Всё благо: и жизнь! и мы! и луна!
У берега, меж камышами,
скользит и тает бледный туман.
Мы ведаем: лето сменится зимою,
зима — весною много раз,
и час наступит сокровенный,
как все часы — благословенный,
когда мы в белый туман растаем,
и белый туман растает.
И новые будут русалки,
и будет луна им светить,—
и так же с туманом они растают.
    Всё благо: и жизнь! и мы! и свет! и смерть!

2

  Вода в камышах колыхается.
В небе загорелись зеленые звезды.
  Над лесом луна подымается.
Смотрите, сестрицы, гаснут звезды!
  Туман, как живой, извивается...
Туман — это наша душа водяная.
  Он редеет и, тая, скрывается...
Туман — наша жизнь и наша смерть водяная.
  В эту ночь все мы живы да радостны,
  веселье наше — как лунный свет.
  Давайте ж, перекликнемся,
  все друг дружке голос подадим!

        Мы, озерные, речные, лесные,
        долинные, пустынные,
        подземные и наземные,
        великие и малые
        мохнатые и голые,
все друг дружке о себе знать дадим!
          О-йе! О-йе!
Отвечайте, братцы! Отвечайте, сестрицы!

1901

49. ДО ДНА

Тебя приветствую, моя поражение,
тебя и победу я люблю равно;
на дне моей гордости лежит смирение,
и радость, и боль — всегда одно.
Над водами, стихнувшими в безмятежности
вечера ясного,— всё бродит туман;
в последней жестокости — есть бездонность
нежности,
и в Божией правде — Божий обман.

Люблю я отчаяние мое безмерное,
нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
надо всякую чашу пить — до дна.

1901

50. В ГОСТИНОЙ

Серая комната. Речи не спешные,
Даже не страшные, даже не грешные.
Не умиленные, не оскорбленные,
Мертвые люди, собой утомленные...
Я им подражаю. Никого не люблю.
Ничего не знаю. Я тихо сплю.

51. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» — не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно, и мертво.
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его.
Концов концы коснутся —
Другие «да» и «нет»,
И «да» и «нет» проснутся,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет — Свет.

1901

52. ЛУГОВЫЕ ЛЮТИКИ

А. М—ву

Мы — то же цветенье
Средь луга цветного,
Мы — то же растенье,
Но роста иного.
Нас выгнало выше,
А братья отстали.
Росли ль они тише?
Друг к другу припали,
Так ровно и цепко,
Головка с головкой...
Стоят они крепко,
Стоять им так ловко...
Ковер всё плотнее,
Весь низкий, весь ниже...
Нам — небо виднее,
И солнце нам ближе,
Ручей нам и звонок,
И песнь его громче,—
Но стебель наш тонок,
Мы ломче, мы ломче...

1902

53. ЗЕМЛЯ

Минута бессилья...
        Минута раздумия...
И сломлены крылья
        Святого безумия.

Стою над могилой,
        Где спит дерзновение...
О, всё это было —
        Веселье, волнение,

И радость во взоре
        Молитвенно-чистая,
Весенние зори,
        Сирень восьмилистая...

Ужель это было?
Какое обманное!
Стою над могилой
С надеждою странною...

Под пылью и прахом
Ищу я движения,
С молитвой, со страхом
Я жду — воскресения...

Но ждать всё страшнее...
Стою без защиты я...
Смеется, чернея,
Могила открытая;

Я требую чуда
Душою всесильною...
Но веет оттуда —
Землею могильною...

1902

54. КРОВЬ

Я призываю Любовь,
Я открываю Ей сердце.
Алая, алая кровь,
Тихое, тихое сердце.

Руку мою приготовь,
Верой овей мое сердце.
Алая, алая кровь,
Тихое, тихое сердце.

Тайному не прекословь.
В Тайне теперь мое сердце.
Алая, алая кровь,
Тихое, тихое сердце.

Путь наш единый, Любовь!
Слей нас в единое сердце!
Алая, алая кровь,
Вещее, вещее сердце...

1901

55. ИСТИНА ИЛИ СЧАСТЬЕ?

В. К.

Вам страшно за меня — а мне за вас.
Но разный страх мы разумеем.
Пусть схожие мечтания у нас,—
Мы разной жалостью жалеем.

Вам жаль «по-человечески» меня.
Так зол и тяжек путь исканий!
И мне дороги тихой, без огня
Желали б вы, боясь страданий.

Но вас — «по-Божьему» жалею я.
Кого люблю — люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя,
Чем ваша огненней дорога.

Я тихой пристани для вас боюсь,
Уединенья знаю власть я;
И не о счастии для вас молюсь —
О том молюсь, что выше счастья.

1902

56. НЕ ЗНАЮ

Мое одиночество — бездонное, безгранное;
но такое душное; такое тесное;
приползло ко мне чудовище, ласковое, странное,
мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное.

Всё зовет меня куда-то и сулит спасение —
неизвестное;
и душа во мне горит... ему принадлежу отныне я;
всё зовет меня и обещает радость и мученье
крестное,
и свободу от любви и от уныния.

Но как отречься от любви и от уныния?
Еще надеждою душа моя окована.
Уйти не смею я... И для меня есть скиния,—
но я не знаю, где она мне уготована.

1901

57. ХРИСТИАНИН

По Ефр. Сирину

Всё прах и тлен, всё гниль и грех,
Позор — любовь, безумство — смех,
Повсюду мрак, повсюду смрад,
И проклят мир, и проклят брат.

Хочу оков, хочу цепей...
Идите прочь с моих путей!
К Нему — мой вздох, к Нему — мой стон,
В затвор иду — в затворе Он!

1901

58. ДРУГОЙ ХРИСТИАНИН

Никто меня не поймет —
и не должен никто понять.
Мне душу страдание жжет,
И радость мешает страдать.

Тяжелые слезы свечей
и шелест чуть слышных слов...
В сияньи лампадных лучей
поникшие стебли цветов,

рассвет несветлого дня,—
всё — тайны последней залог...
И, тайну мою храня,
один я иду за порог.

Со мною меч — мой оплот,
я крепко держу рукоять...
Никто меня не поймет —
и не должен никто понять.

1901

59. «Я»

(ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ)

Я Богом оскорблен навек.
За это я в Него не верю.
Я самый жалкий человек,
Я перед всеми лицемерю.

Во мне — ко мне — больная страсть:
В себя гляжу, сужу, да мерю...
О, если б сила! Если б — власть!
Но я, любя, в себя не верю.

И всё дрожу, и всех боюсь,
Глаза людей меня пугают...
Я не даюсь, я сторонюсь,
Они меня не угадают.

А всё ж уйти я не могу;
С людьми мечтаю, негодую...
Стараясь скрыть от них, что лгу,
О правде Божией толкую,—

И так веду мою игру,
Хоть притворяться надоело...
Есмь только — я... И я — умру!
До правды мне какое дело?

Но не уйду; я слишком слаб;
В лучах любви чужой я греюсь;
Людей и лжи я вечный раб,
И на свободу не надеюсь.

Порой хочу я всех проклясть —
И лишь несмело обижаю...
Во мне — ко мне — больная страсть.
Люблю себя — и презираю.

1901

60. ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ ХРИСТИАНИНА

А.—К.

Подолгу бремя жизни нес
Я, долгу мрачному послушен.
Мне мир казался миром слез,
И к смерти был я равнодушен.

Несправедливостью судеб
Я огорчался в час раздумий,
Но зарабатывал мой хлеб
Без возмущений и безумий.

Не ненавидел никого
И не любил я через меру.
В конец, блаженный для всего,
Хранил заботливую веру.

Всегда скромны мои мечты,—
Мечтал о том лишь, что возможно...
И от соблазнов красоты
Я удалялся осторожно.

Я тихо жил — умру легко;
Был ни веселым, ни унылым;
Не заносился высоко
И брал лишь то, что мне по силам.

Я, раб Господень (имярек),
Кончиной близкою утешен.
Я очень скромный человек;
Господь простит мне, в чем и грешен.

1902

61. КАК ВСЕ

Не хочу, ничего не хочу,
Принимаю всё так, как есть.
Изменять ничего не хочу.
Я дышу, я живу, я молчу.

Принимаю и то, чему быть.
Принимаю болезнь и смерть.
Да исполнится всё, чему быть!
Не хочу ни ломать, ни творить.

И к чему оно всё — Бог весть!
Но да будет всё так, как есть.
Нерушимы земля и твердь.
Неизменны и жизнь, и смерть.

1901

62. СМИРЕННОСТЬ

Учитель жизни всех нас любит
И дал нам силы — по судьбе.
Смиренномудрие нас губит
И страсть к себе.

Глаза и лица закрываем,
Бежим от узкого пути...
Зачем мы лжем? Мы знаем, знаем,
Куда идти!

1901

63. О ДРУГОМ

Господь. Отец.
Мое начало. Мой конец.
Тебя, в Ком Сын, Тебя, Кто в Сыне,
Во Имя Сына прошу я ныне
И зажигаю пред Тобой
Мою свечу.
Господь. Отец. Спаси, укрой —
Кого хочу.

Тобою дух мой воскресает.
Я не о всех прошу, о Боже,
Но лишь о том,
Кто предо мною погибает,
Чье мне спасение дороже,
О нем,— одном.

Прими, Господь, мое хотенье!
О, жги меня, как я — свечу,
Но ниспошли освобожденье,
Твою любовь, Твое спасенье —
Кому хочу.

1901

64. СТРАХ И СМЕРТЬ

Я в себе, от себя, не боюсь ничего,
Ни забвенья, ни страсти.
Не боюсь ни унынья, ни сна моего —
Ибо всё в моей власти.

Не боюсь ничего и в других, от других;
К ним нейду за наградой;
Ибо в людях люблю не себя... И от них
Ничего мне не надо.

И за правду мою не боюсь никогда,
Ибо верю в хотенье.
И греха не боюсь, ни обид, ни труда...
Для греха — есть прощенье.

Лишь одно, перед чем я навеки без сил, —
Страх последней разлуки.
Я услышу холодное веянье крыл...
Я не вынесу муки.

О Господь мой и Бог! Пожалей, успокой,
Мы так слабы и наги!
Дай мне сил перед Ней, чистоты пред Тобой
И пред жизнью — отваги...

1901

65. ШВЕЯ

Уж третий день ни с кем не говорю...
А мысли — жадные и злые.
Болит спина; куда ни посмотрю —
Повсюду пятна голубые.

Церковный колокол гудел; умолк;
Я всё наедине с собою.
Скрипит и гнется жарко-алый шелк
Под неумелою иглою.

На всех явлениях лежит печать.
Одно с другим как будто слито.
Приняв одно — стараюсь угадать
За ним другое,— то, что скрыто.

И этот шелк мне кажется — Огнем.
И вот уж не огнем — а Кровью.
А кровь — лишь знак того, что мы зовем
На бедном языке — Любовью.

Любовь — лишь звук... Но в этот поздний час
Того, что дальше,— не открою.
Нет, не огонь, не кровь... а лишь атлас
Скрипит под робкою иглою.

1901

66. ОГРАДА

В пути мои погасли очи.
Давно иду, давно молчу.
Вот, на заре последней ночи
Я в дверь последнюю стучу.
Но там, за стрельчатой оградой —
Молчанье, мрак и тишина.
Мне достучаться надо, надо,
Мне надо отдыха и сна...
Ужель за подвиг нет награды?
Я чашу пил мою до дна...
Но там, за стрелами ограды —
Молчанье, мрак и тишина.

Стучу, кричу: нас было трое,
И вот я ныне одинок.
Те двое — выбрали иное,
Я их молил, но что я мог?
О, если б и они желали,
Как я — любили... мы теперь
Все трое вместе бы стучали
Последней ночью в эту дверь.
Какою было бы отрадой
Их умолить... но все враги.
И вновь стучу. И за оградой
Вот чьи-то тихие шаги.
Но между ним и мной — ограда.
Я слышу только шелест крыл
И голос,— легкий, как прохлада.
Он говорит: «А ты — любил?
Вас было трое. Трех мы знаем,
Троим — вам быть здесь суждено.
Мы эти двери открываем
Лишь тем, кто вместе — и одно.
Ты шел за вечною усладой,
Пришел один, спасал себя...

Но будет вечно за оградой,
Кто к ней приходит — не любя».

И не открылись двери сада;
Ни оправданья, ни венца;
Темна высокая ограда...
Мне достучаться надо, надо,
Молюсь, стучу, зову Отца —
Но нет любви,— темна ограда,
Но нет любви,— и нет Конца.

1902

67. СОСНЫ

Желанья всё безмернее,
Всё мысли об одном.
Окно мое вечернее,
И сосны под окном.

Стволы у них багровые,
Колюч утрюмый сад.
Суровые, сосновые
Стволы скрипят, скрипят.

Безмернее хотения,
Мечтания острей —
Но это боль сомнения
У запертых дверей.

А сосны всё качаются
И всё шумят, шумят,
Как будто насмехаются,
Как будто говорят:

«Бескрылые, бессильные,
Унылые мечты.
Взгляни: мы тоже пыльные,
Сухие, как и ты.

Качаемся, беспечные,
Нет лета, нет зимы...
Мы мертвые, мы вечные,
Твоя душа — и мы.

Твоя душа, в мятежности,
Свершений не дала.
Твоя душа без нежности,
А сердце — как игла».

Не слушаю, не слушаю,
Проклятье, иглы, вам!
И злому равнодушию
Себя я не предам,

Любви хочу и веры я...
Но спит душа моя.
Смеются сосны серые,
Колючие — как я.

1902

68. СНЫ

Всё дождик да дождик... Всё так же качается
Под мокрым балконом верхушка сосны...
О, дни мои мертвые! Ночь надвигается —
И я оживаю. И жизнь моя — сны.

И вплоть до зари, пробуждения вестницы,—
Я в мире свершений. Я радостно сплю.
Вот узкие окна... И белые лестницы...
И все, кто мне дорог... И всё, что люблю.

Притихшие дети, веселые странники,
И те, кто боялся, что сил не дано...
Все ныне со мною, все ныне избранники,
Одною любовью мы слиты в одно.

Какие тяжелые волны курения,
Какие цветы небывалой весны,
Какие молитвы, какие служения...
. . . .
Какие живые, великие сны!

1901

69. ТЕТРАДЬ ЛЮБВИ

(НАДПИСЬ НА КОНВЕРТЕ)

Сегодня заря встает из-за туч.
Пологом туч от меня она спрятана.
Не свет и не мгла... И темен сургуч,
Которым «Любовь» моя запечатана.

И хочется мне печати сломать...
Но воля моя смирением связана.
Пусть вечно закрытой лежит тетрадь,
Пусть будет Любовь моя — недосказана.

1901

70—71. ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

1. СПАСЕНИЕ

Мы судим, говорим порою так прекрасно,
И мнится — силы нам великие даны.
Мы проповедуем, собой упоены,
И всех зовем к себе решительно и властно.
Увы нам: мы идем дорогою опасной.
Пред скорбию чужой молчать обречены,—
Мы так беспомощны, так жалки и смешны,
Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,
Кто радостен и прост и верит неизменно,
Что жизнь — веселие, что всё — благословенно;
Кто любит без тоски и как дитя живет.
Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;
Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

2. НИТЬ

Через тропинку в лес, в уютности приветной,
Весельем солнечным и тенью облита,
Нить паутинная, упруга и чиста,
Повисла в небесах; и дрожью незаметной
Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;
Она крепка, тонка, прозрачна и проста.

Разрезана небес живая пустота
Сверкающей чертой — струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.
В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,
Мы ищем тонкости, не веря, что возможно
Величье с простотой в душе соединить.
Но жалко, мертвенно и грубо всё, что сложно;
А тонкая душа — проста, как эта нить.

1901

72. ВМЕСТЕ

Я чту Высокого,
Его завет.
Для одинокого —
Победы нет.
Но путь единственный
Душе открыт,
И зов таинственный,
Как клич воинственный,
Звучит, звучит...
Господь прозрение
Нам ныне дал;
Для достижения —
Дорогу тесную,
Пусть дерзновенную,
Но неизменную,
Одну, — совместную —
Он указал.

1902

73. ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ?

В. Ф. Нувелю

Грех — маломыслие и малодеянье,
Самонелюбие — самовлюбленность,
И равнодушное саморассеянье,
И успокоенная упоенность.

Грех — легкочувствие и легкодумие,
Полупроказливость — полуволненье.

Благоразумное полубезумие,
Полувнимание — полузабвенье.

Грех — жить без дерзости и без мечтания,
Не признаваемым — и не гонимым.
Не знать ни ужаса, ни упования
И быть приемлемым, но не любимым.

К стыду и гордости — равнопрезрение...
Всему покорственный привет без битвы...
Тяжеле всех грехов — Богоубьение,
Жизнь без проклятия — и без молитвы.

1902

74. СТАРИКОВЫ РЕЧИ

Иль дует от оконницы?
Я кутаюсь, я зябну у огня...
Ломоты да бессонницы
Измучили, ослабили меня.

Гляжу на уголь тлеющий,
На жалобный, на пепельный налет,
И в памяти слабеющей
Всё прошлое, вся жизнь моя встает.

Грехи да заблуждения...
Но буду ли их ныне вспоминать?
Великого учения
Премудрую постиг я благодать.

Погибель и несчастие —
Лишь в суетной покорности страстям.
Явил Господь бесстрастие,
Бесстрастие Он заповедал нам.

Любовь,— но не любовную,
Греховную, рожденную в огне,
А чистую, бескровную —
Духовную — Он посылает мне.

Изменникам — прощение,
Друзьям моим и недругам — привет...
О, вечное смирение!
О, сладостный, о, радостный завет!

Всё плоть моя послушнее...
Распаяно последнее звено.
Чем сердце равнодушнее —
Тем Господу угоднее оно.

Гляжу в очаг, на тление...
От тления лишь дух освобожден.
Какое умиление!
В нечестии весь мир,— а я спасен!

1902

75. ПОЦЕЛУЙ

Когда, Аньес, мою улыбку
К твоим устам я приближаю,
Не убегай пугливой рыбкой,
Что будет — я и сам не знаю.

Я знаю радость приближенья,
Веселье дум моих мятежных;
Но в цепь соединю ль мгновенья?
И губ твоих коснусь ли нежных?

Взгляни, не бойся; взор мой ясен,
А сердце трепетно и живо.
Миг обещанья так прекрасен!
Аньес... Не будь нетерпелива...

И удаление, и теснота
Равны — в обоих есть тревожность.
Аньес, люблю я неизвестность,
Не исполнение,— возможность.

Дрожат уста твои, не зная,
Какой огонь я берегу им...
Аньес... Аньес... и только края
Коснусь скользящим поцелуем...

1903

76. ПЬЯВКИ

Там, где заводь тихая, где молчит река,
Липнут пьявки черные к корню тростника.

В страшный час прозрения, на закате дней,
Вижу пьявок, липнущих и к душе моей.

Но душа усталая мертвенно тиха.
Пьявки, пьявки черные жадного греха!

1902

77. МУЧЕНИЦА

Кровью и огнем меня покрыли,
Будут жечь, и резать, и колоть,
Уголь алый к сердцу положили,
И горит моя живая плоть.

Если смерть — светло я умираю,
Если гибель — я светло сгорю.
И мучителей моих я — не прощаю,
Но за муку — их благодарю.

Ибо радость из-под муки рвется,
И надеждой кажется мне кровь.
Пусть она за эту радость льется,
За Того, к кому моя любовь.

1902

78. ЧАСЫ СТОЯТ

Часы остановились. Движенья больше нет.
Стоит, не разгораясь, за окнами рассвет.

На скатерти холодной неубранный прибор,
Как саван белый, складки свисают на ковер.

И в лампе не мерцает блестящая дуга...
Я слушаю молчанье, как слушают врага.

Ничто не изменилось, ничто не отошло;
Но вдруг отяжелело, само в себя вросло.

Ничто не изменилось, с тех пор как умер звук.
Но точно где-то властно сомкнули тайный круг.

И всё, чем мы за краткость, за легкость дорожим, —
Вдруг сделалось бессмертным, и вечным — и чужим.

Застыло, каменея, как тело мертвеца...
Стремленье — но без воли. Конец — но без конца.

И вечности безглазой беззвучен строй и лад.
Остановилось время. Часы, часы стоят!

1902

79. АЛМАЗ

Д. В. Философову

Вечер был ясный, предвесенний, холодный,
зеленая небесная высота — тиха.
И был тот вечер — Господу неугодный,
была годовщина нашего невольного греха.

В этот вечер, будто стеклянный — звонкий,
на воспоминание и боль мы осуждены.
И глянул из-за угла месяц тонкий
нам в глаза с нехорошей, с левой стороны.

В этот вечер, в этот вечер веселый,
смеялся месяц, узкий, как золотая нить.
Люди вынесли гроб, белый, тяжелый,
и на дроги с усилием старались положить.

Мы думали о том, что есть у нас брат — Иуда,
что предал он на грех, на кровь — не нас...
Но не страшен нам вечер; мы ждем чуда,
ибо сердце у нас острое, как алмаз.

29. 3. 1902

80. ЧИСЛА

Бездонного, предчувственного смысла
И благодатной мудрости полны,
Как имена вторые,— нам даны
Божественные числа.

И день, когда родимся, налагает
На нас печать заветного числа;
До смерти наши мысли и дела
Оно сопровождает.

И между числами — меж именами —
То близость, то сплетенье, то разлад.
Мир чисел, мы,— как бы единый сад,
С различными цветами.

Земная связь людей порою рвется,
Вот — кажется — и вовсе порвалась...
Но указанье правды — чисел связь
Навеки остается.

В одеждах одинаковых нас трое.
Как знак различия и общности, легло
На ткани алой — белое число,
Для каждого — родное.

Наш первый — 2. Второй, с ним, повторяясь,
Свое, для третьего, прибавил — 6.
И вот, в обоих первых — третий есть,
Из сложности рождаясь.

Пусть нет узла — его в себе мы носим.
Никто сплетенных чисел не рассек.
А числа, нас связавшие навек,—
2, 26 и 8.

1903

81. 13

Тринадцать, темное число!
Предвестье зол, насмешка, мщенье,
Измена, хитрость и паденье,—
Ты в мир со Змеем приползло.

И, чтоб везде разрушить чет,—
Из всех союзов и слияний,
Сплетений, смесей, сочетаний —
Тринадцать Дьявол создает.

Он любит числами играть.
От века ненавидя вечность,—
Позорит 8 — бесконечность,—
Сливая с ним пустое 5.

Иль, чтоб тринадцать сотворить,—
Подвижен, радостен и зорок,—
Покорной парою пятерок
Он 3 дерзает осквернить.

Порой, не брезгуя ничем,
Число звериное хватает
И с ним, с шестью, соединяет
Он легкомысленное 7.

И, добиваясь своего,
К двум с десятью он не случайно
В святую ночь беседы тайной
Еще прибавил — одного.

Твое, тринадцать, острие
То откровенно, то обманно,
Но непрестанно, неустанно
Пронзает наше бытие.

И, волей Первого Творца,
Тринадцать, ты — необходимо.
Законом мира ты хранимо —
Для мира грозного Конца.

1903

82. МЕРЕЖИ

Мы долго думали, что сети
Сплетает Дьявол с простотой,
Чтоб нас поймать, как ловят дети
В силки беспечных птиц, весной.

Но нет. Опутывать сетями —
Ему не нужно никого.
Он тянет сети — между нами,
В весельи сердца своего.

Сквозь эту мглу, сквозь эту сетку,
Друг друга видим мы едва.
Чуть слышен голос через клетку,
Обезображены слова.

Шалун во образе змеином
Пути друг к другу нам пресек.
И в одиночестве зверином
Живет отныне человек.

1902

83. НАГИЕ МЫСЛИ

Темные мысли — серые птицы...
Мысль одинокая нас не живит:
Смех ли ребенка, луч ли денницы,
Струн ли дрожание — сердце молчит.

Не оясняют, но отдаляют
Мысли немые желанный ответ.
Ожесточают и угашают
Нашей природы божественный свет.

Тяжкие мысли — мысли сухие,
Мысли без воли — нецарственный путь.
Знаю свои и чужие грехи я,
Знаю, где можно от них отдохнуть.

Мы соберемся в скорби священной,
В дыме курений, при пламени свеч,
Чтобы смиренно и дерзновенно
В новую плоть наши мысли облечь.

Мы соберемся, чтобы хотеньем
В силу бессилие преобразить,
Веру — со знанием, мысль — с откровеньем,
Разум — с любовию соединить.

1902

84. О ВЕРЕ

А. К.

Великий грех желать возврата
Неясной веры детских дней.
Нам не страшна ее утрата,
Не жаль пройденных ступеней.

Мечтать ли нам о повтореньях?
Иной мы жаждем высоты.
Для нас — в слияньях и сплетеньях
Есть откровенья простоты.

Отдайся новым созерцаньям,
О том, что было,— не грусти,
И к вере истинной — со знаньем —
Ищи бесстрашного пути.

1902

85. БОЖЬЯ ТВАРЬ

За Дьявола Тебя молю,
    Господь! И он — Твое созданье.
Я Дьявола за то люблю,
    Что вижу в нем — мое страданье.

Борясь и мучаясь, он сеть
    Свою заботливо сплетает...
И не могу я не жалеть
    Того, кто, как и я,— страдает.

Когда восстанет наша плоть
    В Твоем суде, для воздаянья,
О, отпусти ему, Господь,
    Его безумство — за страданье.

1902

86. КОСТЕР

Живые взоры я встречаю...
Огня, огня! Костер готов.
Я к ближним руки простираю,
Я жду движенья, знака, слов...

С какою радостною мукой
В очах людей ловлю я свет!
Но говорю... и дышит скукой
Их утомительный ответ.

Я отступаю, безоружный,
И длю я праздный разговор,
И лью я воду на ненужный,
На мой безогненный костер.

О, как понять, что это значит?
Кого осудим — их? меня?
Душа обманутая плачет...
Костер готов — и нет огня.

1902

87. СТРАНЫ УНЫНИЯ

Минуты уныния...
Минуты забвения...
И мнится — в пустыне я...
Сгибаю колени я,
Молюсь — но не молится
Душа несогретая,
Стучу — не отворится,
Зову — без ответа я...
Душа словно тиною
Окутана вязкою,
И страх, со змеиною
Колючею ласкою,
Мне в сердце впивается,
И проклят отныне я...
Но нет дерзновения.
Кольцо замыкается...
О, страны забвения!
О, страны уныния!

1902

88. ПРОТИВОРЕЧИЯ

Тихие окна, черные...
Дождик идет шепотом...
Мысли мои — непокорные.
Сердце полно — ропотом.

Падают капли жаркие
Робко, с мирным лепетом.
    Мысли — такие яркие...
    Сердце полно — трепетом.

Травы шепчутся сонные...
Нежной веет скукою...
    Мысли мои — возмущенные,
    Сердце горит — мукою...

И молчанье вечернее,
Сонное, отрадное,
    Ранит еще безмернее
    Сердце мое жадное...

1903

89. ЛУНА И ТУМАН

    Озеро дышит теплым туманом.
Он мутен и нежен, как сладкий обман.
    Борется небо с земным обманом:
Луна, весь до дна, прорезает туман.

    Я, как и люди, дышу туманом.
Мне близок, мне сладок уютный обман.
    Только душа не живет обманом:
Она, как луна, проницает туман.

1902

90. НИЧЕГО

Время срезает цветы и травы
    У самого корня блестящей косой:
Лютик влюбленности, астру славы...
    Но корни все целы — там, под землей.

Жизнь и мой разум, огненно-ясный!
    Вы двое — ко мне беспощадней всего:
С корнем вы рвете то, что прекрасно,
    В душе после вас — ничего, ничего!

1903

91. ОПУСТОШЕНИЕ

В моей душе, на миг опустошенной,
На миг встают безгласные виденья.
Качают головами сонно, сонно,
И пропадают робкие виденья.

Во тьме идет неслышно дождь упрямый,
Безмолвный мимо пролетает ветер.
Задев крылами, сотрясает рамы
И вдаль летит без звука черный ветер.

Что холодит меня во мне так странно?
Я, слушая, не слышу бьенья сердца.
Как будто льда обломок острогранный
В меня вложили тайно вместо сердца.

Я сплю, успенью моему покорный,
Но чаю воскресенья вечной правды.
Неси мою одежду, ветер черный,
Туда, наверх, к престолу нашей Правды!

1902

92. БОГИНЯ

Что мне делать с тайной лунной?
С тайной неба бледно-синей,
С этой музыкой бесструнной,
Со сверкающей пустыней?
Я гляжу в нее — мне мало,
Я люблю — мне не довольно...
Лунный луч язвит, как жало,—
Остро, холодно и больно.
Я в лучах блестяще-властных
Умираю от бессилья...
Ах, когда б из нитей ясных
Мог соткать я крылья, крылья!
О, Астарта! Я прославлю
Власть твою без лицемерья,
Дай мне крылья! Я расправлю
Их сияющие перья,
В сине-пламенное море
Кинусь в жадном изумленьи,
Задохнусь в его просторе,
Утону в его забвеньи...

1902

93. НЕТ

Нет! Сердце к радости лишь вечно приближалось,
Ее порога не желая преступать,
Чтоб неизведанное в радости осталось,
Чтобы всегда равно могла она пленять.

Нет! Даже этою любимою дорогой
В нас сердце вещее теперь утомлено.
О неизведанном мы знаем слишком много...
Оно изведано другими... всё равно!

Нет! Больше не мила нам и сама надежда.
С ней жизнь становится пустынна и легка.
Предчувствие любви... О, старая одежда!
Опять мятежность, безнадежность — и тоска!

Нет! Ныне всё прошло. Мы не покорны счастью.
В безумьи мудрости мы «нет» твердим всегда,
И будет нам дано сказать с последней властью
Свое невинное — неслыханное «да!»

1903

94. СООБЩНИКИ

В. Брюсову

Ты думаешь, Голгофа миновала,
При Понтии Пилате пробил час,
И жизнь уже с тех пор не повторяла
Того, что быть могло — единый раз?

Иль ты забыл? Недавно мы с тобою
По площади бежали второпях,
К судилищу, где двое пред толпою
Стояли на высоких ступенях.

И спрашивал один, и сомневался,
Другой молчал,— как и в былые дни.
Ты всё вперед, к ступеням порывался...
Кричали мы: распни Его, распни!

Шел в гору Он — ты помнишь? — без сандалий...
И ждал Его народ из ближних мест.

С Молчавшего мы там одежды сняли
И на веревках подняли на крест.

Ты, помню, был на лестнице, направо...
К ладони узкой я приставил гвоздь.
Ты стукнул молотком по шляпке ржавой,—
И вникло острие, не тронув кость.

Мы о хитоне спорили с тобою,
В сторонке сидя, у костра, вдвоем...
Не на тебя ль попала кровь с водою,
Когда ударил я Его копьем?

И не с тобою ли у двери гроба
Мы тело сторожили по ночам?
. . . .
Вчера, и завтра, и до века, оба —
Мы повторяем казнь -- Ему и нам.

1902

95. БАЛЛАДА

П. С. Соловьевой

Мостки есть в саду, на пруду, в камышах.
Там, под вечер, как-то, гуляя,
Я видел русалку. Сидит на мостках,—
Вся нежная, робкая, злая.

Я ближе подкрался. Но хрустнул сучок —
Она обернулась несмело,
В комочек вся съежилась, сжалась,— прыжок —
И пеной растаяла белой.

Хожу на мостки я к ней каждую ночь.
Русалка со мною смелее:
Молчит — но сидит, не кидается прочь,
Сидит, на тумане белея.

Привык я с ней, белой, молчать напролет
Все долгие, бледные ночи.
Глядеть в тишину холодеющих вод
И в яркие, робкие очи.

И радость меж нею и мной родилась,
Безмерна, светла, как бездонность;
Со сладко-горячею грустью сплелась,
И стало ей имя — влюбленность.

Я — зверь для русалки, я с тленьем в крови.
И мне она кажется зверем...
Тем жгучей влюбленность: мы силу любви
Одной невозможностью мерим.

О, слишком — увы — много плоти на мне!
На ней — может быть — слишком мало...
И вот, мы горим в непонятном огне
Любви, никогда не бывалой.

Порой, над водой, чуть шуршат камыши,
Лепечут о счастье страданья...
И пламенно-чисты в полночной тиши,—
Таинственно-чисты,— свиданья.

Я радость мою не отдам никому;
Мы — вечно друг другу желанны,
И вечно любить нам дано,— потому,
Что здесь мы, любя,— неслиянны!

1903

96. ЗЕЛЕНОЕ, ЖЕЛТОЕ И ГОЛУБОЕ

Я горестно измучен.
Я слаб и безответен.
О, мир так разнозвучен!
Так грубо разносветен!

На спрошенное тайно —
Обидные ответы...
Всё смешано — случайно,
Слова, цвета и светы.

Лампада мне понятна,
Зеленая лампада.
Но лампы желтой пятна
Ее лучам — преграда.

И, голубея, окна
В рассветном льду застыли...
Сплелись лучи — в волокна
Неясно-бурой пыли.

И люди, зло и разно,
Сливаются, как пятна:
Безумно-безобразно
И грубо-непонятно.

1903

97. ПАУКИ

Я в тесной келье — в этом мире.
И келья тесная низка.
А в четырех углах — четыре
Неутомимых паука.

Они ловки, жирны и грязны.
И всё плетут, плетут, плетут...
И страшен их однообразный
Непрерывающийся труд.

Они четыре паутины
В одну, огромную, сплели.
Гляжу — шевелятся их спины
В зловонно-сумрачной пыли.

Мои глаза — под паутиной.
Она сера, мягка, липка.
И рады радостью звериной
Четыре толстых паука.

1903

98. ЦЕПЬ

Один иду, иду чрез площадь снежную,
Во мглу вечернюю, легко-туманную,
И думу думаю, одну, мятежную,
Всегда безумную, всегда желанную.

Колокола молчат, молчат соборные,
И цепь оградная во мгле недвижнее.

А мимо цепи, вдаль, как тени черные,
Как привидения,— проходят ближние.

Идут — красивые, и безобразные,
Идут веселые, идут печальные;
Такие схожие — такие разные,
Такие близкие, такие дальные...

Где ненавистные — и где любимые?
Пути не те же ли всем уготованы?
Как звенья черные,— неразделимые,
Мы в цепь единую навеки скованы.

1902

99. БЕЛАЯ ОДЕЖДА

Побеждающему Я дам белые одежды.

Апокалипсис

Он испытует — отдалением,
Я принимаю испытание.
Я принимаю со смирением
Его любовь,— Его молчание.

И чем мольба моя безгласнее —
Тем неотступней, непрерывнее,
И ожидание — прекраснее,
Союз грядущий — неразрывнее.

Времен и сроков я не ведаю,
В Его руке Его создание...
Но победить — Его победою —
Хочу последнее страдание.

И отдаю я душу смелую
Мое страданье Сотворившему.
Сказал Господь: «Одежду белую
Я посылаю — победившему».

1902

СОБРАНИЕ СТИХОВ

КНИГА ВТОРАЯ

1903—1909

100. ПЕТЕРБУРГ

Сергею Платоновичу Каблукову

Люблю тебя, Петра творенье...

Твой остов прям, твой облик же́сток,
Шершавопыльный — сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.

Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье — смерть и тленье,
А воды — горькая полынь.

Как уголь, дни,— а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой.
И свод небесный, остеклелый
Пронзен заречною иглой.

Бывает: водный ход обратен,
Вздыбясь, идет река назад...
Река не смоет рыжих пятен
С береговых своих громад,

Те пятна, ржавые, вскипели,
Их ни забыть,— ни затоптать...
Горит, горит на темном теле
Неугасимая печать!

Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь...
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь,—

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг,
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.

1909
СПБ

101. ПЕТУХИ

П. С. С.

Ты пойми,— мы ни там, ни тут.
Дело наше такое,— бездомное.
Петухи поют, поют...
Но лицо небес еще темное.

На деревья гляди,— на верхи.
Не колеблет их близость рассветная...
Всё поют, поют петухи,—
Но земля молчит, неответная...

1906
Париж

102. БРАЧНОЕ КОЛЬЦО

Над темностью лампады незажженной
Я увидал сияющий отсвет.
Последним обнаженьем обнаженной
Моей душе — пределов больше нет.

Желанья были мне всего дороже...
Но их, себя, святую боль мою,
Молитвы, упованья,— всё, о Боже,
В Твою Любовь с любовью отдаю.

И этот час бездонного смиренья
Крылатым пламенем облек меня.
Я властен властью — Твоего веленья,
Одет покровом — Твоего огня.

Я к близкому протягиваю руки,
Тебе, Живому, я смотрю в Лицо,
И, в светлости преображенной муки,
Мне легок крест, как брачное кольцо.

1905
СПБ

103. К НЕЙ

О, почему Тебя любить
Мне суждено неодолимо?
Ты снишься мне иль, может быть,
Проходишь где-то близко, мимо,

И шаг Твой дымный я ловлю,
Слежу глухие приближенья...
Я холод риз Твоих люблю,
Но трепещу прикосновенья.

Теряет бледные листы
Мой сад, Тобой завороженный...
В моем саду проходишь Ты,—
И я тоскую, как влюбленный.

Яви же грозное лицо!
Пусть разорвется дым покрова!
Хочу, боюсь — и жду я зова...
Войди ко мне. Сомкни кольцо.

1905

104. БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Дышит тихая весна,
Дышит светами приветными...
Я сидела у окна
За шерстями разноцветными.

Подбирала к цвету цвет,
Кисти яркие вязала я...
Был мне весел мой обет:
В храм святой завеса алая.

И уста мои твердят
Богу Сил мольбы привычные...
В солнце утреннем горят
Стены горницы кирпичные...

Тихо, тихо. Вдруг в окне,
За окном,— мелькнуло белое...
Сердце дрогнуло во мне,
Сердце девичье, несмелое...

Но вошел... И не боюсь,
Не боюсь я Светлоликого.
Он как брат мой... Поклонюсь
Брату, вестнику Великого.

Белый дал он мне цветок...
Не судила я, не мерила,
Но вошел он на порог,
Но сказал,— и я поверила.

Воля Господа — моя.
Будь же, как Ему угоднее...
Хочет Он — хочу и я.
Пусть войдет Любовь Господняя...

Март 1904
СПБ

105. НОЧЬЮ

Ночные знаю странные прозрения:
    Когда иду навстречу тишине,
Когда люблю ее прикосновения,
    И сила яркая растет во мне.

Колдует ли душа моя иль молится,—
    Не ведаю; но радостна мне весть...
Я чую, время пополам расколется,
    И будущее будет тем, что есть.

Все чаянья,— все дали и сближения,—
    В один великий круг заключены.
Как ветер огненный,— мои хотения,
    Как ветер, беспреградны и властны.

И вижу я,— на ком-то загораются
    Сияньем новым белые венцы...
Над временем, во мне, соприкасаются
    Начала и концы.

1904

106. ДНЕМ

Я ждал полета и бытия.
Но мертвый ястреб — душа моя.
Как мертвый ястреб, лежит в пыли,
Отдавшись тупо во власть земли.
Разбить не может ее оков.
Тяжелый холод — земной покров.

Тяжелый холод в душе моей,
К земле я никну, сливаюсь с ней.
И оба мертвы — она и я.
Убитый ястреб — душа моя.

1904

107. СВОБОДА

Я не могу покоряться людям.
Можно ли рабства хотеть?
Целую жизнь мы друг друга судим,—
Чтобы затем — умереть.

Я не могу покоряться Богу,
Если я Бога люблю.
Он указал мне мою дорогу,
Как от нее отступлю?

Я разрываю людские сети —
Счастье, унынье и сон.
Мы не рабы,— но мы Божьи дети,
Дети свободны, как Он.

Только взываю, именем Сына,
К Богу, Творцу Бытия:
Отче, вовек да будут едино
Воля Твоя и моя!

1904

108. ВСЁ КРУГОМ

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,

Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе.

1904
СПБ

109. НЕ ЗДЕСЬ ЛИ?

Я к монастырскому житью
Имею тайное пристрастие.
Не здесь ли бурную ладью
Ждет успокоенное счастие?

В полно́чь — служенье в алтаре,
Напевы медленно-тоскливые...
Бредут, как тени, на заре
По кельям братья молчаливые.

А утром — звонкую бадью
Спускаю я в колодезь каменный,
И рясу черную мою
Ласкает первый о́тсвет пламенный.

Весь день — работаю без дум,
С однообразной неизменностью,
И убиваю гордый ум
Тупой и ласковой смиренностью.

Я на молитву становлюсь
В часы вечерние, обычные,
И говорю, когда молюсь,
Слова чужие и привычные.

Так жизнь проходит и пройдет,
Благим сияньем озаренная,
И ничего уже не ждет
Моя душа невозмущенная.

Неразличима смена дней,
Живу без мысли и без боли я,
Без упований и скорбей,
В одной блаженности — безволия.

1904

110. ПОБЕДЫ

Звезды люблю я и листья весенние,—
Темную землю и алую кровь.
Чем сочетанья во мне совершеннее,
Тем горячее и тем неизменнее
Жадного сердца живая любовь.

Шорохи теплые, прикосновения
Хаоса черного,— вас ли губить?
О, не пред образом мрака и тления,
Не пред угрозою всеразрушения
Может живая любовь отступить!

Темные шорохи, слепорожденные,
Я ли закрою пред вами лицо?
Безблагодатные и беззаконные,
Вас я хочу разбудить, мои сонные,
Вас заключить в световое кольцо.

Небо от крови закатной червоннее...
Мне ль по мостам золотым не идти?
С каждым мгновеньем люблю неуклоннее,
С каждым мгновеньем любовь озареннее,
Ближе воскресная смерть на пути!

1906

111. УСПОКОЙСЯ?

Своей рукою Вседержитель
К спасенью хочет привести.
И уготована обитель,
И предназначены пути.

Всё решено от Духа Свята,
Он держит всех судеб ключи,
Он всех спасет. Не трогай брата,
Не убеждай... Оставь. Молчи.

Но если всем своя дорога,
И есть завет: не прекословь,—
Зачем же нам, по воле Бога,
Дана — бездейственно — Любовь?

1904

112. ДОЖДИЧЕК

О, веселый дождь осенний,
Вечный — завтра и вчера!
Всё беспечней, совершенней
Однозвучная игра.

Тучны, грязны и слезливы,
Оседают небеса.
Веселы и шепотливы
Дождевые голоса.

О гниеньи, разложеньи
Всё твердят — не устают,
О всеобщем разрушеньи,
Умирании поют.

О болезни одинокой,
О позоре и скорбях
Жизни нашей темноокой,
Где один властитель — Страх.

И, пророчествам внимая,
Тупо, медленно живу,
Равнодушно ожидая
Их свершенья наяву.

Помню, было слово: крылья...
Или брежу? Всё равно!
Без борьбы и без усилья
Опускаюсь я на дно.

1904

113. ОНИ

Звенят, поют, проходят мимо,
Их не постичь, их не догнать,
Во мглу скользят неуловимо —
И возвращаются опять...

Игра и дымность в их привете,
Отсветы мыслей, тени слов...
Они — таинственные дети
Еще несознанных миров.

Не жизнь они — но жажда жизни,
Не звуки — только дрожь струны.
Своей мерцающей отчизне
Они, крылатые, верны.

А я, разумный и безвластный,
Заворожить их не могу,
Остановить их лет неясный,
Зажечь на этом берегу.

Я только слышу — вьются, вьются,
Беззвонный трепет я ловлю.
Играют, плачут и смеются,
А я, безвластный,— их люблю.

1904

114. КОРОСТЕЛЬ

А. К.

«Горяча моя постель...
Думка белая измята...
Где-то плачет коростель,
Ночь дневная пахнет мятой.

Утомленная луна
Закатилась за сирени...
Кто-то бродит у окна,
Чьи-то жалобные тени.

Не меня — ее, ее
Любит он! Но не ревную,
Счастье ведаю мое
И, страдая,— торжествую.

Шорох, шепот я ловлю...
Обнял он ее, голубит...
Я одна — но я люблю!
Он — лишь думает, что любит.

Нет любви для двух сердец.
Там, где двое,— разрушенье.
Где начало — там конец.
Где слова — там отреченье.

Посветлеет дым ночной,
Встанет солнце над сиренью,
Он уйдет к любви иной...
Было тенью — будет тенью...

Горяча моя постель,
Светел дух мой окрыленный...
Плачет нежный коростель,
Одинокий и влюбленный».

1904

115. МЕЖДУ

Д. В. Ф.

«На лунном небе чернеют ветки...
Внизу чуть слышно шуршит поток.
А я качаюсь в воздушной сетке,
Земле и небу равно далек.

Внизу — страданье, вверху — забавы.
И боль, и радость — мне тяжелы.
Как дети, тучки тонки, кудрявы...
Как звери, люди жалки и злы.

Людей мне жалко, детей мне стыдно,
Здесь — не поверят, там — не поймут,
Внизу мне горько, вверху — обидно...
И вот я в сетке — ни там, ни тут.

Живите, люди! Играйте, детки!
На всё, качаясь, твержу я "нет"...
Одно мне страшно: качаясь в сетке,
Как встречу теплый, земной рассвет?

А пар рассветный, живой и редкий,
Внизу рождаясь, встает, встает...
Ужель до солнца останусь в сетке?
Я знаю, солнце — меня сожжет».

1905

116. ДО́МА

Зеленые, лиловые,
Серебряные, алые...
Друзья мои суровые,
Цветы мои усталые...

Вы — дни мои напрасные,
Часы мои несмелые,
О, желтые и красные,
Лиловые и белые!

Затихшие и черные,
Склоненные и ждущие...
Жестокие, покорные,
Молчаньем Смерть зовущие...—

Зовут, неумолимые,
И зов их всё победнее...
Цветы мои, цветы мои,
Друзья мои последние!

1908
Париж

117. НЕЛЮБОВЬ

З. В.

Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни,
Как ветер черный, поешь: ты мой!
Я древний хаос, я друг твой давний,
Твой друг единый,— открой, открой!

Держу я ставни, открыть не смею,
Держусь за ставни и страх таю.
Храню, лелею, храню, жалею
Мой луч последний — любовь мою.

Смеется хаос, зовет безокий:
Умрешь в оковах,— порви, порви!
Ты знаешь счастье, ты одинокий,
В свободе счастье — и в Нелюбви.

Охладевая, творю молитву,
Любви молитву едва творю...
Слабеют руки, кончаю битву,
Слабеют руки... Я отворю!

1907

118. ОВЕН И СТРЕЛЕЦ

> Я родился в безумный месяц март...
>
> *А. Меньшов*

Не март девический сиял моей заре:
Ее огни зажглись в суровом ноябре.

Не бледный халкидон — заветный камень мой,
Но гиацинт-огонь мне дан в удел земной.

Ноябрь, твое чело венчает яркий снег...
Две тайны двух цветов заплетены в мой век,

Два верных спутника мне жизнью суждены:
Холодный снег, сиянье белизны,—

И алый гиацинт,— его огонь и кровь.
Приемлю жребий мой: победность и любовь.

1907

119. МУДРОСТЬ

Сошлись чертовки на перекрестке,
На перекрестке трех дорог.
Сошлись к полно́чи, и месяц жесткий
Висел вверху, кривя свой рог.

Ну, как добыча? Сюда, сестрицы!
Мешки тугие,— вот прорвет!
С единой бровью и с ликом птицы,—
Выходит старшая вперед.

И запищала, заговорила,
Разинув клюв и супя бровь:
«Да что ж, неплохо! Ведь я стащила
У двух любовников — любовь.

Сидят, целуясь... А я, украдкой,
Как подкачусь, да сразу — хвать!
Небось, друг друга теперь не сладко
Им обнимать да целовать!

А вы, сестрица?» — «Я знаю меру,
Мне лишь была б полна сума.
Я у пророка украла веру,—
И он тотчас сошел с ума.

Он этой верой махал, как флагом,
Кричал, кричал... Постой же, друг!
К нему подкралась я тихим шагом —
Да флаг и вышибла из рук!»

Хохочет третья: «Вот это средство!
И мой денечек не был плох:
Я у ребенка украла детство,
Он сразу сник. Потом издох».

Смеясь, к четвертой пристали: ну же,
А ты явилась с чем, скажи?
Мешки тугие, всех наших туже...
Скорей веревку развяжи!

Чертовка мнется, чертовке стыдно...
Сама худая, без лица.
«Хоть я безлика, а всё ж обидно:
Я обокрала — мудреца.

Жирна добыча, да в жире ль дело!
Я с мудрецом сошлась на грех.
Едва я мудрость стащить успела,—
Он тотчас стал счастливей всех!

Смеется, пляшет... Ну, словом, худо.
Назад давала — не берет.
"Спасибо, ладно! И вон отсюда!"
Пришлось уйти... Еще убьет!

Конца не вижу я испытанью.
Мешок тяжел, битком набит!
Куда деваться мне с этой дрянью?
Хотела выпустить — сидит».

Чертовки взвыли: наворожила!
Не людям быть счастливей нас!
Вот угодила, хоть и без рыла!
Тащи назад! Тащи сейчас!

«Несите сами! Я понесла бы,
Да если люди не берут!»
И разодрались четыре бабы:
Сестру безликую дерут.

Смеялся месяц... И от соблазна
Сокрыл за тучи острый рог.
Дрались... А мудрость лежала праздно
На перекрестке трех дорог.

1908

120. ПЕРЕБОИ

Если сердце вдруг останавливается...—
на душе беспокойно и весело...
Точно сердце с кем-то уславливается...—
а жизнь свой лик занавесила...
Но вдруг —
Нет свершенья, новый круг,
Сердце тронуло порог,
Перешло — и вновь толчок,
И стучит, стучит, спеша,
И опять болит душа,
И опять над ней закон
Чисел, сроков и времен,
Кровь бежит, темно звеня,
Нету ночи, нету дня,
Трепет, ропот, торопь, стук,
И вдруг —
Сердце опять останавливается...—
Вижу я очи Твои, Безмерная,
под взором Твоим душа расплавливается...—
о, не уходи, моя Единая и Верная,
овитая радостями тающими,
радостями, знающими
Всё.

1905

121. УЗЕЛ

Сожму я в узел нить
    Меж сердцем и сознаньем.
Хочу разъединить
    Себя с моим страданьем.

И будет кровь не течь —
    Ползти, сквозь узел, глухо.
И будет сердца речь
    Невнятною для духа.

Пусть, теплое, стучит
    И бьется, спотыкаясь.
Свободный дух молчит,
    Молчит, не откликаясь.

Храню его полет
    От всех путей страданья.
Он дан мне — для высот
    И счастья созерцанья.

Узлом себя делю,
    Преградой размыкаю.
И если полюблю —
    Про это не узнаю.

Покой и тишь во мне.
    Я волей круг мой сузил.
. . . .
Но плачу я во сне,
    Когда слабеет узел...

1905

122. ЗЕМЛЕ

В рассветный вечер окно открою
Навстречу росам и ветру мглистому.
Мое Страданье, вдвоем с тобою
Молиться будем рассвету чистому.

Я знаю: сила и созиданье
В последней тайне,— в ее раскрытии.
Теперь мы двое, мое Страданье,
Но будем Два мы,— в одном совитии.

И с новым ликом, без рабства счастью,
В лучах страданья, в тени влюбленности,
К рассветным росам пойдем со властью,
Разбудим росы от смертной сонности.

Сойдем туманом, веселым дымом,
Прольемся в небе зарею алою,
Зажжем желаньем неутолимым
Больную землю, сестру усталую...

Нет, не к сестре мы — к Земле-Невесте
Пойдем с дарами всесильной ясности.
И если нужно — сгорим с ней вместе,
Сгорим мы трое в огне всестрастности.

1905

123. ОПРАВДАНИЕ

Ни воли, ни умелости,
Друзья мне — как враги...
    Моей безмерной смелости,
    Господь, о помоги!

Ни ясности, ни знания,
Ни силы быть с людьми...
    Господь, мои желания,
    Желания прими!

Ни твердости, ни нежности...
Ни бодрости в пути...
    Господь, мои мятежности
    И дерзость освяти!

Я в слабости, я в тленности
Стою перед Тобой.
    Во всей несовершенности
    Прими меня, укрой.

Не дам Тебе смирения,—
Оно — удел рабов,—
    Не жду я всепрощения,
    Забвения грехов,

Я верю — в Оправдание...
Люби меня, зови!
Сожги мое страдание
В огне Твоей Любви!

1904

124. ТЫ:

Вешнего вечера трепет тревожный —
С тонкого тополя веточка нежная.
Вихря порыв, горячо-осторожный —
Синей бездонности гладь безбережная.

В облачном небе просвет просиянный —
Свежих полей маргаритка росистая,
Меч мой небесный, мой луч острогранный —
Тайна прозрачная, ласково-чистая.

Ты — на распутьи костер ярко-жадный —
И над долиною дымка невестная.
Ты — мой веселый и беспощадный,—
Ты — моя близкая и неизвестная.

Ждал я и жду я зари моей ясной,
Неутомимо тебя полюбила я...
Встань же, мой месяц серебряно-красный,
Выйди, двурогая,— Милый мой — Милая...

1905

125. СТЕКЛО

В стране, где всё необычайно,
Мы сплетены победной тайной.
Но в жизни нашей, не случайно,
Разъединяя нас, легло
Меж нами темное стекло.
Разбить стекла я не умею,
Молить о помощи не смею;
Приникнув к темному стеклу,
Смотрю в безрадужную мглу,
И страшен мне стеклянный холод...
Любовь, любовь! О дай мне молот,
Пусть ранят брызги, всё равно,
Мы будем помнить лишь одно,

Что там, где всё необычайно,
Не нашей волей, не случайно,
Мы сплетены последней тайной...
Услышит Бог. Кругом светло.
Он даст нам сил разбить стекло.

1904

126. ЕСЛИ

Если ты не любишь снег,
Если в снеге нет огня,—
Ты не любишь и меня,
Если ты не любишь снег.

Если ты не то, что я,—
Не увидим мы Лицо,
Не сомкнет Он нас в кольцо,
Если ты не то, что я.

Если я не то, что ты,—
В пар взлечу я без следа,
Как шумливая вода,
Если я не то, что ты.

Если мы не будем в Нем,
Вместе, свитые в одно,
В цепь одну, звено в звено,
Если мы не будем в Нем,—

Значит, рано, не дано,
Значит, нам — не суждено,
Просияв Его огнем,
На земле воскреснуть в Нем...

1905

127—129. ТРИ ФОРМЫ СОНЕТА

1

Веленьем не моим, но мне понятным,
Ты, непонятная, лишь мне ясна.
Одной моей душой отражена,—
Лишь в ней сияешь светом незакатным.

Мечтаньям ли, молитвам ли невнятным
Ты отдаешься средь тоски и сна,—
От сна последнего ты спасена
Копьем будящим, ядом благодатным.

Я холод мертвый ядом растоплю,
Я острого копья не притуплю,
Пока живая сила в нем таится.
Но бойся за себя... Порою мнится,
Что ложью острое копье двоится —
И что тебя я больше не люблю.

2

Я все твои уклоны отмечаю.
Когда ты зла,— я тихо утомлен,
Когда ты падаешь в забвенный сон,—
С тобою равнодушно я скучаю.
Тебя, унылую, брезгливо презираю,
Тобой, несчастной, — гордо огорчен,
Зато в глубокую всегда влюблен,
А с девочкою ясною — играю.

И каждую изменчивость я длю.
Мне равно святы все твои мгновенья,
Они во мне — единой цепи звенья.
Терзаю ли тебя, иль веселю,
Влюбленности ли час, иль час презренья,—
Я через всё, сквозь всё — тебя люблю.

3

Б. Б—у

...И не мог совершить там никакого чуда...

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог — владеет Рок.
Ты был на перекрестке трех дорог,—
И ты не стал лицом к Его преддверию...
Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог.

Он отошел в соседние селения...
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!

И, если хочешь,— первый перед Ним
С бездумной верою склоню колени я...
Не Он Один — все вместе совершим,
По вере,— чудо нашего спасения...

1907
Париж

130. ТОЛЬКО О СЕБЕ

Нат. Гиппиус

Мы,— робкие,— во власти всех мгновений.
Мы,— гордые,— рабы самих себя.
Мы веруем,— стыдясь своих прозрений,
И любим мы,— как будто не любя.

Мы,— скромные,— бесстыдно молчаливы.
Мы в радости боимся быть смешны,—
И жалобно всегда самолюбивы,
И низменно всегда разделены!

Мы думаем, что новый храм построим
Для новой, нам обещанной, земли...
Но каждый дорожит своим покоем
И одиночеством в своей щели.

Мы,— тихие,— в себе стыдимся Бога,
Надменные,— мы тлеем, не горя...
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная последняя заря!

1904
СПБ

131. ВОЗЬМИ МЕНЯ

Открой мне, Боже, открой людей!
Они Твои ли, Твое ль созданье,
Иль вражьих плевел произрастанье?
Открой мне, Боже, открой людей!

Верни мне силу, отдай любовь.
Отдай ночные мои прозренья,
И трепет крыльев, и озаренья...
Отдай мне, Боже, мою любовь.

И в час победы — возьми меня.
Возьми, о, жизни моей Властитель,
В Твое сиянье, в Твою обитель,
В Твое забвенье возьми меня!

1904

132. ЧАС ТРЕТИЙ

Три раза искушаема была Любовь моя.
И мужественно борется... сама Любовь, не я.

Вставало первым странное и тупо-злое тело.
Оно, слепорожденное, прозрений не хотело.

И яростно противилось, и падало оно,
Но было волей светлою Любви — озарено.

Потом душа бездумная,— опять слепая сила,—
Привычное презрение и холод возрастила.

Но волею горячею растоплен колкий лед:
Пускай в оврагах холодно,— черемуха цветет!

О, дважды искушенная, дрожи пред третьим разом!
Встает мой ярко-огненный, мой беспощадный разум!

Ты разум человеческий, его огонь и тишь,
Своей одною силою, Любовь,— не победишь.

Не победишь, живущая в едином сердце тленном,
Лишь в сердце человеческом, изменном и забвенном.

Но если ты не здешнего — иного сердца дочь,—
Себя борьбою с разумом напрасно не порочь.

Земная ярость разума светла, но не бездонна.
Любовь! Ты власти разума, как смерти, неподклонна.

Но в Третий час к Создавшему, приникнув, воззови,—
И Сам придет Защитником рожденной Им — Любви.

1906

133. В ЧЕРТУ

Он пришел ко мне,— а кто, не знаю,
Очертил вокруг меня кольцо.
Он сказал, что я его не знаю,
Но плащом закрыл себе лицо.

Я просил его, чтоб он помедлил,
Отошел, не трогал, подождал.
Если можно, чтоб еще помедлил
И в кольцо меня не замыкал.

Удивился Темный: «Что могу я?»
Засмеялся тихо под плащом.
«Твой же грех обвился,— что могу я?
Твой же грех обвил тебя кольцом».

Уходя, сказал еще: «Ты жалок!»
Уходя, сникая в пустоту.
«Разорви кольцо, не будь так жалок!
Разорви и вытяни в черту».

Он ушел, но он опять вернется.
Он ушел — и не открыл лица.
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца.

1905

134. СВЯТОЕ

Печали есть повсюду...
Мне надоели жалобы;
Стихов слагать не буду...
О, мне иное жало бы!

Пчелиного больнее,
Змеиного колючее...
Чтоб ранило вернее —
И холодило, жгучее.

Не яд, не смерть в нем будет;
Но, с лаской утаенною,
Оно, впиваясь,— будит,
Лишь будит душу сонную.

Чтобы душа дрожала
От счастия бессловного...
Хочу — святого жала,
Божественно-любовного.

1905

135. ОНА

В своей бессовестной и жалкой низости,
Она, как пыль, сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

1905
СПБ

136. ОНА

А. А. Блоку

Кто видел Утреннюю, Белую
Средь расцветающих небес,—
Тот не забудет тайну смелую,
Обетование чудес.

Душа, душа, не бойся холода!
То холод утра,— близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И в нем — дыхание огня.

Душа моя, душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты — твердь зеленая, восходная,
Для светлой Утренней Звезды.

1905
СПБ

137. ОПЯТЬ

Бор. Буг.

Ближе, ближе вихорь пыльный,
Мчится вражеская рать.
Я — усталый, я — бессильный,
Мне ли с вихрем совладать?

Одинокие послушны,
Не бегут своей судьбы.
Пусть обнимет вихорь душный,
Побеждает без борьбы.

Выйду я к нему навстречу,
Силе мглистой поклонюсь.
На призыв ее отвечу,
В нити серые вовьюсь.

Не разрежет, не размечет,
Честной сталью не пронзит,—
Незаметно изувечит,
Невозвратно ослепит.

Попируем мы на тризне...
Заметайся, пыльный след!
Распадайтесь, скрепы жизни,
Ночь прошла, но утра нет.

Едко, сладко дышит тленье...
В сером вихре тает плоть...
Помяни мое паденье
На суде Твоем, Господь!

1906

138. КАМЕНЬ

Камень тела давит дух,
        Крылья белые, шелестящие,
        Думы легкие и творящие...
Давит камень тела — дух.

Камень тела душит плоть,
        Радость детскую, с тайной свитую,
        Ласку быструю и открытую...
Душит камень тела — плоть.

Камню к камню нет путей.
        Мы в одной земле — погребенные,
        И собой в себе — разделенные...
Нам друг к другу нет путей.

1907

139. ШУТКА

Не слушайте меня, не стоит: бедные
        Слова я говорю; я — лгу.
И если в сердце знанья есть победные,—
        Я от людей их берегу.

Как дети, люди: злые и невинные,
        Любя, умеют оскорблять.
Они еще не горные — долинные...
        Им надо знать,— но рано знать.

Минуют времена узаконенные...
        Заветных сроков ждет душа.
А до времен, молчаньем утомленные,
        Мы лжем, скучая и — смеша.

Так и теперь, сплетая речь размерную,
        Лишь о ненужностях твержу.
А тайну грозную, последнюю и верную —
        Я всё равно вам не скажу.

1905

140. РОСНОЕ ИМЯ

Вал. Нувелю

Мы вчера говорили, говорили...
Прекрасные, ясные цветы вырастали,
тонкие, стройные травы всходили,
вырастали, всходили — и вяли...

Сухие стебли поникли, повисли,
и не было ничего, что было...
Нас связали слова и мысли,
а Страшное Имя разделило.

Мы разошлись забвенно и косно,
Не знаю — праведно иль греховно...
Ужели навек всё меж нами безросно,
и безросно, и безлюбовно?

1904

141. ИМЕТЬ

Вас. Успенскому

В зеленом шуме листьев вешних,
В зеленом шорохе волны,
Я вечно жду цветов нездешних
Еще несознанной весны.

А Враг так близко в час томленья
И шепчет: «Слаще — умереть...»
Душа, беги от искушенья,
Умей желать,— умей иметь.

И если детски плачу ночью
И слабым сердцем устаю —
Не потеряю к беспорочью
Дорогу верную мою.

Пусть круче всход — белей ступени.
Хочу дойти, хочу узнать,
Чтоб там, обняв Его колени,
И умирать,— и воскресать.

1905

142. ВОДОСКАТ

А. А. Блоку

Душа моя угрюмая, угрозная,
Живет в оковах слов.
Я — черная вода, пенноморозная,
Меж льдяных берегов.

Ты с бедной человеческою нежностью
Не подходи ко мне.
Душа мечтает с вещей безудержностью
О снеговом огне.

И если в мглистости души, в иглистости
Не видишь своего,—
То от тебя ее кипящей льдистости
Не нужно ничего.

1905

143. МАЛИНКА

...А в ком дух слабел, тому дед давал ягодки, вроде малинки. И кто кушал, тот уже смерти не пугался, а шел на нее мирно, как бы в полусне...

Раскольники-самосожженцы

Лист положен сверху вялый,
Переплет корзинки туг.
Я принес подарок алый
Для души твоей, мой друг.

Темно-ярки и пушисты,
Все они — одна к одной.
Спят, как дети, чисты, чисты,
В колыбели под листвой.

Томь полудня вздохом мглистым
Их, лаская, обвила.
Дымом легким и огнистым
Заалели их тела.

Погляди ж в мою корзинку,
Угостить себя позволь...
Любит вещую малинку
Человеческая боль.

Сердце плачет? Кушай, кушай,
Сердце — ворог, сердце — зверь.
Никогда его не слушай,
Никогда ему не верь.

Обрати, душой покорной,
Трепет в тихость, пламень в лед...
От малинки наговорной
Всё забудешь, всё пройдет.

Кушай, кушай... Всюду бренность,
Радость — с горем сплетена...
Кушай... В ягодках забвенность,
Мара, сон и тишина...

1907

144. АВГУСТ

Пуста пустыня дождевая...
И, обескрылев в мокрой мгле,
Тяжелый дым ползет, не тая,
И никнет, тянется к земле.

Страшна пустыня дождевая...
Охолодев, во тьме, во сне,
Скользит душа, ослабевая,
К своей последней тишине.

Где мука мудрых, радость рая?
Одна пустыня дождевая,
Дневная ночь, ночные дни...
Живу без жизни, не страдая,
Сквозь сон всё реже вспоминая
В тени угасшие огни.

Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?
Душе плененной помоги!
Прорви туманные наветы,
О, просияй! Коснись! Сожги...

1904

145. БОЛЬ:

«Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.

Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.

И я такая добрая,
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра, я,
Ласкаясь, обовьюсь.

И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу.
Я верна — не обману.

Ты устал — я отдохну,
Отойду и подожду.
Я верна, любовь верну,
Я опять к тебе приду,
Я играть с тобой хочу,
Красным углем зачерчу...»

1906

146. ЗЕМЛЯ

Пустынный шар в пустой пустыне,
Как Дьявола раздумие...
Висел всегда, висит поныне...
Безумие! Безумие!

Единый миг застыл — и длится,
Как вечное раскаянье...
Нельзя ни плакать, ни молиться...
Отчаянье! Отчаянье!

Путает кто-то мукой ада,
Потом сулит спасение...

Ни лжи, ни истины не надо...
Забвение! Забвение!
Сомкни плотней пустые очи
И тлей скорей, мертвец.
Нет утр, нет дней, есть только ночи...
Конец.

1908

147. ГРОЗА

А. А. Блоку

Моей души, в ее тревожности,
Не бойся, не жалей.
Две молнии,— две невозможности,
Соприкоснулись в ней.

Ищу опасное и властное,
Слиянье всех дорог.
А всё живое и прекрасное
Приходит в краткий срок.

И если правда здешней нежности
Не жалость, а любовь,—
Всесокрушающей мятежности
Моей не прекословь.

Тебя пугают миги вечные...
Уйди, закрой глаза.
В душе скрестились светы встречные,
В моей душе — гроза.

1905

148. ТАК ЛИ?

Бегу от горько сложной боли я,
От праздных мыслей, праздных слов.
Бегу от судорог безволия
И перепутанных узлов.

О, эти злобные туманности,
Порывный взлет,— падений пыль...
Не лучше ль в тихой безжеланности
Уснуть, как спит степной ковыль?..
. . . .

1907

149. ОНО

Ярко цокают копыта...
Что там видно, у моста?
Всё затерто, всё забыто,
В тайне мыслей пустота...
Только слушаю копыта,
Шум да крики у моста.

Побежало тесно, тучно
Многоногое Оно.
Упоительно — и скучно.
Хорошо — и всё равно.
И слежу, гляжу, как тучно
Мчится грозное Оно.

Покатилось, зашумело,
Раскусило удила,
Всё размыло, всё разъело,
Чем душа моя жила.
И душа в чужое тело
Пролилась — и умерла.

Жадны звонкие копыта,
Шумно, дико и темно,
Там — веселье с кровью слито,
Тело в тело вплетено...
Всё разбито, всё забыто,
Пейте новое вино!
Жадны звонкие копыта,
Будь, что будет — всё равно!

Октябрь 1905
СПБ

150. ЗАКЛИНАНЬЕ

Расточитесь, духи непослушные,
Разомкнитесь, узы непокорные,
Распадитесь, подземелья душные,
Лягте, вихри, жадные и черные.

Тайна есть великая, запретная.
Есть обеты — их нельзя развязывать.
Человеческая кровь — заветная:
Солнцу кровь не велено показывать.

Разломись, Оно, проклятьем цельное!
Разлетайся, туча исступленная!

Бейся, сердце, каждое,— отдельное,
Воскресай, душа освобожденная!

Декабрь 1905
СПБ

151. ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

П. Соловьевой

Неудержимый, властный, влажный,
Весельем белым окрылен,
Слепой, безвольный — и отважный,
Он вестник смены, сын Времен.

В нем встречных струй борьба и пляска,
И разрезающе остра
Его неистовая ласка,
Его бездумная игра.

И оседает онемелый,
Усталый, талый, старый лед.
Люби весенний ветер белый,
Его игру, его полет...

1907

152. СЫЗНОВА

Хотим мы созидать — и разрушать.
Всё сызнова начнем, сначала.
Ужели погибать и воскресать
Душа упрямая устала?

Всё сызнова начнем; остановись,
Жужжащая уныло прялка,
Нить, перетлевшая давно,— порвись!
Мне в прошлом ничего не жалко.

А если не порвешься — рассечем.
Мой гнев, удар мой, непорочен.
Разделим наше бытие мечом:
Клинок мерцающий отточен...

1907

153. ВНЕЗАПНО...

Тяжки иные тропы...
Жизнь ударяет хлестко...
Чьи-то глаза из толпы
взглянули так жестко.

Кто ты, усталый, злой,
путник печальный?
друг ли грядущий мой?
враг ли мой дальный?

В общий мы замкнуты круг
боли, тоски и заботы...
Верю я, всё ж ты мне друг,
хоть и не знаю,— кто ты...

1908

154. ЧЕРНЫЙ СЕРП

Спеленут, лежу, покорный,
Лежу я очень давно;
А месяц, черный-пречерный,
Глядит на меня в окно.
Мне страшно, что месяц черный...
А, впрочем,— не всё ль равно?
Когда-то я был упорный,
Вил цепь, за звеном звено...
Теперь, как пес подзаборный,
Лежу да твержу одно:
И чем мой удел позорный?
Должно быть, так суждено.
Водицы бы мне наговорной,—
Да нет ее, не дано;
Чьей силою чудотворной
Вода перейдет в вино?
И страх мой — и тот притворный:
Я рад, что кругом темно,
Что месяц корявый, черный,
Глядит на меня в окно.

1908

155. ТОСКЕ ВРЕМЕН

Пришли — и стали тени ночи...

Полонский

Ты, уныльница, меня не сторожи,
Ты хитра — и я хитер, не обморочишь.
Глубоко я провожу мои межи,
И захочешь, да никак не перескочишь.

Я узнал тебя во всех твоих путях,
Ты сближаешь два обратные желанья,
Ты сидишь на перепутанных узлах,
Ищешь смешанности, встречности, касанья.

Я покорных и несчастных не терплю,
Я рабом твоим, запутчица, не стану.
Ты завяжешь,— я разрежу, разделю,
Не поддамся надоевшему обману.

Буду весел я и прост,— пока живу...
Если в сердце, в самом сердце, петлю стянешь,—
Я и этот страшный узел разорву...
Не поймаешь, не обманешь, не обманешь...

1907

156. ЖУРАВЛИ

Ал. Меньшову

Там теперь над проталиной вешнею
Громко кричат грачи,
И лаской полны нездешнею
Робкой весны лучи...

Протянулись сквозистые нити...
Точно вестники тайных событий
С неба на землю сошли.
Какою мерою печаль измерить?
О дай мне, о дай мне верить
В правду моей земли!

Там под ризою льдяной, кроткою
Слышно дыханье рек.

Там теперь под березкой четкою
Слабее талый снег...

Не туда ль, по тверди глубинной,
Не туда ль, вереницею длинной,
Летят, стеня, журавли?
Какою мерою порыв измерить?
О дай мне, о дай мне верить
В счастье моей земли!

И я слышу, как лед разбивается,
Властно поет поток,
На ожившей земле распускается
Солнечно-алый цветок...

Напророчили вещие птицы:
Отмерцали ночные зарницы,—
Солнце встает вдали...
Какою мерою любовь измерить?
О дай мне, о дай мне верить
В силу моей земли!

Март 1908
Париж

157. ДЬЯВОЛЕНОК

Мне повстречался дьяволенок,
Худой и щуплый — как комар.
Он телом был совсем ребенок,
Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь... Дрожит, темнеет тело,
Намокла всклоченная шерсть...
И я подумал: эко дело!
Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.
Не слышно что-то. Не видал.
Вот жалость... Жалость понимаю.
И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?
Не бойся, шерстку не ерошь.
Что тут на улице тереться?
Дам детке сахару... Пойдешь?

А он вдруг эдак сочно, зычно,
Мужским, ласкающим баском
(Признаться — даже неприлично
И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.
Я, сладкий, сахару не ем.
Давай телятинки да супа...
Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством...
А я хотел еще помочь!
Да ну тебя с твоим нахальством!
И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко
Захрюкал... Смотрит, как больной...
Опять мне жаль... И дьяволенка
Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,
Не то дитя, не то старик.
И всё твердит: «Я сладкий, сладкий...»
Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком
Совсем сжился я наконец.
Он в полдень прыгает козленком,
Под вечер — темен, как мертвец,

То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вкруг меня,
А если дождик — пахнет псиной
И шерстку лижет у огня.

Я прежде всем себя тревожил:
Хотел того, мечтал о том...
А с ним мой дом... не то, что ожил,
Но затянулся, как пушком.

Безрадостно-благополучно,
И нежно-сонно, и темно...
Мне с дьяволенком сладко-скучно...
Дитя, старик,— не всё ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
Всё липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — единый.
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!
Я сам в ненастье пахну псиной
И шерсть лижу перед огнем...

Декабрь 1906
Париж

158. ЖЕНСКОЕ

«НЕТУ»

Где гниет седеющая ива,
где был и ныне высох ручеек,
девочка, на краю обрыва,
плачет, свивая венок.

Девочка, кто тебя обидел?
скажи мне: и я, как ты, одинок.
(Втайне я девочку ненавидел,
не понимал, зачем ей венок.)

Она испугалась, что я увидел,
прошептала странный ответ:
меня Сотворивший меня обидел,
я плачу оттого, что меня нет.

Плачу, венок мой жалкий сплетая,
и не тепел мне солнца свет.
Зачем ты подходишь ко мне, зная,
что меня не будет — и теперь нет?

Я подумал: это святая
или безумная. Спасти, спасти!
Ту, что плачет, венок сплетая,
взять, полюбить и с собой увести...

— О, зачем ты меня тревожишь?
мне твоего не дано пути.
Ты для меня ничего не можешь:
того, кого нет,— нельзя спасти.

Ты душу за меня положишь,—
а я останусь венок свой вить.
Ну скажи, что же ты можешь?
это Бог не дал мне — быть.

Не подходи к обрыву, к краю...
Хочешь убить меня, хочешь любить?
я ни смерти, ни любви не понимаю,
дай мне венок мой, плача, вить.

Зачем я плачу — тоже не знаю...
высох — но он был, ручеек...
Не подходи к страшному краю:
мое бытие — плача, вить венок.

1907
Париж

159. ОН — ЕЙ

Разве, милая, тебя люблю я
как человек
человека?
Я людей любить, страдая и ревнуя,
не умею,
не умею.

Но как тайную тебя люблю я радость,
простую,
простую...
Как нежданную и ведомую сладость
молитвы,
молитвы.

Я люблю тебя, как иву ручьевую,
тихую,
тихую,
Как полоску в небе заревую,
тонкую,
тонкую.

Я люблю тебя, как весть оттуда,
где всё ясное,
ясное.

Ты в душе — как обещанье чуда,
верное,
верное.

Ты — напоминание чего-то дорогого,
вечного,
вечного.
Я люблю тебя, как чье-то слово,
вещее,
вещее.

1907

160. ТВАРЬ

Царица вечно-ясная,
Душа моей души!
Зову тебя, прекрасная,
Зову тебя, спеши!

Но знаю, на свидание
Придешь ты не одна:
Придет мое страдание,
Мой грех, моя вина.

И пред тобой, обиженной,
Склоняться буду ниц.
И слезы пить униженно
С опущенных ресниц.

Прости мне! Бесконечности
В любви я не достиг.
Творю тебя не в вечности,—
Творю на краткий миг.

Приходишь ты, рожденная
Лишь волею моей.
И, волею зажженная,
Погаснешь вместе с ней.

Шатаясь, отодвинешься,—
Чуть ослабею я...
И молча опрокинешься
Во мглу небытия.

1907

161. ZEPP'LIN III

Еще мы здесь, в юдоли дольней...
Как странен звон воздушных струн!
То серо-блещущий летун
Жужжит над старой колокольней.

Его туманные винты,
Как две медузы, дымноструйны.
И мнится — вот он, юный, буйный,
Заденет древние кресты.

Но взмыл,— и режет облак пыльный
Своим сверкающим ребром.
И пар небес, под острием,
Растаял, нежный и бессильный.

Дрожит волнистая черта,
На нем и в нем всё что-то дышит...
И ласково его колышет,
Смиряясь, злая пустота.

Нет, мы не здесь, в юдоли дольней,
Мы с ним, летим, к завесе туч!
И серый луч скользит, колюч,
Над удивленной колокольней.

Francfurt a. M.
1909

162. ДОВОЛЬНО

С. П. К—ву

Мы долго ей, царице самозванной,
Курили фимиам.
Еще струится дым благоуханный,
Еще мерцает храм.

Но крылья острые Времен пронзили,
Разбили тайну тьмы.
Мы поняли, прозрев, кому служили,—
И содрогнулись мы.

Сладка была нам воля Самозванки,
Пред нею сладко пасть...

Мы не царице отдали — служанке
Бессмысленную власть.

Довольно! С опозоренного трона
Столкнем ее во прах.
Дрожи, закройся складками хитона,
Лежи на ступенях.

Лежи, смирись — и будешь между нами,
Мы не отгоним прочь.
Лежи на ступенях, служи при храме,
Но храма не порочь.

Ты всё равно не перейдешь отныне
Заветную черту.
Мы, сильные, свергаем власть рабыни,
Свергаем — Красоту.

1909

163. 14 ДЕКАБРЯ

Ужель прошло — и нет возврата?
В морозный день, в заветный час,
Они на площади Сената
Тогда сошлися в первый раз.

Идут навстречу упованью,
К ступеням Зимнего Крыльца...
Под тонкою мундирной тканью
Трепещут жадные сердца.

Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер,
Но был погашен их же кровью
Освободительный костер.

Минули годы, годы, годы...
А мы всё там, где были вы.
Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!

Мы — ваши дети, ваши внуки...
У неоправданных могил

Мы корчимся всё в той же муке,
И с каждым днем всё меньше сил.

И в день декабрьской годовщины
Мы тени милые зовем.
Сойдите в смертные долины,
Дыханьем вашим — оживем.

Мы, слабые,— вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!

14 декабря 1909
СПБ

СТИХИ
ДНЕВНИК 1911—1921

У ПОРОГА

164. У ПОРОГА

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятных бред.
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, совсем дороги нет.

Но словом прикоснуться не умею
К живущему во мне — и в тишине.
Я даже чувствовать его не смею:
Оно как сон. Оно как сон во сне.

О, непонятная моя тревога!
Она томительней день ото дня.
И знаю: скорбь, что ныне у порога,
Вся эта скорбь — не только для меня!

1913
С. Петербург

165. ОТРЫВОЧНОЕ

Красная лампа горит на столе,
А вокруг, везде — стены тьмы.
Я не хочу жить на земле,
Если нельзя уйти из тюрьмы.

Красная лампа на круглом столе.
Никто не хочет тьму пройти.
А если весь мир лежит во зле —
То надо мир спасти.

Красная лампа на круглом столе...
Сердце твердит: не то! не то!
Сердце горит — и гаснет во мгле:
Навстречу ему нейдет никто.

Лето 1905
СПБ

166. А ПОТОМ...?

Ангелы со мной не говорят.
Любят осиянные селенья,
Кротость любят и печать смиренья.
Я же не смиренен и не свят:

Ангелы со мной не говорят.

Темненький приходит дух земли.
Лакомый и большеглазый, скромный.
Что ж такое, что малютка — темный?
Сами мы не далеко ушли...

Робко приползает дух земли.

Спрашиваю я про смертный час.
Мой младенец, хоть и скромен,— вещий.
Знает многое про эти вещи,
Что, скажи-ка, слышал ты о нас?

Что это такое — смертный час?

Темный ест усердно леденец.
Шепчет весело: «И все ведь жили.
Смертный час пришел — и раздавили.
Взяли, раздавили — и конец.

Дай-ка мне четвертый леденец.

Ты рожден дорожным червяком.
На дорожке долго не оставят,
Ползай, ползай, а потом раздавят.
Каждый, в смертный час, под сапогом,

Лопнет на дорожке червяком.

Разные бывают сапоги.
Давят, впрочем, все они похоже,
И с тобою, милый, будет то же,
Чьей-нибудь отведаешь ноги...

Разные на свете сапоги.

Камень, нож иль пуля, всё — сапог.
Кровью ль сердце хрупкое зальется,
Болью ли дыхание сожмется,
Петлей ли раздавит позвонок —

Иль не всё равно, какой сапог?»

Тихо понял я про смертный час.
Я ласкаю гостя, как родного,
Угощаю и пытаю снова:
Вижу, много знаете о нас!

Понял, понял я про смертный час.

Но когда раздавят — что потом?
Что, скажи? Возьми еще леденчик,
Кушай, кушай, мертвенький младенчик!
Не́ взял он. И поглядел бочком:

«Лучше не скажу я, что — потом».

Январь 1911
Канн

167. НЕ БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Ропшину

О нет. Не в падающий час закатный,
Когда, бледнея, стынут цветы дня,
Я жду прозрений силы благодатной...

Восток — в сияньи крови и огня:
Горело, рдело алое кадило,
Предвестный ветер веял на меня,

И я глядел, как медленно всходило,
Багряной винностью окроплено,
Жестокое и жалкое светило.

Во славе, в пышности своей, оно,
Державное Величество природы,
Средь голубых пустынь — всегда одно;

Влекутся соблазненные народы
И каждому завидуют лучу.
Безумные! Во власти — нет свободы,

Я солнечной пустыни не хочу,—
В ней рабье одиночество таится,—
А ты — свою посмей зажечь свечу,

Посмей роптать, но в ропоте молиться,
Огонь земной свечи хранить, нести,
И, покоряя,— вольно покориться.

Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти

И слушать... И услышать голос Божий.

Январь 1911
Канн

168. НЕ СКАЗАНО

Тебя проведу я, никем не замеченного...
Со мной ключи.
Я ждал на пороге молчанием встреченного...
И ты молчи.
Пусть сердце угрюмое, всеми оставленное,
Со мной молчит.
Я знаю, какое сомненье расплавленное
В тебе горит.
Законы Господние дерзко пытающему
Один ответ:
Черту заповеданную преступающему —
Возврата нет.
Но вот уж не друг и не раб тебе преданный я —
Сообщник твой.
Придя — перешел ты черты заповеданные,
И я с тобой.
В углу, над лампадою, Око сияющее
Глядит, грозя.
Ужель там одно, никогда не прощающее,
Одно — нельзя?
Нельзя: ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.

И... надо! твердит глубина неизмеренная
Моей Любви.
Пришел ты с отчаяньем — и с упованиями...
Тебя я ждал.
Мы оба овиты живыми молчаниями,
И сумрак ал.
В измене обету, никем не развязанному,
Предел скорбей.
И все-таки сделай по слову неска́занному:
Иди. Убей.

Август 1911
СПБ

169. ПОЭТУ РОДИНЫ

А. Меньшову

Угодила я тебе травой,
зеленями да кашками,
ширью моей луговой,
сердцами золотыми — ромашками.

Ты про них слагаешь стихи,
ты любишь меня играющей...
Кто же раны мои да грехи
покроет любовью прощающей?

Нет, люби ядовитый туман,
что встает с болотца поганого,
подзаборный сухой бурьян,
мужичка моего пьяного...

А коль тут — презренье и страх,
коли видишь меня красивою,
заблудись же в моих лесах,
ожигайся моей крапивою!

Не открою тому лица,
кто красу мою ищет показную,
кто не принял меня до конца,
безобразную, грязную...

Август 1911
СПБ

170. МИНДАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК

О теплый, о розово-белый,
О горький миндальный цветок!
Зачем ты мой дух онемелый
Проклятой надеждой ожег?

Надежда клятая — упорна,
Свиваются нити в клубок...
О белые, хрупкие зерна,
О жадный миндальный цветок!

Изъеденный дымом и гарью,
Задавленный тем, что люблю,—
Ползу я дрожащею тварью,
Тянусь я к нему — к миндалю.

Качаясь, огни побежали,
Качаясь, свиваясь в клубок...
О кали, цианистый кали,
О белый, проклятый цветок!

Ноябрь 1911
СПБ

171. ЕГО ДОЧКА

Ее, красивую, бледную,
Ее, ласковую, гибкую,
    Неясную, зыбкую,
Ее улыбку победную,
    Ее платье странное,
    Серое, туманное,
        Любовницу мою —
            Я ненавижу.
        И ненависть таю.

Когда в саду смеркается,
Желтее листья осенние,
    И светы изменнее —
Она на качелях качается...
    Кольца стонут, ржавые,
    Складки вьются лукавые...
        Она чуть видна.
            Я ее ненавижу:
        Знаю, кто — она.

Уйду ли из паутины я?
От сказок ее о жалости,
От соблазнов усталости...
Ноги у нее гусиные,
Волосы тягучие,
Прозрачные, линючие,
Как северная ночь.
Я ее ненавижу:
Это — Дьявола дочь.

Засну я — бежит украдкою
К Отцу — старику, властителю,
К своему Учителю...
Отец ее любит, сладкую,
Любит ее, покорную,
Ласкает лапой черною
И шлет назад, грозя.
Я ее ненавижу,
А без нее — нельзя.
От нее не уйдешь...
Я ее ненавижу:
Ей имя — Ложь.

Ноябрь 1911
СПБ

172. ПРОТЯЖНАЯ ПЕСНЯ

Амалии

Звени,
звени, кольцо кандальное,
завейтесь в цепи, злые дни...
Тянись,
мой путь, в изгнанье дальное,
где вихри бледные сплелись.

В полнóчь,
когда уснут вожатые,
бесшумно отползу я прочь.
Собью,
собью кольцо проклятое,
переломлю судьбу мою.

Прими,
прими, тайга жестокая,
меня, гонимого людьми.

Сокрой,
укрой, ледяноокая,
морозной ризой, колкой мглой.

Бегут
пути, никем не слежены,
куда бегут? куда ведут?
Иди,
иди тайгой оснеженной,
и будь что будет впереди.

Звезда,
звезда горит — та самая,
которую любил всегда.
Гори,
гори, меж туч, звезда моя,
о вольной воле говори.

Поет
мне ветер песню смелую,
вперед свободного зовет.
Метель,
метель свивает белую,
свивает вечную постель —

Любви,
любви тоску незримую,
о Смерть, о Мать, благослови.
Прильну,
склонюсь на грудь любимую
и, вольный,— вольно я усну.

Декабрь 1911
СПБ

173. КРЫЛАТОЕ

И. А. Бунину

В дыму зеленом ивы...
Камелии — бледны.
Нежданно торопливы
Шаги чужой весны.

Томленье, воскресанье
Фиалковых полей.

И бедное дыханье
Зацветших миндалей.

По зорям — всё краснее
Долинная река,
Воздушней Пиренеи,
Червонней облака.

И, средь небес горящих,
Как золото, желты —
Людей, в зарю летящих,
Певучие кресты.

Февраль 1912
По

174. ПОСЛЕДНИЕ СНЫ

О сны моей последней ночи,
О дым, о дым моих надежд!
Они слетелись ко мне с полночи,
Мерцая тлением одежд.

Один другим, скользя, сменялся,
И каждый был как тень, как тень...
А кто-то мудрый во мне смеялся,
Твердя: проснись! довольно! День.

Май 1912
Париж

175. ВОЗНЯ

Остов разложившейся собаки
Ходит вкруг летящего ядра.
Долго ли терпеть мне эти знаки?
Кончится ли подлая игра?

Всё противно в них: соединенье,
И согласный, соразмерный ход,
И собаки тлеющей крученье,
И ядра бессмысленный полет.

Если б мог собачий труп остаться,
Яркопламенным столбом сгореть!
Если б одному ядру умчаться,
Одному свободно умереть!

Но в мирах надзвездных нет событий,
Всё летит, летит безвольный ком.
И крепки вневременные нити:
Песий труп вертится за ядром.

Ноябрь 1912
СПБ

176. ЛЮБОВЬ — ОДНА

...Не может сердце жить изменой:
Измены нет — любовь одна.

1896 г.

Душе, единостью чудесной,
Любовь единая дана.
Так в послегрозности небесной
Цветная полоса — одна.

Но семь цветов семью огнями
Горят в одной. Любовь одна,
Одна до века, и не нами
Ей семицветность суждена.

В ней фиолетовость, и алость,
В ней кровь и золото вина,
То изумрудность, то опалость...
И семь сияний — и одна.

Не всё ль равно, кого отметит,
Кого пронижет луч до дна,
Чье сердце меч прозрачный встретит,
Чья отзовется глубина?

Неразделимая нетленна,
Неуловимая ясна,
Непобедимо-неизменна
Живет любовь,— всегда одна.

Переливается, мерцает,
Она всецветна — и одна.
Ее хранит, ее венчает
Святым единством — белизна.

Ноябрь 1912
СПБ

177. ПСАЛМОПЕВЦУ

Вл. Бестужеву

О тайнах подземных и звездных
Поешь ты в пустынной тиши.
О вечных стихиях и безднах
Своей одинокой души.

Но своды небесные низки,
Полны голубой простоты,
А люди так жалобно близки
И так же одни, как и ты.

Уйдешь? Но не пить мы не смеем
Святого земного вина.
Уйдешь — но смеющимся змеем
Ползет за тобою вина.

Не ты ль виноват, что голодный
Погиб у забора щенок?
Что где-то, зарею холодной,
Под петлей хрустит позвонок?

Не ты ли зажег крепостную
Над белой рекою иглу?
Не ты ли сгущаешь земную,
Седую, полынную мглу?

Твоей человеческой воле
Одной — не ответит Господь.
Ты ждешь и поешь — но Его ли,
Приявшего бедную плоть?

Не в звездных пространствах — Он ближе,
Он в прахе, в пыли и в крови.
Склонись, чтобы встретил Он, ниже,
Склонись до земли — до любви.

Декабрь 1912
СПБ

178. СЛОВА ЛЮБВИ

Любовь, любовь... О, даже не ее —
Слова любви любил я неуклонно.
Иное в них я чуял бытие,
Оно неуловимо и бездонно.

Слова любви горят на всех путях,
На всех путях — и горных и долинных.
Нежданные в накрашенных устах,
Неловкие в устах еще невинных,

Разнообразные, одни всегда
И верные нездешней лжи неложной,
Сливающие наши «нет» и «да»
В один союз, безумно-невозможный,—

О, всё равно пред кем, и для чего,
И кто, горящие, вас произносит!
Алмаз всегда алмаз, хотя его
Порою самый недостойный носит.

Живут слова, пока душа жива.
Они смешны — они необычайны.
И я любил, люблю любви слова,
Пророческой овеянные тайной.

Декабрь 1912
СПБ

179. БЕРЕГИСЬ...

Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради горя, ни для игры.
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отнимет свои дары.

Не разлучайся, пока живешь,
Храни ревниво заветный круг.
В разлуке вольной таится ложь.
Любовь не любит земных разлук,

Печально гасит свои огни,
Под паутиной пустые дни.

А в паутине — сидит паук.
Живые, бойтесь земных разлук!

Январь 1913
СПБ

180. СЕРОЕ ПЛАТЬИЦЕ

Девочка в сером платьице...

Косы как будто из ваты...
Девочка, девочка, чья ты?
Мамина... Или ничья.
Хочешь — буду твоя.

Девочка в сером платьице...

Веришь ли, девочка, ласке?
Милая, где твои глазки?

Вот они, глазки. Пустые.
У мамочки точно такие.

Девочка в сером платьице,

А чем это ты играешь?
Что от меня закрываешь?

Время ль играть мне, что ты?
Много спешной работы.

То у бусинок нить раскушу,
То первый росток подсушу,
Вырезаю из книг странички,
Ломаю крылья у птички...

Девочка в сером платьице,

Девочка с глазами пустыми,
Скажи мне, как твое имя?

А по-своему зовет меня всяк:
Хочешь эдак, а хочешь так.

Один зовет разделеньем,
А то враждою,

Зовут и сомненьем,
Или тоскою.

Иной зовет скукою,
Иной мукою...
А мама-Смерть — Разлукою,

Девочку в сером платьице...

Январь 1913
СПБ

181. КОЛОДЦЫ

Слова, рожденные страданьем,
Душе нужны, душе нужны.
Я не отдам себя молчаньям,
Слова как знаки нам даны.

Но сторожит молчаний демон
Колодцы черные свои.
Иду — и знаю: страшен тем он,
Кто пил от горестной струи.

Слова в душе — ножи и копья...
Но воплощенные, в устах —
Они как тающие хлопья,
Как снежный дым, как дымный прах.

Ты лет мгновенный их не встретил,
Бессильный зов не услыхал,
Едва рожденным — не ответил,
Детей, детей не удержал!

Молчанье хитрое смеется:
Они мои, они во мне,
Пускай умрут в моем колодце,
На самом дне, на самом дне...

О друг последний мой! Кому же,
Кому сказать? Куда идти?
Пути всё уже, уже, уже...
Смотри: кончаются пути.

Февраль 1913
СПБ

182. НАПРАСНО

Я и услышу, и пойму,
А все-таки молчи.
Будь верен сердцу своему,
Храни его ключи.

Я пониманьем — оскорблю,
Не оттого, что не люблю,
А оттого, что скорбь — твоя,
А я не ты, и ты не я.
И пусть другой не перейдет
Невидимый порог.
Душа раскрытая — умрет,
Как сорванный цветок.

Мы два различных бытия.
Мы зеркала — и ты, и я.
Я всё возьму и углублю,
Но, отражая,— преломлю.

Твоя душа... Не оттого ль
Даю так много ей,
Что всё равно чужая боль
Не может быть моей?

Страдать достойней одному.
Пусть я жалею и пойму —
Любви и жалости не верь,
Не открывай святую дверь,
Храни, храни ее ключи,
И задыхайся — и молчи.

Февраль 1913
СПБ

183. ВСЁ МОЕ

И. А. Бунину

День вечерен, тихи склоны,
Бледность, хрупкость в небесах,
И приземисты суслоны
На закошенных полях.

Ближний лес узорно вышит
Первой ниткой золотой
И, притайный,— тайной дышит,
Темной свежестью грибной.

В бело-перистом тумане,
Зыбко взреявшем, сыром,
Грезят сизые елани
Об осеннем, о ночном.
Чуть звенит по глади росной
Чья-то песня, чей-то крик...
Под горой, на двуколесной
Едет пьяненький мужик.

Над разлапистой сосною
Раскричалось воронье.
Всё мне близко. Всё родное.
Всё мне нужно. Всё мое.

Октябрь 1913
СПБ

184. L'IMPRÉVISIBILITÉ

По слову извечно Сущего,
Бессменен поток времен,
        Чую лишь ветер грядущего,
        Нового мига звон.

С паденьем идет, с победою?
Оливу несет иль меч?
        Лика его я не ведаю,
        Знаю лишь ветер встреч.

Летят нездешними птицами,
В кольцо бытия, вперед,
        Миги с закрытыми лицами,
        Как удержу их лет?

И в тесности, в перекрестности,
Хочу, не хочу ли я,—
        Черную топь неизвестности
        Режет моя ладья.

1 января 1914
СПБ

185. БАНАЛЬНОСТЯМ

Не покидаю острой кручи я,
Гранит сверкающий дроблю.
Но вас, о старые созвучия,
Неизменяемо люблю.

Люблю сады с оградой тонкою,
Где роза с грезой, сны весны
И тень с сиренью — перепонкою,
Как близнецы, сопряжены.

Влечется нежность за безбрежностью,
Всё рифмы-девы,— мало жен...
О как их трогательной смежностью
Мой дух стальной обворожен!

Вас гонят... Словно дети малые,
Дрожат мечта и красота...
Целую ноги их усталые,
Целую старые уста.

Создатели домов лучиночных,
Пустых, гороховых домов,
Искатели сокровищ рыночных —
Одни боятся вечных слов.

Я — не боюсь. На кручу сыпкую
Возьму их в каменный приют.
Прилажу зыбкую им зыбку я...
Пусть отдохнут! Пусть отдохнут!

Январь 1914
СПБ

186. ПЕРЕМЕННО

Какой сегодня пятнистый день:
То оживляю дугу блестящую,
То вижу солнца слепого тень,
По ширмам рдяной иглой скользящую.

Какой на сердце бесстыдный страх!
Какие мысли во мне безумятся!

И тьмы и светы в моих стенах.
Автомобили поют на улице.

Неверно солнце и лжет дождем.
Но дождь январьский еще невернее.
Мороз ударит, как кистенем.
В кристаллы мгленье сожмет вечернее.

А я не выйду,— куда во мгу
Пойду по льду я, в туманы талые?
Там жгут, колдуя, во льду, в снегу,
На перекрестках жаровни алые.

Январь 1914
СПБ

ВОЙНА

187. ТИШЕ!

Громки будут великие дела.

Сологуб, 7.8.14

Поэты, не пишите слишком рано,
Победа еще в руке Господней.
Сегодня еще дымятся раны,
Никакие слова не нужны сегодня.

В часы неоправданного страданья
И нерешенной битвы
Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы.

8 августа 1914
СПБ

188. АДОНАИ

Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не убивать друг друга.

Не ты ль разбил скрижальные слова,
Готовя землю для иного сева?
И вот опять, опять ты — Иегова,
Кровавый Бог отмщения и гнева!

Ты розлил дым и пламя по морям,
Водою алою одел ты сушу.
Ты губишь плоть... Но, Боже, матерям —
Твое оружие проходит душу!

Ужели не довольно было Той,
Что под крестом тогда стояла, рано?
Нет, не для нас, но для Нее, Одной,
Железо вынь из материнской раны!

О, прикоснись к дымно-багровой мгле
Не древнею грозою,— а Любовью.
Отец, Отец! Склонись к Твоей земле:
Она пропитана Сыновней кровью!

Ноябрь 1914
СПБ

189. ОТДЫХ

Слова — как пена,
Невозвратимы и ничтожны.
Слова — измена,
Когда молитвы невозможны.

Пусть длится дленье.
Не я безмолвие нарушу.
Но исцеленье
Сойдет ли в замкнутую душу?

Я знаю, надо
Сейчас молчанью покориться.
Но в том отрада,
Что дление не вечно длится.

Ноябрь 1914
СПБ

190. «ПЕТРОГРАД»

В. Н. Аргутинскому

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы... Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи-то ризы делят,
И все дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора...
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Всё тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

14 декабря 1914
СПБ

191. ВСЁ ОНА

Медный грохот, дымный порох,
Рыжелипкие струи,
Тел ползущих влажный шорох...
Где чужие? где свои?

Нет напрасных ожиданий,
Недостигнутых побед,
Но и сбывшихся мечтаний,
Одолений — тоже нет.

Все едины, всё едино,
Мы ль, они ли... смерть — одна.
И работает машина,
И жует, жует война...

Декабрь 1914

192. ЧЕРНЕНЬКОМУ

Н. Г.

Радостно люблю я тварное
Святой любовью, в Боге.
По любви восходит тварное,
Наверх, как по светлой дороге.

Темноту, слепоту любовию
Вкруг тварного я разрушу.
Тварному дает любовь моя
Бессмертную душу.

Декабрь 1914
СПБ

193. НАШЕ РОЖДЕСТВО

Вместо елочной, восковой свечи
бродят белые прожекторов лучи,
сверкают сизые стальные мечи
вместо елочной, восковой свечи.

Вместо ангельского обещанья
пропеллера вражьего жужжанье,
подземное страданье ожиданья
вместо ангельского обещанья.

Но вихрям, огню и мечу
покориться навсегда не могу.
Я храню восковую свечу,
я снова ее зажгу

и буду молиться снова:
родись, Предвечное Слово!
Затепли тишину земную.
Обними землю родную...

Декабрь 1914
СПБ

194. НЕИЗВЕСТНАЯ

Что мне делать со смертью — не знаю.
А вы, другие,— знаете? знаете?

Только скрываете, тоже не знаете.
Я же незнанья моего не скрываю.

Как ни живи — жизнь не ответит.
Разве жизнью смерть побеждается?
Сказано — смертью смерть побеждается.
Значит, на всех путях она встретит.

А я ее всякую — ненавижу.
Только свою люблю, неизвестную.
За то и люблю, что она неизвестная,
Что умру — и очей ее не увижу.

Февраль 1915
СПБ

195. ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТОК

Зеленолистому цветку привет!
Идем к Зеленому дорогой красною,
Но зелен зорь весенних тихий цвет,
И мы овеяны надеждой ясною.

Пускай он спит, закрыт — но он живет!
В Страстно́м томлении земля весенняя...
Восстань, земля моя! И расцветет
Зеленопламенный в день воскресения!

Март 1915
СПБ

196. МОЛОДОЕ ЗНАМЯ

Развейся, развейся, летучее знамя!
По ветру вскрыли, троецветное!
Вставайте, живые, идите за нами!
Приблизилось время ответное.

Три поля на знамени нашем, три поля:
Зеленое — Белое — Алое.
Да здравствует молодость, правда и воля!
Вперед! Нас зовет Небывалое.

Март 1915
СПБ

197. НЕРАЗНИМЧАТО

В нашем Прежде — зыбко-дымчато,
А в Теперь — и мглы, и тьмы.
Но срослись мы неразнимчато —
Верит Бог! И верим мы.

Март 1915
СПБ

198. ЕМУ

З. Р.

Радостные, белые, белые цветы...
Сердце наше, Господи, сердце знаешь Ты.

В сердце наше бедное, в сердце загляни...
Близких наших, Господи, близких сохрани!

Март 1915
СПБ

199. ОН

Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он один.
Склонясь, умыл усталым ноги
Слуга — и Господин.

Он с нами плакал, Повелитель
И суши, и морей.
Он царь и брат нам, и Учитель,
И Он — еврей.

Май 1915
СПБ

200. «СВОБОДНЫЙ СТИХ»

Молодым поэтам

Приманной легкостью играя,
Зовет, влечет свободный стих.
И соблазнил он, соблазняя,
Ленивых, малых и простых.

Сулит он быстрые ответы
И достиженья без борьбы.

За мной! За мной! И вот, поэты —
Стиха свободного рабы.

Они следят его извивы,
Сухую ломкость, скрип углов,
Узор пятнисто-похотливый
Икающих и пьяных слов...

Немало слов с подолом грязным
Войти боялись... А теперь
Каким ручьем однообразным
Втекают в сломанную дверь!

Втекли, вшумели и впылились...
Гогочет уличная рать.
Что ж! Вы недаром покорились,
Рабы не смеют выбирать.

Без утра пробил час вечерний,
И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею царя!

А мне — лукавый стих угоден.
Мы с ним веселые друзья.
Живи, свободный! Ты свободен —
Пока на то изволю я.

Пока хочу — играй, свивайся
Среди ухабов и низин.
Звени, тянись и спотыкайся,
Но помни: я твой властелин.

И чуть запросит сердце тайны,
Напевных рифм и строгих слов —
Ты в хор вольешься неслучайный
Созвучно-длинных, стройных строф.

Многоголосы, тугозвонны,
Они полетны и чисты —
Как храма белого колонны,
Как неба снежного цветы.

Ноябрь 1915
СПБ

201. НЕ О ТОМ

(ОТВЕЧАВШИМ)

Два ответа: лиловый и зеленый,
два ответа, и они одинаковы;
быть может, и разны у нас знамена,
быть может — своя дорога у всякого,
и мы, страдая, идем, идем...
Верю... Но стих-то мой не о том.

Стих мой — о воле и о власти.
Разве о боли? Разве о счастьи?

И кем измерено, и чем поверено
страданье каждого на его пути?
Но каждому из нас сокровище вверено,
и велено вверенное — донести.

Зачем же, «бездомно скучая», ищем
на «мерзлом болоте» вялых вех,
гордимся, что слабы, и наги, и нищи?
Ведь «город прекрасный» — один для всех.

И надо,— мы знаем,— навек ли, на миг ли,
надо, чтоб города мы достигли.

Нищий придет к белым воротам
в рубище рабства, унылый, как прежде...
Что, если спросят его: кто там?
Друг, почему ты не в брачной одежде?

Мой стих не о счастьи и не о боли:
только о власти, только о воле.

Ноябрь 1915
СПБ

202. СВЕТ!

Стоны,
Стоны,
Истомные, бездонные,
Долгие, долгие звоны
Похоронные,
Стоны,
Стоны...

Жалобы,
Жалобы на Отца...
Жалость язвящая, жаркая,
Жажда конца,
Жалобы,
Жалобы...

Узел туже, туже,
Путь всё круче, круче,
Всё уже, уже, уже,
Угрюмей тучи,
Ужас душу рушит,
Узел душит,
Узел туже, туже...

Господи, Господи,— нет!
Вещее сердце верит.
Тихие ветры веют.
Боже мой, нет!
Мы под крылами Твоими.
Ужас. И стоны. И тьма...—
а над ними
Твой немеркнущий Свет!

Декабрь 1915
СПБ

203. БЕЛОЕ

Рождество, праздник детский, белый,
когда счастливы самые несчастные...
Господи! Наша ли душа хотела,
чтобы запылали зори красные?

Ты взыщешь, Господи, но с нас ли, с нас ли?
Звезда Вифлеемская за дымами алыми...
И мы не знаем, где Царские ясли,
но всё же идем ногами усталыми.

Мир на земле, в человеках благоволенье...
Боже, прими нашу мольбу несмелую:
дай земле Твоей умиренье,
дай побеждающей одежду белую...

Декабрь 1914
СПБ

204. БЕЗ ОПРАВДАНЬЯ

Нет, никогда не примирюсь.
Верны мои проклятья.
Я не прощу, я не сорвусь
В железные объятья.

Как все, живя, умру, убью,
Как все — себя разрушу,
Но оправданием — свою
Не запятнаю душу.

В последний час, во тьме, в огне,
Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне,
И никогда не будет.

И если это Божья длань —
Кровавая дорога,—
Мой дух пойдет и с ним на брань,
Восстанет и на Бога.

Апрель 1916
СПБ

205. СТРАШНОЕ

Страшно оттого, что не живется — спится...
И всё двоится, всё четверится.
В прошлом грехов так неистово много,
Что и оглянуться страшно на Бога.

Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга...
А самое страшное, невыносимое,—
Это что никто не любит друг друга...

Август 1916
СПБ

206. СЕНТЯБРЬ

Полотенца лунно-зеленые
На белом окне, на полу.
Но желта свеча намолёная
Под вереском, там, в углу.

Протираю окно запотелое,
В двух светах на белом пишу...
О зеленое, желтое, белое!
Что выберу?..
Что решу?..

Сентябрь 1916
СПБ

207. «ГОВОРИ О РАДОСТНОМ»

В. Злобину

Кричу — и крик звериный...
Суди меня Господь!
Меж зубьями машины
Моя скрежещет плоть.

Свое — стерплю в гордыне...
Но все? Но если все?
Терпеть, что все в машине?
В зубчатом колесе?

Ноябрь 1916
СПБ

208. СЕГОДНЯ НА ЗЕМЛЕ

Есть такое трудное,
Такое стыдное.
Почти невозможное —
Такое трудное:
Это поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына.

Но не надо говорить об этом.

20 сентября 1916
СПБ

209. НЕПОПРАВИМО

Н. Ястребову

Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.

Нас затоптал — не проехал мимо! —
Тяжелый всадник на коне рыжем.

В гуще вязнут его копыта,
В смертной вязи, неразделимой...
Смято, втоптано, смешано, сбито —
Всё. Навсегда. Непоправимо.

Октябрь 1916
СПБ

210. БОЖЬЯ

Милая, верная, от века Суженая,
Чистый цветок миндаля,
Божьим дыханьем к любви разбуженная,
Радость моя,— Земля!

Рощи лимонные — и березовые,
Месяца тихий круг,
Зори Сицилии, зори розовые,—
Пенье таежных вьюг,

Даль неохватная и неистовая,
Серых болот туман,—
Корсика призрачная, аметистовая
Вечером, с берега Канн,

Ласка нежданная, утоляющая
Неутолимую боль,
Шелест, дыхание, память страдающая,
Слез непролитых соль —

Всю я тебя люблю, Единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем, за гранью таинственною,
Вместе,— и ты, и я!

Ноябрь 1916
СПБ

211. НА СЕРГИЕВСКОЙ

Окно мое над улицей низко,
Низко и открыто настежь.
Рудолипкие торцы так близко
Под окном, раскрытым настежь.

На торцах — фонарные блики,
На торцах всё люди, люди...
И топот, и вой, и крики,
И в метании люди, люди...

Как торец, их одежды и лица.
Они, живые и мертвые,— вместе.
Это годы, это годы длится,
Что живые и мертвые — вместе!

От них окна не закрою.
Я сам,— живой или мертвый?
Всё равно... Я с ними вою,
Всё равно, живой или мертвый.

Нет вины, и никто — в ответе.
Нет ответа для преисподней.
Мы думали, что живем на свете...
Но мы воем, воем — в преисподней.

Декабрь 1916
СПБ

РЕВОЛЮЦИЯ

212. ЮНЫЙ МАРТ

Allons, enfants de la patrie...[1]

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми,
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.

Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч.
Но свяжемся клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!

8 марта 1917
СПБ

213. ГИБЕЛЬ

С. И. Осовецкому

Близки́
кровавые зрачки,
дымящаяся пеной пасть...
Погибнуть? Пасть?

---

[1] Вперед, сыны отечества (*франц.*).— *Ред.*

Что́ — мы?
Вот хруст костей... вот молния сознанья
перед чертою тьмы...
и — перехлест страданья...

Что́ — мы! Но — Ты?
Твой образ гибнет... Где Ты?
В сияние одетый,
бессильно смотришь с высоты?

Пускай мы тень.
Но тень от Твоего Лица!
Ты вдунул Дух — и вынул?

Но мы придем в последний день,
мы спросим в день конца,—
за что Ты нас покинул?

Сентябрь 1917
СПБ

214. ПОЧЕМУ?

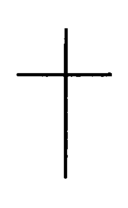
О Ирландия, океанная,
Мной не виденная, страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал?

Как я помню зори надпенные?
В черной алости чаек стон?
Или памятью мира пленною
Прохожу я сквозь ткань времен?

О Ирландия неизвестная!
О Россия, моя страна!
Не единая ль мука крестная
Всей Господней земле дана?

Сентябрь 1917
СПБ



215. ТЛИ

Припав к моему изголовью,
ворчит, будто выстрелы, тишина,
запекшейся черной кровью
ночная дыра полна.

Мысли капают, капают скупо,
нет никаких людей...
Но не страшно. И только скука,
что кругом — всё рыла тлей.

Тли по мартовским алым зорям
прошли в гвоздевых сапогах.
Душа на ключе, на тяжком запоре.
Отврат... тошнота... но не страх.

28 октября 1917. Ночью

216. ВЕСЕЛЬЕ

Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

29 октября 1917
СПБ

217. ЛИПНЕТ

«Новой Жизни»

Не спешите, подождите, соглашатели,
кровь влипчива, если застыла;
пусть сначала красная демократия
себе добудет немножко мыла...
Детская-женская — особо въедчива,
вы потрите и под ногтями.
Соглашателям сесть опрометчиво
на Россию с пятнистыми руками.
Нету мыла — достаньте хоть месива,
чтоб каждая рука напоминала лилею...
А то смотрите: как бы не повесили
мельничного жернова вам на шею!

30 октября 1917
СПБ

218. СЕЙЧАС

Как скользки улицы отвратные,
        Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
        Позорно — жить!

Лежим, заплеваны и связаны,
        По всем углам.
Плевки матросские размазаны
        У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители
        Давно в бегах.
И только вьются согласители
        В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными,
        Не уползти!
Уж разобрал руками черными
        Викжель — пути...

9 ноября 1917
СПБ

219. У. С.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание,—
Учредительное Собрание,—
Что мы с ним сделали...?

12 ноября 1917
СПБ

220. 14 ДЕКАБРЯ 17 ГОДА

Д. С. Мережковскому

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.

Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста... И невесте
Солдатский штык проткнул глаза.

Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине.

Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!

И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожа, протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.

К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,

Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!

221. БОЯТСЯ

Щетинятся сталью, трясясь от страха,
Залезли за пушки, примкнули штык.
Но бегает глаз под серой папахой,
Из черного рта — истошный рык...

Присел, но взгудел, отпрянул кошкой...
А любо! густа темь на дворе!
Скользнули пальцы, ища застежку,
По смуглым пятнам на кобуре...

Револьвер, пушка, ручная граната ль,—
Добру своему ты господин.
Иди, выходи же, заячья падаль!
Ведь я безоружен! Я один!

Да крепче винти, завинчивай гайки.
Нацелься... Жутко? Дрожит рука?
Мне пуля — на миг... А тебе нагайки,
Тебе хлысты мои — на века!

12 января 1918
СПБ

222. ОПЯТЬ

Опять она? Бесстыдно в грязь
Колпак фригийский сбросив,
Глядит, кривляясь и смеясь
И сразу обезносев.

Ты не узнал? Конечно — я!
Не те же ль кровь и раны,
И пулеметная струя,
И бомбы с моноплана?

Живу три года с дураком,
Целуюсь ежечасно.
А вот, надула колпаком
И этой тряпкой красной!

Пиши миры свои — ты мой!
И чем миры похабней —

Тем крепче связь твоя со мной
И цепи неослабней.

Остра, безноса и верна,
Я знаю человека...
Ура! Да здравствует Война
Отныне и до века!

Февраль 1918
СПБ

223. ЕСЛИ

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Февраль 1918
СПБ

224. МОСТЫ

Говорить не буду о смерти,
без слов всё кругом — о смерти;
кто хочет и не хочет — верьте,
        что живы мертвые...

Не от мертвых — отступаю,
так надо — я отступаю,
так надо — я мосты взрываю,
        за мостами — не мертвые...

Перекрутились, дымясь, нити,
оборвались, кровавясь, нити,
за мостами остались — взгляните! —
        живые — мертвее мертвых...

Февраль 1918
СПБ

225. НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Памяти В. А. Р. Р.

О сделай, Господи, скорбь нашу светлою,
Далекой гнева, боли и мести,
А слезы — тихой росой предрассветною
        О нем, убиенном на поле чести.

Свеча ль истает, Тобой зажженная?
Прими земную и, как невесте,
Открой поля Твои озаренные
Душе убиенного на поле чести.

Февраль 1918
СПБ

226. ДВЕРЬ

Мы, умные,— безумны,
Мы, гордые,— больны,
Растленной язвой чумной
Давно заражены.

От боли мы безглазы,
А ненависть — как соль
И ест, и травит язвы,
Ярит слепую боль.

О черный бич страданья!
О ненависти зверь!
Пройдем ли покаянья
Целительную дверь?

Замки ее суровы
И створы тяжелы.
Железные засовы,
Медяные углы.

Дай силу не покинуть,
Господь, пути Твои,
Дай силу отодвинуть
Тугие вереи!

Март 1918
СПБ

227. КТО ОН?

Проклятой памяти безвольник,
И не герой — и не злодей,
Пьеро, болтун, порочный школьник,
Провинциальный лицедей,

Упрям, по-женски своенравен,
Кокетлив и правдиво-лжив,
Не честолюбец — но тщеславен,
И невоспитан, и труслив...

В своей одежде неопрятной
Развел он нечисть наших дней,
Но о свободе незакатной
Звенел, чем дале, тем нежней...

Когда распучившейся гади
Осточертела песнь Пьеро,—
Он, своего спасенья ради,
Исчез, как легкое перо.

Ему сосновый скучен шелест...
Как претерпеть унылый час?
А здесь не скучно: гадья челюсть,
Хрустя, дожевывает нас.

Забвенья нет тому, что было.
Не смерть позорна — пусть умрем...
Но увенчает и могилу
Пьеро — дурацким колпаком.

Март 1918
СПБ

228. ИМЯ

Безумные годы совьются во прах,
    Утонут в забвеньи и дыме.
И только одно сохранится в веках
    Святое и гордое имя.

Твое, возлюбивший до смерти, твое,
    Страданьем и честью венчанный.
Проколет, прорежет его острие
    Багровые наши туманы.

От смрада клевет не угаснет огонь,
    И лавр на челе не увянет.
Георгий, Георгий! Где верный твой конь?
    Георгий Святой не обманет,—

Он близко! Вот хруст перепончатых крыл
    И брюхо разверзтое Змия...
Дрожи, чтоб Святой и тебе не отмстил
    Твои блудодейства, Россия!

Апрель 1918
СПБ

229. ГДЕ ОН?

Близкому — далекому

Я знаю, что жизнь размерена,
и круг ввивается в круг.
Но где он, опять потерянный,
опять далекий друг?

Горя каким томлением
и судьбы чьи — верша,
стремит к своим достижениям
уверенная душа?

Мне милы ее огромности,
то срыв — то всплеск огня.
И все ее сложные темности,
прозрачные для меня.

Я знал, какие извилины
лежат на его путях.
Но конь не споткнется взмыленный —
поводья в крепких руках.

Спокойно в алые дали я
гляжу — совершений жду.
И что́ бы ни было далее —
я верю в его Звезду!

Апрель 1918
СПБ

230. ЖЕЛТОЕ ОКНО

Иди сюда, взгляни-ка
Сквозь желтое стекло.
Взгляни, как небо дико,
Подземно и светло.

Клубясь, ползет червивый
И дымный ворох туч.
Мертво рудеют ивы
Над желтью жарких круч.

Ручей по дну оврага —
Как черное вино.
Как жженая бумага —
Трава в мое окно.

Бессмысленно-кровавы
Тела апрельских рощ.
Накрапывает ржавый,
Сухой и горький дождь.

И всюду эти стекла
Проклятого окна.
Земля моя поблекла,
Земля опалена!

Апрель 1918

231—232. ШЕЛ...

Белому и Блоку

1

По торцам оледенелым,
В майский утренний мороз,
Шел, блестя хитоном белым,
Опечаленный Христос.

Он смотрел вдоль улиц длинных,
В стекла запертых дверей.
Он искал своих невинных
Потерявшихся детей.

Все — потерянные дети,—
Гневом Отчим дышат дни,—
Но вот эти, но вот эти,
Эти двое — где они?

Кто сирот похитил малых,
Кто их держит взаперти?
Я их знаю, Ты мне дал их,
Если отнял — возврати...

Покрывало в ветре билось,
Божьи волосы крутя...
Не хочу, чтоб заблудилось
Неразумное дитя...

В покрывале ветер свищет,
Гонит с севера мороз...

Никогда их не отыщет,
        Двух потерянных — Христос.

Май 1918
СПБ

ШЕЛ

Всем, всем, всем

2

По камням ночной столицы,
Провозвестник Божьих гроз,
Шел, сверкая багряницей,
Негодующий Христос.

Темен лик Его суровый,
Очи гневные светлы.
На веревке, на пеньковой,
Туго свитые узлы.

Волочатся, пыль целуют
Змиевидные концы...
Он придет, Он не минует,
В ваши храмы и дворцы,

К вам, убийцы, изуверы,
Расточители, скопцы,
Торгаши и лицемеры,
Фарисеи и слепцы!

Вот, на празднике нечистом
Он застигнет палачей,
И вопьются в них со свистом
Жала тонкие бичей.

Хлещут, мечут, рвут и режут,
Опрокинуты столы...
Будет вой и будет скрежет —
Злы пеньковые узлы!

Тише город. Ночь безмолвней.
Даль притайная пуста.
Но сверкает ярче молний
Лик идущего Христа.

Май 1918
СПБ

233. А. БЛОКУ

Дитя, потерянное всеми...

Всё это было, кажется, в последний,
В последний вечер, в вешний час...
И плакала безумная в передней,
О чем-то умоляя нас.

Потом сидели мы под лампой блеклой,
Что золотила тонкий дым,
А поздние распахнутые стекла
Отсвечивали голубым.

Ты, выйдя, задержался у решетки,
Я говорил с тобою из окна.
И ветви юные чертились четко
На небе — зеленей вина.

Прямая улица была пустынна,
И ты ушел — в нее, туда...
— — — — — — — — — — — — — —
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей — никогда.

Апрель 1918
СПБ

234. НАПРАСНО

Всю душу не тебе ли я
Несу — но тщетно:
Как тихая Корделия,
Ты неответна.

Заря над садом красная,
Но сад вечерен.
И, может быть, напрасно я
Тебе так верен.

1918
СПБ

235. ЕСТЬ РЕЧИ...

У каждого свои волшебные слова.
Они как будто ничего не значат,
Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва,—
И сердце засмеется и заплачет.

Я повторять их не люблю; я берегу
Их от себя, нарочно забывая.
Они мне встретятся на новом берегу:
Они написаны на двери Рая.

Июнь 1918
СПБ

236. СВЕЧА НЕНАВИСТИ

Рабы, лгуны, убийцы, тати ли —
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас, предатели,
Я ненавижу больше всех.

Со страстью жду, когда изведаю
Победный час, чтоб отомстить,
Чтоб вслед за мщеньем и победою
Я мог поверженным — простить.

Но есть предатели невинные:
Странна к ним ненависть моя...
Ее и дни, и годы длинные
В душе храню ревниво я.

Ревниво теплю безответную
Неугасимую свечу.
И эту ненависть заветную
Люблю... но мести не хочу.

Пусть к черной двери искупления
Слепцы-предатели идут...
Что значу я? Не мне отмщение,
Не мой над ними будет суд,

Мне только волею Господнею
Дано у двери сторожить,
Чтоб им ступени в преисподнюю
Моей свечою осветить.

Июнь 1918

237. МОЖЕТ БЫТЬ...

Скоро изменятся жизни цве́ты,
я отойду ото всех, кто мил,
буду иные искать ответы,
если здешние отлюбил.

И не будет падений в бездны:
просто сойду со ступень крыльца,
просто совьется свиток звездный,
если дочитан — до конца.

Июнь 1918
СПБ

238. НЕ БЫВАЕТ

Нет, не бывает, не бывает,
Не будет, не было и нет.
Зачем нас этот сон смущает,
На безответное ответ?

Он до сих пор кому-то снится,
И до сих пор нельзя забыть...
Он никогда не воплотится:
Здесь — ничего не может быть.

Август 1918
СПБ

239. ЗА КОПЬЯМИ

Горят за копьями ограды,
В жестокой тайне сочетаний,
Неугасимые лампады
Моих сверкающих мечтаний.

Кто ни придет к ограде,— друг ли,
Иль враг,— войти в нее не смея,
Лампады меркнут, точно угли,
Во тьме дыша и ало рдея.

Не знать огней моих лампадных
Тому, кого страшат потери.
Остры концы мечей оградных,
И нет в ограде этой — двери.

Сверкайте, радужные цепи
Моих лампад, моих мечтаний,
В бесплодности великолепий,
В ненужности очарований.

Август 1918
СПБ

240. ЧАС ПОБЕДЫ

...Он ушел, но он опять вернется.
Он ушел и не открыл лица...
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца...

«В черту» (1905)

Он опять пришел — глядит презрительно
(Кто — не знаю, просто Он, в плаще)
И смеется: «Это утомительно,
Надо кончить — силою вещей.
Я устал следить за жалкой битвою,
А мои минуты на счету.
Целы, не разорваны круги твои,
Ни один не вытянут в черту.

Иль душа доселе не отгрезила?
Я мечтаний долгих не люблю.
Кольца очугуню, ожелезю я
И надежно скрепы заклеплю».

Снял перчатки он с улыбкой гадкою
И схватился за концы кольца...
Но его же черною перчаткою
Я в лицо ударил пришлеца.

Нет! Лишь кровью может быть запаяно
И распаяно мое кольцо!..
Плащ упал, отвеянный нечаянно,
Обнажая мертвое лицо.

Я взглянул в глаза его знакомые,
Я взглянул... И сник он в пустоту.
В этот час победное кольцо мое
В огненную выгнулось черту.

Сентябрь 1918
СПБ

241. КАК ПРЕЖДЕ

Твоя печальная звезда
Недолго радостью была мне:
Чуть просверкнула,— и туда,
На землю,— пала темным камнем.

Твоя печальная душа
Любить улыбку не посмела
И, от меня уйти спеша,
Покровы черные надела.

Но я навек с твоей судьбой
Связал мою — в одной надежде.
Где б ни была ты — я с тобой,
И я люблю тебя, как прежде.

Сентябрь 1918
СПБ

242. ДНИ

Все дни изломаны, как преступлением,
Седого Времени заржавел ход.
И тело сковано оцепенением,
И сердце сдавлено, и кровь — как лед.

Но знаю молнии: всё изменяется...
Во сне пророческом иль наяву?
Копье Архангела меня касается
Ожогом пламенным — и я живу.

Пусть на мгновение,— на полмгновения,
Одним касанием растоплен лед...
Я верю в счастие освобождения,
В Любовь, прощение, в огонь — в полет!

Ноябрь 1918
СПБ

243. ТЯЖЕЛЫЙ СНЕГ

В. А. Злобину

Звезда субботняя лампады,
За окнами — тяжелый снег,

Пространств пустынные преграды,
Ночных мгновений четкий бег...

Вот 3 удара, словно пенье
Далекое — колоколов...
И я, чтоб задержать мгновенья,
Их сковываю цепью слов.

Ноябрь 1918
СПБ

244. 14 ДЕКАБРЯ 18 г.

Нас больше нет. Мы всё забыли,
Взвихрясь в невиданной игре.
Чуть вспоминаем, как вы стыли
В карре, в далеком декабре.

И как гремящий Зверь железный,
Вас победив,— не победил...
Его уж нет — но зверь из бездны
Покрыл нас ныне смрадом крыл.

Наш конь домчался, бездорожен,
Безузден, яр,— куда? куда?
И вот, исхлестан и стреножен,
Последнего он ждет суда.

Заветов тайных Муравьева
Свились напрасные листы...
Напрасно, Пестель, вождь суровый,
В узле пеньковом умер ты,

Напрасно всё: душа ослепла,
Мы преданы червю и тле,
И не осталось даже пепла
От «Русской Правды» на земле.

Декабрь 1918
СПБ

245. ЗНАЙТЕ!

Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!
Поля ее золотые.

И мы не погибнем,— верьте!
Но что́ нам наше спасенье?
Россия спасется,— знайте!
И близко ее воскресенье.

Декабрь 1918
СПБ

246. ТИШЬ

На улицах белая тишь.
Я не слышу своего сердца.
Сердце, отчего ты молчишь?
Такая тихая, такая тихая тишь...

Город снежный, белый — воскресни!
Луна — окровавленный щит.
Грядущее всё неизвестней...
Сердце мое, воскресни! воскресни!

Воскресение — не для всех.
Тихий снег тих, как мертвый.
Над городом распростерся грех.
Тихо плачу я, плачу — обо всех.

Декабрь 1918
СПБ

247. КАЧАНИЕ

Всё «Я» мое, как маятник, качается,
        и длинен, длинен размах.
Качается, скользит, перемежается —
        то надежда — то страх.

От знания, незнания, мерцания
        умирает моя плоть.
Безумного качания страдание
        ты ль осудишь, Господь?

Прерви его, и зыбкое мучение
        останови! останови!
Но только не на ужасе падения,
        а на взлете — на Любви!

Февраль 1919
СПБ

248. ТЩЕТА

Я шел по стылому, седому льду.
Мой каждый шаг — ожоги и порезы.
Искал тебя — и знал, что не найду,
Как синтез не найду без антитезы.

Смотрело маленькое солнце зло
(Для солнца нет ни бывших, ни грядущих) —
На хрупкое и скользкое стекло,
На лица синие мимоидущих.

Когда-нибудь и ты меня искать
Пойдешь по той же режущей дороге.
И то же солнце будет озарять
Твою тщету и раненые ноги.

Март 1919
СПБ

249. ПОКА

Я ненавижу здешнее «пока»:
С концами всё, и радости, и горе.
Ведь как бы ни была длинна река —
Она кончается, впадая в море.

Противны мне равно земля, и твердь,
И добродетель, и бесчеловечность;
Одну тебя я принимаю, Смерть:
В тебе единой не пока — но вечность.

Апрель 1919
СПБ

250. С ВАРЕВОМ

Две девочки с крошечными головками,
ужасно похожие друг на дружку,
тащили лапками, цепкими и ловкими,
уёмистую, как бочонок, кружку.

Мне девчонки показались занятными,
заглянул я в кружку мимо воли:
суп,— с большими сальными пятнами,
а на вкус — тепловатый и без соли.

Захихикали, мигнули: «Не нравится?
да он из лучшего кошачьего сала!

наш супец — интернационально славится;
а если тошнит,— так это сначала...»

Я от скуки разболтался с девчонками;
их личики непрерывно линяли,
но голосами монотонно-звонкими
они мне всё о себе рассказали:

«Личики у нас, правда, незаметные,
мы сестрицы, и мы — двойняшки;
мамаш у нас количества несметные,
и все мужчины наши папашки.

Я — Счастие, а она — Упокоение,
так зовут нас лучшие поэты...
Совсем напрасно твое удивление:
или ты, глупый, не веришь в это?»

Такой от девчонок не ждал напасти я,
смеюсь: однако, вы осмелели!
Уж не суп ли без соли — эмблема счастия?
Нет, как зовут вас на самом деле?

Хохоток их песочком сеется...
«Как зовут? Сказать ему, сестрица?
Да Привычкой и Отвычкой, разумеется!
наших имен нам нечего стыдиться.

Мы и не стыдимся их ни крошечки,
а над варевом смеяться — глупо;
мы, Привычка и Отвычка,— кошечки...
Подожди, запросишь нашего супа...»

Апрель 1919
СПБ

251. ЛЕТОМ

О, эти наши дни последние,
Обрывки неподвижных дней!
И только небо в полночь меднее
Да зори голые длинней...

Хочу сказать... Но нету голоса.
На мне почти и тела нет.
Тугим узлом связались полосы
Часов и дней, недель и лет.

Какою силой онедвижена
Река земного бытия?
Чьим преступленьем так унижена
Душа свободная моя?

Как выносить невыносимое?
Чем искупить кровавый грех,
Чтоб сократились эти дни мои,
Чтоб Он простил меня — и всех?

Июль 1919
СПБ

252. ОСЕНЬЮ

(СГОН НА РЕВОЛЮЦИЮ)

На баррикады! На баррикады!
Сгоняй из дальних, из ближних мест...
Замкни облавой, сгруди, как стадо,
Кто удирает — тому арест.
Строжайший отдан приказ народу,
Такой, чтоб пикнуть никто не смел.
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрется — тому расстрел.
И все: старуха, дитя, рабочий —
Чтоб пели Интер-национал.
Чтоб пели, роя, а кто не хочет
И роет молча — того в канал!
Нет революций краснее нашей:
На фронт — иль к стенке, одно из двух.
...Поддай им сзаду! Клади им взашей,
Вгоняй поленом мятежный дух!

На баррикады! На баррикады!
Вперед, за «Правду», за вольный труд!
Колом, веревкой, в штыки, в приклады...
Не понимают? Небось поймут!

25 октября 1919
СПБ

253. НОЧЬ

...Не рассветает, не рассветает...
На брюхе плоском она ползет.
И всё длиннеет, всё распухает...
Не рассветает! Не рассветет.

Декабрь 1919
СПБ

254. ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Как ясен знак проклятый
Над этими безумными!
Но только в час расплаты
Не будем слишком шумными.

Не надо к мести зовов
И криков ликования:
Веревку уготовав —
Повесим их в молчании.

Декабрь 1919
СПБ

255. ТАМ И ЗДЕСЬ

Там — я люблю иль ненавижу,—
Но понимаю всех равно:
И лгущих,
И обманутых,
И петлю вьющих,
И петлей стянутых...
А здесь — я никого не вижу.
Мне все равны. И всё равно.

Январь 1920
Бобруйск

256. ВИДЕНИЕ

(ЭТЮД НА «АНТЕ»)

На Смольном новенькие банты
из алых заграничных лент.
Закутили красноармейские франты,
близится великий момент.
Жадно комиссарские аманты
мечтают о журнале мод.
Улыбаются спекулянты,
до ушей разевая рот.
Эр-Эс-Эф-ка — из адаманта,
победил пролетарский гнев!
Взбодрились оба гиганта,
Ульянов и Бронштейн Лев.
Завели крепостные куранты
(кто услышит ночной расстрел?),
разработали все пуанты
европейских революционных дел.

В цене упали бриллианты,
появился швейцарский сыр...
. . . .
Что случилось? А это Антанта
с большевиками заключает мир.

Январь 1920
Минск

257. ОТТУДА?

Д. П. С.

Она никогда не знала,
как я любил ее,
как эта любовь пронзала
всё бытие мое.

Любил ее бедное платье,
волос ее каждую прядь...
Но если б и мог сказать я —
она б не могла понять.

И были слова далеки...
И так — до последнего дня,
когда в мой путь одинокий
она проводила меня...

Ни жалоб во мне, ни укора...
Мне каждая мелочь близка,
над каждой я плачу, которой
касалась ее рука...

Не знала — и не узнает,
как я любил ее,
каким острием пронзает
любовь — бытие мое.

И, может быть, лишь оттуда,—
если она уж там,—
поймет любви моей чудо
она по этим слезам...

Май 1920
Варшава

258. ГЛАЗА ИЗ ТЬМЫ

О эти сны! О эти пробуждения!
Опять не то ль,
Что было в дни позорного пленения,
Не та ли боль?

Не та, не та! Стремит еще стремительней
Лавина дней,
И боль еще тупее и мучительней,
Еще стыдней.

Мелькают дни под серыми покровами,
А ночь длинна.
И вся струится длительными зовами
Из тьмы,— со дна...

Глаза из тьмы, глаза навеки милые,
Неслышный стон...
Как мышь ночная, злая, острокрылая,
Мой каждый сон.

Кому страдание нести бесслезное
Моих ночей?
Таит ответ молчание угрозное,
Но чей? Но чей?

Август 1920
Варшава

259. РОДНОЕ

Т. И. М.

Есть целомудрие страданья
И целомудрие любви.
Пускай грешны мои молчанья —
Я этот грех ношу в крови.

Не назову родное имя,
Любовь безмолвная свята.
И чем тоска неутолимей,
Тем молчаливее уста.

Декабрь 1920
Париж

260. КЛЮЧ

Струись,
Струись,
Холодный ключ осенний.
Молись,
Молись,
И веруй неизменней.

Молись,
Молись,
Молитвой неугодной.
Струись,
Струись,
Осенний ключ холодный...

Сентябрь 1921
Висбаден

261. БУДЕТ

И. И. Манухину

Ничто не сбывается.
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастие,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя — здесь.

1922

ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ»

262. МОЛОДОМУ ВЕКУ

Тринадцать лет! Мы так недавно
Его приветили, любя.
В тринадцать лет он своенравно
И дерзко показал себя.

Вновь наступает день рожденья...
Мальчишка злой! На этот раз
Ни празднества, ни поздравленья
Не требуй и не жди от нас.

И если раньше землю смели
Огнем сражений зажигать —
Тебе ли, Юному, тебе ли
Отцам и дедам подражать?

Они — не ты. Ты больше знаешь.
Тебе иное суждено.
Но в старые меха вливаешь
Ты наше новое вино!

Ты плачешь, каешься? Ну что же!
Мир говорит тебе: «Я жду».
Сойди с кровавых бездорожий
Хоть на пятнадцатом году!

1914

263. О ПОЛЬШЕ

Я стал жесток, быть может...
Черта перейдена.
Что скорбь мою умножит,
Когда она — полна?

В предельности суровой
Нет «жаль» и нет «не жаль»...
И оскорбляет слово
Последнюю печаль.

О Бельгии, о Польше,
О всех, кто так скорбит, —
Не говорите больше!
Имейте этот стыд!

1915

264. ТОГДА И ОПЯТЬ

Просили мы тогда, чтоб помолчали
Поэты о войне;
Чтоб пережить хоть первые печали
Могли мы в тишине.

Куда тебе! Набросились зверями:
Война! Войне! Войны!
И крик, и клич, и хлопанье дверями...
Не стало тишины.

А после, вдруг, — таков у них обычай, —
Военный жар исчез.
Изнемогли они от всяких кличей,
От собственных словес.

И, юное безвременно состарив,
Текут, бегут назад,
Чтобы запеть, в тумане прежних марев, —
На прежний лад.

1915

ИЗ «ПОХОДНЫХ ПЕСЕН»

265. МИЛАЯ

Где-то милая? Далеко,
На совдепской на земле.
Ходит, бродит одиноко,
Ест солому, спит в золе.

Или, может, изменила,
Поступила в Нарпродком?
Бриллианты нацепила
И сидит с большевиком?

Провожала, так недаром
Говорила мне: ну что ж?
Подружусь я с комиссаром,
Если скоро не придешь.

Нет, не верю! Сердце чисто,
И душа ее верна.
Не полюбит коммуниста,
Не таковская она.

Голодает, холодает,—
Не продаст чертям души.
Наше войско дожидает:
Где мой милый? Поспеши!

Я в томленьи ежечасно,
Где же друг? Освободи!
Убери ты этих красных...
Милый, белый мой, приди!

Слышу, слышу, верь заклятью!
Мы готовы, мы идем!
Все нагрянем буйной ратью,
Красных дьяволов сметем.

Или кони наши — клячи?
Братья, други, все ко мне!
Иль у вас никто не плачет
На родимой стороне?

266. РВАНЬ

Видали ль вы, братцы,
Какой у нас враг,
С кем будем сражаться,
Какой у них флаг?

Эй, красное войско!
Эй, сборная рать!
Ты ль смертью геройской
Пойдешь умирать?

Китайцы, монголы,
Башкир да латыш...
И всякий-то голый,
А хлебца-то — шиш...

И немцы, и турки,
И черный мадьяр...
Командует юркий
Брюнет-комиссар.

Плетется, гонимый,
И русский дурак,
Столкуемся с ним мы,
Не он же наш враг.

Мы скажем: ты с нами.
Сдавайся своим!
Взгляни, что за знамя
Над войском твоим?

Взгляни, как чернеет,
Чернеет насквозь.
Не кровью ль твоею
Оно запеклось?

Очнись от угара
И с Богом — вперед!
Тащи комиссара,
А сброд — удерет.

Погоним их вместе,
Дорогу, воры!
Мы к семьям, к невесте,
В родные дворы!

267. КОМИССАР

Комиссар! Комиссар!
Отрастил ты брюхо.
Оттого-то наш народ
Душит голодуха.

Комиссар! Комиссар!
Эй, не зарывайся.
Не спасет тебя Че-Ка,
Сколько ни старайся.

Комиссар! Комиссар!
Нам с тобой не внове.
Мы теперь — не дураки,
Попил нашей крови.

Комиссар! Комиссар!
Трусишь, милый? Вольно!
Наших баб нацеловал,
А теперь — довольно.

Комиссар! Комиссар!
Пуля — много чести.
На веревке повиси,
На своей невесте!

268. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Повалили Николая,
Ждали воли, ждали рая —
Получили рай:
Прямо помирай.

Воевать не пожелали,
Мир похабный подписали,
Вместо мира, вот —
Бьемся третий год.

Додушив буржуев, сами
Стать хотели буржуями,
Вот те и буржуй:
Паклю с сеном жуй.

Видим, наше дело чисто...
Записались в коммунисты,
Глядь, взамен пайка —
Сцапала Че-Ка.

Не судили — осудили,
И китайцев пригласили...
К стенке под расстрел —
Окончанье дел.

Заклинаем люд рабочий,
Трудовой и всякий прочий,
До последних дней:
Будьте нас умней!

Не сидите вы в Совете!
Всех ужасней бед на свете
Черная беда —
Красная Звезда.

269. ТОВАРИЩ

Неспокойствие во взоре,
Ловок, юрок, брит.
Чепуху такую порет,
Даже слушать — стыд.

Врет, что вырос на Урале,
Этакий нахал!
В плен его мы что ли взяли,
Как сюда попал?

Всюду трется, всюду вьется,
Всюду лезет в спор:
«Что в Совдепии живется
Плохо — сущий вздор.

Этих басен ходит много
Про советский край.
Там, не верите? ей-Богу,
Не житье — а рай.

Что душе твоей угодно,
Можешь всё купить.
Кормят, поят превосходно,
Весело служить.

Все обуты, все одеты,
Не на что роптать.
Опекают всех Советы,
Как родная мать.

Говорят, что пулеметы
Ставят за спиной.
Эка, не было заботы!
Сами рвутся в бой.

Всё честь-честью. Всё как надо.
Никаких Че-Ка.
Дисциплина и порядок.
Русские войска.

И охота вам сражаться,
На своих идти?
Так ли думаете, братцы,
Родину спасти?»

Ах ты, бритая лисица,
Вот куда ты гнешь!
Только стоит ли трудиться:
Нас не проведешь!

Ишь нашелся примиритель!
Видим, кто таков!
Не умеришь нашей прыти
Бить большевиков.

Знаешь, пуля есть шальная?
Не уйти в кусты:
Для такого негодяя
Отлита, как ты.

270. ПИСЬМО ИЗ СОВДЕПИИ

С аэроплана посылаю
Письмо — кому? Кому-нибудь.
Хочу сказать, что умираю,
Что тяжкий камень давит грудь.

Знакомый летчик, парень смелый,
Мне обещался сбросить лист.
(Я знаю, летчик этот — белый,
Хоть говорит, что коммунист.)

Кому б листочки ни попались,
Пусть он поверит, пусть поймет:
Мы ныне в муке все сравнялись,
Нет ни рабочих, ни господ.

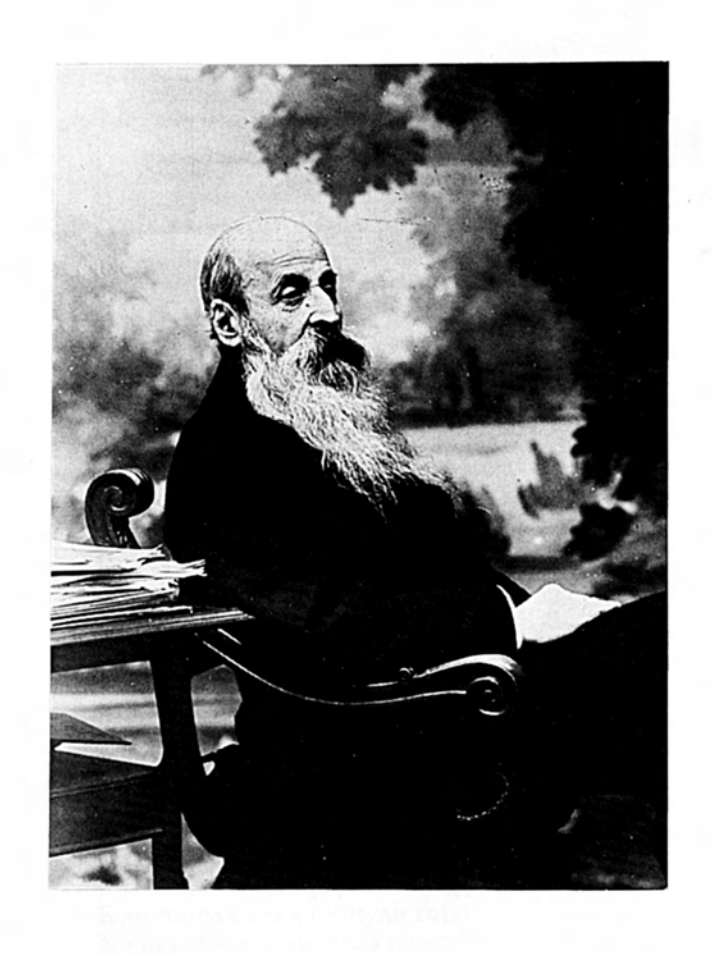
Я сам рабочий, пролетарий,
Из Петрограда — металлист;
Схватили, заперли в подвале
За то, что я — социалист.

Жена сидела и сынишка,
Сидели с нами мужики —
Зачем не ссыпали «излишка»
Армейцам красным в сундуки.

В допросах мы хлебнули горя:
Ходил кулак, свистела плеть...
Жена моя скончалась вскоре,
Да что ж! И лучше помереть.

О мне не толк — мы все страдальцы.
На землю нашу пала тень.
Впились в нас дьявольские пальцы,
И недалек последний день.

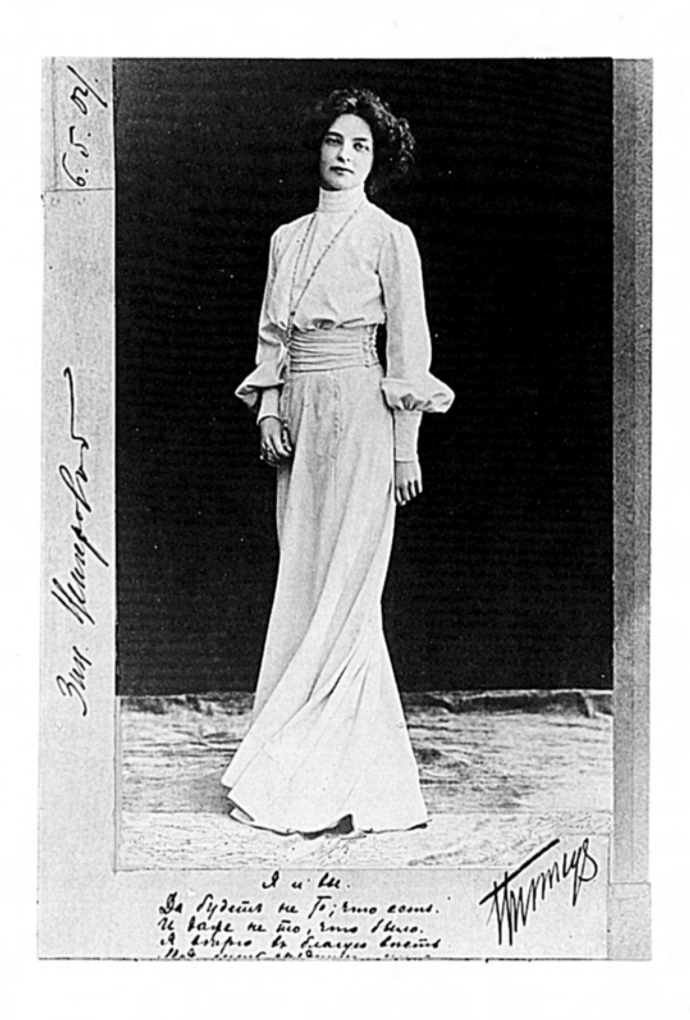
З. Н. Гиппиус.



П. И. Вейнберг.



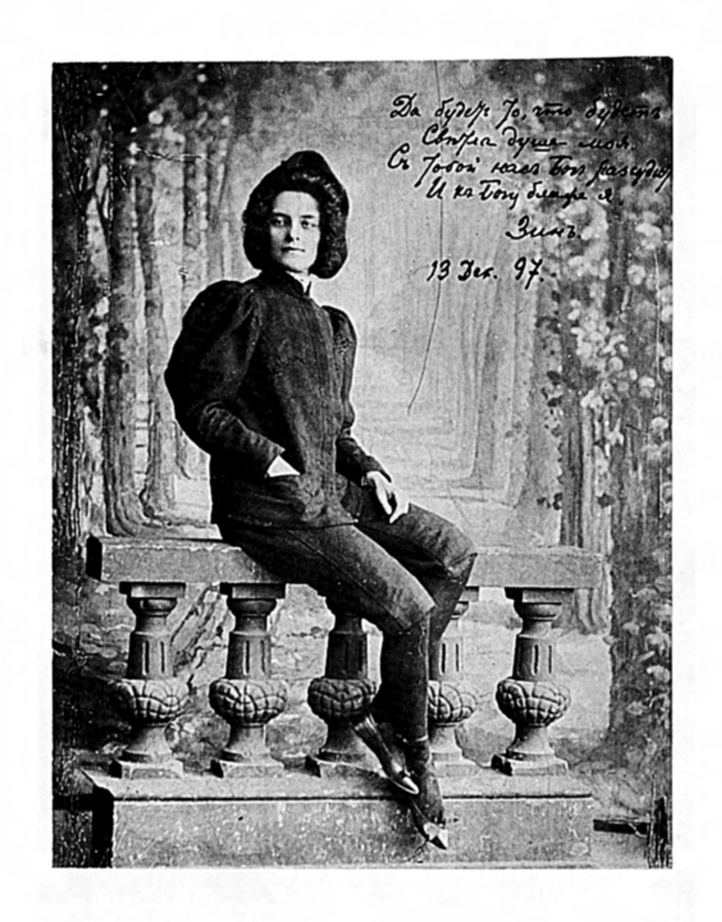
З. Н. Гиппиус.


Я и вы.
Да будетъ не то; что есть.
И даже не то, что было.
Я вѣрю въ благую вѣсть

З. Н. Гиппиус.



З. А. Венгерова.


Да будетъ то, что будетъ
Смирися душа моя.
Съ тобой насъ Богъ разсудитъ
И къ Богу ближе я.
Зинъ.
13 Дек. 97.

З. Н. Гиппиус.



Н. М. Минский.



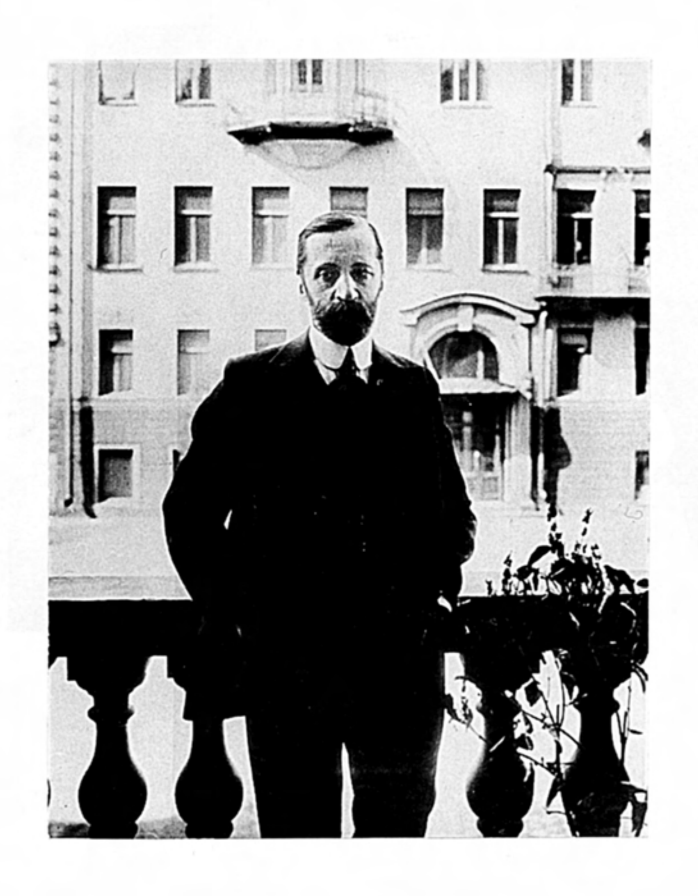
Д. С. Мережковский.



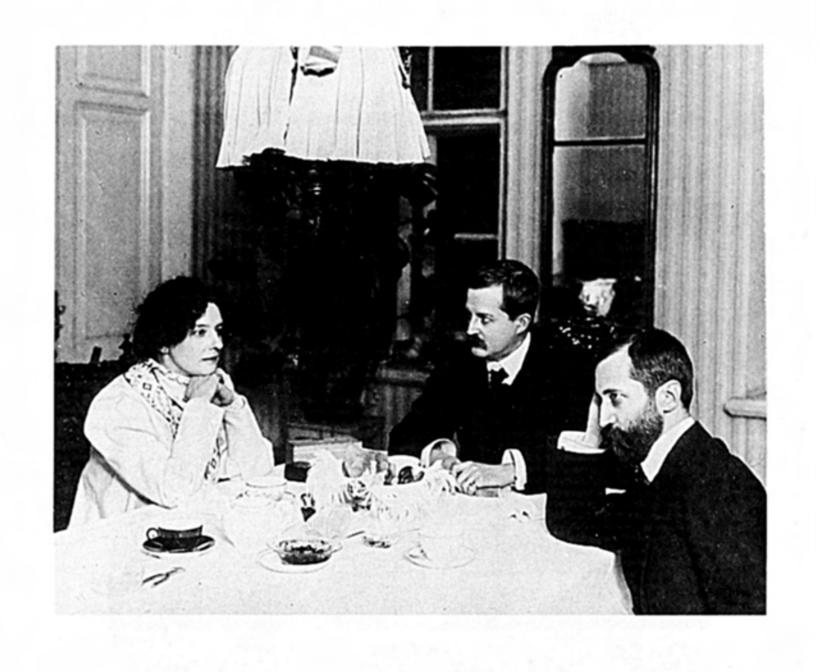
З. Н. Гиппиус. Портрет работы Л. С. Бакста. 1906.



П. С. Соловьева (Allegro).



Д. С. Мережковский.



З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, Д. С. Мережковский.



Д. В. Философов.



З. Н. Гиппиус и Д. В. Философов.



З. Н. Гиппиус.



А. Ф. Керенский.

Скажите всем — ужель не знают?
Ужель еще не пробил час?
Что красный дьявол замышляет,
Прикончив здесь — идти на вас.

Скажите всем, что небо грозно,
Что гибель наша — гибель вам.
Скорей, скорей, пока не поздно!
Идите все на помощь к нам!

Труслив наш враг, хотя и ловкий,
Легко с ним справимся и мы...
Но развяжите нам веревки,
Освободите из тюрьмы!

Зовем из вражеского стана,
Из преисподней мы кричим...
Лети, письмо с аэроплана,
К свободным, честным и живым!

271—272. РОДИНЕ

1

Не знаю, плакать иль молиться,
Дождаться дня, уйти ли в ночь,
Какою верой укрепиться,
Каким неверием помочь?

И пусть вины своей не знаем,
Она в тебе, она во мне;
И мы горим и не сгораем
В неочищающем огне.

2

Повелишь умереть — умрем.
Жить прикажешь — спорить не станем.
Как один, за тебя пойдем,
За тебя на тебя восстанем.

Видно, жребий у нас таков;
Видно, велено так законом,

Откликается каждый зов
В нашем сердце, тобой зажженном.

Будь, что будет. Нейти назад:
Покорились мы Божьей власти.
Подымайся на брата брат,
Разрывайся душа на части!

273. БОЖИЙ СУД

Это, братцы, война не военная,
Это, други, Господний наказ.
Наша родина, горькая, пленная,
Стонет, молит защиты у нас.

Тем зверьем, что зовутся «товарищи»,
Изничтожена наша земля.
Села наши — не села, пожарищи,
Опустели родные поля.

Плачут дети, томясь в испытании
И от голода еле дыша,
Неужель на такие страдания
Не откликнется наша душа?

Мы ль не слышим, что совестью велено?
Мы ль не двинемся все, как один,
Не покажем Бронштейну да Ленину,
Кто на русской земле господин?

Самодержцы трусливые, куцые,
Да погибнут под нашим огнем!
Знамя новой, святой революции
В землю русскую мы понесем.

Слава всем, кто с душой неизменною
В помощь Родине ныне идут.
Это, други, война не военная,
Это Божий свершается суд.

274. ГОСТЬ

Как приехал к нам англичанин-гость,
По Гостиному по Двору разгуливает,
В пустые окна заглядывает.
Он хотел бы купить — да нечего.
Денег много — а что толку с того?
Вот идет англичанин завтракать,
Приходит он в Европейскую гостиницу,
А ее, сердечную, и узнать нельзя.
Точно двор извозчичий заплевана,
Засорена окурками да бумажками.
Три года скреби — не выскребешь,
Не выскребешь, не выметешь.
Ни тебе обеда, ни ужина,
Только шмыгают туда-сюда
Ловкачи — комиссары бритые.
Удивился гость, покачал головой
И пошел на Садовую улицу
Ждать трамвая номер тринадцатый.
Ждет он час, ждет другой, — не идет трамвай.
А прохожие только посмеиваются:
«Ишь нашелся какой избалованный.
Что ж, пожди, потерпи, коли время есть,
Долго ли до второго пришествия?»
И прождал бы он так до вечера,
Да терпение аглицкое лопнуло.
И побрел он пешком к Покрову, домой.
Наплывали сумерки осенние,
Фонарей не видать, не светятся,
Ни души кругом, тишина да мгла,
Только слышно: журчит где-то около
Ручеек, по камушкам прыгая,
Да скрипит-шуршит, мягко стелется
Под ногою трава забвения.
Вот пришел он домой измученный,
Не горит камин, темно-холодно,
Керосину в лампе ни капельки,
Хлеба ни крошки, ни корочки,
Трубы лопнули — не идет вода,
Не идет, только сверху капает,
С потолка на голую лысину.
Покорился гость, делать нечего.
Доплелся до кровати ощупью
И улегся спать, не поужинав.

Как заснул он — выползла из щелочки
Ядовитая вошь тифозная.
Поглядела, воздуха понюхала,
Очень запах ей аглицкий понравился,
Подползла она тихонько, на цыпочках,
И... кусь! англичанина в самый пуп.
Пролежал англичанин в сыпном тифу,
Пролежал полтора он месяца.
А как выздоровел, сложил чемодан
И удрал, не теряя времени,
Прямо в Лондон через Финляндию.
Вот приехал к себе он на родину,
Обо всем Ллойд Джоржу докладывает:
«Ваше, говорит, Превосходительство,
Был я в русской советской республике,
Еле ноги унес, еле душу спас.
Никого там нет, ничего там нет,
Только белая вошь да голый шиш,
С кем торговлю вести, мир заключать,
Не со вшой ли сыпнотифозною?»
А Ллойд Джорж сидит, усмехается,
Пузом своим потряхивает,
На соседнюю дверь подмигивает:
«Обману, говорит, я обманщиков,
Самого товарища Красина.
Штуку выкину, только дайте срок.
Время терпит, а дело трудное».

Врет, иль правду говорит?
        Спорить неуместно.
Кто кого перехитрит,
        Ой, неизвестно.

СИЯНИЯ

Тебе, чье имя не открою,
Но ты со мной всегда,
Ты мне, как горная вода
Среди земного зноя.

275. СИЯНЬЯ

Сиянье слов... Такое есть ли?
Сиянье звезд, сиянье облаков —
Я всё любил, люблю... Но если
Мне скажут: вот сиянье слов —
Отвечу, не боясь признанья,
Что даже святости блаженное сиянье
Я за него отдать готов...
Всё за одно сиянье слов!

Сиянье слов? О, повторять ли снова
Тебе, мой бедный человек-поэт,
Что говорю я о сияньи Слова,
Что на земле других сияний нет?

276. ИДУЩИЙ МИМО

У каждого, кто встретится случайно
Хотя бы раз — и сгинет навсегда,
Своя история, своя живая тайна,
Свои счастливые и скорбные года.

Какой бы ни был он, прошедший мимо,
Его наверно любит кто-нибудь...
И он не брошен: с высоты, незримо,
За ним следят, пока не кончен путь.

Как Бог, хотел бы знать я всё о каждом,
Чужое сердце видеть, как свое,
Водой бессмертья утолять их жажду —
И возвращать иных в небытие.

277. МЕРА

Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много...
На всё как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде, —
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

278. НАД ЗАБВЕНЬЕМ

Я весь, и сердцем и телом,
Тебя позабыл давно,
Как будто в дому опустелом
Закрылось твое окно.

И вот, этот звук случайный,
Который я тоже забыл,
По связи какой-то тайной
Меня во мне изменил.

Душу оставил всё тою,
Уму не сказал ничего,
Лишь острою теплотою
Наполнил меня всего.

Не память, — но воскресенье,
Мгновений обратный лет...
Так бывшее над забвеньем
Своею жизнью живет.

279. РОЖДЕНИЕ

Беги, беги, пещерная вода,
Как пенье звонкая, как пламя чистая.
Гори, гори, небесная звезда,
Многоконечная, многолучистая.
Дыши, дыши, прильни к Нему нежней,
Святая, радостная, ночь безлунная...
В тебе рожденного онежь, угрей,
Солома легкая, золоторунная...
Несите вести, звездные мечи,
Туда, туда, где шевелится мга,
Где кровью черной облиты снега,
Несите вести, острые лучи.
На край земли, на самый край, туда —
Что родилась Свобода трехвенечная
И что горит восходная Звезда,
Многоочитая, многоконечная...

24 декабря

280. ЖЕНСКОСТЬ

Падающие, падающие линии...
Женская душа бессознательна,
Много ли нужно ей?

Будьте же, как буду отныне я,
К женщине тихо-внимательны,
И ласковей, и нежней.

Женская душа — пустынная,
Знает ли, какая холодная,
Знает ли, как груба?

Утешайте же душу невинную,
Обманите, что она свободная...
Всё равно она будет раба.

281. ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озареньем новым
Слить Ее бытие?
О, ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария...
Все они — ты Одна.
Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим — твоей от начала
Хочу пребыть в себе,
Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем...
И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра!

282. НЕОТСТУПНОЕ

Я от дверей не отойду.
Пусть длится ночь, пусть злится ветер.
Стучу, пока не упаду.
Стучу, пока Ты не ответишь.
Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю,
Восстанови ее из праха!
Верни ее под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров
Простри над грешною Россией!

И мне, упрямому рабу,
Увидеть дай ее, живую...
Открой!
Пока она в гробу,
От двери Отчей не уйду я.

Неугасим огонь души,
Стучу — дрожат дверные петли,
Зову Тебя — о, поспеши!
Кричу к Тебе — о, не замедли!

283—286. ЮЖНЫЕ СТИХИ

1

ЗА ЧТО?

Качаются на луне
Пальмовые перья.
Жить хорошо ли мне,
Как живу теперь я?

Ниткой золотой светляки
Пролетают, мигая.
Как чаша, полна тоски
Душа — до самого края.

Морские дали — поля
Бледно-серебряных лилий...
Родная моя земля,
За что тебя погубили?

2

ЛЯГУШКА

Какая-то лягушка (всё равно!)
Свистит под небом черно-влажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она — о самом важном?

И вдруг, поняв ее язык,
Я б изменился, всё бы изменилось,
Я мир бы иначе постиг,
И в мире бы мне новое открылось?

Но я с досадой хлопаю окном:
Всё это мара ночи южной
С ее томительно-бессонным сном...
Какая-то лягушка! Очень нужно!

3

ЖАРА

Опять черна, знакома и чиста,
Свой звездный купол ночь вскружила.
Давно мне сердце эта пестрота
Неотвратимостью своею утомила.

И Млечный Путь — застывшая река,
Где не текут и не мерцают струи...
О, тени Божьих мыслей, — облака!
Я вас любил... И как о вас тоскую!

4

ДОЖДЬ

И всё прошло: пожары, знои,
И всё прошло, — и всё другое:
Сереет влажно полог низкий.
О, милый дождь! Шурши, шурши,
Родные лепеты мне близки,
Как слезы тихие души.

287—288. СТИХИ О ЛУНЕ

1

ПЯТНО

Кривое, белое пятно
　　Комочком смято-мутным
Висит бесцельно и давно
　　Над морем неуютным.

Вздымая водные пласты,
　　Колеблет море сваи.
А солнце смотрит с высоты,
　　Блистая и скучая.

Но вот, в тот миг, когда оно
　　Сердито в тучу село,
Мне показалось, что пятно
　　Чуть-чуть порозовело.

Тревожит сердце кривизна,
И розовые тени,
И жду я втайне от пятна
Волшебных превращений...

2

СТЕНА

В полусверкании зеленом,
Как в полужизни — полусне,
Иду по кругоузким склонам,
По бело-блещущей стене.

И тело легкое послушно,
Хранимо пристальной луной.
И верен шаг полувоздушный
Над осиянной пустотой.

Земля, твои оковы сняты,
Твои законы сменены.
Как немо, вольно и крылато
В высоком царствии луны!

И вьется в полусмертной тени
Мой острый путь — тропа любви...
О мать, земля! моих видений
Далеким зовом — не прерви!

Ужель ты хочешь, чтоб опять я
Рабом очнулся и в провал —
В твои ревнивые объятья —
Тяжелокаменно упал?

289. БЫТЬ МОЖЕТ

Как этот странный мир меня тревожит!
Чем дальше — тем всё меньше понимаю.
Ответов нет. Один всегда: быть может.
А самый честный и прямой: не знаю.

Задумчивой тревоге нет ответа.
Но почему же дни мои ее всё множат?
Как родилась она? Откуда?
Где-то —
Не знаю где — ответы есть... быть может?

290. ЯСНОСТЬ

В. А. Мамченко

Невинны нити всех событий,
Но их не путай, не вяжи,
И чистота, единость нити
Всегда спасет тебя от лжи.

291. ПРОРЕЗЫ

Здесь — только обещания и знаки:
Игла в закатном золоте вина,
Сияющий прорыв, прорез на мраке...
Здесь только счастье — голубого сна.

Но я земным обетам жадно внемлю.
Текут мгновения, звено к звену.
И я люблю мою родную Землю,
Как мост, как путь в зазвездную страну.

И этот вечер, весь под лунным жалом
(Все вечера, все вечера — один!),
Лишь алый знак, написанный кинжалом
На терпком холоде зеленых льдин.

И чем доверчивее, тем безгрешней
Люблю мое высокое окно.
Одну Нездешнюю люблю я в здешней,
Люблю Ее... Она и ты — одно.

292. КАК ОН

Георгию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Всё пережить и всё принять.
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

293. ГОРНОЕ

Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченый — не повторится.

День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем.
А все-таки — не повторится.

294—295. ЕЙ В ГОРАХ

1

Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок.
Принес его, длинностебельный,
И положил у милых ног.

А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю.
Но пусть! Не хочешь — и не надо;
Я всё равно тебя люблю.

2

Новый цветок я найду в лесу.
        В твою неответность не верю, не верю!
Новый, лиловый я принесу
        В дом твой прозрачный, с узкою дверью.

Но стало мне страшно там, у ручья:
        Вздымился туман из ущелья, стылый,
Тихо шипя, проползла змея...
        И я не нашел цветка для милой.

296. НАСТАВЛЕНИЕ

Молчи. Молчи. Не говори с людьми,
Не подымай с души покрова,
Все люди на земле — пойми! Пойми! —
Ни одного не стоят слова.

Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей
Свои печали вольно скроет.
Весь этот мир одной слезы твоей,
Да и ничьей слезы не стоит.

Таись, стыдись страданья твоего,
Иди — и проходи спокойно.
Ни слов, ни слез, ни вздоха, — ничего
Земля и люди недостойны.

297. КЛЮЧ

Был дан мне ключ заветный,
И я его берег.
Он ржавел незаметно...

Последний срок истек.
На мост крутой иду я.
Речная муть кипит.
И тускло бьются струи
О сумрачный гранит,
Невнятно и бессменно
Бормочут о своем,
Заржавленною пеной
Взлетая под мостом.
Широко ветер стужный
Стремит свистящий лет...

Я бросил мой ненужный,
Мой ключ — в кипенье вод.
Он скрылся, взрезав струи,
И где-то лег, на дне...

Прости, что я тоскую.
Не думай обо мне.

298. ПРОШЛА

На выгибе лесного склона
Я увидал Ее в закатный час.
Зеленая прозрачная корона,
Печальность неподвижных глаз.

Легко прошла, меж алых сосен тая,
Листом коричневым не прошурша,
Корона изумрудела сквозная...
И плакала моя душа.

Любил Ее, люблю, не зная...
Узнаю ль в мой закатный час?
Сверкнет ли мне в последний раз
Ее корона тонкая, сквозная,
Зеленая осенность глаз?

299. ВТАЙНЕ

Сегодня имя твое я скрою,
    И вслух — другим — не назову,
Но ты услышишь, что я с тобою,
    Опять тобой — одной — живу.

На влажном небе Звезда огромней,
    Дрожат — струясь — ее края.
И в ночь смотрю я, и сердце помнит,
    Что эта ночь — твоя, твоя!

Дай вновь увидеть родные очи,
    Взглянуть в их глубь — и ширь — и синь.
Земное сердце великой Ночью
    В его тоске — о, не покинь!

И всё жаднее, всё неуклонней
    Оно зовет — одну — тебя.
Возьми же сердце мое в ладони,
    Согрей, — утишь, — утешь, любя...

300. ST. THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS [1]

Девочка маленькая, чужая,
Девочка с розами, мной не виденная,
Ты знаешь всё, ничего не зная,
Тебе знакомы пути неиденные —
Приди ко мне из горнего края,
Сердцу дай ответ, неспокойному...
Милая девочка, чужая, родная,
Приди к неизвестному, недостойному...

Она не судит, она простая,
Желанье сердца она услышит,
Розы ее такою чистою,
Такой нежной радостью дышат...
О, будь со мною, чужая, родная,
Роза розовая, многолистая...

301. ЗЕРКАЛА

А вы никогда не видали?
В саду или в парке — не знаю,
Везде зеркала сверкали.
Внизу, на поляне, с краю,
Вверху, на березе, на ели.
Где прыгали мягкие белки,
Где гнулись мохнатые ветки, —
Везде зеркала блестели.
И в верхнем — качались травы,
А в нижнем — туча бежала...
Но каждое было лукаво,
Земли иль небес ему мало, —
Друг друга они повторяли,
Друг друга они отражали...
И в каждом — зари розовенье
Сливалось с зеленостью травной;
И были, в зеркальном мгновеньи,
Земное и горнее — равны.

---

[1] Св. Тереза Младенца Иисуса (*франц.*). — *Ред.*

302. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Д. М.

Не пытай ни о чем дорогой,
Легкой ткани льняной не трогай,
И в пыли не пытай следов, —
Не ищи невозможных слов.

Посмотри, как блаженны дети;
Будем просты сердцем и мы.
Нету слов об этом на свете,
Кроме слов — последних — Фомы.

303. ДОСАДА

Когда я воскрес из мертвых,
 Одно меня поразило:
Что это восстанье из мертвых
И все, что когда-нибудь было,—
 Всё просто, всё так, как надо...

Мне раньше бы догадаться!
И грызла меня досада,
Что не успел догадаться.

304. ВСЁ РАВНО

... Нет! из слабости истощающей
 Никуда! Никуда!
Сердце мое обтекающей
 Как вода! Как вода!

Ужель написано — и кем оно?
 В небесах,
Чтоб въедались в душу два демона,
 Надежда и Страх?

Не спасусь, я борюсь,
 Так давно! Так давно!
Всё равно утону, уж скорей бы ко дну...
 Но где дно?..

305. 8 НОЯБРЯ

Тихие сумерки... И разноцветная
медленно меркнущая морская даль.
Тоже тихая и безответная,
розово-серая во мне печаль.
Пахнет розами и неизбежностью,
кто поможет, и как помочь?
Вечные смены, вечные смежности,
лето и осень — день и ночь...

Свечи кудрявятся за тихой всенощной,
к окнам узким мрак приник,
пахнет розами... Как мы немощны!
Радуйся, радуйся, Архистратиг!

306. ETERNITÉ FRÉMISSANTE [1]

В. С. Варшавскому

Моя любовь одна, одна,
Но всё же плачу, негодуя:
Одна, — и тем разделена,
Что разделенное люблю я.

О Время! Я люблю твой ход,
Порывистость и равномерность.
Люблю игры твоей полет,
Твою изменчивую верность.

Но как не полюбить я мог
Другое радостное чудо:
Безвременья живой поток,
Огонь, дыхание «оттуда»?

Увы, разделены они —
Безвременность и Человечность.
Но будет день: совьются дни
В одну — Трепещущую Вечность.

---

[1] Трепещущая вечность (*франц.*). — *Ред.*

307. РАВНОДУШИЕ

... Он пришел ко мне, а кто — не знаю,
Он плащом закрыл себе лицо...

1906

Он опять пришел, глядит презрительно,
Кто — не знаю, просто, он в плаще...

1918

Он приходит теперь не так.
Принимает он рабий зрак.
        Изгибается весь покорно
И садится тишком в углу
Вдали от меня, на полу,
        Похихикивая притворно.

Шепчет: «Я ведь зашел, любя,
Просто так, взглянуть на тебя,
        Мешать не буду, — не смею...
Посижу в своем уголку,
Устанешь — тебя развлеку,
        Я разные штучки умею.

Хочешь в ближнего поглядеть?
Это со смеху умереть!
        Назови мне только любого.
Укажи скорей, хоть кого,
И сейчас же тебя в него
        Превращу я, честное слово!

На миг, не навек! — Чтоб узнать,
Чтобы в шкуре его побывать...
        Как минуточку в ней побудешь —
Узнаешь, где правда, где ложь,
Всё до донышка там поймешь,
        А поймешь — не скоро забудешь.

Что же ты? Поболтай со мной...
Не забавно? Постой, постой,
        И другие я знаю штучки...» —
Так шептал, лепетал в углу,
Жалкий, маленький, на полу,
        Подгибая тонкие ручки.

Разъедал его тайный страх,
Что отвечу я? Ждал и чах,
        Обещаясь мне быть послушен.
От работы и в этот раз
На него я не поднял глаз,
        Неответен — и равнодушен.

Уходи — оставайся со мной,
Извивайся, — но мой покой
        Не тобою будет нарушен...
И растаял он на глазах,
На глазах растворился в прах,
        Оттого, что я — равнодушен...

308. КОГДА?

В церкви пели Верую,
весне поверил город.
Зажемчужилась арка серая,
засмеялись рои моторов.
Каштаны веточки тонкие
в мартовское небо тянут.
Как веселы улицы звонкие
в желтой волне тумана.
Жемчужьтесь, стены каменные,
марту, ветки, верьте...
Отчего у меня такое пламенное
желание — смерти?
Такое пристальное, такое сильное,
как будто сердце готово.
Сквозь пенье автомобильное
не слышит ли сердце зова?

Господи! Иду в неизвестное,
но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
такое же, как земное...

309. ИГРА

Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит.
Лишь одного мне жаль: игры...
Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда — ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство...
И всякий ведал — за рулем —
Игру бездумную с пространством.

Играет с рифмами поэт,
И пена — по краям бокала...
А здесь, на спуске, разве след —
След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

310. ВЕЕР

Смотрю в лицо твое знакомое,
Но милых черт не узнаю.
Тебе ли отдал я кольцо мое
И вверил тайну — не мою?

Я не спрошу назад, что вверено,
Ты не владеешь им, — ни я:
Всё позабытое потеряно,
Ушло навек из бытия.

Когда-то, ради нашей малости
И ради слабых наших сил,
Господь, от нежности и жалости,
Нам вечность — веером раскрыл.

Но ты спасительного дления
Из Божьих рук не приняла
И на забвенные мгновения
Живую ткань разорвала...

С тех пор бегут они и множатся,
Пустое дление дробя...
И если веер снова сложится,
В нем отыщу ли я тебя?

311. СЛОЖНОСТИ

К простоте возвращаться — зачем?
Зачем — я знаю, положим.
Но дано возвращаться не всем.
Такие, как я, не можем.

Сквозь колючий кустарник иду,
Он цепок, мне не пробиться...
Но пускай упаду,
До второй простоты не дойду,
Назад — нельзя возвратиться.

312. ЛАЗАРЬ

Нет, волглая земля, сырая;
только и может — тихо тлеть;
мы знаем, почему она такая,
почему огню на ней не гореть.

Бегает девочка с красной лейкой,
пустоглазая, — и проворен бег;
а ее погоняют: спеши-ка, лей-ка,
сюда, на камень, на доски, в снег!

Скалится девочка: «Везде побрызжем!»
На камне — смуглость и зыбь пятна,

а снег дымится кружевом рыжим,
рыжим, рыжим, рыжей вина.

Петр чугунный сидит молча,
конь не ржет, и змей ни гу-гу.
Что ж, любуйся на ямы волчьи,
на рыжее кружево на снегу.

Ты, Строитель, сам пустоглазый,
ну и добро! Когда б не истлел,
выгнал бы девочку с лейкой сразу,
кружева рыжего не стерпел.

Но город и ты — во гробе оба,
ты молчишь, Петербург молчит.
Кто отвалит камень от гроба?
Господи, Господи: уже смердит...

Кто? Не Петр. Не вода. Не пламя.
Близок Кто-то. Он позовет.
И выйдет обвязанный пеленами:
«Развяжите его. Пусть идет».

1918—1938

313. ГРЕХ

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнанья.
Но злое дело — воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя — себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает —
Хоть мы простим, и Бог простит.

314. ДОМОЙ

Мне —
    о земле —
        болтали сказки:
            «Есть человек. Есть любовь».

А есть —
    лишь злость.
        Личины. Маски.
            Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Когда предлагали
    мне родиться —
        не говорили, что мир такой.

Как же
    я мог
        не согласиться?
            Ну, а теперь — домой! домой!

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

315

Давно печали я не знаю,
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю.

Любить людей — сам будешь в горе.
Всех не утешишь всё равно.
Мир — не бездонное ли море?
О мире я забыл давно.

Я на печаль смотрю с улыбкой,
От жалоб я храню себя.
Я прожил жизнь мою в ошибках,
Но человека не любя.

Зато печали я не знаю,
Я слез моих давно не лью.
Я никому не помогаю,
И никого я не люблю.

316

Я помню аллею душистую
И ветви сирени кругом,
Росу на траве серебристую
И небо, объятое сном.

Я помню, как трелью рыдающей
Сирень оглашал соловей,
И как аромат опьяняющий
Волной доносился с полей.

Я помню скамью одинокую,
Забытые грезы и сны,
И пруд, весь заросший осокою,
И силу живую весны...

У берега лодка качается,
И плещется тихо вода,
И звезды, блестя, отражаются
На зыбком просторе пруда.

Стихает природа уснувшая,
Всё негой весенней полно...
Я помню то время минувшее,
Я помню, что было давно...

317

Осенняя ночь и свежа, и светла —
В раскрытые окна глядела,
По небу луна величаво плыла,
И листья шептались несмело.
Лучи на полу сквозь зеленую сеть
Дрожали капризным узором...
О, как мне хотелось с тобой умереть,
Забыться под ласковым взором!
В душе что-то бурной волною росло,
Глаза застилались слезами.
И было и стыдно, и чудно светло,
И плакал Шопен вместе с нами.
О, милый, мы счастья так ждали с тобой —
И счастье неслышно подкралось,
Пришло, как волна, унеслося волной,
Пришло, но навек не осталось!

318

Долго в полдень вчера я сидел у пруда.
Я смотрел, как дремала лениво,
Как лениво спала голубая вода
Над склоненной, печальною ивой.
А кругом далеко — тишина, тишина,
Лишь звенят над осокой стрекозы;
Неподвижная глубь и тиха, и ясна,
И душисты весенние розы.
Но за пыльной оливой, за кущами роз,
Там, где ветер шумит на просторе,
Меж ветвями капризных, стыдливых мимоз
Море видно, безбрежное море!..
Всё полудня лучами залито, дрожит,
И дрожит, и смеется, сверкая,
И бросает волна на прибрежный гранит
Серебристую пену, играя.

Что-то манит туда, в неизвестную даль,
Манит шум синих волн бесконечный...
Океану неведома наша печаль,
Он — счастливый, спокойный и вечный.
Но... блеснувшая в сумерках робко звезда,
Темных вязов густая аллея
И глубокие, тихие воды пруда
Утомленному сердцу милее...

319

Мой дворец красив и пышен, и тенист душистый сад,
В рощах царственных магнолий воды тихие журчат,
Там желтеет в темной куще золотистый апельсин
И к студеному фонтану наклоняется жасмин.
Блещет море, и гирляндой роз пунцовых обвита
Кипарисов темнокудрых величавая чета.
Шепот нежных слов и трели полуночных соловьев,
О, когда б навек остаться здесь, у милых берегов!..
Но порою я спускаюсь, одинока и грустна,
Вниз по мраморным ступеням, где, луной озарена,
Чуть колышется, чуть дышит золотистая волна.
Я веду беседу с морем, я гляжу в немую даль
И с любовью вспоминаю мою прежнюю печаль.
Вспоминаю домик бедный и черемухи кусты,
И сирени белоснежной ароматные цветы,
Песни жаворонка в поле, на заре, кудрявый лес,
Васильки родимой нивы и глубокий свод небес.
Помню я мои мученья, слезы бедные мои,
Помню жажду тихой ласки, жажду счастья и любви.
Но зачем, следя за лунным отражением в волнах,
Как о счастии тоскую я о горе и слезах...
И зачем в саду у моря, где чуть слышен запах роз,
Мне так жалко прежней доли, мне так жалко милых слез?..

320

Я истинному верен останусь до конца:
Смирите, люди-братья, надменные сердца!
Вы верите и в счастье, и в радостные годы,
Вы к знанию стремитесь, вы ищете свободы —
Но в мире нет свободы, нет в мире красоты...
Смиритесь, позабудьте безумные мечты!

Непобедимой смерти таинственная сила
Людей живую душу навеки покорила.
И в первое мгновенье, как и в последний час, —
О, смерть, ты будешь с нами, и будешь вечно в нас!
Приходит смерть любовью, светлы ее одежды,
Приносит нам отраду и робкие надежды...
Но от любви бегите, бегите, люди, прочь!
Ведь это смерть пред вами, ведь это — та же ночь...
Любовь — еще страшнее и непонятней смерти...
Смиритесь, братья-люди, смиритесь и поверьте,
Что в мире нет свободы, и, волею судьбы —
Любя и умирая, мы вечные рабы!

321. <П. И. ВЕЙНБЕРГУ>

Люблю — хрусталь бесценный и старинный,
Обычаи невозвратимых дней,
Благоприятны старые картины
И старое вино душе моей.
Всегда, всегда любила я седины,
И, наконец, пришла моя пора:
Не устояло сердце робкой Зины
Перед цветами Вейнберга Петра!

8 января 1894
СПБ

322. <П. И. ВЕЙНБЕРГУ>

Суббота, 25 июля, <18>98
Аврора

Вы задали мне трудную задачу!
Ответить собираюсь я давно...
Беру перо, сажусь — и чуть не плачу...
Зачем шутить стихом мне не дано?!
Нравоученья в декадентских ризах
Упрямой музе более под стать;
Я не вольна в ее пустых капризах,
Я не умею дам разубеждать.
Звенит ваш стих, и, с гибкостью завидной,
По строкам рифма вьется, как змея...
Досадно мне, и больно, и обидно —
Но я, увы, не вы, а вы — не я...
Довольно! Чем богата, тем и рада.

Мне даже нравится мой странный слог.
И будет, верю, за труды награда:
Ответная чета блестящих строк.
«Была я в Петербурге; буря злилась,
И дождик шел... Ну чистая напасть!
Домой я непрестанно торопилась
И на Фонтанку не могла попасть.
Лишь утешала страждущего брата,
Упавший дух немного подняла
И тщательно и зорко берегла
От милого, но страшного "возврата"...
(Подумаешь, не стоило и лезть:
Там утешителей не перечесть)».
Живем мы здесь не шатко и не валко;
Мясник — мошенник; серы небеса;
Поют кузнечики; мне просто жалко,
Что здесь случаются и чудеса.
Вот первое: не будет вам в обиду,
Но я рецензии пошла писать;
Венгерову же нашу, — Зинаиду, —
Метнуло на стихи... Вот благодать!
Она теперь и день и ночь в экстазе.
Рассеянна, как истинный поэт.
Но думаю, нам с вами в этом разе
Среди поэтов места больше нет!

. . . .

Как поживаете? Что ваши своды?
И — новые — как прежде ль хороши?
По-прежнему ль к вам ломятся народы,
Мечтая с Фонда получить гроши?
Меня сулили вы везти в Монако, —
Я согласилась хоть на Меррекюль...
Клялись словами Демона... Однако
Из обещаний этих вышел нуль.
Тот постоянства сердце не оценит,
Кто чувства лучшие мои отверг...
И знаю: мне не раз еще изменит
Коварный, легкомысленный Вейнберг.
Но не могу я с ним затеять ссору, —
Изменника люблю еще сильней...
И коль захочет посетить Аврору —
Он будет встречен нежностью моей...

. . . .

Я новости вам сообщить хотела,
Но более стихов писать нет сил;

Космополис, как слышно, опочил;
В подробностях не знаете ли дела?

———

Как рада я, что минуло пол-лета!
Собраний жду под сводами поэта,
А на письмо — приятного ответа...
Поклон вам шлет мой занятый супруг
И я, ваш неизменный, редкий друг.
О, верьте! вам одна
Всегда верна —
Zina.

323. З. А. ВЕНГЕРОВОЙ

Небо широкое, широкое.
Смотрит заря утомленная.
В окно мое одинокое
Заря полночная, зеленая,
Небо широкое, широкое...

Заря неверная, неверная,
Заря неяркая, туманная,
Как ты — чужая, лицемерная,
Как ты — ненужная, обманная.
Заря неверная, неверная...

Солнце победное, победное
Придет, убьет зарю невечную
Ее — отражение солнца бедное,
Убьет любовь небесконечную
Солнце победное, победное...

324

На стене темно-красной
Темно-красный цветок,
Дышит скукой опасной
Скучный наш уголок,
В безнадежности ясной
Я смотрю на цветок
(Вот раздался звонок),
От тебя, от безгласной,
Я не жду боли страстной,
И не жду, чтоб увлек
Тебя поток...

325

Брат Иероним! Я умираю...
Всех позови! Хочу при всех
Поведать то, что ныне знаю,
Открыть мой злой, тяжелый грех.

О, я не ведал, что нарушу,
Господь, веления Твои!
Ты дал мне пламенную душу
И сердце, полное Любви.

И долго, смелый, чуждый страха,
Тебе покорный, — я любил.
Увы, я слаб! Я прах от праха!
И Враг — Твой Враг — меня смутил.

Презрел я тайные заветы,
Отверг любовь — еще любя;
И в ризы длинные одетый
Пришел сюда, спасать себя.

Мне враг шептал: здесь подвиг крестный.
Любовь же — грех и суета.
И я оставил путь мой тесный,
Войдя в широкие врата.

Я подвизался неустанно,
Молчал, не спал, не ел, не пил...
О, Долорес! О Донна Анна!
О все, которых я любил!

326. <П. И. ВЕЙНБЕРГУ>

Пусть проходят дни и годы,
Вечно та же сердцем я!
Жадно рвусь под Ваши своды,
И со мной — мои друзья.
Но... живу я наизнанку,
Как подняться спозаранку?
Разболится голова...
Мы приедем на Фонтанку
В среду, в среду, ровно в 2.

5 февраля 1901

327. ТЕМА ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

У меня длинное, длинное черное платье,
я сижу низко, лицом к камину.
В камине, в одном углу, черные дрова,
меж ними чуть бродит вялое пламя.
Позади, за окном, сумерки,
весенние, снежные, розово-синие.
С края небес подымается большая луна,
ее первый взор холодит мои волосы.
Звонит колокол, тонкий, бедный, редкий.
Спор идет неслышно в моем сердце:
Спорит тишина — с сомненьями,
Любовь — с равнодушием.

328—329. В Т А Й Н Е!

1. HOMMAGE*

«Га! Петушья у меня нога!»

Народами повелевал Наполеон,
И трепет был пред ним великий.
Герою — честь! Ненарушим закон!
И без надзора — все мы горемыки.

Курятнику — петух единый дан.
Он властвует, своих вассалов множа.
И в стаде есть Наполеон: баран.
И в Мирискусстве есть: Сережа.

2. УШИ

«Имеющий уши — слышит»

П. П. Перцову, компании Мирискусства,
а также В. Гиппиусу

Безумна я была, упряма, как ребенок.
Я думала, что мы свободны и равны.
Всё оттого, что был мой слух нелепо тонок
И различал шаги с нездешней стороны.

---

* Дань уважения (*франц.*) — *Ред.*

Но боле восставать мятежный дух не будет.
И я теперь, — как вы, — в туманной тишине.
Лишь гений нас, больных, когда-нибудь разбудит,
До гения ж поспим. И правы мы во сне.
Ни боли, ни борьбы... Как путь отрадно-ясен!
Как мне близки друзья, с тех пор, как я глуха!
Поверим лишь в того, кто будет громогласен,
И коль услышим крик, — хотя бы петуха, —
Он будет тот, кого мы ждем.
И мы пойдем за петухом.

330. ПРЯМО В РАЙ

Если хочешь жизни вечной,
Неизменно-бесконечной —
Жизни здешней, быстротечной
Не желай.
От нее не жди ответа,
И от солнечного света,
Человечьего привета —
Убегай.
И во имя благодати
Не жалей о сонном брате,
Не жалей ему проклятий,
Осуждай.
Все закаты, все восходы,
Все мгновения и годы,
Всё — от рабства до свободы —
Проклинай.
Опусти смиренно вежды,
Разорви свои одежды,
Изгони свои надежды,
Верь и знай —
Плоть твоя — не Божье дело,
На борьбу иди с ней смело,
И неистовое тело
Умерщвляй.
Помни силу отреченья!
Стой пред Богом без движенья,
И в стояньи откровенья
Ожидай.

Мир земной — змеи опасней,
Люди — дьяволов ужасней;
Будь мертвее, будь безгласней
И дерзай:
Светлый полк небесной силы,
Вестник смерти легкокрылый
Унесет твой дух унылый —
Прямо в рай!

1901

331. ЛЮБОВЬ К НЕДОСТОЙНОЙ

Ах! Я одной прекрасной дамы
Был долго ревностным пажом,
Был ей угоден... Но когда мы
Шли в парк душистый с ней вдвоем —
Я шел весь бледный, спотыкался,
Слова я слышал, как сквозь сон,
Мой взор с земли не подымался...
Я был безумен... был влюблен...
И я надеялся... Нередко
Я от людей слыхал о том,
Что даже злостная кокетка
Бывает ласкова — с пажом.
Моя ж мадонна — молчалива,
Скромна, прелестна и грустна,
Ни дать ни взять — немая ива,
Что над водами склонена.
О, ей — клянусь! — я был бы верен!
Какие б прожили мы дни!..
И вот, однажды, в час вечерен,
Мы с ней у озера, — одни.
Длинны, длинны ее одежды,
Во взгляде — нежная печаль...
Я воскресил мои надежды, —
Я всё скажу! Ей будет жаль...
Она твоим внимает пеням,
Лови мгновения, лови!..
Я пел, склонясь к ее коленям,
И лютня пела о любви.
Туман на озеро ложится,
Луна над озером блестит,
Всё живо... Всё со мной томится...

Мы ждем... Я жду... Она молчит.
Туман качается, белея,
Влюбленный стонет коростель...
Я ждать устал, я стал смелее
И к ней: «Мадонна! Неужель
Не стоит робкий паж привета?
Ужель удел его — страдать?
Мадонна, жажду я ответа,
Я жажду ваши мысли знать».
Она взглянула... Боже, Боже!
И говорит, как в полусне:
«Знать хочешь мысли? Отчего же!
Я объясню их. Вот оне:
Решала я... — вопрос огромен!
(Я шла логическим путем),
Решала: нумен и феномен
В соотношении — каком?
И всё ль единого порядка —
Деизм, теизм и пантеизм?
Рациональная подкладка
Так ослабляет мистицизм!
Создать теорию — не шутка,
Хотя б какой-нибудь отдел...
Ты мне мешал слегка, малютка;
Ты что? смеялся? или пел?»
. . . .
Мрачись, закройся, месяц юный!
Умолкни, лживый коростель!
Пресе́кнись, голос! Рвитесь, струны!
Засохни, томный розанель!
И ссохлось всё, и посерело,
Застыл испуганный туман.
Она — сидела как сидела,
И я сидел — как истукан.
То час был — верьте иль не верьте, —
Угрюмей всяких похорон...
Бегите, юноши, как смерти,
Философических мадонн!

1902

332. ОБЕ

За гранью смерти ее я встречу,
Ее, единую, ее, любимую.
И ей, как в детстве, на зов отвечу
С любовью первою, — неисцелимою.

Ее ли сердцем не угадаю?
В ней жизнь последняя и бесконечная.
Сквозь облик милый — тебя узнаю,
Тебя, Заступница, тебя, Предвечная...

333. ПЕСНЯ О ГОЛОДЕ

(1904 г., *посв. А. Блоку*)

Хата моя черная, убогая,
В печке-то темно да холодно,
На столе-то хлеба ни корочки,
В углах и тараканы померли.
Хозяйка моя — молчит, молчит,
Соседи мои — немудреные,
Соседи мякину лопают.
Животы-то у них бурчат, ворчат,
А они ничего — радуются.
А были соседи — да померли,
Лежат, ничего, погоста ждут,
Лежат себе — не схоронены.
Кто жив — глядишь, издевается:
«Чего, дурак, мякины не жрешь?
Небось, подыхал, так наелся бы».
А не лезет в меня мякина-то,
Нету моего согласия,
Чистой смертыньки пойду искать,
От соседей уйду, от хозяюшки,
Один на один умирать пойду.
Над колодцем месяц серебряный,
За вербой заря кровавая,
Под зарей, внизу, поле черное.
Пойду я да лягу на поле,
Буду в небо глядеть, алое и белое,
Так и умру с ним один на один,
Умру на земле — от голода...

334. К ДОБРОЛЮБОВУ

Нет отреченья в отреченьи,
От вечных дум исхода нет.
Ты видишь свет и мрак в смешеньи.
В тебе раздельны мрак и свет.

И за полями, за горами,
Где меркнет жизнь и след людской,
Ты узришь жадными очами,
Что кинул здесь в семье родной.

В пустыне нет уединенья,
Повсюду жизнь, повсюду Бог.
Лишь сердцу, сердцу нет смиренья, —
От жизни в жизни — нет дорог.

335

Всё колдует, всё пророчит,
Лысоглавый наш Кузьмич...
И чего он только хочет
Ворожбой своей достичь?

Невысокая природа
Колдовских его забав:
То калоши, то погода,
То Иванов Вячеслав...

Нет, уж ежели ты вещий,
Так наплюй на эти вещи,
Не берись за что поплоше,
Брось Иванова с калошей,
Потягайся с ведьмой мудрой,
Силу в силе покажи.
Ворожун мой бледнокудрый,
Ты меня заворожи.

336. РЕПЛИКА ВЕДЬМЫ

... бойся, Зинаида,
Двери, тени и кольца...

Эко диво, ну и страхи!
Вот так сила колдуна!
Нет, в хламиде иль в рубахе —
Всё одна тебе цена.
Тени легкие люблю я,
Милы мне и ночь — и день.
И ревнуя, и колдуя,
Я легка, сама — как тень.
Дверью — может лишь Валерий
Брюсов — Белого пугать!
Что мне двери, что мне двери,
Я умею без потери,
Не помяв блестящих перий,
В узость щелки пролезать.
Ну а кольца... Я ль не знала
Тайны колец и кругов?
Я чертила и стирала,
Разнимала и смыкала
Круги, кольца — властью слов.
Ты колдуешь в уголочке,
Манишь, манишь — не боюсь...
Ты не в круге — весь ты в точке;
Я же в точку не вмещусь.
Нет, оставь пустые бредни.
Не тебе играть со мной!
Замыкаю круг последний,
Троецветный и тройной.
Подожди, хламиду снимешь,
Будешь, будешь умирать!
И тогда придешь... и примешь
Трехвенечную печать.

21 марта 1905

337

Ты не один в своей печали...
Ждала громов не от тебя ли
Душа моя?

Ее надежды окрыляли,
Но крылья нежные упали, —
Грущу и я.

Поверь, я знала и заране
Незлую власть очарований
Твоих — стихов...
Но жаль мне власти тайных знаний...
Она рассыпалась в обмане,
Она растаяла в тумане
Красивых слов!

24 м<арта 19>05
СПБ

338

То бурная, властно-мятежная, —
То тише вечернего дня;
Заря огневая и нежная
На небе взошла для меня.

Простая, спокойно-суровая.
Как правда, пряма и ярка,
Чиста, как вода родниковая,
Как чистый родник, глубока.

Пусть люди, судя нас и меряя,
О нас ничего не поймут.
Не людям — тебе одной верю я,
Над нами есть Божеский суд.

Их жизнь суетливо-унылая
Проходит во имя ничье.
Я вечно люблю тебя, милая,
И всё, что ты любишь, — мое.

1 января 1906

339. ПОЛИКСЕНЕ СОЛОВЬЕВОЙ

Довольно! Земного с созвездий не видно.
Витать в межпланетных пространствах мне стыдно.
Земля — в содроганьях, в грязи и в крови —
А мы распеваем о вешней любви.

Довольно! Разбейся, лукавая лира!
Довольно! Бериллы — в окне ювелира.
Из лука — мальчишка стреляет ворон,
А девы — на Невском. На бойне — овен.
Ведь топчут сейчас где-то первую травку,
Ведь мылят сейчас для кого-то удавку,
Ведь кто-то сидит над предсмертным письмом —
А мы о любви небывалой поем,
О робких балконах, о каплях дождевных,
О сладких мечтаньях, бессильно-безгневных.
Довольно! Иду.......................

Нет, стары мы духом и слабы мы телом
И людям не можем, ни словом, ни делом,
Помочь разорвать их проклятую сеть...
Нам — страшно во имя любви умереть.

340—341. НЕУМЕСТНЫЕ РИФМЫ

1

Ищу напевных ше-
потов
В несвязном шу-
ме,
Ловлю живые шо-
рохи
В ненужной шу-
тке.

Закидываю не-
воды
В озера гру-
сти,
Иду к последней не-
жности
Сквозь пыль и гру-
бость.

Ищу росинок ис-
кристых
В садах непра-
вды,

Храню их в чаше ис-
тины,
Беру из пра-
ха.

Хочу коснуться сме-
лого
Чрез горечь жи-
зни.
Хочу прорезать сме-
ртное
И знать, что жив —
я.

Меж цепкого и ле-
пкого
Скользнуть бы с ча-
шей.
По самой темной ле-
стнице
Дойти до сча-
стья.

2

Верили
мы в неверное,
Мерили
мир любовью,
Падали
в смерть без ропота,
Радо ли
сердце Божие?
Зори
встают последние,
Горе
земли не изжито,
Сети
крепки, искусные,
Дети
земли опутаны.
Наша
мольба не услышана,
Чаша
еще не выпита,

Сети
невинных спутали,
Дети
земли обмануты...
Падали,
вечно падаем...
Радо ли
сердце Божие?

342. ЯНВАРЬ — АЛМАЗ

Сонет

Он вечно юн. Его вино встречает.
А человека, чья зажглась заря
В сверкающую пору января, —
Судьба как бы двойная ожидает.
И волею судьбу он избирает.
Пока живет страдая и творя,
Алмазной многоцветностью горя —
Он верен, он идет — и достигает.

Но горе, если в поворотный час
Изменит он последнему усилью:
Тогда возможное не станет былью,
Погаснет камень января — алмаз.
А та душа, чей талисман погас, —
Бесследной разлетится пылью.

19 января 1911

343. КИПАРИСЫ

Они четой растут, мои нежные,
Мои узкие, мои длинные,
Неподвижные — и мятежные,
Тесносжатые — и невинные...

Прямей свечи,
Желания колючей,
Они — мечи,
Направленные в тучи...

1911

344. СВОЕ

По темным скатам, на дороге
Шуршат опавшие листы.
Идет Дон-Карлос легконогий,
Прозрачны жаркие мечты.

Идет он с тайного свиданья...
Он долго ждал, искал, молил —
Свершилось! Дерзкие желанья
Он с нежной Нонной утолил.

О, как была она прекрасна
Во гневе горестном своем!
И улыбается он ясно,
Закрывшись бархатным плащом.

«Подите прочь! Дон-Карлос, вы ли
Так недостойно, в эту ночь
Ко мне прокрались, оскорбили...
Забвенья нет... Идите прочь!

О, знали вы: из сожаленья
Я дерзость ваших ласк терплю.
В моей душе одно презренье,
Я не любила! Не люблю!»

Он целовал ей кончик платья,
Шептал: «Прости мне! Ты — чиста!»
Но помнил — лишь ее объятья,
Ее горячие уста.

И думал: если ты несчастна —
Зато безмерно счастлив я.
Что о любви твердить напрасно?
Мила нам страсть, и страсть своя.

Сжимал я трепетное тело,
Изведал сладостную власть...
Мученьем, гневом, — что за дело,
Чем ты ответишь мне на страсть?

И стон ли счастья, крик ли боли —
Они равны в моем огне.

А разделенный поневоле —
Он ярче и милее мне...

Но молча слушал он укоры.
Сказать? Она не поняла б...
И от разгневанной синьоры
Он, властелин, ушел — как раб.

Невинны нити всех событий,
Но их не путай, не вяжи,
И чистота, единость нити

Всегда спасут тебя от лжи.
Мерцает полночь; на дороге
Едва шуршит упавший лист.
Идет Дон-Карлос легконогий,
Невинен, верен, прав и чист.

345. АМАЛИИ

Люблю тебя ясную, несмелую,
Чистую, как ромашка в поле.
Душу твою люблю я белую,
Покорную Господней воле.

И радуюсь радостью бесконечною,
Что дороги наши скрестились,
Что люблю тебя любовью вечною,
Как будто мы вместе — уже молились.

26 марта 1911
Париж

346. СЕРГЕЮ ПЛАТОНОВИЧУ КАБЛУКОВУ

Темны российские узоры:
Коровы, пьянство и заборы,
Везде измены и туманы
Да Кукол Чертовых обманы...
Пусть! верю я, и верить буду
Наперекор стихиям — чуду,
И вас зову с собою: верьте!
Но верой огненной, — до смерти.

27 сентября 1911
С.-Петербург

347. «ОЛЕ»

Безвольность рук твоих раскинутых...
уста покорные молчат.
И сквозь ресниц полусодвигнутых
едва мерцает бледный взгляд.

Ты вся во власти зыбкой томности
и отдающегося сна...
О, не любовью, грешной темностью
моя душа уязвлена.

Пусть не люблю — нет сожаления,
пусть ты не любишь — всё равно,
меня жестокости и дления
пьянит холодное вино.

Как будто в дьявольское зеркало
взглянули мы... Оно светло,
и нас обоих исковеркало
его бездонное стекло.

348. ДЕВОЧКА

Я претепло одета:
Под капором коса.
Гулять — теперь не лето —
Иду на полчаса.

Погода-то какая!
Снежок хрустит, хрустит.
Далёко бы ушла я,
А няня не велит.

Схватиться бы за санки,
Скатиться бы с горы,
Да я с Феклистой няней,
А с ней не до игры.

Противная Феклиста!
Не хочет ничего,
Вот Ваню гимназиста
Пускают одного.

Твердит: «Ты не мальчишка,
Тебе нельзя одной».
А брат приготовишка
Гуляет, как большой.

Башлык наденет рыжий,
Коньки несет, звеня,
А сам и ростом ниже,
Да и глупей меня.

Смеется: «Я направо,
Не надо мне Феклист».
Ах, как досадно, право,
Что я не гимназист!

349

Аркаша, Аркаша,
Во рту твоем каша,
        Но что-то в тебе восхитительное.
Румян ты и сдобен,
Купидоподобен,
        Как яблочко весь — ахтительное.
Поспорили ныне
Две лучших богини,
        Любви твоей радостной жаждая,
И пламень твой страстный
Делить не согласны,
        Всего тебя требует каждая.
Ты с ними уветлив,
Невинно кокетлив,
        И спором весьма удручаешься.
Как шарушек каткий,
И нежный, и сладкий,
        Меж ними приятно катаешься.
Настроил ты скиний,
Везде по богине,
        Всё счастье богинь тебе вверено;
Но, схапав манатки,
Во все-то лопатки
        Уехал Аркашенька в Верино.

350. ОТВЕТ ***

Всё так просто, всё мне мило,
Шмель гудит, цветет сирень,
Солнце ясно восходило:
Ясный будет нынче день.

Дятел ползает на ветке...
Нет, иду, не утерплю...
Знаю, знаю, ты в беседке,
Ты, которую люблю!

Ах, любовь всегда наивна
(Если истина она),
Упоительно-призывна,
Драгоценно-неумна.

И не ходит по дорогам,
Где увял сирени цвет,
Где в томленьи слишком строгом
Грезим мы о слишком многом,
О любви, которой нет.

Ах, любовь проста, как роза!
Успокоит — опьяня.
Не стыдись, моя мимоза,
Благодатного огня.

Будем ясно жить на свете,
В сердце есть на всё ответ.
Любим мы, да любят дети,
А иной любви и нет.

Целоваться б неотрывно
Там, в беседке, у реки...
Я наивен — ты наивна,
Остальное пустяки.

Остальное всё ничтожно —
Если, впрочем, не шучу.
Но об этом осторожно,
Осторожно умолчу.

5

Красная лампа горитъ на столѣ,
а ~~кругомъ~~ вокругъ, вездѣ — строгой тьмѣ.
Я не хочу жить на землѣ,
если нельзя уйти изъ тюрьмы.

Красная лампа на кругломъ столѣ.
Никто не хочетъ тьму пройти.
~~Во~~ А если весь міръ лежитъ во злѣ,
То надо міръ спасти.

~~Красная лампа на кругломъ столѣ~~
~~Сердце [illegible]~~ говоритъ: не то!
Но ~~[illegible]~~ сердце одно [illegible] погасло во мглѣ:
~~[illegible]~~ никто не найдетъ.
Красная лампа на кругломъ столѣ
Сердце твердитъ: не то! не то!
~~Одинокое~~ Но одно сердце погасло въ мглѣ.
На встрѣчу ~~ему~~ не пойдетъ никто.

Черновой автограф стихотворения «Красная лампа горит на столе...» Рукописный отдел ИРЛИ.

2

Три креста

О Бельгія, земля святыхъ смертей!
Ты на крестѣ, но духъ твой живъ и воленъ.
И передъ нимъ — что кровь твоихъ дѣтей
И дымъ, и гарь воздушныхъ колоколенъ?
На Польшу, близкую сестру, взгляни,
Нѣтъ изумительнѣй ея удѣла...
Ей — два креста послали наши дни,
Неистовымъ безуміемъ дыша...
И на одномъ крестѣ томится тѣло,
А на другомъ — душа.

Гиппиусъ

Беловой автограф стихотворения «Три креста». Рукописный отдел ИРЛИ.

351. ТЕБЕ

В горькие дни, в часы бессонные
Боль побеждай, боль одиночества.
Верь в мечты свои озаренные:
Божьей правды живы пророчества.

Пусть небеса зеленеют низкие,
Помни мысль свою новогоднюю.
Помни, есть люди, сердцу близкие,
Веруй в любовь, в любовь Господнюю.

1 января 1913

352. НА — КРЕСТ

Стены белы в полуночный час.
Вас ли бояться, — отмены, измены?

Мило мне жизни моей движенье,
Биенье, — забвенье того, что было,

Знак переплета... Сойдутся ль, нет ли
Петли опять — но будет не так.

Тают мгновенья, пройти не хотят...
Рад я смене, пусть умирают.

Слов не надо — хотения смелы.
Белы стены поздних часов.

1914

353. ТРИ КРЕСТА

О, Бельгия, земля святых смертей!
Ты на кресте, но дух твой жив и волен.
И перед ним — что кровь твоих детей
И дым, и гарь воздушных колоколен?
На Польшу, близкую сестру, взгляни, —
Нет изумительней ее удела:
Безумием пылающие дни
Ей два креста судили: на одном

Ее истерзанное тело, —
Душа немая на другом.
Но сочтены часы томленья,
Господь страданий не забудет.
Голгофа — ради воскресенья,
И веруем, — да будет!

354. ЗАВЯЖИ

Если хочешь говорить —
Говори ясно.
Если вздумаешь любить —
Люби прекрасно.
Если делать — делай так,
Чтобы делу выйти.
Если веришь — дай мне знак,
Завяжи нити...

355. СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕНЬ

А. О. Лурье

Люблю, люблю серебряные дни,
Без солнца — в солнце, в облачной тени.

Как риза брачная, свежа, ясна
Задумчивого моря белизна;

Колеблется туман над тихой далью,
А голос волн и ласковей, и глуше...

Такие я встречал людские души:
Овеяны серебряной печалью,

Они улыбкою озарены,
В них боль и радость вечно сплетены...

И любит буйная моя мятежность
Их детскую серебряную нежность.

356. ОПРОЩЕНИЕ

Армяк и лапти... да, надень, надень
На Душу-Мысль свою, коварно-сложную,
И пусть, как странница, и ночь и день,
Несет сермяжную суму дорожную.

В избе из милости под лавкой спит,
Пускай наплачется, пускай намается,
Слезами едкими свой хлеб солит, —
Пусть тяжесть зе́мная ей открывается...

Тогда опять ее прими, прими
Всепобедившую, смиренно-смелую...
Она, крылатая, жила с людьми,
И жизнь вернула ей одежду белую.

357

Плотно заперта банка.
Можно всю ночь мечтать.
Можно, встав спозаранка,
То же начать опять.

Можно и с пауками
Играть, полезть к ним в сеть.
Можно вместе с мечтами
Весело умереть.

358

Нет выбора, что лучше и что хуже.
Покину ль я, иль ты меня покинешь —
Моя любовь стрелы острей и уже —
Конец зазубрен: ты его не вынешь.

359

Ходит, дышит, вьется, трется между нами
Черный человечек с белыми глазами.
Липой ли он пахнет, потом или сеном?
Может быть, малинкой, а быть может, тленом.

Черный ползунишка с белыми глазами,
Пахнущий постелью, мясом и духами,
Жертвочек ты ищешь, ловишь в водах мутных,
Любишь одиноких деток перепутных.

360—363. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НИКИ*

1

«Нет, я не льстец!» Мои уста
Свободно Ника[1] славословят.
Ни глад, ни мор, ни теснота,
Ни трус меня не остановят.

Ты скромен, Ника, но ужель
Твои дела мы позабыли?
Преследуя святую цель,
Трудился с Фи́липпом[2] — не ты ли?

Ты победил надеждой страх,
Недаром верила Россия!
На Серафимовых[3] костях
Не ты ли зачал Алексия?

Не ты ль восточную грозу
Привлек, махнувши ручкой царской?
И пролил отчую слезу
Над казаками — в день январский?[4]

Толпы мятежные лились...
У казаков устали руки.
Но этим только начались
Твои, о Ник, живые муки.

---

* *Подстрочные примечания к тексту сделаны С. П. Каблуковым*

[1] Ник = Никс = Николай II.

[2] Ф. — спирит, лечивший Ал<ександру> Ф<едоровну>, рождавшую только девочек.

[3] После открытия мощей пр<еподобного> Серафима Саровского родился у Николая сын Алексей, очень болезненный.

[4] 9 января 1905 года — манифестация рабочих с св<ященником> Гапоном во главе перед Зимним дворцом была разогнана казаками.

Ты дрогнул, поглядев окрест,
И спешно вызвал Герра Витта...[5]
Наутро вышел манифест...
Какой? О чем? Давно забыто.

Но сердце наше Ник постиг.
Одних сослал, других повесил.
И крепче сел над нами Ник,
Упрямо тих и мирно весел.

С тех пор один он блюл, хранил
Жену, Россию и столицу
И лишь недавно их вложил
В святую Гришину[6] десницу.

Коль раскапризится дитя, —
Печать, рабочие и Дума, —
Вдвоем вы справитесь, шутя:
Запрете их в чулан без шума.

На что нам Дума и печать?
У нас священный старец Гриша.
Россия любит помолчать...
Спокойней, дети, тише, тише!..

И что нам трезвость,[7] что война?
Не страшны дерзкие Германы.
С тобою, Ники, без вина
Победоносны мы и пьяны.

И близок, близок наш тупик
Блаженно-смертного забвенья,
Прими ж дары мои, о Ник,
Мои последние хваленья.

---

[5] Гр<аф> С. Ю. Витте, инициатор манифеста 17 октября 1905 года.

[6] Гриша = Григорий Ефимович Новых, прежде Распутин, ныне «придворный духовный собеседник» с жалованием в 12000 р. в год, по слухам едва ли неверным — любовник жены Ник<олая> и постоянный его советник во всем.

[7] С 19 июля 1914 г. в России запрещена продажа вина и спиртных напитков, но пьянство уменьшилось мало.

Да славит всяк тебя язык!
Да славит вся тебя Россия!
Тебя возносим, верный Ник!
Мы богоносцы — ты Мессия!

2

От здешних Думских оргий
На фронт вагонит Никс,
При нем его Георгий[8]
И верный Фредерикс.[9]

Всё небо в зимних зве́здах.
Железный путь готов:
Ждут Никса на разъездах
Двенадцать поездов.
. . . .

На фронте тотчас слово
Он обратил к войскам:
«Итак, я прибыл снова
К героям-молодцам.

Спокойны будьте, дети,
Разделим мы беду —
И ни за что на свете
Я с места не сойду.

Возил сюда сынишку,
Да болен он у нас.
Так привезу вам Гришку
Я в следующий раз.

Сражайтесь с Богом, тихо,
А мне домой пора».
И вопят дети лихо:
«Ура! ура! ура!»

---

[8] Георгиевская дума присудила ему знак ордена Георгия 4 степени.

[9] Старый гр<аф> Фредерикс — министр Имп<ераторского> Двора — из немцев.

Донцы Крючков и Пяткин[10]
Вошли в особый пыл,
Но тут сам Куропаткин[11]
С мотором подкатил.

Взирает Ника с лаской
На храброго вождя...
В мотор садятся тряский,
Беседу заведя.

Взвилася белым дыбом
Проснеженная пыль
И к рельсовым изгибам
Запел автомобиль.

Опять всё небо в звездах,
И пробкой,[12] как всегда,
Шипят на ста разъездах
Для Ники поезда.

К семье своей обратно
Вагонит с фронта Никс.
И шамкает невнятно:
«В картишки бы приятно» —
Барон фон Фредерикс.

3

«Буря мглою небо» слюнит,
Завихряя вялый снег,
То как «блок» она занюнит,
То завоет, как «эс-дек».

В отдаленном кабинете
Ропщет Ника: «Бедный я!
Нет нигде теперь на свете
Мне приличного житья!

---

[10] Два казака, отличившиеся особой военной удалью и жестокостью.

[11] А. Н. Куропаткин — бывший главнокомандующий во время неудачной для нас Японской войны 1904 г., теперь командует армиями северо-западного фронта.

[12] Поезда, ждущие Н<иколая>, затрудняют гражданское железнодор<ожное> движение.

То подымут спозаранку
И на фронт велят скакать,[13]
А воротишься — Родзянку[14]
Не угодно ль принимать.

Сбыл Родзянку — снова крики,
Снова гостя принесло:
Белый дядя Горемыкин[15]
В страхе едет на Село.

Всё боится — огерманюсь,
Или в чем-нибудь проврусь...
Я с французами жеманюсь,
С англичанами тянусь...

Дома? Сашхен[16] всё дебелей,
Злится, черт ее дери...
Все святые надоели —
И Мардарий[17] и Гри-Гри.[18]

Нет минуты для покоя,
Для картишек и вина.
Ночью, «мглою небо кроя»,
Буря ржет, как сатана.

Иль послать за Милюковым?[19]
Стойкий, умный человек!
Он молчанием иль словом
Бурю верно бы пресек!

---

[13] Частые поездки в действующую армию.

[14] Предс<едатель> 4-ой Гос<ударственной> Думы камергер М. В. Родзянко надоедает Н<иколаю> своими предостережениями, требованиями, указаниями и пр.

[15] Статс-секретарь И. Л. Горемыкин, бывший дважды после 1905 г. Председателем Совета Министров — последний раз с 1914 — февраль 1916 г., когда по рекомендации Распутина был уволен и заменен гофмейстером Борис<ом> Влад<имировичем> Штюрмером.

[16] Сашхен — и<мператри>ца Александра Феодоровна.

[17] Мардарий — иеромонах черногорец, выдает себя за секретаря митрополита Черногорского, студент 4-го (?) курса здешней Д<уховной> Академии. Отличается особенным женолюбием и, по мнению женщин, красотою. При дворе является конкурентом Распутина.

[18] Гри-Гри = Распутин.

[19] Павел Николаевич Милюков — лидер конституционно-демократической партии. Историк. Депутат Думы всех 4-х созывов — известный общественный деятель.

Совершится втайне это...
Не откроет он лица...
Ох, боюсь, сживут со света!
Ох, нельзя принять "кадета"[20]
Мне и с заднего крыльца!»

Нике тошно. Буря злая
Знай играет, воет, лает
На стотысячный манер.
Буря злая, снег взвихряя,
То «эн-эсом»[21] зарыдает,
То взгрохочет, как «эс-эр».[22]

Полно, Ника! Это сон...
Полно, выпей-ка винца!
В «Речи» сказано: «спасен
Претерпевый до конца».*

4

Со старцем[24] Ник беседовал вдвоем.
Увещевал его блаженный: «Друже!
Гляди, чтоб не было чего похуже.
Давай-ка, милый, Думу соберем.

А деда[25] — вон: слюнявит да ворчит.
Бери, благословясь, который близко,
Чем не министр Владимирыч Бориска?[26]
Благоуветливый и Бога чтит.

---

* См. «Речь» 25 дек. 1915 г., ст<атья> Д. Философова.[23]

[20] «Ка-дет» = принадл<ежащий> к конституционно-демократической партии.

[21] «Эн-эс» — член партии народных социалистов (н.-с.).

[22] «Эс-эр» — социалист-революционер (с.-р.).

[23] Д. В. Философов — друг З. Гиппиус и мой — известный публицист, радикал и общественный деятель.

[24] Разумеется Гр. Распутин.

[25] И. Л. Горемыкина.

[26] Борис Владимирович Штюрмер — заменил Горемыкина — ср. выше пр<имечание>.

Прощайся, значит, с дединькою, — раз,
И с энтим, с тем, что рыльце-то огнивцем,
Что брюхо толстое — с Алешкою убивцем.[27]
Мне об Алешке был особый глас.

Да сам катись в открытье — будет прок!
Узрят тебя, и все раскиснут — лестно!
Уж так-то обойдется расчудесно...
Катай, катай, не бойся, дурачок!»

Увещевал его святой отец.
Краснеет Ника, но в ответ ни слова.
И хочется взглянуть на Милюкова,
И колется... Таврический Дворец.

Но впрочем, Ник послушаться готов.
Свершилось всё по изволенью Гриши:
Под круглою Таврическою крышей
Восстали рядом Ник и Милюков.

А Скобелев, Чхеидзе и Чхенкели,[28]
В углах таясь, шептались и бледнели.
Повиснули их буйные головки.
Там Ганфман[29] был и Бонди[30] из «Биржевки» —
Чтоб лучше написать о светлом дне...
И написали... И во всей стране

Настала некакая тишина,
Пусть не надолго — все-таки отдышка.
Министров нет — один священный Гришка...
Мы даже и забыли, что война.[31]

<Март 1916>

---

[27] Алешка убивец — так называет Григ. Распутин Алексея Николаевича Хвостова, заменившего князя Н. Щербатова в должности Министра Внутренних Дел и на днях уволенного. Подозревается в замысле устроить покушение на Гр. Распутина.

[28] Чхеидзе, Чхенкели и Скобелев — социал-демократы, члены Государственной Думы.

[29] Ганфман — редактор газеты «Речь».

[30] Бонди — редактор газеты «Биржевые Ведомости» = «Биржевка».

[31] Имеется в виду приезд Николая на открытие весенней думской сессии 1916 г. в Таврический Дворец.

364. ВЕРЕ

На луне живут муравьи
И не знают о зле.
У нас — откровенья свои,
Мы живем на земле.

Хрупки, слабы дети луны,
Сами губят себя.
Милосердны мы и сильны,
Побеждаем — любя.

29 апреля 1916
С.-Петербург

365. С ЛЕСТНИЦЫ

Нет, жизнь груба, — не будь чувствителен,
Не будь с ней честно-неумел:
Ни слишком рабски-исполнителен,
Ни слишком рыцарски-несмел.

Нет, Жизнь — как наглая хипесница:
Чем ты честней — она жадней...
Не поддавайся жадной; с лестницы
Порой спускать ее умей!

28 мая 1916
Кисловодск

366. О:

Знаю ржавые трубы я,
понимаю, куда бег чей;
знаю, если слова грубые, —
сейчас же легче.
Если выберу порвотнее
(как серое мыло),
чтобы дур тошнило,
а дуракам было обидно —
было! —
сейчас же я беззаботнее,
и за себя не так стыдно.

Если засадить словами
в одну яму Бога и проститутку,
то пока они в яме —
вздохнешь на минутку.
Всякий раскрытый рот мажь
заношенной сорочкой,
всё, не благословясь, наотмашь
бей черной строчкой.
Положим, тут самовраньё:
мышонком сверкнет радость;
строчки — строчки, не ременьё;
но отдышаться надо ж?
Да!
Так всегда!
скажешь погаже,
погрубее, — сейчас же
весело, точно выпил пенного...
Но отчего?
Не знаю, отчего. А жалею и его,
его, обыкновенного,
его, таковского,
как все мы, здешние, — грешного, —
Владимира Маяковского.

13 октября 1916

367

Опять мороз! И ветер жжет
Мои отвыкнувшие щеки,
И смотрит месяц хладноокий,
Как нас за пять рублей влечет
Извозчик, на брега Фонтанки...
Довез, довлек, хоть обобрал!
И входим мы в Петровский зал,
Дрожа, промерзнув до изнанки.
Там молодой штейнерианец
(В очках и лысый, но дитя)
Легко, играя и шутя,
Уж исполнял свой нежный танец.
Кресты и круги бытия
Он рисовал скрипучим мелом
И звал к порогам «оледелым»

Антропософского «не я»...
Горят огни... Гудит столица...
Линялые знакомы лица, —
Цветы пустыни нашей невской:
Вот Сологуб с Чеботаревской,
А вот, засунувшись за дверь,
Василий Розанов и дщерь...
Грустит Волынский, молью трачен,
Привычно Ремизов невзрачен,
След прошлого лежит на Пясте...
Но нет, довольно! Что так прытко?
Кончается моя открытка!
Домой! Опять я в вашей власти —
Извозчик, месяца лучи
И вихря снежного бичи.

368. РАНО?

Святое имя среди тумана
Звездой далекой дрожит в ночи.
Смотри и слушай. И если рано —
Будь милосерден, — молчи! молчи!
Мы в катакомбах; и не случайно
Зовет нас тайна и тишина.
Всё будет явно, что ныне тайно,
Для тех, чья тайне душа верна.

369. ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

«В эти дни не до "поэзии"»

О, этот бред партийный,
Игра, игра!
Уж лучше Киев самостийный
И Петлюра!..

12 декабря 1917
СПБ

370. ИЗДЕВКА

Ничего никому не скажешь
Ни прозой, ни стихами;
Разделенного — не свяжешь
Никакими словами.

Свернем же дырявое знамя,
Бросим острое древко;
Это черт смеется над нами,
И надоела издевка.

Ведь так в могилу и ляжешь, —
И придавит могилу камень, —
А никому ничего не скажешь
Ни прозой, ни стихами...

371. МЕЛЕШИН-ВРОНСКИЙ

(шутя)

Наш дружносельский комиссар —
Кто он? Чья доблестная сила
Коммунистический пожар
В его душе воспламенила?

Зиновьев, Урицкий, иль Он,
Сам Ленин, старец мудроглавый?
Иль сын Израиля — Леон,
Демоноокий и лукавый?

Иль, может быть, от власти пьян
(Хотя боюсь, что ошибуся),
Его пленил левак-Прошьян
И разнесчастная Маруся?

А вдруг и не Прошьян, не Зоф
Нагнал на комиссара морок?
Вдруг это Витенька Чернов, —
Мечта казанских акушерок?

Иль просто, княжеских простынь
Лилейной лаской соблазненный,
Средь дружносельских благостынь
Живет владыка наш смущенный?

В его очах — такая грусть...
Он — весь загадка, хоть и сдобен.
Я не решу вопроса... Пусть
Его решит Володя Злобин.

8 июля 1918
Сиверская

372. КОПЬЕ

Лукавы дьявольские искушения,
но всех лукавее одно, — последнее.
Тем невозвратнее твое падение
и неподатливость твоя победнее.

Но тайно верю я, что сердце справится
и с торжествующею преисподнею,
что не притупится и не расплавится
Копье, врученное рукой Господнею.

17 августа 1918
Дружноселье

373—375. В ДРУЖНОСЕЛЬИ

1

ПРОГУЛКИ

Вы помните?..
О, если бы опять
По жесткому щетинистому полю
Идти вдвоем, неведомо куда,
Смотреть на рожь, высокую, как вы,
О чем-то говорить, полуслучайном,
Легко и весело, чуть-чуть запретно...
И вдруг — под розовою цепью гор,
Под белой незажегшейся луною,
Увидеть моря синий полукруг,
Небесных волн сияющее пламя...

Идти вперед, идти назад, туда,
Где теплой радуги дымно-горящий столб
Закатную поддерживает тучу...
И, на одном плаще минутно отдохнув,

Идти опять и рассуждать о Данте,
О вас — и о замужней Беатриче,

Но замолчать средь лиственного храма,
В чудесном сумраке прямых колонн,
Под чистою и строгой лаской
Огней закатных, огней лампадных...

Вы помните? Забыли?..

2

ПРОБУЖДЕНИЕ

Последних сновидений стая злая,
Скользящая за тьму ночных оград...

Упорный утренний собачий лай —
И плеск дождя за сеткой винограда...

3

ПУСТЬ

Пусть шумит кровавая гроза,
Пусть гремят звериные раскаты...

Буду петь я тихие закаты
И твои влюбленные глаза.

376. НЕВЕСТА

Мне жить остается мало...
Неправда! Жизнь — навсегда.
Душа совсем не устала
Следить, как летят года.

Пускай опадают листья —
Видней узор облаков...
Пускай всё легче, сквозистей
На милом лице покров,

Невеста, Сестра! не бойся,
Мне ведома сладость встреч.
Приди, улыбнись, откройся,
Отдай мне свой нежный меч...

Всё бывшее — пребывает,
Всё милое — будет вновь:
Его земле возвращает
Моя земная Любовь.

2 августа 1918

377. НАВСЕГДА

Нет оправдания в незнаньи
И нет невинной слепоты.
Она открылась мне страданьем,
Любовь, единая, как Ты.

Душа ждала, душа желала
Не оправданья, но суда...
И принял я двойное жало
Любви единой — навсегда.

378. ЗДЕСЬ

Пускай он снился, странный вечер длинный,
я вечер этот помню всё равно.
Зари разлив зеленовато-винный,
большое полукруглое окно.

И где-то за окном, за далью близкой,
певучую такую тишину,
и расставание у двери низкой,
заветную зазвездную страну.

Твои слова прощальные, простые,
слова последние — забудь, молчи,
и рассыпавшиеся, ледяные,
невыносимо острые лучи.

Любви святую непреложность
и ты и я — мы поняли вдвоем,
и невозможней стала невозможность
здесь, на земле, сквозь ложность и ничтожность,
к ней прикоснуться чистым острием.

10 августа 1918

379. ЗВЕЗДОУБИЙЦА

Всё, что бывает, не исчезает.
Пусть миновало, но не прошло.
 Лунное небо тайны не знает,
 Лунное небо праздно-светло.

Всё, что мелькнуло, — новым вернется.
Осень сегодня — завтра весна...
 Звездоубийца с неба смеется,
 Звездоубийца, злая луна.

В явь превращу я волей моею
Всё, что мерцает в тающем сне.
Сердцу ль не верить? Я ль не посмею?
 Только не надо верить луне.

380. СОН

Наивный месяц, мал и тонок,
Без белых облачных пеленок
Смотрел на луг. А на лугу —
Сидел взъерошенный котенок,
Как в зачарованном кругу.

Зачем он был, зачем сидел,
И отчего так месяц бел, —
Всё мне казалось непонятно...
Но был котенок очень смел,
А луг круглился необъятно.

И пенилась моя надежда, —
В котенке, в небе, — как вино...
Иль это сонная одежда
На том, что есть, —но не дано,
Что наяву утаено?...

Август 1918

381. ТРИ СЫНА — ТРИ СЕРДЦА

З. В. Р. Р.

Когда были зори июльские багровые,
Ангел, в одежде шарманщика, пришел к ней
на дачу, где, счастливая, она жила.

Только всего и было, что зори багровые.
Спросил ее шарманщик: одно ли у тебя сердце?
Она подумала и сказала: три.

Заплакал шарманщик, шарманку завертел свою,
другие слушали и ничего не понимали,
но выговаривала шарманка ясно для нее:

«Посмотри, посмотри на зори багровые,
вынуты у тебя будут все три сердца,
три раны, три раны останутся вместо них...»

Розовые в свете зорь багровеющих,
розовые капали у Ангела слезы...
Кончилась песенка, и пошел он прочь.

Но чуть вышел за ограду садовую,
встречу ему попался пустой извозчик,
старый старичишка с белой бородой.

Увидал старичишка Ангела,
начал, на чем свет стоит, ругаться:
«Ах ты, своевольник, такой-сякой,

Ах ты, жалетель без ума-разума,
чего распустил розовые слюни,
душу человечью на месте убил?

Гляди, вот, ее веревочка длинная,
в тысячу дней тесемка,
и не сряду на ней, не сряду три узелка!

Тысячу дней ты сделал минуточкой,
да как ты осмелился на такое,
силы человечьи не ты считал!»

Испугался Ангел, и слезы высохли.
Николая-Угодника узнал он:
нажалуется, не минует, — как быть?

А извозчик на козлах прыгает,
рукой морщинистой машет:
«Иди, неуемный, иди назад,

сыграй ей такую песенку,
чтобы всё, что узнала, забыла;
а тебе нагоняй — своим чередом».

Побежал Ангел, спотыкается,
спешит, а она на том же месте,
только не стоит — сидит на песке.

И видит Ангел: губы у нее белые.
Вынуты у нее все три сердца,
но не три раны, а одна.

Привязал к шарманке веревочку,
длинную веревочку с тремя узелками,
длинную веревочку в тысячу дней,

и заиграл Ангел песенку,
песенку забвенную, бедную,
возвращая Время в свой круг,

покрывая тьмою грядущее,
чтобы копились силы человечьи
по воле Того, Кто их знал.

И дрожал шарманщик, играючи:
закроется ли тройная рана?
вернется ли в свои дни душа?

Люди подбежали, подняли
ту, что сидела с белыми губами.
Она очнулась, слушает, глядит,

смеется: «Ах, вдруг точно уснула я,
и что-то снилось мне, что — не знаю...»
Три сердца ее Ангел увидал,

три сына, Смертью отмеченные,
три узелка на веревочке длинной,
на длинной веревочке в тысячу дней.

А Николай-Угодник у решетки дожидается,
посадил Ангела в старенькую пролетку
и судить его за самовластье повез.

———

Недаром разгорались зори багровые.
У кого не вынули они сердца?
Не оставили кровавых ран?

У той, что на даче жила, счастливая,
первое сердце взяли чужие,
второе — свои, а третье — неизвестно, кто.

Но три раны не сливались в единую,
потому что давал ей сил для страданья,
давал каждый из тысячи дней.

1914—1918
СПБ

382. МИР СЕЙ...

Прости мне за тех, кого я
отнял у жизни сей,
отнял у сна и покоя,
у жен и у матерей.

Ведь если я отнимаю,
в это иду, любя;
верю, иду и знаю:
так делаю — для Тебя.

<Сентябрь—октябрь 1918>
Петербург

383—386. ЛЮБОВЬ

1

Какая тайна в этом слове,
как мало думают о нем.
Оно пылает ярче крови
преображающим огнем.

Его — никто не понимает.
Ему до срока — не сверкнуть.
И милосердие скрывает
его недейственную суть.

12 октября 1918

2

Я воздыхал и дни и ночи,
об избавлении стеня,
и чьи-то пристальные очи
взглянули тихо на меня.

Они взглянули и сказали:
ты шел неправедно за мной.
Вернись, и выйди из сандалий,
и с непокрытой головой.

13 октября 1918

3

Любовь приходит незаметно
и, непредвиденная, — ждет,
пока не вспыхнет семицветно
в живой душе ее восход.

Не бойся этого прозренья.
Его ничем не отвратить.
Оно дается на мгновенье,
чтоб умереть иль полюбить.

15 сентября 1918

4

Как незаметно из-под пыли
пробилась чистая струя.
О, первая любовь, не ты ли
любовь последняя моя?

Смотри: глаза мои прозрели,
мечты земные о земном,
преобразясь, запламенели
в кольце светящемся твоем:

И дух и плоть — неразделимо
к тебе на жертвенник легли.
И древний столб огня и дыма
вознесся к небу от земли.

387. НЕ ЗА МНОЙ

Мой путь идет по кручам,
и остры стремнины...
давно я изранен, измучен,
но не сойду в долины.
Я для тех, кто всеми оставлен,
иду за второй белизною —
мой путь окровавлен,
не ходи за мною.
Я свободен — и связан,
всё равно пойду по стремнинам:
мой путь мне указан
Отцом и Сыном.

388. 16

СОНЕТ

Шестнадцать уст, и в памяти храню я
К устам прикосновенье уст моих.
В них было откровенье поцелуя.
Шестнадцать уст! Я помню только их.

Любовию иль нежностью волнуем,
Во власти добрых духов или злых,
Когда б я не касался уст иных,
Святое пламя пил я с поцелуем.

И если даже вдруг, полуслучайно,
Уста сближались на единый раз,
В едином миге расцветала тайна.

И мне не жаль, что этот миг погас.
О, в поцелуе всё необычайно.
Шестнадцать уст — я помню только вас!

1918

389. ПРОГРАММА

Здесь всё — только опалово,
только аметистово,
да полоска заката алого,
да жемчужина неба чистого...

А где-то на́ поле — цветы небывалые,
и называется поле — нетово...
Что́ мне зеленое, белое, алое?
Я хочу, чтоб было ультра-фиолетово...

390. БОЛЬШЕВИЦКИЙ СОН

Ам...ии

Комната. Окна в какой-то сад.
В комнате гости. А день так светел.
Я улыбаюсь, гостям я рад...
Странное в них не сразу заметил.
        Что? Да как? Они без лиц!
        Дримса-пумса-цуц и цыц.

Сверху у этих — вот тебе раз! —
Гладко и бледно что-то круглится.
Нету на гладком ни ртов, ни глаз:
Это, что хочешь, только не лица.
        Ни единого лица,
        Лапца-дрыпца гоп-ца-ца!

Каждый телесным своим пятном,
Розово-желтым, ворочал мило.

Это казалось сперва смешно,
Ну а потом — меня затошнило.
Хоть кусочек бы лица,
Дрости-крости гоп-ца-ца!

Вдруг я увидел, что черный кот
Тихо скользит меж толпой у двери,
Щурит глаза, раскрывает рот...
О, как я жадно бросился к зверю!
И целую во уста —
Есть лицо хоть у кота!

391. КРАСНОГЛАЗОЕ

Схватило, заперло, оставило
Многоголовое Оно.
В холодной келье замуравило
Мое последнее окно.

О, пусть бы яма одинокая,
И темь, и тишь, и холод плит...
Но я не знал, что Красноокое
Меня и с Ним разъединит.

Разъединило! Нету доступа
Ему ко мне и мне к Нему.
Не уловлю я легкой поступи
И уст к одежде не прижму...

И если в келью позабытую
Он постучит ко мне: открой!
Как я открою дверь забитую
Моей слабеющей рукой?

1919

392. А. БЛОКУ

... На танцульке в Кронштадте сильно выпивший матрос, обиженный отказом барышни, сорвал икону Божьей Матери и принялся с нею выплясывать. Через час он умер.

Легенда (или правда) наших дней

Впереди 12-ти не шел Христос:
Так сказали мне сами хамы.
Зато в Кронштадте пьяный матрос
Танцевал польку с Прекрасной Дамой.

Говорят, он умер... А если б и нет?
Вам не жаль Вашей Дамы, бедный поэт?

Апрель 1919
СПБ

393. ДВОЕ

А. и Л.

Она его тогда узнала...
И он любил ее тогда.
Каким дождем их осверкала
Любви восходная звезда!

И вот прошло, и стало былью.
Не любит он, не любишь ты...
И затянулись серой пылью
Их лиц ужасные черты.

394. ХОБИАС

Какая чья-то синяя гримаса,
Как рана алая стыда,
Позорный облик Хобиаса
Преследует мои года.

И перья крыл моей подруги,
Моей сообщницы, — Любви,
И меч, и сталь моей кольчуги,
И вся душа моя — в крови.

Мы побеждаем. Зори чисты.
Но вот опять из милых глаз
Большеголовый, студенистый,
Мне засмеялся — Хобиас!

395. НЕ СОГЛАСНЫЕ РИФМЫ

В углу, под *о*бразом
Горит моя медовая свеч*а*.
Весной, как *о*сенью,
Горит твоя прозрачная душ*а*.

Душа, сест*ра* моя!
Как я люблю свечи кудрявый круг!
Молчу от *ра*дости,
Но ангелы твои меня поймут .

6 марта 1919

396. ПЕТЕРБУРГ

... И не пожрет тебя победный
Всеочищающий огонь —
Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город...

1909. «Петербург»

В минуты вещих одиночеств
Я проклял берег твой, Нева.
И вот, сбылись моих пророчеств
Неосторожные слова.

Мой город строгий, город милый!
Я ненавидел, — но тебя ль?
Я ненавидел плен твой стылый,
Твою покорную печаль.

О, не тебя, но повседневность
И рабий сон твой проклял я...
Остра, как ненависть, как ревность,
Любовь жестокая моя.

И ты взметнулся Мартом снежным,
Пургой весенней просверкал...
Но тотчас, в плясе безудержном,
Рванулся к пропасти — и пал.

Свершилось! В гнили, в мутной пене,
Полузадушенный, лежишь.
На теле вспухшем сини тени,
Закрыты очи, в сердце тишь...

Какая мга над змием медным,
Над медным вздыбленным конем!
Ужель не вспыхнешь ты победным
Всеочищающим огнем?

Чей нужен бич, чье злое слово,
Каких морей последний вал,
Чтоб Петербург, дитя Петрово,
В победном пламени восстал?

Апрель 1919
С.-Петербург

397

... О, эти наши дни последние,
Остатки неподвижных дней.
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней...

398. ПРЕЗРЕНЬЕ

Казалось: больше никогда
Молчания души я не нарушу.
Но вспыхнула в окне звезда, —
И я опять мою жалею душу.

Всё умерло в душе давно.
Угасли ненависть и возмущенье.
О бедная душа! Одно
Осталось в ней: брезгливое презренье.

399. ТВОЯ ЛЮБОВЬ

Из тяжкой тишины событий,
Из горькой глубины скорбей,
Взываю я к Твоей защите.
Хочу я помощи Твоей.
Ты рабьих не услышишь стонов,
И жалости не надо мне.
Не применения законов —
А мужества хочу в огне.
Доверчиво к Тебе иду я.
Мой дух смятенный обнови.
Об Имени Своем ревнуя,
Себя во мне восстанови.
О, пусть душа страдает смело,
Надеждой сердце бьется вновь...
Хочу, чтобы меня одела,
Как ризою, — Твоя любовь.

17 октября 1919

400. САД ДВУХ

Есть сад... Никто не знает
О нем — лишь я да ты.
Там ныне расцветают
Волшебные цветы.
Они разнообразны,
Красивы — и смешны,
Но все, хотя и разны,
Таинственно-нежны.
И все они мне милы,
Все милы мне, как ты.
Сама любовь взрастила
Волшебные цветы.

Октябрь 1919

401

Сказать — не поверят.
Кричать — не поймут.
И близится черед.
Свершается суд...

402. РАЙ

(в альбом *, в СПб-ге)**

«...почтительнейше билет возвращаю...»

(Ив. Карамазов)

Не только молока иль шеколада,
Не только воблы, соли и конфет —
Мне даже и огня не очень надо:
Три пары досок обещал *комбед*.
Меня ничем не запугать: знакома
Мне конская багровая нога,
И хлебная иглистая солома,
И мерзлая картофельная мга.
Запахнет, замутится суп, — а лук-то?
А сор, что вместо чаю можно пить?
Но есть продукт... Без этого продукта
В раю земном я не могу прожить.
Искал его по всем *нарводпродвучам*,
Искал вблизи, смотрел издалека,
Бесстрашно лазил по окопным кручам,
Заглядывал и в самую *чека*.
Ее ж, смотри, не очень беспокой-ка:
В раю не любят неуместных слов.
Я только спрашивал... и вся *ревтройка*
Неугомонный подымала рев.
. . . .
И я ходил, ходил в *петрокомпроды*,
Хвостился днями у крыльца в *райком*...
Но и восьмушки не нашел — *свободы*
Из райских учреждений ни в одном.

Не выжить мне, я чувствую, я знаю,
Без пищи человеческой в раю:
Все карточки от Рая открепляю,
И в *нарпродком* с почтеньем отдаю.

403

Никогда не читайте
Стихов вслух.
А читаете — знайте:
Отлетит дух.

Лежат, как скелеты,
Белы, сухи...
Кто скажет, что это
Были стихи?

Безмолвие любит
Музыка слов.
Шум голоса губит
Душу стихов.

404

...Сказаны все слова.
Теплится жизнь едва...

Чаша была полна.
Выпита ли до дна?

Есть ли у чаши дно?
Кровь ли в ней, иль вино?

Будет последний глоток:
Смерть мне бросит платок!

1920

405. НАДЕЖДА МОЯ

(АМАЛИИ)

Speranza mia! Non piange...

Неаполитанская песенка

Надежда моя, не плачь:
С тобой не расстанемся мы.

Сегодня ночью палач
Меня уведет из тюрьмы.
Не видит слепой палач —
Рассветна зеленая твердь.
Надежда моя! Не плачь:
Тебя пронесу я сквозь смерть.

406. НИЧЕГО

То, что меж нами, — непонятно,
Одето в скуку, в полутьму,
Тепло, безвидно и невнятно,
Неприменимо ни к чему.

Оно и густо, как молчанье,
Но и текуче, как вода.
В нем чье-то лживое признанье
И неизвестная беда.

Колеблется в одежде зыбкой,
То вдруг распухнет и замрет.
Косой коричневой улыбкой
И взором белым обольет...

Вам нет нужды, и не по силам
Пытаться — изменить его.
И я чертам его постылым
Предпочитаю — Ничего.

1921
Висбаден

407. РЫДАТЕЛЬНОЕ

Кипела в речке темная вода,
похожая на желтое чернило.
Рыдал закатный свет, как никогда,
и всё кругом рыдательное было.
Там, в зарослях, над речкой, на горбе,
где только ветер пролетает, плача, —
преступница, любовь моя, тебе
я горькое свидание назначил.

Кустарник кучился и сыро прел,
дорога липла, грязная, у склона,
и столбик покосившийся серел,
а в столбике — забытая икона...
Прождать тебя напрасно не боюсь:
ты не посмеешь не услышать зова...
Но я твоей одежды не коснусь,
я не взгляну, не вымолвлю ни слова —
пока ты с плачем ветра не сольешь
и своего рыдательного стона,
пока в траву лицом не упадешь
не предо мной — пред бедною иконой...
Не сердце хочет слез твоих... Оно,
тобою полное, — тебя не судит.
Родная, грешная! Так быть должно,
и если ты еще жива — так будет!
Рыдает черно-желтая вода,
закатный отсвет плачет на иконе.
Я ждал тебя и буду ждать всегда
вот здесь, у серого столба, на склоне...

408. БРОДЯЧАЯ СОБАКА

Не угнаться и драматургу
за тем, что выдумает жизнь сама.
Бродила Собака по Петербургу,
и сошла Собака с ума.

Долго выла в своем подвале,
ей противно, что пол нечист.
Прежних невинных нету в зале,
завсегдатаем стал че-кист.

Ей бы теплых помоев корыто, —
(чекистских красных она не ест).
И, обезумев, стала открыто
она стремиться из этих мест.

Беженства всем известна картина,
было опасностей без числа.
Впрочем, Собака до Берлина
благополучно добрела.

«Здесь оснуюсь, — решила псица, —
будет вдоволь мягких помой;
народ знакомый, родные лица,
вот Есенин, а вот Толстой».

Увы, и родные не те уже ныне!
Нет невинных, грязен подвал,
и тот же дьявол-чекист в Берлине
правит тот же красный бал.

Пришлось Собаке в Берлине круто.
Бредет, качаясь, на худых ногах —
куда? не найдет ли она приюта
у нас на Сенских берегах?

Что ж? Здесь каждый — бродяга-собака,
и поглупел, скажу не в укор.
Конечно, позорна Собака, однако
это еще невинный позор.

Июнь 1922
(на случай)
Париж

409. ГОЛУБОЙ КОНВЕРТ

В длинном синем конверте
Она мне письмо прислала.
Я думал тогда о смерти...
В письме было очень мало,
Две строчки всего: «Поверьте,
Люблю я, и мир так светел...»
Я думал тогда о смерти
И ей на письмо не ответил.
На сердце было пустынно...
Я сердцу не прекословил.
Разорванный, праздный, длинный
Конверт на ковре васильковел.

410. ЦИФРЫ

22, 25... целых 8!
Далеко стонет бледная Лебедь,
Этот март невесенен, как осень...
25... 26 — будет 9!
Будет 9... Иль 100? 90?
Под землей бы землею прикрыться...
Узел туг, а развяжется просто:
900, 27, но не 30.
900, да 17, да 10...
Хочет Март Октябрем посмеяться,
Хочет бледную Лебедь повесить,
Обратить все 17 — в 13.

411

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.

412. ИЗВЕРЖЕНИЕ ЭТНЫ

«Население Montenegro и Monterosso, убегая, запрягало в тележки домашний скот, свиней и даже индюшек...»

Из газет

Меж двумя горами, Черной и Красной,
мы, безумные, метались тщетно.
Катится меж Черной и Красной
огненная стена из Этны.

Запрягли индюшек — рвемся налево,
запрягли свиней — бежать направо,

но нет спасенья ни направо, ни налево,
и ближе дышит, катится лава.

Катится с металлическим скрипом,
с тяжелым подземным лаем.
Опаленные, оглушенные скрипом,
мы корчимся, шипим — и пропадаем.

413. ГУРДОН

A Miss May Norris

Суровый замок на скале-иголке.
Над пепельностью резких круч
Лет голубей, свистящий шелком,
И сырь сквозистая заночевавших туч.

Бойниц замшонных удивленный камень,
И шателенка, с белым псом,
В одежде шитой серебром,
С весенним именем — с осенними глазами,

Здесь все воспоминания невнятны:
Слились века и времена,
Как недосмотренного сна
Едва мерцающие пятна.

Здесь — в облачном объятии дремать,
В объятии сыром и тесном,
Но жить — нельзя... А вспоминать —
Зачем? О чем?
О неизвестном?

414. ПАДАЮЩЕЕ

Падающая, падающая линия...
Видишь ли, как всё иное
Становится день ото дня?

Чашка разбилась синяя.
Чашка-то дело пустое,
А не скучно ли тебе без меня?

Падает падающая линия...
Не боюсь, что стало иное,
Не жалею о прошедшем дне,

Никакого не чувствую уныния.
Ты не видишься почти со мною,
Но ты вечно скучаешь обо мне,

Ибо чашка-то не разбилась синяя...

1923

415. СБУДЕТСЯ

Что мне — коварное и злое данное:
я лишь о должном говорю,
я лишь на милое, мне желанное,
на него одно смотрю.

Радость помнится, не забудется,
надежно сердце ее хранит.
И не минуется, скоро сбудется
то, чем душа моя горит.

Не отвержено, не погублено
всё, любимое Тобой.
И я увижу глаза возлюбленной,
увижу здесь, на земле, живой.

Ты отдаешь утрясенной мерою.
Господи! Знаю, что воля — Твоя,
но не боюсь, ибо радостно верую:
Ты хочешь того, чего и я.

Париж, весна

416. ВЕРНОСТЬ

И. И. Ф—му

Смерч пролетел над вздрогнувшей вселенной,
Коверкая людей, любовь круша.
И лишь одна осталась неизменной
Твоя беззлобная душа.

Как медленно в пространстве безвоздушном
Недель и дней влечется череда!
Но сердцем бедным, горько-равнодушным,
Тебя — люблю, мой верный, навсегда.

417. ПЛАМЯ

Посмотри в жаркие окна,
в небесный фарфор.
Чей это желтый локон
вьется из-за гор?

Ширится, крутится круче...
Что это? Не гроза ль?
Но почему под тучей
забагровела даль?

Вся в искрах странная хмара...
Нет, не гроза, не гроза!
Это лесного пожара
огненные глаза.

Ало мглы загорелись...
Дымы — как фимиам...
Маковое ожерелье
вспыхнуло по холмам.

А с неба кто-то струями
льет сверкающий зной:
белое горнее пламя —
в красный огонь земной.

418

Любовь уходит незаметно,
Она бездейственно не ждет.
Скользит, скользит... И было б тщетно
Ее задерживать отход.

Не бойся этого скольженья.
Ты так легко ослепнешь вновь,
Что позабудешь и прозренья
И слово самое любовь.

419. СЛОВО?

Проходили они, уходили снова,
Не могли меня обмануть...
Есть какое-то одно слово,
В котором вся суть.

Другие — сухой ковыль.
Другие все — муть,
Серая пыль.

Шла девочка через улицу,
Закричал ей слово автомобиль...
И вот, толпа над ней сутулится,
Но девочки нет — есть пыль.

Не правда ли, какие странные
Уши и глаза у людей?
Не правда ли, какие туманные
Линии и звуки здесь?
А мир весь
Здесь.
Для нас он — потери...

Но слово знают звери,
Молчаливые звери:
Собачка китайская,
Голубая, с кожей грубой,
В дверях какого-то клуба
Дрожит вечером майским,

Смотрит сторожко, —
Молчит тринадцать лет,
Как молчит и кошка
В булочной на Muette.

Звери сказать не умеют,
Люди не знают,
И мир, как пыль, сереет,
Пропадом пропадает...

420. ЛИК

О моря тишь в вечерний час осенний!
О неба жемчуг, — белая вода!
И ты, как золотой укол, звезда,
И вы, бесшелестных платанов тени, —
Я не любил вас никогда.

Душа строга и хочет правды строгой.
Ее поймет, ее услышит Бог.
В моей душе любви так было много,
Но ни чудес земли, ни даже Бога
Любить — я никогда не мог.

Зарниц отверзтые блистаньем вежды,
Родных берез апрельские одежды,
На лунном море ангелов стезя —
И вас любить? Без страха и надежды,
Без жалости — любить нельзя.

А вы, и Бог, — всегда одни, от века
Вы неподвижный пламень бытия.
Вы — часть меня, сама душа моя.
Любить же я могу лишь человека,
Страдающую тварь, как я.

Не человека даже — шире, шире!
Пусть гор лиловых светит красота
И звезды пышно плавают в эфире,
Любовь неумолима и проста:
Моя любовь — к живому Лику в мире,
От глаз звериных — до Христа.

421. ДВЕ СЕСТРЫ

Ты Жизни всё простил: игру,
Обиду, боль и даже скучность.
А темноокую ее Сестру?
А странную их неразлучность?..

422. НЕГЛАСНЫЕ РИФМЫ

Хочешь знать, почему я весел?
Я опять среди милых чисел.

Как спокойно меж цифр и мер.
Строг и строен их вечный мир.

Всё причинно и тайно-понятно,
Не случайно и не минутно.

И оттуда, где всё — кошмары,
Убегаю я в чудо меры.

Как в раю, успокоен и весел,
Я пою — божественность чисел.

423. ПАМЯТЬ

Недолгий след оставлю я
В безвольной памяти людской.
Но этот призрак бытия,
Неясный, лживый и пустой, —
На что мне он?
Живу — в себе,
А если нет... не всё ль равно,
Что кто-то помнит о тебе,
Иль всеми ты забыт давно?

Пройдут одною чередой
И долгий век, и краткий день...
Нет жизни в памяти чужой.
И память, как забвенье, — тень.

А на земле, пока моя
Еще живет и дышит плоть,
Лишь об одном забочусь я:
Чтоб не забыл меня Господь.

1913—1925
СПБ — Cannet

424. ПОДОЖДИ

(«... революция выкормила
его, как волчица Ромула...»)

Д. М.

Пришла и смотрит тихо.
В глазах — тупой огонь.
Я твой щенок, волчиха!
Но ты меня не тронь.
    Щетенишься ли, лая,
    Скулишь ли — что за толк!
    Я все ухватки знаю,
    Недаром тоже волк.
Какую ни затеешь
Играть со мной игру —
Ты больше не сумеешь
Загнать меня в нору.
    Ни шагу с косогора!
    Гляди издалека
    И жди... Узнаешь скоро
    Ты волчьего щенка!
Обходные дороги,
Нежданные пути
К тебе, к твоей берлоге,
Сумею я найти.
    Во мху, в душистой прели,
    Разнюхаю твой след...
    Среди родимых елей
    Двоим нам — места нет.
Ты мне заплатишь шкурой...
Дай отрастить клыки!
По ветру шерсти бурой
Я размечу клоки!

425. СТИХИ О ЛУНЕ

3

Месяц

Вернулась — как голубой щит:
Даже небо вокруг голубит.
Скажи, откуда ты, где была?
Нигде; я только, закрывшись, спала.
А почему ты такая другая?
Осень; осенью я голубая.
Ночь холоднее — и я синей.
Разве не помнишь лазурных огней?
Алмазы мои над снегами?
Острого холода пламя?
Ты морозные ночи любил...
Любил? Не помню, я всё забыл,
Не надо о них, не надо! Постой,
Скажи мне еще: где тот, золотой,
Что недавно на небе лежал, — пологий,
Веселый, юный, двурогий?
Он? Это я, луна.
Я и он, — я и она.
Я не вечно бываю та же:
Круглая, зеленая, синяя,
Иль золотая, тонкая линия —
Это всё он же, и всё я же.
Мы — свет одного Огня.
Не оттого ль ты и любишь меня?

426. ОТВЕТ ДОН-ЖУАНА

Дон-Жуан, конечно, вас не судит,
Он смеется, честью удивлен:
Я — учитель? Шелковистый пудель,
Вот, синьор, ваш истинный патрон.

Это он умеет с «первой встречной»
Ввысь взлетать, потом идти ко дну.
Мне — иначе открывалась вечность:
Дон-Жуан любил всегда одну.

Кармелитка, донна Анна... Ждало
Сердце в них найти одну — Ее.
Только с Нею — здешних молний мало,
Только с Нею — узко бытие...

И когда, невинен и беспечен,
Отошел я в новую страну, —
На пороге Вечности я встречен
Той, которую любил — одну..

427. ИМЯ

Святое Имя, среди тумана,
Звездой далекой горит в ночи.
Смотри и слушай. И если рано —
Будь милосерден: молчи! молчи!

Мы в катакомбах. И не случайно
Зовет нас тайна и тишина.
Всё будет явно, что ныне тайно
Тому, в ком тайне душа верна.

428

Дана мне грозная отрада,
Моя необщая стезя.
Но говорить о ней не надо,
Но рассказать о ней нельзя.

И я ли в нем один! Не все ли?
Мое молчанье — не мое:
Слова земные отупели,
И ржа покрыла лезвее.

Во всех ладах и сочетаньях
Они давно повторены,
Как надоевшие мечтанья,
Как утомительные сны.

И дни текут. И чувства новы.
Простора ищет жадный дух.
Но где несказанное слово,
Которое пронзает слух?

О, родился я слишком поздно,
А бедный дух мой слишком нов...
И вот с моею тайной грозной
Молчу — среди истлевших слов.

429—431. <СТИХОТВОРЕНИЯ В. ВИТОВТА>

1

Улица. Фонарь. И я.
Под фонарем круг.
В круге, со мною, друг.
А друг — это сам я.

Светит фонарь.
Часы бегут.
Простор. Уют.
Я. Круг. И фонарь.

2

Ночую за полтиницей.
А то в котлах.
Пальцы в заусеницах,
Голова в паршах.
Да девчонкам не доглядывать,
Бери, не хочу.
Любая рада порадовать,
Как с удачей примчу.
А удача моя — сноровочка:
Проюркиваю под локтем,
Продергиваюсь веревочкой,
Проскальзываю ужом.

Нате-ка, заденьте-ка!
Гладко место — а утек.
Такая у меня политика,
Дипломатия рук и ног.
Однако, и с дипломатией
Случается провал:
В лапы к чертовой матери
Два раза попадал.
Эх, одно бы меня упрочило:
Руки бы подлинней,
А ноги да покороче бы,
Чтоб казаться — на четверне!

3

Милая, выйди со мной на балкон.
Вечер так строг, это вечер молчанья.
Слышишь? Отвсюду, со всех сторон,
Наплыванья благоуханья.

Видишь? Вверху зажглись цветы,
Внизу под пеплом город рдеет.
Я молчу — молчи и ты.
Ожиданье молчать умеет.

Целую молча улыбку твою,
В свете медном звездных гроздей.
Я сегодня ночью себя убью:
Милая, милая, насмотрись же на звезды!

432. О ТУНДРЕ

Писать роман — какое бремя!
Писать и думать: не поймут...
Здесь, на чужбине, в наше время,
Еще тяжеле этот труд.

А кончил — «не противься злому»:
Идешь на то, чтобы попасть
Антону Крайнему любому —
В его безжалостную пасть.

Не жди от критиков ответа,
Скорее жди его от нас:
Ведь всем известно, что поэты
Проникновенней во сто раз.

И по заслугам оценив, мы
Давно б воспели твой роман.
Но только... нет на «Тундру» рифмы...
И в этом весь ее изъян.

1926
Paris

433

Люблю огни неугасимые,
Любви заветные огни.
Для взора чуждого незримые,
Для нас божественны они.

Пускай печали неутешные,
Пусть мы лишь знаем, — я и ты, —
Что расцветут для нас нездешние
Любви бессмертные цветы.

И то, что здесь улыбкой встречено,
Как будто было не дано,
Глубоко там уже отмечено
И в тайный круг заключено.

434. ОКТЯБРЬ

Чуть затянуто голубое
Облачными нитками.
Луг, с пестрой козою,
Блестит маргаритками.
Ветки, по-летнему знойно,
Сивая слива развесила,
Как в июле — всё беспокойно,
Ярко, ясно и весело.
        Но длинны паутинные волокна
        Меж высокими цветами синими.
        Но закрыты милые окна
        На даче с райским именем.
        И напрасно себя занять я
        Стараюсь этими строчками:
        Не мелькнет белое платье
        С лиловыми цветочками...

1926
Le Cannet

435. ОТРАЖЕННОСТЬ

Опять ты зреешь золотистой дыней
На заревом небесном огороде,
И с каждым новым вечером — пустынней
Вокруг тебя, среди твоих угодий.

И с каждым вечером на желтой коже
Сильней и ярче выступают пятна:
Узор, как будто на лицо похожий,
Узор тупой, привычно-непонятный.

Всё это мне давным-давно знакомо!
Светлей, круглись и золотей бессонно.
Я равнодушен к золоту чужому,
Ко всем на свете светам — отраженным.

436. ДВЕ

Она войдет, земная и прелестная,
Но моего ее огонь не встретит.
Ему одна моя любовь небесная,
Моя прозрачная любовь ответит.

Я обовью ее святой влюбленностью,
Ее, душистую, как цвет черешни.
Заворожу неуловимой сонностью,
Отдам, земную, радости нездешней.

А пламень тела, жадный и таинственный,
Тебе, другой, тебе, незримой в страсти.
И ты придешь ко мне в свой час единственный,
Покроешь темными крылами счастья.

О, первые твои прикосновения!
Двойной ожог невидимого тела.
И путь двойной — томления и дления
До молнии, до здешнего предела.

1915—1927

437. СТИХОТВОРНЫЙ ВЕЧЕР В «ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПЕ»

Перестарки и старцы и юные
Впали в те же грехи:
Берберовы, Злобины, Бунины
Стали читать стихи.

Умных и средних и глупых,
Ходасевичей и Оцупов
Постигла та же беда.

Какой мерою печаль измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что это не навсегда!

В «Зеленую Лампу» чинную
Все они, как один, —
Георгий Иванов с Ириною;
Юрочка и Цетлин,

И Гиппиус, ветхая днями,
Кинулись со стихами,
Бедою Зеленых Ламп.

Какой мерою поэтов мерить?
О, дай им, о, дай им верить
Не только в хорей и ямб.

И вот оно, вот, надвигается:
Властно встает Оцуп.
Мережковский с Ладинским сливается
В единый неясный клуб,

Словно отрок древнееврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет и плачет Кнут...

Какой мерою испуг измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что в зале не все заснут.

31 марта 1927

438. ТРОЙНОЕ

Тройною бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
Но разве поэты не говорят
Только об этом?
                Только об этом?

Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог:
О Человеке.
                Любви.
                        И Смерти.

439. ЕЙ В THORENC

3

В желтом закате ты — как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.

Детская радость твоя кротка.
Ты и без слов, сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка...

И ты угадала, ты принимаешь.

440. БЕЛГРАД

Он до сих пор тревожит мои сны...
Он символ детства, тайного мечтанья,
И сказочной, далекой старины,
И — близкого еще воспоминанья.

О, эта память о недавних днях!
Какая в ней печальная отрада!
Дым золотой за Савой, на холмах,
И нежный облик милого Белграда.

А виноградник, свежий дух земли,
Такой живительный и полный ласки...
На карточке — улыбка Эмили, —
Пленительной царевны в русской сказке.

Над белой скатертью веселый свет,
И речь веселая, и неизменно —
Во всех словах, во всех глазах — привет,
Для бедных странников нежданно ценный.

И много, много было — но всего
В экспромте этом рассказать нет силы...
Те дни прошли, погасли... Ничего!
Они прошли, но сердце не забыло.

1928

441. НА CROISETTE

Зверенок на веревочке, с круглыми ушами,
С предлинным и претонким тельцем шерстяным,
Откуда и зачем ты явился между нами,
И как ты на веревочку попал — к чужим?

Не то чтоб обезьяна он; нисколько не кошка:
Ухватки не кошачьи, и лапочки не те.
Свистит протяжно-робко, сидит, поджавши ножки.
На собственном, смешном, на узеньком хвосте.

За что тебя обидели чужие напрасно?
Заставили покинуть родину твою?

Ты всё это расскажешь мне, свистом ясным,
Когда мы повстречаемся с тобой — в Раю.

442. СМОТРЮ

Я сужен на единой Мысли,
Одно я вижу острие...
Ну что ж! Смотри, гадай и мысли,
Не отступай, — смотри в нее.

Я на единой Мысли сужен.
Смотрю в блистательную тьму...
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому.

443. В СТАРОМ ЗАМКЕ

Птичий всклик зеленой ночью
        отрывисто-строгий,
лунный сверк зеленой ночью
        креста при дороге...

            Древнее молчанье
            башен тяжелых.
            Тень и молчанье
            в бойницах полых.

        И только сердце
        не ищет покоя.
        Слышу, как бьется сердце,
        еще живое...

444. ХОРОШАЯ ПОГОДА

Травы, травы, тростники
        На сухой вершине...
Почему бы тростники?
Ни ручья здесь, ни реки,
        Вся вода в долине.

Небо каждый Божий день
        Ровноголубое.
Почему бы каждый день?
И куда девалась тень?
        Что это такое?

Для того, чтоб обмануть,
        Свод небес так ясен.
Соблазнить и обмануть,
Убедить кого-нибудь,
        Что наш мир прекрасен.

Не поддамся этой лжи,
Знаю, не забуду:
Мир кругом лежит во лжи...

Ворожи, не ворожи —
Не поверю чуду.

445. ЖИТЬ

Как будто есть — как будто нет...
Умру наверно, а воскресну ли?
То будто тень — то будто свет...
Чего искать и ждать — известно ли?

Вот и живем, и будем жить,
Сомненьем жалким вечно жалимы.
А может быть, а может быть,
Так жить и надо, что не знали мы?

446. В НОВОЙ

Отблеск зеленый в дверном стекле,
поют внизу автомобили.
Не думаю о моей земле:
что тут думать? Ее убили.

Вы, конечно, за это меня —
за недуманье — упрекнете?
Я лишь жду, чтоб прошло три дня:
она воскреснет — в новой плоти.

447. СТЕНЫ

Амалии на Rue Chernovitz

Ни на кого не променяю
Тебя, — ни прелести твоей.
Я ничего не забываю,
Живу сияньем прежних дней.

И если в сердце нет измены,
Оно открыто чудесам.
Печальна ты... А в окнах — стены
Растут всё выше к небесам.

Но пусть растут они огромней,
Пусть холоднее милый взор,
Я только близость нашу помню,
И солнце в окна, и простор!

18 декабря 1932
Париж

448. ЗДЕСЬ

Чаша земная полна
Отравленного вина.
Я знаю, знаю давно —
Пить ее нужно до дна...
Пьем, — но где же оно?
Есть ли у чаши дно?

449. СЧАСТЬЕ

Есгь счастье у нас, поверьте,
И всем дано его знать.
В том счастье, что мы о смерти
Умеем вдруг забывать.
Не разумом ложно-смелым.
(Пусть знает, — твердит свое),
Но чувственно, кровью, телом
Не помним мы про нее.

О, счастье так хрупко, тонко:
Вот слово, будто меж строк;
Глаза больного ребенка;
Увядший в воде цветок, —
И кто-то шепчет: довольно!
И вновь отравлена кровь,
И ропщет в сердце безвольном
Обманутая любовь.

Нет, лучше б из нас на свете
И не было никого.
Только бы звери, да дети,
Не знающие ничего.

450. У МАЛЕНЬКОЙ ТЕРЕЗЫ

Ряды, ряды невестных,
Как девушки, свечей,
Украшенных чудесно
Венцами из огней.

И свет, и тишь, и тени,
И чей-то вздох — к Тебе...
Склоненные колени
В надежде и мольбе.

Огонь дрожит и дышит
И розами цветет.
Она ли не услышит?
Она ли не поймет?

О, это упованье!
О, эта тишина!
И теплое сиянье,
И нежность, — и Она.

1933

451. ТЫ

Ты не приходишь, но всегда, —
Чуть вспомню, — ты со мною.
Ты мне — как свежая вода
Среди земного зноя...

452. НА ФАБРИКЕ

Среди цепей, среди огней,
В железном грохоте и стуке,
Влачу я цепь недобрых дней.
Болят глаза, в мозолях руки,

Но горестный привет я шлю
Тебе, мое изнеможенье:
Я недостойную люблю,
Я жду, хочу, ищу забвенья.
Свистите, скользкие ремни!
Вы для меня, как шелест крыльный.
О пусть длиннее длятся дни,
И гром, и лязг, и ветер пыльный!
Страшусь ночей я тихих... Вновь
Она стоит передо мною,
Моя позорная любовь,
Она, чье имя не открою.
Ее одну, ее одну
Я в сонном стоне призываю...
Как изменившую жену,
Люблю ее — и проклинаю.

453. ДРУГОЙ

Т. С. В—р

Неожиданность — душа другого,
Удивляющая вновь и вновь.
Неожиданность — всякое слово,
Всякая ненависть и любовь.

Неожиданностей ожидая,
Будь же готовым им стать слугой.
Неожиданность еще двойная,
Если женщина — твой «другой».

454. УСЛОВИЯ

Был тихий вечер и весна.
Нам звезды светили любовно.
Вы мне сказали: я верна,
Но — верностью не безусловной!

Услышав это в первый раз
(Я знал лишь верность без условий),
С улыбкой я взглянул на вас
И отошел — не прекословя.

455. ОТЪЕЗД

До самой смерти... Кто бы мог думать?
    (Санки у подъезда. Вечер. Снег.)
Никто не знал. Но как было думать,
    Что это — совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!
    (Улица. Вечер. Ветер. Дома.)
Но как было знать, что нет надежды?
    (Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)

456. ДВЕ СЕСТРИЦЫ

Тихонько упрекала
Любовь свою Сестру:
Оставить убеждала
Жестокую игру.
Шептала ей: «Послушай,
Упрямицей не будь!
Оставь людские души,
Не трогай их, забудь.
И я несу терзанья,
И я пытаю их.
Но сладки им страданья
И раны стрел моих.
Ты ж — словно тихим жалом
Пронзаешь дух и плоть,
Отравленным кинжалом
Не устаешь колоть...
А потому не странно
(И вечно будет так),
Что я для них желанна,
А ты для них — как враг».
— «Сестрица, я не злая,
Ведь я тебе Сестра!
Всё знаю и сама я,
И это не игра.
Прости, что прекословлю,
Пойми, пойми меня!
Я в душах путь готовлю
Для твоего огня.

Поверь: моей отравы
Не знавший человек —
Тебя, с твоею славой,
Не примет он вовек!
И видишь: от кинжала
Сама я вся в крови...»

Так отвечала Жалость
Сестре своей — Любви.

457. АРФА

Откуда плывут эти странные звуки?
В них горечь свиданья, в них тайна разлуки,
На здешнюю муку нездешний ответ.
Из дальних покоев волна их струится.
На арфе любимой играет царица,
Жена Александра — Елизабет.
На струнах лежат ее нежные руки,
И падают, падают легкие звуки.
Их ангел как будто на крыльях принес.
Но падают тихими каплями слез.

458. ТЕРЕЗА

Ты оглянулась... Было странно,
Взор твой встретив, — не полюбить.
Но не могу я тебя от Жанны
В сердце моем отъединить.

Жанна и Ты... Обеим родная,
Та, которой душа верна,
Нежная, грешная и святая,
Вечно-трепетная страна.

Ты и она — вы досель на страже.
Вместе с ней Одного любя,
Не испугаетесь силы вражьей;
Меч у нее — меч у тебя.

459. СЛОВА И МОЛЧАНЬЯ

Есть на земле Слова: они как тени,
Как тень от тени, — в них не верю я.
И есть Молчанья — сны без сновидений,
Как бы предчувствие небытия.
Зато другие мне равно угодны;
И открывается душа моя,
Когда Слова крылаты и чисты...
Когда Молчанья трепетно-свободны,

И грустно мне, что слов не любишь ты.

460. REMEMBER![*]

«...Тот край, где о "прости" уж и помину нет...»
«Прости» — Жуковский.

«...В разлуке вольной таится ложь...»

Когда разлуку здесь, в изгнаньи,
Мы нашей волей создаем,
Мы ею гасим обещанье
И новых встреч, свидания в краю ином.

Любовь всегда, везде одна.
И кто не Высшим указаньем
Здесь, в этом мире расстается —
Того покинула она.
Покинула и не вернется.
Не даст исполниться святым обетованьям.

Разлукой вольной — вечный круг
Смыкается и там, за гранью:
Прощанье в нем без упованья...
Разлука вольная — страшнее всех разлук.

---

[*] Помни! (*англ.*). — *Ред.*

461. ПРИДВЕРНИК

Дойти бы только до порога!
Века, века... И нет уж сил.
Вдруг кто-то властно, но не строго
Мой горький путь остановил.
И вижу: дальше нет дороги.
Сверкают белые огни.
Старик, у двери, на пороге
Рукой мне машет: «отдохни!»

Ужели новое томленье?
Опять века, века, века
Здесь, на пороге? С нетерпеньем
Я поглядел на старика
И тотчас начал сказ мой длинный:
Волнуясь, путаясь, спеша,
Твердил и каялся: повинна
Во всем, во всем моя душа!
И нет такого дела злого,
Какого б я не совершил... —

Старик, с усмешкою суровой,
Поток речей моих прервал:
«Не торопись! Кто ни прибудет,
Во всем винит себя тотчас:
Там разберут, мол, и рассудят
И все грехи простят зараз.
Грехов у каждого не мало,
Ты огулом казниться рад...
А разберись-ка сам сначала,
Найди, в чем был — невиноват.
Подумай, сядь вот здесь, на камне,
Спроси у сердца своего...»

Опять века... Да что века мне!
Не мог придумать ничего.
Мелькают тени прегрешений —
Гордыня, страх, упорство в зле,
Измена...
                    О, старик! В измене
Я был невинен на земле!

Пусть это мне и не в заслугу,
Но я Любви не предавал.

И Ей — ни женщине, ни другу —
Я никогда не изменял!
Быть может, надо на пороге
В томленьи ждать еще века —
Лишь об измене нет тревоги,
Лишь от нее душа легка;
К суду готовлюсь — за другое,
И будь что будет впереди!

Но он, дрожащею рукою,
Дверь отомкнул передо мною:

«Суда не будет. Проходи».

462. ПРЕЖДЕ. ТЕПЕРЬ

Не отдавайся никакой надежде
И сожаленьям о былом не верь.
Не говори, что лучше было прежде...
Ведь, как в яйце змеином, в этом Прежде
Таилось наше страшное Теперь.

И скорлупа еще не вся отпала,
Лишь треснула немного: погляди,
Змея головку только показала,
Но и змеенышей в яйце не мало...
Без возмущенья, холодно следи:

Ползут они скользящей чередою,
Ползут, ползут за первою змеею,
Свивая туго за кольцом кольцо...
Ах, да и то, что мы зовем Землею, —
Не вся ль Земля — змеиное яйцо?

Февраль 1940
Париж

463. СТУЖА

Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез...

1941

464

Тереза, Тереза, Тереза, Тереза.
Прошло мне сквозь душу твое железо.
Твое ли, твое ли? Ведь ты тиха.
Ужели оно — твоего Жениха?

Не верю, не верю, и в это не верю!
Он знал и Любовь, и земную потерю.
Страдал на Голгофе, но Он же, сейчас,
Страдает вместе и с каждым из нас.

Тереза, Тереза, ведь ты это знала.
Зачем же ты вольно страданий желала?
Ужель, чтоб Голгофе Его подражать,
Могла ты страданья Его умножать?

Тереза, Тереза, Тереза, Тереза.
Так чье же прошло мне сквозь сердце железо?
Не знаю, не знаю, и знать не хочу.
Я только страдаю, и только молчу.

1941—1942

465

В. Злобину

Одиночество с Вами... Оно такое,
Что лучше и легче быть ОДНОМУ.
Оно обнимает густою тоскою,
И хочется быть совсем ОДНОМУ.
Тоска эта — нет! — не густая — пустая.
В молчаньи проще быть ОДНОМУ.
Птицы-часы, как безвидная стая,
Не пролетают — один к ОДНОМУ.
Но ваше молчание — не беззвучно,
Шумы, иль тень их, всё к ОДНОМУ.
С ними, пожалуй, не тошно, не скучно,
Только желанье — быть ОДНОМУ.
В этом молчаньи ничто не родится,
Легче родить самому — ОДНОМУ.
В нем только что-то праздно струится...
А ночью так страшно быть ОДНОМУ.

Может быть, это для вас и обидно,
Вам, ведь, привычно быть ОДНОМУ —
И вы не поймете... И разве не видно,
Легче и вам, без меня — ОДНОМУ.

1941—1942

466. ДАР

Т. Сол. Гурвичу

Есть Божий дар. С ним жизнь милей и краше.
Ясней нам правда — и обман.
Не всем, не каждому в юдоли нашей,
А только избранным он дан.

Но светит всем. И, благостно сияя,
Овит такою тишиной,
Что даже ангелы, на мир взирая,
Завидуют ему порой.

Лучей его боится не напрасно
Земная, злая темнота.
И этот дар, прекрасный из прекрасных, —
Святая Доброта.

Ноябрь 1942
Париж

467

Д. С. Мережковскому

Я больше не могу тебя оставить.
Тебе я послан волей не моей:
Твоей души, чтоб душу жечь и плавить,
Чтобы отдать мое дыханье — ей.
И связанный и радостный, свободно
Пойду с тобой наверх по ступеням,
Так я хочу — и так Ему угодно:
Здесь неразлучные — мы неразлучны там.

1918

В. А. Злобину

Я должен и могу тебя оставить.
Тебе был послан я — но воля не моя.
Я не могу ничем тебя исправить.
И друг от друга мы свободны: ты и я.
Будь с тем — с кем хочешь быть поближе,
Спускайся к ним по шатким ступеням.
А я пойду туда, в St. Geneviève, и ниже,
И встречусь с тем одним, с кем быть хочу и там.

1943

468

Когда-то было, меня любила
Его Психея, его Любовь.
Но он не ведал, что Дух поведал
Ему про это — не плоть и кровь.
Своим обманом он счел Психею,
Своею правдой — лишь плоть и кровь.
Пошел за ними, а не за нею,
Надеясь с ними найти Любовь.
Но потерял он свою Психею,
И то, что было, — не будет вновь.
Ушла Психея, и вместе с нею
Я потеряла его любовь.

1943
Париж

469. НЕ ОДНИМ ХЛЕБОМ...

Вл. Злобину

Закон я помню, помню слово,
Что всем нам надо жить любя,
Любить — не как-нибудь другого,
А совершенно как себя.
О чем забочусь я безмерно,
И что люблю в себе самом —
О том мой долг — нелицемерно
Всегда заботиться — в другом.
Теперь скажу немного грубо,
Но в деликатности ли суть?

Мне в слове точность, резкость люба, —
Поймут меня когда-нибудь!
Так вот, скажу: пекусь о брюхе —
Да и не только о своем!
А от докучливой старухи,
Что мне и вечером и днем
Бурчит, что надобно о духе
Вперед заботиться, — в ответ
Я отмахнулся, как от мухи...
Не говоря ни да, ни нет.
На харю старческую хмуро
Смотрю и каменем молчу.
О чем угодно думай, дура,
А я о духе не хочу.

1944

470

В. Злобину

Я был бы рад, чтоб это было,
Чтоб так оно могло и быть,
Но чтоб душа у вас забыла
Лишь то, что надо ей забыть.

Не отдавались бы злословью,
Могли бы вы его понять,
И перестали бы любовью
Томленье, сон и скуку звать.

Я ж — ничего не забываю,
Томленьем вашим не живу,
И даже если сплю — то знаю:
Я тот же весь, как наяву.

1944

471

По лестнице... ступени всё воздушней
Бегут наверх иль вниз — не всё ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушней:
И всё, что было, — было так давно...

472. ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

(И НОВЫЙ ДАНТ В АДУ)

<1>

Вскипают волны тошноты нездешней
И в черный рассыпаются туман.
И вновь во тьму, которой нет кромешней,
Скользят к себе, в подземный океан.

Припадком боли, горестно-сердечной,
Зовем мы это здесь. Но боль — не то.
Для тошноты подземной и навечной
Все здешние слова — ничто.

Пред болью — всяческой — на избавленье
Надежд раскинута живая сеть:
На дружбу новую, на Время, на забвенье...
Иль, наконец, надежда — умереть.

Будь счастлив, Дант, что по заботе друга
В жилище мертвых ты не всё познал,
Что спутник твой отвел тебя от круга
Последнего — его ты не видал.
И если б ты не умер от испуга —
Нам всё равно о нем бы не сказал.

А тот, кто ведал на земле живой
Чернильно-черных вод тяжелое кипенье
И был, хотя бы час, в их тошном окруженьи —
Кто ощущал в себе размерный их прибой,
Тот понял всё: он обречен заране
Познать, что там — в подземном океане, —
Там нет ни Времени, ни звуков, только мгла,
Что кучею по черному легла.
Там только грузное ворчанье вод
И вечности тупой круговорот.

I

Вот Новый Дант в последний Круг пробрался
Один, без спутника, — он очень смел, —
Он наверху чего не навидался!
Едва кой-что в тумане рассмотрел —
Он к одному из тамошних подсел

И начал с ним (на это был он скор)
По-дружески тотчас же разговор.

Тот поднял на него потухший взор,
Сказав с трудом: «Вот странность, и какая!
Не сверху ль вы? Оттуда к нам давно
Не приходили. Впрочем, всё равно,
Пускай и не приходят никогда».

Дант отвечал ему: «Я это знаю,
Но, кажется, не в этом вся беда.
Скажите мне, ведь я пришел как друг,
Что делается, что у нас вокруг?
Я не бывал в подобной темноте,
Едва вошел — и сразу в слепоте.
Всё так черно, черней китайской туши...
И вы здесь не один. Всё это души?»

Качаясь на волне, тот помолчал,
Потом, не без усилия, сказал:
«Не так вопросы ставятся у нас.
Да, впрочем, понимаю: в первый раз
Вы здесь, во тьме, на нашем берегу.
Отвечу, как умею и могу.

Но видите: мне страшно стало вдруг...
Сказали вы земное слово "друг"...
А если я и вам теперь солгу,
Как на земле друзьям я лгал? Боюсь,
Опять к себе земному возвращусь...»
—«Не бойтесь, — живо возразил пришлец. —
Я правду чувствую, и, наконец,
Зачем вы будете бесцельно лгать?

Вопросов я не буду предлагать,
Они, я вижу, были неудачны.
Но ваши своды так черны и мрачны,
И сразу я не мог сообразить,
Что лучше вы расскажете мне сами,
Что знаете, и что такое с вами».

«Лишь о себе могу я говорить,
Одну свою историю я знаю.
А о других моих соседях, тех,
Кого порою мельком я встречаю,

Хоть и не знаю, но подозреваю,
Что разные истории у всех.
О нашем месте вы меня спросили.
Иль вам о нем вверху не говорили?
Земное имя вспомнить был я рад.
Но имя здешнее его — Безмерность.
И в здешнем большая, пожалуй, верность,
Чем в простеньком словечке — ад.
Вы захотели знать еще: зачем
Сижу я здесь во тьме. Не то! Не то!
Спросите лучше иначе: за что.

Тогда я дам вам правильный ответ.
А на "зачем" у нас ответа нет.
А что я делаю? Я жду. Чего?
Жду Времени. Вы спросите: какого?
Да просто Времени. И вот, его
Всё нет еще. Должно быть, не готово.
Иль, вероятно, не готов и я.

Вот, наконец, история моя.
Я всё скажу. Не поскучайте только.
В Безмерности нет времени. И сколько
Из вашего у нас займет она —
Не мне судить. Лишь знаю, что длинна.

Ведь я и там, еще на вашем свете,
Испытывал и волн приливы эти,
И тьму. Я знал, они — предупрежденье,
Но, не желая думать, — забывал,
Сам для себя готовя, за обман,
Качанье волн, и черный океан,
И всё, что видите, и даже ту
Неизъяснимую вам тошноту,
Которую я тоже знал когда-то...
За что теперь я здесь — понять умейте,
Но всё поняв — жалеть меня не смейте!
Ведь это — справедливая расплата
За жизнь мою и за ее растраты...
Вот первое "за что". Уж из него
И тянется другое ниткой длинной.
Всё — следствия единственной причины.
И если общей не понять картины,
То можно не понять и ничего.

Я здесь — а в этом главное и дело —
За искажение Любви и тела.
Его не я создал. Но мне оно
На время было некое дано.
Зачем? И знать я это не желал.
Оно мое! И я воображал,
Что ежели сочту его своим,
То как хочу — распоряжаюсь им.
А вышло вот что: очень скоро тело
Меня себе поработить сумело.
Оно влекло меня, куда хотело,
Его желанье сделалось моим,
И шел я, покоренный, вслед за ним.

Но было в сердце хитрой тайной сжато —
Как раз вот это, — для меня, — когда-то.
И только здесь, где страшно и темно,
Уж распрямляется слегка оно.

Меня к одним таким же, как и я,
Влекла покорность собственному телу.
И говорил я, что душа моя
Довольна, рада своему уделу.
А так как те, кто влек меня, обычно
Бывали чем-нибудь меня да ниже,
По уровню тому или другому,
То с равными мне стало непривычно,
И как-то скучно. Те ж, напротив, ближе
Всё делались. Ведь если вам знакомы
Дела подобные, где в общем счете
Всё сводится к одной лишь только плоти, —
И чувства вы мои тогда поймете:
Я находил приятнее того,
С кем говорить не надо ничего.

Я не судил, однако, и других,
Иль с мягкостью. Причину ж несуждений
Я видел в добродетелях моих —
И лгал. Я даже не жалел о них,
Здесь убедился я, что, без сомненья,
Я просто-напросто не видел их,
В том равнодушьи вечно пребывая
И невниманьи к ним, почти до края,
Что пустоту вкруг смертного рождая,

Его толкают, не спеша, в провал.
Слова святые есть. Я это знал,
И всё же их беспечно оскорблял.
За похотью бежал я собачонкой,
Ее Любовью тотчас называя,
И повторял себе, не уставая,
Что ведь в Любви — всё только чистота.
Так значит, рассуждал я очень тонко,
И каждая "любовь" моя чиста,
Как нежное дыхание ребенка.

Иль слово "друг". Святое, но его
Я также постоянно унижал,
Не думая. И кто ж достоин стал
На языке моем такого слова?
Им звал сообщника очередного,
Готового совсем не к тем услугам,
Каких обычно ждем мы от того,
Кто нам действительно бывает другом.

Вот страшное признание одно.
Но будет ли понятно вам оно?
Кто никогда не знал подобной жути,
Тот не уловит в деле этом сути.
Скажу я попросту о том, что было.
Всё это приходило-уходило,
И вновь являлось: изредка во сне,
А то и наяву: душа двоилась,
И даже весь я, — так казалось мне.

Вот, я встречал кого-то вдруг... И мнилось,
Что это я же сам. Уйти пытался,
Но тот не позволял, хитро смеялся:
"Попробуй не узнать! Присядь поближе,
Вглядись в меня. Ну разве я — не ты же?
И разве так не нравлюсь я тебе?
Не лги бесцельно. Думай о себе —
Как обо мне. Ведь я одет прекрасно,
Собою недурен. Ведь мы вдвоем —
Ты это будешь отрицать напрасно! —
Украсили однажды общий дом?
Он был устроен по твоей же вере, —
И по моей. Довольно лицемерий!

Надоедает мне твоя игра,
Признай себя во мне, — давно пора!
Наш общий друг не будет ли доволен?
Меня в себе ты отрицать не волен.
Не вместе ль мы, не оба ли одно?
Один бокал у нас, — одно вино...
А ты мне: «милостивый государь»...
И в мыслях: «низкая и злая тварь»...
А ты себя — уж не творцом ли мнишь?
Хорош творец! Ведь вижу я, дрожишь,
Боишься даже моего и взора
И каждого прямого разговора.
Мы оба тварь. А ежели я низок,
Не потому ли я тебе и близок?
А зло... Но до банальности такой
Не доходили мы еще с тобой.
Нет, милый друг, давай пойдем сейчас
К тому, конечно, кто обоих нас
В игре приятной смешивал не раз...
Ты убедишься. Сам ты говорил..."»
Но Дант с гримасою его остановил:
«Однако, милый, не спадайте с тона,
На вашем месте я бы без урона
Подробности такие опустил».

Тот головою покачал уныло:
«Вот, быть непонятым — судьба моя!
Ведь это он же говорил — не я!
А мне, вы думаете, очень мило
Вот так встречаться с этим двойником?
И до сих пор я не забыл о нем,
Я даже здесь порой дрожу, — боюсь,
Что к старому кошмару возвращусь».

«Но не видали здесь его ни разу? —
Дант подхватил. — Не бойтесь, он сюда
Наверно не придет. А вас я сразу
Не мог понять, не видев никогда
Себя вдвойне. Простите замечанье.
Оно не стоит вашего вниманья.
Мне просто сделалось слегка противно...
Детали ваши чересчур интимны.
Но слушаю я дальше».

Тот безгневно
Всё принял, спорить с Дантом не желая,
И прежним голосом, как бы плачевным,
Трагическую повесть продолжая,
Сказал: «Вы правы, лучше бы о нем,
Об этом подлом двойнике моем,
Совсем не вздумал я упоминать.
Но я хотел вам всё, до дна, сказать.
Здесь нет его, какое облегченье!
Хоть в этом от себя освобожденье.

Лишь здесь, когда в Безмерности сижу,
В себе я разбираться начинаю.
А там, на свете, не желал и знать я
Того, что ныне, хоть не всё, а знаю.
Об этом, знаемом, я и скажу:
Я здесь — за громкие себе проклятья,
Для виду — и для рифмы иногда.
За тихое себя же оправданье,
К которому стремился я всегда.
Для этого я, не жалея сил,
Искал, хватал, вытаскивал и крал
Слова и мысли — у кого угодно,
Лишь только были бы они мне годны.
И ежели такие находил, —
Я искажал их, но приспособлял
Опять к тому же самооправданью.
Ведь было же какое-то сознанье!..
Но я его старательно гасил.

Я жертвенность единственную знал:
Всем жертвовал я собственному телу.
Свои дары я в тлен его бросал,
Но в то же время маску надевал,
Что, будто, делаю такое дело
Из скромности: какие, мол, дары!

И так я жил до самой той поры,
Когда так жить в привычку обратилось,
И ею всё во мне — окаменилось.
Но камень — верностью решился звать я,
Слыть в людях верным — не красиво ль платье?
Другое — быть... А знает ли тот верность,
И даром ли дана ему Безмерность,

Кто верящих ему давно и слепо
Обманывал и грубо, и нелепо,
Всё для того, чтоб плоти угодить,
Ее веления не преступить?
А верящих обманывать легко...
Откроется обман? Когда-нибудь!
Зачем загадывать так далеко?
Сию минуту надо обмануть.

Так вот: привычки в камень обратились.
Тогда и знаки сверху прекратились.
Должно быть, для меня уж был готов
И океан, и этот черный кров.
За что ж еще я ныне здесь качаюсь?
Сказал я много. И теперь признаюсь:
Мне эта исповедь была нужна.
Ее как будто слышит и волна
И ждет еще какого-то признанья.

За что? Вы видите, всегда за то ж:
За неизбытную всей жизни ложь.
И за угрюмые мои молчанья...
Ведь слову моему велел: служи
Покровом ловким, коль сумеешь, — лжи.
Ведь я в самой молитве даже лгал:
Устами равнодушно повторял
Слова святые (если был другой
Вблизи; один, наедине с собой —
Зачем, кому молиться? Я не знал).

Неправда, знал! О, если бы сумел
Я погасить сознанье, как хотел!
Насколько был бы я тогда невинней,
И, может быть, теперь передо мной
Не черный был бы океан, а синий,
И сам я сделался б уже иной...

Но всё равно. Кончаю эту повесть.
Я говорил — подсказывала совесть.
Вы поняли, как жил я на земле,
Вы поняли, что я сижу во мгле
За весь обман, которым я себя
Оправдывал. И за высокий дар,
Мне посланный, среди других, любя.
И вот — я сделал из него кошмар.

Скажу теперь впервые — только вам:
Когда я понял, — о, не здесь, а там! —
Кто этот дар высокий мне послал,
Кто просто от любви его мне дал,
И понял, как Пославшего обидел
Тем, что Любовь великую отверг...
Ведь я Его — Его! — возненавидел!
Тогда-то здесь, должно быть, и померк
Последний свет — как бы в ответ на это.

Вы слушали. Но вашего ответа
Я не хочу. Предвижу я его.
Не говорите лучше ничего.
Вы улыбнетесь — я не рассержусь.
Но есть слова, которых я боюсь.

Вы скажете, конечно, что во мгле
Не видно мне, что нынче на земле.
И что мои, как будто, преступленья —
Ничтожество и пустяки в сравненьи
Со всем, что делается ныне — там.
Вы сразу ошибетесь: здесь, в молчаньи,
Ловлю я сводов тяжкое дрожанье,
И что творится на земле — увы! —
Догадываюсь, знаю, как и вы.
Прибавите: не слишком ли сурово
Наказан я? Делами же своими...
Не слишком ли и здесь я занят ими?
А если вы произнесете Имя...»
Но Данте тут его остановил.
В глазах подземника заметив муку,
Он властным жестом только поднял руку
И не спеша проговорил (недаром
Алигиери имя он носил,
И говорили даже, что со старым
В прямой и родственной связи он был):

«Вы предрешали мой ответ — зачем?
Он был готов, и не такой совсем.

Пусть больше не тревожат вас сомненья.
Ошибки ваши вовсе не ошибки,
Но — говорю вам это без улыбки —
Они действительные преступленья.

Ничуть не меньшие они, чем эти,
Что люди ныне делают на свете.
А то и большие, пожалуй... Вам
Был послан дар сознания, а там —
Они сейчас как брошенные дети,
Иль сами бросившие талисман
В какой-то неизвестный океан.

Вы скажете: "Преступные дела
Один я делал. Смерть их унесла".
Подумайте: не глядя на других,
Не видя глубины чужих сердец,
Что можно знать? А если у иных
Уж стало в сердце шевелиться то же,
И было это принято — от вас
В какой-то роковой и тайный час?
О, столько их теперь, на вас похожих!
И вы повинны в том. Да, наконец,
Все преступления — одно и то же...

Но недвижимая черта легла,
Непреступимая для всех веков,
Делящая, одна, добро от зла,
Святое от преступного... Увы,
Ее, черту, стереть хотели вы...
Ужель еще не поняли без слов,
Что ваша жизнь была одной изменой,
Одной изменою Тому...»

Но вдруг
Волна вздыбилась дымно-черной пеной
И вместе их обоих залила.
Но, отходя, с собою унесла
Лишь одного. Где Данта новый друг?
Чуть виден на гребне, вдали качаясь.
И голос слышался, всё отдаляясь,
Рыданьями как будто прерываясь:
«Изменой, да... А Он меня любил...
И как любил! А я Его обидел!
Пусть лучше бы меня... Он ненавидел...
А Он любил...»

«И любит до сих пор!» —
Дант крикнул уплывающему вслед.

Но был ли им услышан, или нет?
Его ничей не различит уж взор.

Так с первым кончил Данте разговор.

II

Но тут другой жилец подплыл, качаясь,
Спросил несмело, видимо стесняясь:
«Вы сверху, да? Вели вы разговор...
Я голоса людского с давних пор
Не слышу. Да и сам молчу равно
И, кажется мне, очень уж давно.
Ах, если б было здесь, у нас, хоть Время!
Молчанье же — всегда такое бремя!»

«Как для кого, — ответил Дант с улыбкой. —
Уж не попали ль вы сюда ошибкой?»
—«О нет, я знаю, это всё расплаты
За все мои душевные растраты,
Как у того, кто с вами говорил.
Но у меня как будто больше сил.
Моя история совсем другая,
И схожая — однако не такая,
Которую невольно я подслушал.
Что делать, у меня такие уши».
— «Ну что же, расскажите и свою», —
Сказал лениво Дант. Он был расстроен.
Второй жилец казался беспокоен.
Но как же быть?..

«И я не утаю.
Совсем как тот, что каялся пред вами,
От вас моих ошибок и грехов.
Но разница большая между нами;
Ее увидите вы тотчас сами
Из всех моих последующих слов.
Есть общее у нас, конечно, тоже.
Ведь если б были мы совсем несхожи —
В другом бы океане я сидел,
А то в огне каком-нибудь горел.
Любил жару, но рад и океану.
Задерживать, однако, вас не стану,

И сразу вам всю правду расскажу,
За что и почему я здесь сижу.
И я — жду Времени. Но жизнь моя —
Вся, будто, цепь. И Время в ней звено.
Вот, жду его. И как хотел бы я,
Чтобы пришло, чтобы меня простило,
Чтоб не было того, что было!
Я здесь — за вечные ему проклятья,
В котором жить мне было суждено,
И ничего не пожелал и брать я
От времени, которое дано.
Я осуждал его с огнем и пылом,
Его — и всё, что только было в нем,
Мечтая о другом каком-то, милом...
Оно хотя и будет — но потом.
Я ж дерзко требовал его сейчас
И ждать не соглашался. А подчас
Я проклинал всё Время, целиком.
Ведь знал же я, однако, что оно
Не мною, а Другим сотворено,
И что его создавший не случайно
Нам, людям, Время дал, и по любви.
Я знание о том носил в крови.
Но, не смущаясь этой нежной тайной,
Я жил с негодованьем на устах.
И даже не тревожил сердца страх.
Равно я все народы ненавидел,
В их поведеньи разницы не видел,
Один лишь только признавал я — свой.
И как иначе? Это был ведь мой.
Всему, что в нем, искал я оправданья:
Войне, жестокости и окаянству,
В которое, от духа рабства, впал он.
Я говорил: ведь это от незнанья,
А всё же прав он, и в большом и малом,
Пускай мы с ним разделены пространством,
Я знаю, что он прав, как прав и я.
И я тому единственный судья.
Зато людей, что были тут же, близко,
Их всех оценивал я очень низко,
Положим, что не сразу. А вначале
Я с меркой святости к ним подходил.
Они, конечно, ей не отвечали.
И вот тогда уж я их и громил.

Я не считался, что они мне братья
И что пока еще я сам не свят,
Я сыпал едкие мои проклятья,
Их уверял, что я тому не рад,
Но зло в них чувствуется слишком ясно,
Бороться надо с ним и быть прекрасным.
Я проницателен. Мне удалось
Всё понимать и видеть всех насквозь.
Я говорил, что надо в самом корне
Зло пресекать. Что буду тем упорней
Я с ними спорить, что один я — вещий,
Они ж не понимают эти вещи.
Пожалуй, действовал я слишком смело,
Да не всегда, быть может, и умело...
Но возражений сердце не терпело.

Сказал один какой-то: "Он жесток".
— "Так что ж такое? Это не порок, —
Ответил быстро я. — Жесток наш век,
Жестоким должен быть и человек".
Однако собеседник не унялся
(Впервые, кажется, такой попался!)
И говорит: "Ну, это дело ваше,
Не всем нам пить из той же общей чаши.
Вам — ваше слово обличенья любо,
Мне ж кажутся слова такие грубы.
Другие я люблю в их тишине:
«Кто будет кроток сердцем и смирен...»"

Я закричал тогда: "Смиренье — плен!
Я творчески хочу любить и жить!
А можно ли в смирении — творить?"
Тут собеседник мой пожал плечами
И отошел. С улыбкою невольной
Ушел и я, победою довольный.
На этом кончился и спор меж нами.
Но слушайте: признаюсь в первый раз
И говорю лишь только вам, для вас, —
Жесток я не был. Был, скорее, груб.
Особо с тем, кто — видел я — не глуп,
Кто даже не вступал со мною в спор,
Глядел лишь молча на меня в упор,
Чуть улыбался и — не соглашался.
О, с эдаким я вовсе распускался,

И резкостям, и грубостям моим
Уж никакого не было предела.
Но сколько я потом ни бился с ним,
И резкости не улучшали дела.

О том "смиренном" спорщике моем
Я скоро позабыл. И лишь потом
Раздумался я как-то о смиреньи.
О творчестве своем и назначеньи.
Мне всё хотелось допытаться — кто я?
Пророк ли я, иль попросту поэт?
А может, вместе, — то я и другое?
На это надо ж дать себе ответ.
Иль даром мне дано повсюду видеть
Одно ужасное, одно худое,
И обличать везде начатки зла?
Недаром и дано их ненавидеть.
Средь них моя дорога пролегла,
В борьбе я должен вырывать их корни
И чем бороться буду злей, упорней...
Но тут другая мысль вступала: как?
Оружием любви! — я утверждал нередко.
Однако, сам боролся и не так:
Ведь не всегда оружье это метко.
Я о любви говаривал так много!
Не любящих судил особо — строго.
Любил ли сам? Как дать себе ответ?
Казалось — да. А может быть, и нет.
Но очень много о любви мечтал.
Мечтал, что близок час, — его я ждал, —
Когда заветный этот час придет,
А он не может не прийти! — и вот
Я встречусь с той, которую любить
Мне суждено любовью совершенной,
Единственной, святой и неизменной.
Пока же лучше без любви прожить,
Не жалуясь, что и от той далек,
Что издавна в подруги мне дана,
Пусть любит с верностью меня она,
Но что же делать? С ней я одинок.
Ей не нужны мои живые речи,
Не слушает она моих поэм...
Нет, буду ждать иной и новой встречи,
Когда уж полюблю — совсем.

Понравилась однажды мне другая.
Я тоже ей понравился тогда.
Мое влеченье — чисто, как всегда
(Уж если добродетелью какой
Мне похваляться — это чистотой),
Но всё ж, влеченье от себя скрывая,
Решил я думать, что ее — спасаю,
Что только ради этого спасенья
И в ней начатков добрых утвержденья,
Ее любовь к себе и принимаю.
Но сам я полюбить ее не мог.
Хоть думалось порою: не она ль?
И вижу — нет. И вновь смотрю я вдаль...
Так я и оставался одинок.
Но правду ежели сказать — я им,
Вот этим одиночеством моим,
Совсем не очень даже тяготился:
Скорее, в глубине души, гордился.
Святые жили же одни в пустыне
И не считали, при своем смиреньи,
Что это — одиночество гордыни
Иль, вообще, что это некий грех,
Но каждый, вероятно, в ощущеньи
Считал себя, — как я же — лучше всех.

Совсем не понимал я слова "друг".
Кто мог мне другом быть из тех, вокруг?
Я обличал их, я боролся с каждым,
И к дружбе с ними не имел и жажды.
Был, впрочем, случай... Только я не знаю,
Сумею ль это рассказать я вам?
Дружил я раз... И друг мой, не скрываю,
Вначале был мне — вроде как я сам.
И хоть природно не были мы схожи,
О Главном думали одно и то же.
Но я считал себя всегда в движеньи.
Каком, куда же? Думалось — вперед,
К чему-то новому! Но кто меня поймет?
Не понимал я сам. Притом забвенье
Того, что в прошлом, у меня тогда
В душе так искренно и полно было,
Как будто не случалось никогда.
Еще я помнил, что меня касалось,

Но что моих касалось отношений
С ним, с этим другом, — сразу забывалось.
Должно быть, это враг мой, — Время, — мстило,
Легко из памяти моей стирая
Всё, что хотело, и меня толкая
Прочь от людей. Но вовсе не вперед,
А лишь за ту неверную черту,
Туда, в крутящуюся пустоту,
Где мы теряем прошлого оплот,
Где всё исполнено противоречий,
И где меняется всё каждый час...
А уж о верности — там нет и речи...
Однако, вижу, — я запутал вас.
Но подождите, это ничего.
И для меня тут многое туманно,
Уж очень вышло с этим другом странно.
Ведь знал же я давно, что у него, —
В душе и сердце друга моего, —
Всё было мне — как раз наоборот:
Он по своей природе верен был,
И в памяти всё прошлое хранил...
Но я и это вдруг о нем забыл,
И сделался он для меня — не тот.

Я уж жалел, что был с ним откровенен,
Хоть он и оставался неизменен.
Ну, словом, наступили дни иные,
И стал он для меня — как все другие.
Я убедил себя, что он совсем
Застыл в недвижности. А между тем
Он должен бы, как я, вперед стремиться,
Чтобы творить... Я начал даже злиться.
И как других я прежде обличал
И мерку святости к ним прилагал,
Так начал я и к другу относиться...
Коль он как все — того ж, мол, и достоин.
Лишь я один совсем иначе скроен.
Так дружба наша и сошла на нет.
Во мне едва ее остался след.
Он, думаю, меня не забывает,
Да ведь ему и Время не мешает,
Оно над ним совсем не знает власти.
А я... Да разве сам я очень рад?
И чем, скажите, тут я виноват?
Не разорваться ж для него на части!

Но о любви он больше понимал,
Чем понимал и знал о ней тогда я.
Я проповедовал любовь к Тому,
О Ком мы с другом столько говорили.
Я утверждал, что всё отдам Ему,
И думал, что люблю Его... Не зная,
Что ведь Любовь.... она совсем как боль:
Уж если есть — о ней не забываешь.
Тебя живит она и ест, как соль.
Ее ни с чем иным и не смешаешь.
Но, кажется, я понял — здесь, не там! —
Как обижал я Время и Того,
Кто в дальний мир, на свет, послал меня,
Послал не для судящего огня,
Не для боренья с волею Его...
В меня любви Он искру заложил,
Любви, которою Он сам любил,
Во дни, когда был в мире, между нами.
Я искру не разжег в святое пламя...
Но если сделать это я не мог,
То почему же Он мне не помог?
И вот, я здесь...

Но кончил я рассказ.
Боюсь, что очень утомил он вас.
Я знаю, — приблизительно, конечно, —
Какой вы можете мне дать ответ.
Соседу моему — с каким укором,
И как жестоко, — вы сказали "нет".
Но я другой. Так будьте же сердечней,
Не убивайте вашим приговором,
Я сам к себе достаточно суров,
И тяжек здешний каменный покров.
Здесь сидя молча, и один, во мгле,
Значение проступков на земле
Я, может быть, преувеличил сам...
Зачем же нужно делать это — вам?
Подумайте: а если я поверю?
Перенесу ль последнюю потерю —
Последнюю надежду — на прощенье?
А это всё единой цепи звенья...»
Дант слушал океанца, стиснув губы,
Потом сказал ему, немножко грубо:
«Мой милый друг, напрасны просьбы эти.
Еще не лгал я никому на свете.

Ужель вам первому, в аду, солгу?
Коль не желаешь слушать — так не слушай,
Закрой свои всеслышащие уши,
Но правды не сказать я не могу.
Ведь ты еще не понял ничего!
Ты слово повторяешь: "Я обидел
Того иль тех, но зло я ненавидел..."
Ты обижал — а знаешь ли, Кого?
И слова понимаешь ли значенье?
Нет, цепь твоя цела, все целы звенья...
Когда кого-нибудь мы обижаем,
На свете мы страданье умножаем,
И тем еще страдание Того,
Кто до сих пор страдает — за тебя.
Когда обиженный ребенок плачет,
Ты знаешь ли, скажи, что это значит?
Его обидел ты — и для себя.
А ты Иного обижал — тем паче.
Подумай сам: могу ли не сказать я,
Как это всё, — твой холод и проклятья, —
На души неповинные легло?
Иль ты не ведал, как им тяжело?
Нет, не сурово это искупленье
Твоих неисчислимых преступлений,
Оставивших зло́вещие следы
На душах многих... Да и на твоей.
Еще не понял ты своей беды:
Черна вода, а всё же и под ней
Не угасает твой огонь не жгущий, —
Ожесточающий сердца живущих.
Ты не дошел до своего предела,
Тебе осталось здесь немало дела,
Ты — с лаской вспоминаешь о себе;
О прошлой жизни, о своей борьбе
Ты говорил почти что с умиленьем...
И тут же всё мечтаешь о прощеньи.
Не верю, чтоб душа твоя посмела
Отречься, отойти от всех надежд, —
Последних человеческих одежд, —
А ведь должна! Ее прямое дело —
Всего совлечься, до пылинки снять,
И быть готовой вечно умирать.
А к жалости напрасно не зови:
В тебе самом ее немало было,
Не жалости одной, но и любви.

Но на земле, такой тебе постылой,
Кого ты истинно жалел — любя?
Вся жизнь твоя — лишь самолюбованье,
Вся жизнь твоя — великое страданье,
Но не твое страданье, а Того...»

Тут, Данта не дослушав, собеседник,
Вскочив на кучу, бросился стремглав
Во встречную, высокую волну,
И с криками: «Неправ! Да, я неправ!» —
Тотчас же погрузился в глубину.
Дант проворчал: «Ну что за привередник!
Не вынырнет ли он? Я подожду.
Нехорошо же, если так уйду».

Тот вынырнул, крича свое: «Неправ!
Не надо мне прощения! Клянусь,
К себе я прежнему не возвращусь!
Прощений не хочу, боюсь, боюсь!»

А Данте рад. Ведь сердце-то не камень.
Заслышав искренность какую-то и пламень
В далеком голосе, он крикнул вслед:
«Не бойся! Он простит! Он всё прощает!»

Прислушался: что ж он? Ответа нет.
Волна вернулась: нет его в волне.
Опять прислушался: не отвечает.
Еще волна — лишь пена на гребне.
«Остался, очевидно, в глубине, —
Дант бормотал. — Я слишком резок был,
Меня как будто он же заразил,
И принялся и я за обличенье...
Ну нет, благодарю, мое почтенье!
Пожалуй, первый-то куда похуже,
Чем этот... Был же с тем я мил?..
Какая тьма, однако... Да и лужи.
Тут самому себе не будешь рад.
Да, поживи-ка в эдакой стране!»

Опять волна. Он отступил назад
И прислонился к каменной стене,
Напрасно в темноту вперяя взор...

Сердился на себя за разговор.

III
ТЕНЬ

Всей этой тьмой, подземными жильцами,
Дант понял наконец, что утомлен.
«Достаточно поговорил я с вами!» —
Сказал себе он, направляясь вон.
Но выход-то из подземелья — где же?
Где узенькая щелочка в камнях,
В какую он тогда пролез? Всё те же
Кругом и волны с дымом на гребнях,
И та же мгла, не гуще и не реже.
Но сердцу Данте незнаком был страх.
И он немедленно пустился в путь,
То вплавь, а то по черноте шагая:
«Найдется эта щель когда-нибудь!
Не эта щелка — будет и другая!»

Не находилась, впрочем, никакая.
Лишь ноги вязнут в кучах черноты,
Да молнии в глазах от темноты.
Вдруг что-то запищало у него
Под правою ногою. «На кого
Я наступил? — И Данте рассердился. —
Вот не было напасти! Лягушонка
Я раздавил, а то еще ребенка?
Да, впрочем, здесь не может быть ребят,
Ведь как-никак — а всё же это ад».
Чтоб рассмотреть, что там, — он наклонился,
Не увидав, конечно, ничего.
А что пищало — больше не пищало,
Оно — и Дант немало удивился —
Совсем обычным голосом сказало:
«Мой милый, не ищите. Никого
Не раздавили вы. Я — существо,
Которому не сделаешь вреда.
А вот у вас, пожалуй, и беда:
На свет хотите выбраться. Напрасно!
Не так легко. Но я могу помочь.
Я знаю здешние места прекрасно.
Сейчас и мне уж надоела ночь».

Дант усмехнулся: «Коль вы здешний житель,
Так надоело вам — не надоело,
Здесь никому до этого нет дела.
Сюда попали — значит, и сидите».

Но существо спокойно возразило:
«О, я не тот, с кем ваша болтовня
Рассеяла, забавила меня.
Как хороши вы были, укоряя,
Обоих напоследок утешая,
А сами толком ничего не зная!
Моя позиция — совсем другая:
Я здесь повсюду без препон гуляю.
Вот и сюда порою захожу...
Но больше ничего вам не скажу.
А вон хотите? Следуйте за мной.
Иль оставайтесь. Мне, ведь, всё равно».

«Нет, нет! Иду!» — воскликнул Дант, спеша
За белой Тенью, что теперь, из вод
Поднявшись, двигалась легко вперед.
«Должно быть, это чья-нибудь душа, —
Подумал Данте. — Как она стройна,
Как движется, по черноте скользя!
Хотел бы знать, однако, кто она?»
«Вы любопытны, — вдруг сказала Тень. —
Здесь мыслить тайно ни о чем нельзя,
И ваши мысли мне ясны, как день.
Те двое исповедались пред вами, —
Могли бы утолиться вы словами».
—«Мне ваша исповедь и не нужна, —
Ответил живо Дант, идя вперед. —
Но слышали вы мысль мою... И вот
Лишь на одно ответьте, если можно:
Вы — женщина? Вы "он" — или "она"?»

Ответа нет. И Тень скользит безмолвно
По дымно-черным подземелья волнам.
Лишь вдолге, обратя на Данте взор,
Проговорила: «Что за разговор!
Здесь слово лишнее — неосторожно,
И надо знать, что важно — что ничтожно.
Но имя предка вашего я чту
И для него молчания черту
Переступлю, на ваш вопрос ответив.
Ответ мой прост: не знаю».

«Невозможно!» —
Воскликнул Дант. И тут же, не заметив

Какой-то кучи, в воду соскользнул
И в океане чуть не утонул.
Но выбрался. И тотчас к Тени снова:
«Сказали вы: "Не знаю". Что за слово!
Вы были же и на земле, а там...»
—«Там, на земле, я женщиной считался.
Но только что заговорю стихами,
Вот как сейчас, сию минуту, с вами,
Немедленно в мужчину превращался.
И то же в случаях других... Как знать
Могу, кто я? И было так до смерти.
Хотите верьте мне, а то не верьте...
Но я другого не могу сказать.
Не отставайте, мы почти у цели.
Вы видите полоску — свет из щели?
Но если сквозь нее вы не пройдете
Немедленно, тотчас же вслед за мной,
Нигде меня вы больше не найдете,
Ни выхода, оставшись за стеной».
—«Пройду, пройду!» Хоть Дант был очень строен,
Вглядевшись, чувствовал, что не спокоен:
Уж очень эта щель была узка —
Белела, как черта, издалека.
Хотел подумать: «Ей-то что за дело!
Скользнет... На мне же, как-никак, а тело!»
Но не подумал. Не желал. Как знать,
Вдруг мысль его услышится опять?
Черта на камне темном всё белела...
Скользнула Тень в нее — и тотчас вслед
Дант кинулся, уж не жалея тела,
Не думая о том, пройдет — иль нет.
Но щелка раздалась, как будто... Свет!

Хоть оказался он не очень ярок —
Для Данте и белесый, как подарок.
А Тень? Ах, вот. И на свету светла,
Чуть контуры другие приняла.
Но на лице туман какой-то лег,
И Данте рассмотреть его не мог.
«Я очень рад, что выйти вам помог, —
Сказал приветливо вожатый странный. —
Когда б не имя ваше... Но теперь
Простимся. Я иду в другие страны.
А вы — всё прямо. Низенькую дверь
Вы встретите. За ней ступени...»

—«Я знаю их, — Дант перебил. — Но Тени, —
Столь благодетельной, — чем отплачу?
От вас так сразу не уйду я прочь,
Мне надо, — чувствую, — и вам помочь.
О предке вы моем упоминали,
И я — его достойным быть хочу.
Вы что-то слышали о нем, иль знали...
В чужой душе читать я не умею,
Но вы умеете, и я вас смею
Просить: взгляните, видите, что я
Готов на всё, и что душа моя
Не может вас покинуть без оплаты.
Я вас уже люблю, люблю как брата...
Куда идете вы опять? Зачем?
О, если бы мне знать — хотя бы это!»

«Для вас, пожалуй, тут и нет секрета,
И вы меня растрогали совсем, —
Сказала Тень. — Но я не вижу, право,
Что вы могли бы сделать для меня.
Да, предка вашего близка мне слава,
И в вас есть что-то от его огня.
Где мы стоим сию минуту — путь
В Чистилище. Туда я захожу
Не в первый раз! И там не нахожу
Кого ищу. Найду ль когда-нибудь?»

«Я догадался! — Дант вскричал. — Я знал!
Вы ищете кого-то здесь, в аду.
В Чистилище хоть я и не бывал,
Да уж туда сегодня не пойду.
Но вы позвольте мне вас проводить
Не до дверей, а хоть бы часть пути.
Навязчивым я не хочу прослыть,
Но не могу же так от вас уйти!»
И вот идут они, вдвоем, и рядом.
Дорога тихая. Не пахнет адом.
Дант удивлен: «Который это круг?
В других бывал я: шум и крик всегда.
А здесь такая тишина вокруг!»
—«Здесь шума не бывает никогда, —
Тень отвечала. — Так, должно быть, надо,
Чтоб путь в Чистилище был тих. И ада
Чтобы не помнили идущие туда.

Но вы не знаете, как длинен он!
Столетий семь, по-вашему считая.
Иной, что адом слишком удручен,
Идет — и падает, не достигая».
Был Данте этим тоже удивлен:
«А как же вы, не раз...» — «О, надо мною
Не знало время и малейшей власти,
Ни здесь, в аду, ни на земле. Отчасти —
Другие говорили мне, — к несчастью,
Что горько ничего не забывать,
Как детища не забывает мать.
Чувств матери, положим, я не знаю...
Я просто ничего не забываю.
Вот потому просил так горячо я
Мою Терезу и других святых,
Чтоб мне послали что хотят другое,
Но лишь не то, что было — и недаром! —
Моим предчувствием, моим кошмаром...
Чтоб не осталась на земле одною
Моя душа. Просил я о надежде
Уйти с земли, ее покинуть прежде,
Чем тот, кого душа моя любила,
Чем тот, которого теперь ищу...
Но укорять святых я не хочу,
Ни тех, моих, и никаких других:
Ведь, может, было то не в воле их.

Поймите же: я был всегда не сущим,
А если попросту сказать — ничто.
Лишь в нем одном жила душа моя.
Когда ж ушел, кто жизнь мне был несущим,
Я на земле лишился бытия.
Другие этого — что я никто —
Там, на земле, конечно, не видали.
И разные мне имена давали.
Моя ж душа была к себе строга.
И вам, пожалуй, я открыть готов,
Как звал себя я, без высоких слов:
Мое простое имя — пустельга».

«О нет, о нет! — воскликнул Дант тревожно. —
Какая пустота в душе возможна,
Какая пустота — и в вашей, строгой! —
Когда идет она такой дорогой

Страданья и любви? Нет, не пустая,
Она полна, и, может быть, до края!»

Но спутница как будто рассмеялась:
«Все вы, земные, — вечно не о том!
Спросите лучше, как я жил потом,
Что на земле еще со мною сталось.
Не исповедуюсь я вовсе вам,
Суды мне ваши тоже не нужны,
Но имя Данте... Помню я, как там
Мы повторяли имя и горам
Флоренции, родной его страны...
Быть может, говорю я слишком много
И осторожней было б помолчать.
Но так тиха в Чистилище дорога,
И я как будто с ним... и там... опять.
Но он ушел. Давно? Вчера? Сейчас?
Не знаю. Только я не мог понять,
Хоть размышлял об этом много раз,
С какою целью, для чего мне дан
Остаток этих дней моих земных?
Не видел смысла никакого в них.
Иль справедливость высшая — обман?
И для чего испытывать мне ту
Неизъяснимую словами тошноту...
Ее все знают в черном океане,
А я узнал ее вверху, заране...
Однако, я привык еще при нем
Бессмыслие и случай отрицать.
И в отраженном бытии моем
Пытался смысл какой-то отыскать.
Был друг у нас. Иль полудруг. И он
Был постоянно чьею-то заботой —
Не знаю почему — но окружен.

Не стоил, мнилось, он ее. Но сон
Привиделся тогда мне очень странный,
Не ясный сон, не сложный, но туманный.
В тумане словно говорил мне кто-то:
"Больные не останутся одни.
Нуждаются в заботе лишь они".
Проснувшись, я подумал: если прочь
Мой полудруг не отошел совсем,
Не велено ли мне ему помочь?

Но я, ведь, сам не знаю, как и чем,
И тоже болен, да и что могу?
Никто не будет слушать пустельгу.

"Ах, бросьте спорить, ничего не зная!"
И там никто не знал, что пустельга я.
Не получил даров я никаких,
Лишь дар любви. Но вот, порой, играя,
Нарочно сам выдумывал я их
И приводил тем многих к заблужденью.
Я внял, однако, сонному веленью.
Ведь человек-то все-таки был болен:
У тела своего он жил в неволе,
Но жил, не думая об этом плене
И не стремясь нимало к перемене.
Я ласково с ним речи заводил,
С терпением, с любовью говорил,
Он и не слушал. Думал о другом.
О чем? Как знать! О чем-то о своем.
Еще трудней мне было оттого,
Что я, ведь, знал: он не любил того,
Кого уж не было. Оттолкновений
От нас обоих он и не скрывал:
С трудом он нашим воздухом дышал,
В грош никогда не ставил наших мнений.
Конечно, я ему и не помог.
Он только сам себе помочь бы мог,
Когда б любить и верить мне посмел...
Но дар любви он извратил давно
И верил, что таков его удел...
Да уж теперь и это всё равно.
Итак — не удивлю, конечно, вас,
Сказав, что боль моя, мои страданья,
Мое усилие, — и в этот раз, —
Всё разбивалось о его молчанья,
Как волны океана об утес.
Не видел он ни моего страданья,
Ни братской нежности моей, ни слез.
Я до конца исполнил повеленье,
Весть о конце мне новый сон принес.
Но не о нем, а о другом виденьи.
Мне хочется вам, Данте, рассказать,
Прервав повествованье на мгновенье.
Об этом рано вам еще и знать,

И вы меня, конечно, не поймете...
Однако же — вам это передать
Хотел бы я, в моей о вас заботе.
И так дрожит сейчас душа моя...

Послушайте же, раньше чем уйдете.
На всей земле, должно быть, он — да я,
Одни мы знали тайну — без названья,
Закрытую еще для бытия.
Вот оттого, от этого незнанья,
Нет у людей и слова для нея.
Все имена — не то: любовь, страданье...
Неловко — иль предчувственно — ее
Мы, между нами, "сверх-любовью" звали,
А "нежность братскую" (названье чье?)
Уж люди и совсем не понимали.

Доныне скрыто от сердец и глаз,
Что где-то там, в тысячелетней дали,
Такое чувство посетило раз
Земное сердце... Как благоуханно
Цвело оно в тот незабвенный час!

Я говорю о сердце Иоанна
Святою ночью... Милый Данте мой,
Слова мои вам кажутся туманны,
Вы их забудете, придя домой,
И это хорошо. Ведь раньше надо
Пройти вам путь борения с судьбой...
Но после, знаю, будете вы рады
На этой тайне сердцем отдохнуть,
Коль суждена вам светлая отрада
Понять мои слова когда-нибудь.

Вас отступленье, верно, утомило, —
Ему — конец. И кончен был мой путь.
И вот, сама та благостная сила,
Что так заботливо его хранила,
Увидела, как тщетно мучусь я, —
И от земли меня освободила,
Чтоб успокоилась душа моя.
За послушанье же дала награду:
Позволила везде гулять по аду,
Искать того, кого с тех пор ищу,
И с ним остаться, если захочу.

А полудруг — свободней без меня
Стал жить, свое оберегая тело,
И всё примернее день ото дня. —
Заботы отдал он ему всецело,
Однако, всё ж его не уберег,
И, кажется, через недолгий срок
Как я, был тоже от земного взят,
Хоть этому и вовсе был не рад.
Вы знаете его: ведь он тот первый,
С кем рассуждали в океане вы.
Он вам порядочно расстроил нервы,
Но вы не потеряли головы,
А хорошо утешили, я знаю...
Я в подземельи изредка бываю,
Как раз его я там и навещаю,
Но непременно в виде старушонки...
Он любит так... Ну что же, ничего!
Ведь очень я всегда любил его,
А он теперь невиннее ребенка».

«Да, а другой? Я так несправедливо
С ним говорил, и это, право, жаль...»
—«О, не беда, — Тень возразила живо. —
О нем напрасная у вас печаль.
Его я знаю — и отлично — тоже.
Мы как-то на земле дружили с ним.
Ему полезен ваш урок... Похоже,
Что лишь со мною на земле одним
Он мог дружить. Он очень избалован,
Всем нравился, и льнули все к нему,
А он ни мне не верил — никому, —
И странно жил, как будто зачарован, —
Но он хороший. Помните ответ,
Который бросили ему вы вслед?
Его он слышал, очень понял верность,
Ему уж легче претерпеть Безмерность...
Вы не обидели второго друга.
А знаете ли вы? У нас нет круга,
В каком бы места не было надежде.
Иначе было — говорили — прежде...
Теперь не то, и ад уже иной...»

Дант слушал невнимательно. В забвеньи
Каком-то странном, и почти в смятеньи

Остановился вдруг. Прервав рассказ,
Сказала Тень: «Как утомил я вас!
Пора, я вижу, милый Данте мой,
Пора вам, наконец, идти домой.
Простимся здесь...» Но Дант, в своем волненьи
И этого почти не услыхав,
Проговорил: «Есть у меня сомненье,
За вас какой-то непонятный страх.
Быть может, я, конечно, и неправ,
Но не уйду, пока, хоть в двух словах,
Вы не расскажете о том, кого
Искали здесь давно, во всех местах.
Ведь я о нем не знаю ничего.
Какой он был? Как прожил жизнь свою?
Хочу я правды всей — и беспристрастной,
Без имени, коль это вам опасно,
Лишь правда мне нужна. Не утаю,
Мне самому не всё еще тут ясно.
Его вы знали...»

«Мне ль не знать того,
С кем нерасстанно прожил я полвека
По счету вашему. Нет человека,
Который лучше видел бы его.
Пускай я думаю о нем, любя,
Умею правду знать и вне себя.
Вот правда: выпало ему на долю
Нести изгнанье, бедности неволю,
Но те богатые свои дары
Не исказил он, в землю не зарыл,
Пославшему сторицей возвратил.
Трудился он до самой той поры,
Когда был взят от жизни темноокой...
О, этот час, столь для меня жестокий!
Но обо мне не речь. Ушел достойно,
И с простотою, тихой и спокойной.
Он никогда и никому не лгал,
Да лжи как будто и не понимал.
Он славы не хотел и брал с улыбкой,
Считая, кажется, ее ошибкой.
Спокоен был, и страстен лишь в борьбе
Со злом, которое так ясно видел.
Его он гнал, забыв и о себе,
Его одно он только ненавидел.

Любил не многих. Но кого любил,
Тем до конца уже не изменил.
Был добр он добротою неприметной,
Так целомудренно ее тая,
Что, кажется, один на свете — я
И знал о черточке его заветной.
Еще: он веровал в Того и в то,
Во что теперь не верует никто
Там, на земле. И, знаю, даже вы,
Мой милый Дант, не верите, увы!
Сказал я всё, и, думаю, довольно.
Но почему душа у вас в смятеньи?
Вам кажется опять, что я невольно,
Любви покорный, как-то лицемерю?»
Но Дант, дрожа, вскричал: «Я верю! Верю!
Обманутой могу ль не верить Тени?
Которая ее приговорила
Всегда искать — но так, чтоб не найти!
Недаром я не мог от вас уйти!
Пускай я дерзновенно говорю —
Мои слова пред всеми повторю!
Пусть грех падет на голову мою...
Вы думали, что это вам в награду
Позволено искать его по аду?
А вам позволено ль искать — в раю?»

Тень вздрогнула, как будто бы впервые
Услышала она слова такие.
И даже что-то изменилось в ней:
Весь облик стал и легче, и нежней,
И был теперь уже не бел, а розов.
Вот-вот заговорит, казалось, прозой
И станет женщиной. Однако, нет.
Лишь, розового не меняя цвета,
Сказала: «Отчего-то это
Не приходило мне еще на ум.
Как странно! Было, ведь, немало дум.
Два раза шел, и даже не случайно,
Я мимо рая. К белым воротам
Меня влекла несознанная тайна.
Уж видели и тамошние дети,
Но тут старик, опять рукой грозя,
Мне закричал: "Тебе туда нельзя!" —
Два раза так. Ужель пойду и в третий?»

В восторге Данте закричал: «О да!
Но в третий раз пойдете вы туда
Не так, и не один — со мной вдвоем.
Старик не зол, не думайте о нем,
Обоих нас он не прогонит прочь.
О, знал же я, что вам могу помочь!
Идем скорее. Где дорога?» Тень,
Однако, покачала головою:
«Теперь нельзя. Домой теперь идите,
Сейчас у вас еще покуда день,
Но дверь запрут. Ее я не открою,
И вы в аду, пожалуй, просидите.
Нет, вы за мною после приходите».
Дант сдвинул брови: «После? Но когда?»
—«Я времени не знаю. Всё равно.
Не знаю, что сегодня, что давно.
Когда успеете... и захотите».
—«О, захотеть... Но где ж я вас найду?
В последний круг я больше не пойду».
—«Я тотчас знаю, кто по ступеням
Спускается неосторожно к нам.
Мы встретимся... Но только знайте, верьте:
Всё это может вам грозить и смертью».
Но Дант опять на спутницу взглянул
Заботливо, серьезно и любовно,
И руку ей, как равный, протянул,
Сказав: «Отвечу я немногословно:
Алигиери именем клянусь —
Что я для вас и смерти не боюсь!
Приду, приду...»
И так они расстались.

IV

РАЙ

<1>

Intermezzo

«Как захотите — вот и приходите», —
Сказала Данту, с ним прощаясь, Тень.
О, если так, и дело в «захотите» —
Идти хотел он на другой же день.
«Но почему прибавила туманно:
"Когда успеете"?.. — Вот это странно!

Ведь времени-то вовсе нет в аду...
Да что тут думать? Завтра и пойду», —
Решил он твердо. Был в решеньях смел.
Их взвешивать — не то что не умел,
Но если общий план казался строен —
Себя не утруждал, и был спокоен.
И вот, мечтая о грядущем дне,
Уж видел он и стертые ступени,
Что в ад спускаются. А там, на дне,
Он видел, как идет навстречу Тени,
И как вдвоем идут они туда,
Где он доселе не был никогда,
Но будет завтра с нею... «Что сказать
Привратнику? Он может помешать,
Как помешал не раз, — два раза, — Тени...
И всё ж я поклялся́ — и мы пойдем!
Не я один, и не она — вдвоем!»
Дант делал множество предположений:
«Да вот: я попросту скажу ему,
Что к родичу пришел я своему.
Что он давно уж посылал за мной,
Он хочет повидаться, да и с той,
Которую я тоже взял с собой.
С ним сговоримся вмиг... Он даст совет...
Да, хорошо... А если вдруг да предка,
Столь славного, — пока еще там нет?
Вдруг он еще в Чистилище? Нередко
Ведь там сидят по пять и шесть столетий,
Пока не станут чистыми, как дети...
У предка ж знаменитого грехов
Немало было... Вот и не готов.
Не Дон-Жуана ль вызвать? О, скандал!
Его-то уж наверно не видал
Никто по тем местам, и не увидит.

Его привратник, верно, ненавидит...
Но — еврика! Нашел я наконец!
Я вызову синьору Беатриче.
История двух любящих сердец
Известна мне. А Беатриче — там,
Об этом предок мой поведал сам.
И хоть в лицо синьоры я не знаю,
Меж душами не много, ведь, различий,
И эту Биче тотчас угадаю.

Заступится она, и за ограду
Пройдем мы с Тенью, что одно и надо.
А там...» Он не додумал, засыпая
В мечтаниях о завтра и о рае.

2

Но это «завтра»... На него недаром
Ни рифм, ни ассонансов даже нет
(Что знает самый маленький поэт).
Без всякой связи с днем «сегодня», — старым, —
Оно готовит новый, свой, привет.
Привет, как правило, всегда нежданный
И неприветливый, и нежеланный.
Мудрее не загадывать заране,
Чтоб «завтра» оставалось как в тумане.
В аду нет спешки: всё идет привычно,
Медлительно, и очень методично.
Столетия — и те в аду не прытки:
Не птицы, и не кони, а улитки.
Там неожиданного нет. Однако,
Здесь, на земле, случается и всяко.
Для мудрости был Данте слишком молод,
Но он стоял у самого преддверья.
Как иначе? Он знал уж адский холод,
И тьму. Он слышал голоса неверья...
Хоть многое ему и удавалось,
Но промахнуться все-таки случалось.
Тогда без жалобы, без лицемерья
Он в неудаче лишь себе винил,
А это очень прибавляет сил.

3

Вот так и утром, в тот же самый день,
Когда он с полной твердостью решил
Спуститься в ад опять, увидеть Тень, —
Он вспомнил вдруг... о чем совсем забыл,
Мечтаньями о рае очарован.
Забыл, что он... ведь он мобилизован!
А эти дни — он был лишь в отпуску.
Возможно ли, своим занявшись делом,
Такую вещь забыть, — и как посмел он?
Он чувствовал тяжелую тоску,

И даже стыд... Не пропустил ли срока?
Мог провести в аду, ведь, год он.
В волненьи, озабоченный глубоко,
Тотчас же бросился наш Данте вон.
Но, к счастью, не случилось ничего.
Должно быть, время сжалось для него,
И дни течения не изменили, —
По счету все остались, как и были.
И Данте вовремя пришел, как раз
В тот самый день и даже в тот же час,
Чтобы принять — он думал, искупленье
Вины своей — а принял назначенье,
И новое, которому был рад.
Он сразу позабыл и Тень, и ад.
Ему поручено святое дело,
И надо совершить его умело.
Италия... Она теперь такая,
Что не Флоренция, а вся родная.
Ведь Данте — летчик был, и очень ловкий,
Отлично знал воздушные уловки,
Уже имелось на его счету
Заслуг — да и порядочных! — немало.
Сбивал три авиона на лету,
А то и больше... Всякое бывало.
Когда он действовал, то времена
Немного, правда, были поспокойней.
Как жестоко горит теперь война!
Ну что ж, тем лучше, слаще и достойней
Тому, кто верный родине слуга,
Уничтожать и бить ее врага,
Храня Италию от разрушенья...

4

Вот Время, цепь свою сквозь жизнь влача,
Цепь, от которой нет у нас ключа,
Еще проволокло куда-то звенья...
О, как горит воздушная война!
Чем завершится, наконец, она?
Неаполь, Генуя... до Таормины —
Нет города, где б не было руины.
Не пощажен и вечный город Рим.
Где Данте наш? Уж жив ли он? Что с ним?
Он жив. За ним теперь уж целый ряд
Геройских подвигов... да и наград.

Сам Муссолини наградил его...
Но нам другое в Данте интересно:
Каким он стал? Что в сердце у него?
Конечно, чуждым это неизвестно,
Для них — лишь славный он герой. Но те,
Кто этого героя знал и ране,
Кто близок был живой его мечте,
Кто слышал разговоры в океане
И мог в Чистилище за ним идти, —
По тихому пустынному пути, —
И знать, какими увлечен он снами, —
Те догадаются о многом сами.
Вначале долг он исполнял беспечно,
Бесстрашно, жертвенно и безупречно.
Да, впрочем, так же делал и потом,
Когда беспечность уж иссякла в нем.
Он славою своей не дорожил:
Он просто — действовал. И просто — жил.
А жил теперь он днем и ночью — в шумах.
Притом в таких, каких никто и в думах,
В воображении, не представлял:
Различные — один в другой врывался,
Один в другой — и так наперерыв.
И с пулеметным стрекотом сливался
Упавших авионов острый взрыв.
И с диким лаем, в облака-подушки
Плевались ядрами в кого-то пушки.
И мерное жужжанье авиона
Не заглушало сдавленного стона.
И были это уж не шумы, — грохот,
Как пьяных дьяволов бесстыдный хохот,
Иль сатаны в проклятом вожделеньи...

Но Дант, как будто, не терял терпенья.
Всё так же он бесстрашен, горд и смел,
Всё так же точен, быстр его прицел,
Он бьет врага... И только всё суровей
Его глаза и сдвинутые брови.
Кому заметить было в тех местах,
Что он опять живет — в своих мечтах?
Мечты прямому долгу не мешали,
Казалось даже, в чем-то помогали,
Но в чем? Он этого не понимал,
Не зная сам еще, о чем мечтал.

Раз Данте опустился очень низко
К аэроплану, — он его и сбил, —
И увидал того, — но близко-близко, —
Кого он только что, и сам, убил.
Он в темной луже головой лежал
И, кажется, был жив еще, — дрожал.
Он был уже не враг, — он умирал.
И вот — душа у Данта пронзена
Не жалостью — а завистью престранной;
И мысль пришла ему, совсем нежданно:
«Едва пройдет минуточка одна —
Где был и я когда-то... там, в аду...
А я туда сейчас не попаду!»

Как много понял Данте в этот миг!
Ведь он в мечтания свои проник.
Он понял, что мечтает не о Тени,
Не думает он и о райском саде,
Что за сады! Мечтает он — об аде.
«Хоть океан! Пусть воет там волна,
Но в этом вое всё же тишина.
В других кругах бывают крики, пени,
Но с тем, что здесь, — какое же сравненье!
А этот длинный, семисотный путь
В Чистилище? Пустыня, тишь вокруг.
Вот где бы можно было отдохнуть!
И если б дали выбирать мне круг...»
Мысль ядовитая мелькнула вдруг:
«Ведь я бы мог и сам... Одно движенье,
Руль в глубину... Никто б и не узнал...»
Но тотчас Дант, с великим отвращеньем,
О смерти нарочитой мысль прогнал.
Не знал он, только чувствовал невольно,
Иль кто-то знал, — и в нем же, — за него,
Что там, за этой смертью самовольной,
Ни ада нет, ни рая — ничего.
А «ничего» не мог же Дант желать?
Для ничего не стоит умирать.

Однако, смертный жить без тишины
Не может, ни душа его, ни тело.
Ему на это силы не даны.
А если он, как будто, без предела
Выдерживать всего того не может,

Что делают и с ним, и он с собой, —
Пусть верит, что предел ему положат,
И каждому иной, особый — свой.
Всё понял Дант средь грохота, в огне,
И затаил в сердечной глубине,
Всегда такой таинственной и цельной.
Тогда приблизился и час предельный.
Отдача сил его была полна,
Душевных и телесных, — вся сполна.
Бесшумная, нежданная, без гула,
Вдруг молния какая-то сверкнула,
Мысль оборвав последнюю. И он
В такой бездумный погрузился сон,
Что будто и не думал никогда
И ни о чем. И будто без следа
Исчез он сам в волшебном этом сне,
В его святой, нездешней тишине,
Как на ночь мать целует, уходя,
Свое родное, милое дитя,
Так, с поцелуем, Время отступило,
С собою унеся что есть и было.

5

Возвращенье

Открыв глаза, увидел Данте: свет, —
И что-то незнакомое вокруг.
«Какой же свет, когда меня уж нет?
Иль это новый, неизвестный Круг?»
Но тотчас понял, в тяжком отвращеньи:
«Да это просто... просто возвращенье!»
И вот уже склоняется над ним
Лицо хоть доброе, но человечье.
Тихонько трогает его предплечье.
И чей-то голос говорит, с заботой:
«Однако, задали ж вы нам работы!
Но сильный организм. И если б вас
Сюда, ну скажем, хоть бы через час,
А не чрез шесть, ко мне бы принесли,
Вы скоро бы опять летать могли.
И эта бы рука...» — «Рука? Что с ней?»
—«Так, ничего. Ведь не болит сильней?
Не движется она у вас покуда.
Но вы пришли в себя — уж это чудо.

Рука поправится, не бойтесь. Только
Ей время нужно, и не знаю сколько.
Вот оттого и говорю: летать
Придется вам немного обождать.
Как понимаю вашей жизни стиль я!
Крылатым тяжело покинуть крылья.
Им на земле уж как-то скучно, душно...»
Но Дант ему ответил равнодушно:
«Нет, мне не скучно это, отчего же?
И по земле ходить люблю я тоже.
Ведь ноги-то мои, надеюсь, целы?»
—«О, совершенно! Можете вы смело
Начать прогулки с завтрашнего дня.
Но небольшие. Слушайтесь меня.
Ничем выздоровленью не мешайте.
Еще вы слабы. Лестниц избегайте».
—«Да, лестниц! Как не так!» Но лекарь вышел
И этих слов насмешливых не слышал.

6

В рай

Вот, наконец, опять, опять она!
Ее давно истертые ступени...
И сырость лестницы, и глубина...
Да, всё, как было, всё без изменений.
Боялся очень он, что не найдет
Случайно им тогда открытый ход.
Но всё на месте. Только Дант не тот.
Решимостью глаза его горят,
Он бледен, и рука на перевязке,
Но шепчет про себя: «Ну, это сказки!
Я Тени помогу — на то, ведь, ад.
Пусть встанут на меня все силы ада,
Я это дело кончу — и как надо».
Вот он спускается всё ниже, ниже,
Уж скользкими становятся ступени...
Где им конец? Казалось, что он ближе.
Иль это лестница не та, и Тени
Он, по условию, внизу не встретит,
На зов — упырь какой-нибудь ответит,
Сова, иль мышь летучая?.. Их там,
И даже здесь, так много по стенам
Висит уныло головами вниз...
Приятный, нечего сказать, сюрприз!

Да всё равно, назад не подыматься,
Хоть бы пришлось на лестнице остаться!

Решимость и была награждена:
Оборвались ступени — над провалом.
В провале не было заметно дна,
Лишь брезжила неясно серизна —
Как будто свет. И, не смутясь нимало,
Дант прыгнул к этой серости, в провал,
И очень ловко на ноги упал.
Повязка сдвинулась слегка с руки,
Но он решил, что это пустяки.
И, оглядевшись, увидал направо,
Как подворотня, низенькую дверь —
Чуть годную, пожалуй, для мышей,
Для душ бесплотных, но не для людей.
Но Дант сказал: «Уж не смешно ли, право,
Бояться узости? Прошел я в щель
Тогда, из океана... Неужель
Я не пролезу как-нибудь теперь
И в окаянную такую дверь?»
Он лег ничком, пополз... И вот, едва
Отверстия коснулась голова,
Как дверь высоко поднялась над ним
И стала дверью. Так что за порог,
Встав на ноги, шагнуть он мог.
Давно к удачам он привык своим,
И этому не очень удивился,
Как и тому, что за порогом Тень,
Знакомая, стояла перед ним.
Она — такая же, и розовело
В ней, сквозь туман, как будто бы и тело.
Дант, в радости, ей низко поклонился,
Сказав: «Какой удачный нынче день!
Идем скорее, кончим наше дело,
Привратника я вовсе не боюсь,
Но действовать нам нужно смело,
И оба мы туда пройдем, — клянусь!
Но поспешим. Здесь длинные дороги,
А у меня еще не крепки ноги.
Вы знаете, я мог прийти сюда
Не так, как приходил тогда,
А иначе, как и другие...» — «Нет! —
Сказала Тень. — Всей силою и волей
Я требовал, чтобы земной ваш свет

Вы не покинули теперь неволей.
Вы были на краю... Я не желал —
И вас моим желаньем удержал».
— «Но почему? — сказал он беспокойно. —
А я мечтал... Рвалась душа моя
Прийти сюда скорей, и сразу, вдруг...
И к этому был очень близок я.
Иль не устроили еще тот Круг,
Где поместиться мог бы я достойно?»

Они тихонько двигались вперед,
Куда-то дальше, влево от сарая.
Там снова опустилась эта дверь,
Что вверх взлетела, Данте пропуская.
«Про этот Круг я ничего не знаю, —
Тень отвечала. — Знаю лишь одно:
В каком бы круге вы ни оказались,
В таком или другом, но всё равно
Вы в этом Круге так бы и остались...
Пришедшим не как вы — запрещено
Круг, им определенный, покидать...
Вам это раньше надо было б знать.
Таких же, чтоб повсюду здесь ходили,
Из нас лишь двое: я, — да он, Виргилий».
—«Ах, вот что! Понимаю! Я вам нужен.
Я недогадлив. Право, я сконфужен.
Для этого меня в аду земном
Так бережно вы, значит, сохраняли?
Ну что ж, тем лучше, я приду потом...»
—«О Данте, Данте, вы капризны стали.
Ведь вы бы чувствовать должны прекрасно,
Что я люблю вас...» — «Да? Меня — иль предка?»
— «Нет, Данте, невозможно! Вы кокетка!
Вы избалованы, теперь мне ясно.
И все-таки вас нежно я люблю.
А споров, знайте, я не потерплю».

Но Дант уже опомнился. Смиренно
Прощения у Тени попросил.
Он неизменен. Да и неизменно
Его решенье. Полон новых сил.
Боится лишь, туда ль они идут?
Всё как-то очень незнакомо тут.
Какие-то всё пустыри, пески,
Болит рука, но это пустяки.

Вдруг Тень заметила на перевязке
У Данта темно-бурое пятно
И побледнела вдруг, как полотно.
Он сдвинул перевязь, тогда, в провале,
И выступила кровь из свежей раны.
«Что с вами, друг мой? Как бледны вы стали!
Я должен вам сказать, что наши раны...
Ну, словом, здесь (и, кажется, давно)
Показывать нельзя, запрещено,
Кровь человеческую адским сводам,
Как солнцу — на земле. Земным народам
Хоть это запрещенье и дано —
Да разве думают они о нем?
У нас, коль запрещенье преступаем,
Никем наказаны мы не бываем,
А сами же собой, и это знаем.
И вот, теперь, с таким на вас пятном,
Нам шагу дальше сделать невозможно:
Здесь, в пустоте, — и то неосторожно».
—«Но как же быть? — воскликнул Дант в смущеньи. —
Назад? Да ни за что! О, без сомненья,
Я не вернусь. А эта кровь — моя,
И за нее не отвечаю я».
(Заметим в скобках: Данте лишь сейчас,
В аду, о крови вспомнил в первый раз.
Положим, видел-то ее он мало:
Ведь там — орудие его стреляло
В летучую машину. А людей,
Что падали на землю вместе с ней, —
Сама земля же их и убивала.)

Тень вдруг проговорила: «Погодите,
Здесь место есть недалеко одно,
Песком забвения усыпано оно.
Я принесу песок. И если оба,
И я, и вы, — мы правы, и не злоба,
Не что-нибудь худое движет нами,
А только всемогущая любовь —
Тогда увидите вы чудо сами:
Сотрет песок забвенья эту кровь».

Скользнула прочь, и сразу — никого.
Но средь пустынных адовых низин
Недолго оставался Дант один:

Вновь спутник верный около него
И сыплет золотистое пшено
Забвения — на бурое пятно.
Смеется Тень: «Взгляните, где ж оно?»
Дант опустил глаза, взглянул несмело:
Но и следов от темного пятна
Уж не было на перевязи белой:
Как новый снег теперь чиста она.
«Идем, идем! Пред нами долгий путь.
Да ничего, придем когда-нибудь!»
Они идут, бегут... «Здесь поворот, —
Сказала Тень. — Направо будет грот,
А там, сейчас же, видите, за гротом
Идет дорога новым поворотом.

Нарочно он так незаметно слажен.
А он, меж тем, довольно-таки важен.
Ведь это вход, я знаю, в Пятый Круг.
Я был и там. Но вам понятно, друг,
Там были поиски мои напрасны;
И сам я это понимал... А вдруг?..
Жалел потом. Зачем мне безучастно,
Мне, полному заботою своей,
Глядеть на эту гущу, на несчастных,
Которые всё время тонут в ней?..

Там озеро, широкое, большое,
Но не вода в нем — а сплошной елей,
Иль масло из лампадок, прегустое,
И там-то я рассматривал их всех:
Они захлебывались маслом, — тех
Изменников, смиренников, что падки
Замалчивать свой были грех,
Всё время тепля разные лампадки.
Но истина — их нынешний удел
Не может им казаться очень сладким:
Купание в холодном масле тел,
Тяжелое ворочанье в елее...
Что может быть еще, скажите, злее?
И я ушел... мне слишком больно стало, —
Оставив в масле задыхаться их...
Да, всякое случалось, всё бывало
Со мной в скитаньях адовых моих...
Но вы задумчивы. Я не могу понять

Всех ваших дум, хоть пристально смотрю.
Должно быть, я напрасно говорю,
Что мысли всякие читать умею».
—«Я так хотел бы вам их рассказать,
Мой милый спутник, только не посмею,
Уж слишком спутаны они, неясны...
О чуде, о забвении... Прекрасным
Мне кажется забвенье иногда...»
—«А я, — сказала Тень, — его не знаю,
Да не знавал и раньше никогда.
Но не жалел, что память сохраняю,
Из прошлого крупинки не теряю...
А чудо, — иль не большее, — в прощеньи?..
(Ах, Данте, вы, — ведь вы мое забвенье,
Мгновенное от боли отвлеченье...
Но это в сторону я говорю,
И даже вам уже не повторю.)
Оставим это. Поскорей вперед,
Ведь нас нелегкая задача ждет».

И шли они, почти бежали, скоро.
Но в почве точно не было упора,
Так горяча, мягка была она.
«Под нами здесь пустая глубина,
Девятый Круг. Он на короткий срок.
Я был и там. Но там такая марка,
Что я и Тень — а выдержать не мог.
Едва войду — тотчас же за порог.
И для меня, для Тени, слишком жарко.
Оттуда их, по окончаньи срока,
В тот мглистый, черный океан бросают.
Они, конечно, тотчас замерзают».
—«О, как жестоко! — Дант промолвил с дрожью. —
Но что это? Идем по бездорожью?»
— «Да, нет дороги. Путь не обозначен.
Был план когда-то, ныне он утрачен,
Иль отменен. А вы за мной идите,
По сторонам не очень-то глядите,
Я вижу знаки, где он сделан начерн.
А о жестокости — о ней молчите!
О ней, о здешней, вам ли спорить с нами?
Девятый Круг, и океан, — всё сами
Жильцы понатворили для себя.
И все-таки, и все-таки, любя,
Им послана надежда на прощенье.

А там, у вас...

Не путайтесь в коренья,
Ведь этак даже и упасть легко.
Здесь травы цепки. Уж недалеко».
— «А отчего, скажите, пахнет медом? —
Дант неожиданно остановился:
— Тут пустота, каким же это родом?..
Почувствовав, я сразу удивился...»
— «А для меня здесь в воздухе сирень, —
Сказала, живо обернувшись, Тень. —
Вы любите его, должно быть, — мед?»
— «О да, и запах лип в цвету...» — «Ну вот.
Поэтому и дан вам запах меда.
У этих мест известная природа,
И это знак, что мы почти у рая.
Я не был в нем, но говорят, я знаю,
Что все там слышат, что кому дороже,
И видят это, и имеют тоже».
— «Какая странность! — путаясь в траве,
Заметил Данте. — Но и как прелестно!
Нельзя придумать более чудесно!
Ну как не закружиться голове?
Не знал подобных райских я примет:
Желанью сердца каждого — ответ!
Как мне хотелось бы туда пробраться,
Но чтоб уж навсегда там и остаться!»
—«Вы можете, но только надо прежде
Вам на земле так жить и так хотеть
Лишь этого, чтоб вы могли, в надежде,
Светло и непорочно умереть.
Но бросим наши рассужденья. Вот
Я вижу арку белую ворот.
Ворота широки — но узок вход».
Дант, в восхищеньи, громко закричал:
«А розы чайные! На мед похожи!
Ворота белые я вижу тоже».
—«А старика? — спросила Тень. — Он спал?»
— «Как будто — да. Но вот, теперь проснулся
И, кажется, на нас он оглянулся».

Они, уж не спеша, пришли к воротам.
Старик поднялся грузно с камня: «Кто там?
А, эту мы уже видали штучку!
Два раза дал тебе я нахлобучку.

Скажи, ты Пустельга?» На это Тень
Лишь головой кивнула. «Знай, ноги
Не будет за Вратами Пустельги!
А это кто? — Он указал на Данта. —
Я этого еще не видел франта».

Дант, посмотрев, проговорил серьезно:
«Подумай, надо ль говорить так грозно?
Мы вместе, да... Я Дант Алигиери,
Я правнук Данта, что у вас уж был, —
Наверно, этого ты не забыл, —
А то так на слово прошу мне верить.
Он был, ушел, теперь у вас опять,
Его хочу я очень повидать.
Пусти меня и спутника вдвоем,
Мы иначе, как вместе, не войдем.
Я в первый раз пришел, она — уж в третий,
Ее уж видели вот эти дети,
Которые глядят из-за кустов,
Что вместо роз цветут теперь сиренью...
Ужели ты ее отгонишь вновь?
Не пустельга. Узнал ее я тенью,
Но имя подлинное ей — Любовь.
Открой же нам скорей. Довольно слов».
Старик лишь головою замотал
И ключ тяжелый крепче в пальцах сжал.
«Уж тут ли он? — шепнула Тень в смущеньи. —
И ваше, может быть, предположенье...
Я так боюсь! Но верить всё ж хочу,
Что здесь он... Тот, которого ищу...»
Вдруг из кустов сиреневых раздался —
Из тех кустов, что ограждали рай, —
Неистовый, но очень тонкий лай.
Он визгом радостным сопровождался,
Царапаньем, и даже подвываньем.
И был он полн великим ожиданьем.
Тень вскрикнула: «Да это ведь она!
Собачка-Булька, милая моя!
Теперь мне ясно: здесь он, знаю я!
Она бы не осталась тут одна.
Она любила нас — осталась с ним,
Раз нет меня — так хоть из двух с одним.
Теперь почуяла меня, зовет...»
Старик вскочил, и мечет он и рвет:

«Да что это? Да что это такое?
Собака — здесь! Вот наважденье злое!
Откуда пес? Откуда, от кого?» —

И вдруг замолк он сразу. Отчего?
Как будто не случилось ничего,
Лишь ветер нежно шевелил кустом.
Но ветер говорить со стариком
Умел ему понятным языком.
И на слова: «Откуда этот пес?»
Прошелестел: «Его привел Христос».

«Так что ж, старик, откроешь или нет? —
Сказал Алигиери, уж суровей:
Огонь в глазах и сдвинутые брови. —
Искать ли нам здесь на любовь ответ?
Иль в этом месте не дают ответа?
Тогда скажу я, правды не скрывая,
Что нет и не было еще здесь рая.
Смотри, старик, ты не хранишь завета —
Его ты слышал сам из уст святых:
Для любящих — иль ты забыл про это?—
Все двери открываются для них!
Ты видишь, даже этот малый песик,
Что из кустов просовывает носик,
И в нем любовь. И как она светла!»
Собачка будто бы и замолчала,
И, нежным взором обменявшись с Тенью,
Глаза на старика перевела
И на него тихонько зарычала.

«Я больше убеждать тебя не буду, —
Прибавил Дант. — Но знай, что я войду,
И вместе с ней. Любовь ее зовет.
Когда же там она ее найдет,
Найдет, — кого ты знаешь! — я уйду,
Она — останется. Приду опять,
Но часа этого я не забуду.
Я ничего не смею забывать,
И слову не умею изменять».

Старик поднялся, с пояса снимая
Заветный ключ, и, медленно шагая,
Ворчал: «Гляди, наговорил-то сколько!
Уйду... приду... останется... А только

Коли беда — она уж не одна.
Как ей остаться, коли тень она?
Здесь нет теней. У каждого есть тело.
Ну, не такое, — ткнул опять на Данта, —
Как у тебя, у пришлого гиганта,
Получше, малость... А она хотела...»
—«Да замолчишь ли ты! Не рассуждай!
Забыл от старости — любовь всё может!
Она и тело даст, она поможет!»

Взглянул на Тень: совсем порозовела,
Как будто было у нее и тело.

Старик опять: «Беда с таким народом...»
—«Довольно! — крикнул Данте. — Открывай!»
Ключ зазвенел. Открылись двери в рай,

И Данта обняло его дыханье;
Дышал он цветом липовым и медом...
Они вошли...
А дале, по незнанью,
Как встретил рай обоих, Данта с Тенью,
С какими свиделись они святыми, —
Мне надо нового ждать откровенья.
Пока ж молчу. Лишь помню, что за ними
Закрылись двери белою сиренью.

<2>

ТЕРЦИНЫ

I

Вот новый Дант в последний Круг пробрался,
Один, без спутника — он очень смел,
Да и вверху — чего не навидался!

Едва на подземелье посмотрел,
Как, одного из тамошних заметив,
Без церемонии к нему подсел

И, очень вежливо его приветив,
Затеял с ним, — на это был он скор,
Особенно внимание приметив, —

По-дружески тотчас же разговор.
Верней — стал вопрошать его прилежно.
Тот поднял на него потухший взор,

Проговорив, не очень, впрочем, нежно:
«Вы сверху, да? Оттуда к нам давно
Никто не приходил. И дух мятежный

Земли забыл я. Впрочем, всё равно».
«Я знаю, — Дант ответил. — Расскажите,
Что здесь такое? Почему темно?

И почему вы на волне сидите?
Мне быть во тьме случалось иногда,
Но холод здесь... А вы и не дрожите,

Как будто это вам и не беда.
Всё волны, волны... Нет почти что суши.
В таких местах я не был никогда.

Кругом черно, черней китайской туши,
Я, как вошел, — чуть не ослеп совсем.
И вы здесь не один. Всё это — души?

Не понимаю также я, зачем
Вы на волне всё той же, мглисто-черной,
Не очень-то спокойны. Между тем

Качанье ваше мерное упорно,
И кажется порою мне оно
Как будто бы довольно тошнотворно».

«Я не умею, не смеюсь давно, —
Ответил тот, качаться продолжая. —
А то, пожалуй, было б мне смешно,

Что будто вы, и главного не зная,
Вопросы ставите как наугад.
Ведь вам известно же, предполагаю,

Что это место, по-земному, — ад.
По-здешнему — Безмерность. Океану
Подходит это больше во сто крат.

По крайней мере, точно, без обману:
Нет времени у нас, и меры нет.
Я тоже вас обманывать не стану,

Могу ли дать, да и какой ответ?
Нельзя же спрашивать, *зачем* в аду я,
Иль *почему* не выхожу на свет?

Другой бы вам ответил, негодуя,
Но я отвечу попросту: не то!
Я не взял это за насмешку злую,

Хоть не сидит в аду *зачем* — никто.
Вы лучше бы не так меня спросили:
Сидите, мол, в аду, во тьме, — *за что?*»

Дант отвечал: «Мои вопросы были,
Я вижу, неудачны. Предлагать
Не буду их. Но если вам усилий

Не много стоит просто рассказать,
Что можете, как сами захотите,
И что считаете, что можно знать

Мне и про вас, — за что вы здесь сидите, —
Да и про то, что здесь у нас вокруг,
Меня вы этим очень одолжите.

Когда во тьме я очутился вдруг —
Соображенье у меня застыло...
Но верьте мне, я говорю как друг...»

«Земное слово "друг" мне слышать мило, —
Сказал подземник. — Я вам расскажу
Историю мою, и всё как было.

Я часто сам ее себе твержу.
Вот, слушайте: за искаженье тела,
За лживую любовь я здесь сижу...»

Так начал он уныло и несмело:
«Я сам готовил этот океан,
И тьму себе, и мглу — за то же дело.

Ах, да за мой умышленный обман,
За вечное себя им оправданье,
Я не таких еще достоин стран!

Меня спасти могло бы хоть незнанье,
Что делаю и почему, но я
Старательно гасил свое сознанье,

И в этой лживости душа моя,
Да в слабости, которой нет прощенья, —
Жила, от всех и от себя тая,

Что будет — неизбежно! — искупленье.
Ведь тело-то не мной сотворено
И было мне, как некое даренье,

На время только, по любви, дано.
Оно ж меня поработить сумело,
И так распоряжалось мной оно,

Что я хотел — чего оно хотело,
Но говорил — и было это ложь, —
Что я покорен своему уделу,

А от него — куда же, мол, уйдешь!
Как хочет плоть — так должен и любить я, —
Вот принцип мой. Не правда ли, хорош?

За эти-то дела — могу ль забыть я? —
Сижу теперь в холодной темноте,
За них, а также и за их прикрытье.

Не веря больше никакой мечте
И не жалея ни о чем нимало,
Ни о своей погибшей красоте...

Мне в океане всё яснее стало,
Мне надо было пережить удар,
И чтоб волна до тошноты качала,

За то, что посланный мне свыше дар
Я исказил... Да нет, гораздо хуже, —
Я просто сделал из него кошмар.

И вечно ложь я повторял всё ту же,
Слова святые ею оскорблял,
Узлы мои я стягивал всё туже,

И видел это, знал и понимал,
Однако, видеть вовсе не желая,
Глаза на всё упрямо закрывал,

И даже будто бы не понимая
Ниспосланных мне знаков, что даны
Не раз уж были мне, предупреждая.

А знаки эти — явны и грозны.
Вот, например: душа порой двоилась
И даже весь я сам. Со стороны

Смотрел тогда я на себя. И мнилось,
Что вот идет — не человек, а хмарь,
Смеясь, ко мне подходит. Сердце билось,

Шепчу: "Вы, милостивый государь,
Что от меня, скажите, вам угодно?"
А он... о подлая и злая тварь! —

Одет, как я, с иголочки и модно,
Хохочет: "Не валяй, мол, дурака!"
Со мной садится рядом пресвободно:

"Не узнаешь? Задачка-то легка!
Вглядись в меня. Придвинься же поближе.
Меня-то не обманешь, en tout cas[1].

Ведь я не кто-нибудь иной, а ты же.
Ну да, ты сам. Всё тот же кавалер,
И от меня не навостришь ты лыжи.

Давно ли мы, на общий наш манер,
Устроили — и оба нежно вместе —
В конце аллеи тайный sanctuaire[2],

Чтоб нашей общей угодить невесте...
Или, вернее, жениху... Оно —
Такое дело, говоря без лести,

---

[1] На всякий случай (*франц.*). — *Ред.*

[2] Храм, святилище, убежище (*франц.*). — *Ред.*

И для меня и для тебя равно
Приятным стало, даже натуральным.
Мы позабыли баб, и всех, давно.

Не притворяйтесь, милый мой, печальным,
А то испуганным, как будто вдруг
Ты сделался ce qu'on appelle[1] — нормальным.

Ведь я с тобой. И больше я, чем друг,
Я ты же сам, я лгать тебе не буду.
Не забывай — один у нас супруг,

И что ж такое, разве это к худу?
Я недурен и веселей тебя,
Но будь уверен, я с тобой — повсюду,

Захочешь — вмиг развеселю, любя...
Пристало ли тебе меня бояться?
Ведь не боишься ж самого себя?

А наши шалости, — не может статься,
Чтоб ты их так совсем и позабыл.
Я для тебя готов еще стараться..."»

Тут океанца Дант остановил,
Сказав с гримасой: «Не спадайте с тона.
На вашем месте я бы опустил

Подробности иные без урона».
«Вот, быть непонятым — судьба моя! —
Ответил тот без гнева, полусонно.

Ведь это он же говорил — не я!
Вы думаете — рад я был встречаться
Вот с эдаким моим проклятым "я"?

Я от всего готов был отказаться,
Чтоб только с этим двойником моим
Я мог совсем и никогда не знаться.

Да хоть бы здесь мне не столкнуться с ним,
Здесь, в океане, в царстве темной мути!
Но мы о нем напрасно говорим.

---

[1] Что называется (*франц.*). — *Ред.*

Кто сам не испытал подобной жути,
Тот чужд окажется ей навсегда
И не поймет в моем признаньи сути».

В раздумьи Дант ему ответил: «Да,
Себя вдвойне не видел я ни разу, —
Надеюсь и не видеть никогда.

Поэтому не понял вас я сразу.
Но вот, подумав, увидал тотчас,
Что видно даже и простому глазу,

Какая мука тут была для вас.
Себя увидеть — это ль не страданье?
И встречи ждать в какой не знаешь час...

Простите ж грубое вам замечанье,
Я не успел моих обдумать слов,
Они не стоят вашего вниманья.

Я слушать дальше ваш рассказ готов».
Жилец и не сердился (от смиренья?) —
Мог Данте быть не так еще суров, —

Он лишь вздохнул: «А здесь — освобожденье
От двойника. Здесь нет его совсем
В Безмерности — хоть это облегченье».

Опять вздохнул, качаясь, и затем,
Трагическую повесть продолжая,
Сказал: «А на земле тогда ничем

Не мог его отвадить от себя я...
Должно быть, стал я ныне уж другой.
В себе я разбираться начинаю:

И уж не прав ли был он, что со мной
Он говорил так нагло и бесстыдно?
Ведь я, пожалуй, был и сам такой...

Тогда ж казалось это мне обидно
И самого себя мне было жаль.
Нет, не напрасно здесь сижу я, видно!

И не в морали дело — что мораль!
С моралью тоже можно лицемерить.
Здесь я учусь смотреть иначе, в даль,

В Безмерности — себя иначе мерить,
Я сердцем знал, Кого я обижал,
В Кого хотел — и всё ж не мог не верить,

Но лгать себе упорно продолжал,
Что я не знаю, — и могу ли знать я, —
Кто это тело, и зачем мне дал.

Однако, знал, и в этом всё проклятье.
Я знал, что от любви мне всё дано,
Но этого и не желал признать я,

А потому вокруг меня темно...
Когда б не знал — ведь был бы я невинней,
Я это понял в темноте давно,

И был бы, может быть, пред нами ныне
Не этот мутный, черный океан, —
Совсем другой, приветливый и синий...

Но стоит ли мечтать!.. А там обман,
Всю жизнь без перерыва продолжая,
Привычкой сделал я. Но, обуян

Желаньем оправдать себя, считая
Ее за верность, надо ж верным слыть!
Но верность у меня была иная,

Я верен только телу мог и быть.
А верящих в меня давно и слепо
Я, для того, чтоб плоти угодить,

Обманывал и грубо, и нелепо.
Откроется обман? Когда-нибудь!
Не дорожил я с верящими скрепой

И, если выгодно их обмануть,
Минутой пользовался просто данной,
Не думая о будущем ничуть.

Ведь те, кто были для меня желанны,
Мне были не равны. Они всегда
Стояли в чем-то ниже, как ни странно.

И замечать я стал, что иногда —
Всё чаще — с равными мне непривычно
И как-то скучно. Это не беда,

Казалось мне. Ведь это так обычно!
И я не трогал чувства моего,
Насилие считая неприличным.

И был мне тот приятнее всего —
Вы это даже без труда поймете, —
С кем говорить не надо ничего.

Подобные дела, где, в общем счете, —
Ведь вам известно кое-что о них? —
Всё сводится к одной лишь только плоти,

Решаются в условиях своих.
Итак — мои мне делались всё ближе.
Но не судил я строго и других,

Хоть и общался с теми, кто пониже.
А несужденьем прочих — щеголял.
Я говорил себе: "Они не ты же,

По-доброму суди их". Но я лгал,
Не добродетель — эти несужденья,
Не доброта, когда я им прощал —

И что прощал? — но если не презренье,
То невниманье к ним и к жизни их.
Теперь я даже знаю: без сомненья,

Я никого и не видал из них,
Так были мне они неинтересны.
Я жил среди сообщников моих.

Порой и с ними мне бывало тесно,
Уж очень тело я избаловал.
Поил его, кормил, и неизвестно,

Чего еще ему не отдавал.
И всё же был я телом недоволен
И очень за него бояться стал.

Мне, что ни день, казалось, что я болен.
Хранил я тело, всячески лечил,
Но сохранить его я не был волен.

И потерял, как ни заботлив был.
Там, где-то на земле, оно истлело...
Но не довольно ли я говорил?

Теперь вы знаете, в чем было дело,
Как на земле я прожил жизнь мою,
И как меня поработило тело.

Вы поняли, что я судьбу свою
Сам для себя готовил, притворяясь,
Что правды даже в сердце не таю,

Себя незнаньем оправдать стараясь.
Вы поняли, что этот океан,
И то, что на волне я так качаюсь,

Всё это мне — за лживость, за обман...
О, только здесь я понял, как обидел
Того, Кем дар высокий был мне дан,

И лучше бы меня Он ненавидел!
А Он любил... Но я понять не мог,
И на земле я этого не видел.

Теперь конец. Прошел последний срок.
Рассказ мой кончен тоже. И заране
Ответ ваш слышу. Дам себе зарок

Ни с кем не говорить, сидеть в тумане,
Чтобы земных ответов не слыхать.
Ведь как к моей вы прикоснетесь ране?

Вы скажете — давно, мол, ясно вам,
Что все мои ошибки — лишь пустое
В сравненьи с тем, что делается там,

Там, на земле... Ведь там теперь такое,
Что психологии, мол, ваши — вздор.
И что вы можете сказать другое?

Так пусть вам будет это не в укор,
Но я прошу вас очень: помолчите.
Такой ответ — ведь это приговор...

И лучше ничего не говорите.
Слова мне будут тяжелей всего.
А что касается земных событий —

Они известны здесь... И оттого
Я не хочу сравнений ваших с ними.
Нет, нет, не отвечайте ничего!

А если вы произнесете Имя...»
Он много бы еще наговорил,
Весь в увлеченьи бедами своими,

Но Данте здесь его остановил.
Алигиери звался он недаром,
Он с честью имя славное носил,

Да был и в родственной связи со старым.
Отважен, неподатлив, горд и смел,
Он обладал еще особым даром:

И боль, и страсть он умерять умел.
В глазах подземника заметив муку,
Он на него серьезно поглядел

И властным жестом только поднял руку,
Проговорив спокойно: «Вижу, нет,
Еще не пережили вы разлуку

С собой земным. Из всех грехов и бед
Вы не успели вынести морали.
Когда б не это, вы бы мой ответ

С поспешностью такой не предваряли.
Увидите, что он совсем не тот,
Как вы его себе воображали.

Он даже вашему наоборот.
И к вашим — не ошибкам, преступленьям,
Один такой, по-моему, идет.

Да, преступлениям. И, без сомненья,
Они не лучше, коль не хуже тех,
Что от незнанья или от забвенья

Творятся на земле. И этот грех
Ваш тяжелее, чем теперь на свете —
Лежащий камнем на плечах у всех.

Вам послано сознание. А эти,
Несчастные сыны различных стран,
Они теперь как брошенные дети,

Иль сами бросившие в океан,
Но по невинности, неосторожно,
Последний свой, заветный талисман.

И сравнивать их с вами — как возможно?
Вы скажете: "Но я в моих делах,
Пускай они всегда и были ложны,

Я действовал один, на свой же страх.
Со мною и дела мои пропали.
Что на земле от них осталось? Прах!"

Когда и как об этом вы узнали?
Не думая нисколько о других,
Вы даже их как будто не видали,

Так что же можете вы знать о них?
А если стало шевелиться то же,
Порою тайно, в сердце у иных?

Ведь столько их теперь на вас похожих!
А если это принято от вас?
Что, если вы заворожили ложью

Невинных — в некий неизвестный час?
Но есть черта. Она непреступима,
Хоть преступаема была не раз.

А вы — вы хуже. Не прошли вы мимо,
Но прежде, чем дано вам умереть, —
Так вам черта казалась нестерпима, —

Ее всегда пытались вы — стереть.
Ее, одну, делящую святое
От злого и преступного. Как сметь

На это посягнуть? И что другое,
Что людям больше может повредить,
Чем это дело: тихое — и злое?

Я только человек. Не мне судить.
Но, кажется, и мгла, и эти стены,
Всё нужно было вам, чтоб не забыть,

Что ваша жизнь была одной изменой,
Одной изменою Тому...»
                                                  И вдруг
Волна вздыбилась дымно-черной пеной,

Обоих залила, и всё вокруг.
Но унесла с собою, отступая,
Лишь одного. Где Данта бедный друг?

Чуть виден, как волна его, качая,
Уносит вдаль, куда-то в темноту,
И, слышно, силился кричать, рыдая

Сквозь адскую, должно быть, тошноту:
«Любил меня... А я любви не видел...
Стереть хотел Его любви черту...

Уж лучше бы... меня... Он ненавидел...
Всю жизнь изменою... я вел с Ним спор,
Но Он любил... а я Его обидел...

Меня любил...»
                              — «И любит до сих пор!» —
Дант крикнул громко, чтобы, уплывая,
Тот правду услыхал. Но Данте, взор

В подземную напрасно тьму вперяя,
Не различал уж боле никого.
Где ж он? И Дант нахмурился, не зная,

Услышан ли ответ. «Но ничего,
Опомнится когда-нибудь от бреда,
Полезно это будет для него».

Так кончилась подземная беседа.

II

Но тут другой жилец подплыл, качаясь.
«Вы сверху, да? Вели вы разговор... —
Спросил он Данта, видимо стесняясь. —

Я слышал ваш и разговор, и спор,
И было мне, сказать по правде, странно.
Ведь голоса людского с давних пор

Я не слыхал. Лишь волны неустанно
Здесь воют. И уж так давно
Я сам молчу, средь этой мглы туманной,

А мне молчать — совсем не всё равно.
Молчание — такое, право, бремя,
Особенно когда вокруг темно.

Ах, если б здесь у нас хоть было Время!
И я, ведь, жду его — и ничего!»
«А разве вы не говорите с теми,

Кто рядом, здесь? Не проще ли всего?
Да иногда неплохо и молчанье,
И если бремя — как и для кого!»

«Вам чуждо, вижу я, мое страданье! —
Ответил тот, качаясь на волне. —
Вы оказали первому вниманье,

Так почему б не оказать и мне?
Моя история — совсем другая,
А если вам и кажется извне,

Что мы не на земле уже, не там,
Где все общаются, а вот бы сели
Вы на волну, так стало б ясно вам,

Что мы давно друг другу надоели...
Печется каждый о себе одном.
Недаром тот окончил еле-еле,

Начав рассказы о себе самом.
Был рад найти не здешнего...
Он на земле со мною был знаком,

Но я не знал тогда о нем такого,
Что вам он откровенно рассказал».
«А вы подслушали?» — И Дант сурово

Взглянул. Но тот, спеша, ему сказал:
«Ах, не сердитесь, это я невольно...
И хоть не знал — я всё подозревал.

Вас огорчить мне, право, было б больно.
Я не подслушал... Да и что о нем!»
Но Дант опять прервал его: «Довольно!

Хотите рассказать мне о своем —
Так говорите!» Данте был расстроен.
Ведь все они, должно быть, об одном!

Да и жилец казался беспокоен.
Ему б уняться и рассказ начать,
Так нет, завел: «Я, право, не достоин

Подобных подозрений. Я не тать,
Но у меня уже такие уши.
Я был вблизи, я не хотел мешать,

И, не подслушивая, всё же слушал.
Однако, вот история моя:
Различные мы с этим, первым, души.

И я скажу вам, правды не тая,
Что если в чем-нибудь мы с ним и схожи —
В одном, ведь, океане он — и я, —

То это видимая лишь похожесть,
А на земле я по-иному жил.
Пусть наказание одно и то же,

Но у меня как будто больше сил.
За Время — главная моя расплата:
Я с ним не очень на земле дружил.

Я не считал его напрасной траты,
И Время, то, что было мне дано,
Я проклинал. Я веровал когда-то,

Что мне оно ошибкою дано.
Я о другом мечтал, о лучшем, милом,
Которому прийти хоть суждено,

Да после... С этим же, моим, постылым,
Я даже вовсе знаться не хотел.
Мне это просто было не по силам.

И я проклятий прекратить не смел.
Вот Время мне за них и отомстило,
С ним справиться я, видно, не умел,

Сюда оно меня и засадило,
Как водяной сижу какой-то зверь.
Ах, если бы оно меня простило!

Пусть лишь придет, скажу ему: "Поверь,
Я понял здесь, что без тебя мне худо.
Прости меня, не прежний я теперь".

Да вот, ни Время, и никто оттуда
Не приходил сюда, один лишь вы.
И я смотрю на вас — ну как на чудо.

Боюсь, не потерять бы головы!
Хочу еще признаться: ненавидел
Не Время только я одно, — увы! —

Но все народы на земле. Не видел
В их поведеньи правды никакой.
Лишь здесь узнал, Кого я тем обидел!

А признавал один народ я — свой.
Мы были с ним разделены пространством,
И уж давно... Но так как был он мой —

Его оправдывал я с постоянством
Упорным. Быстро находил всему
В нем объясненье, даже окаянству,

Которое, любя, прощал ему, —
С людьми ж имел другое поведенье:
Я не прощал почти что никому.

Я зло в них видел. Злу же нет прощенья,
Бороться надобно со злом всегда.
И зачастую я терял терпенье,

Что для меня немалая беда;
Я, позабыв, что все они мне братья,
Не зло, — самих людей громил тогда,

И щедро сыпал я на них проклятья.
Сказал один какой-то: "Он жесток".
Но, не желая этого признать, я

Такого слова выдержать не мог,
Кричу: "Покорствовать такому веку?
Рекой широкой разлит в нем порок!

Жестоким надо быть и человеку!"
Он что-то о смиреньи... "Это плен! —
Я закричал. — Переплывите реку

Сначала и убейте зло измен,
Потом уж о смиреньи говорите.
А так оно — один словесный тлен.

В тлену смиренья — что вы сотворите?
А надо творчески любить и жить!
Смирением вы зла не победите!"

Так и не мог меня он убедить,
Что в наше время истина — смиренье.
Но я потом задумался: как быть,

Какое же мое-то назначенье?
Кто сам-то я — пророк или поэт?
Я долго думал в этом направленьи.

И всё казалось, что ответа нет.
Потом пришло мне в голову такое:
Примеры есть; и может быть ответ

Как раз — что вместе то я и другое.
Не вижу ль ясно я начатки зла?
Искоренять мне надобно всё злое,

Средь зла моя дорога пролегла,
Но где оружия, каких мне надо,
Бороться с ним, чтобы душа могла

Победу получить себе в награду?
Я об оружии везде кричал,
Кричал, что знаю, и что сердце радо

Оружию, какое я избрал.
Оно — любовь. Но сам-то я всегда ли
Его одно в борьбе употреблял?

Я вижу, да, вы верно угадали,
Признанием не удивлю я вас:
Когда особенно мне возражали,

Оружием боролся я подчас
Другим, не очень с этим первым схожим,
И не один бывало это раз.

Да выходило всё одно и то же,
А чаще даже ровно ничего,
Хоть обличал я с каждым разом строже.

И зло вокруг меня росло. Его
Без устали во всех искореняя,
Я не жалел и тела своего,

От тягостных трудов заболевая.
Но о любви — не счесть моих речей!
Особенно о той, что я, мечтая,

Сам ожидал и для себя. О ней
Я думал так: «Придет же сокровенный
Тот час, когда — о, только бы скорей! —

Час встречи с той, кого я совершенной
И вечною любовью полюблю.
Он будет же, — я верю неизменно

И лишь о нем судьбу всегда молю.
Тогда, конечно, будет всё иное,
И жизнь я надвое переломлю;

Я одиночество забуду злое...
Свята любовь, когда она одна.
А не одна — так это уж другое,

Но не любовь. И та, что мне дана
В подруги издавна, — ведь я же с нею
Так одинок! Пускай меня она

И любит с верностью. Но не умею
О дорогом я с нею говорить.
Своих поэм ей и читать не смею...

Нет, лучше вовсе без любви прожить
До будущей моей блаженной встречи
И с тем же пламенем произносить

Мои громящие безумство речи.
И, коль придется, жертвенно страдать
Да биться средь чужих противоречий.

А если и своих? Хотел я звать
Людей к Тому, Кого... ведь я увидел,
Но только здесь — а раньше мог ли знать?

Как вместе с Временем — Его обидел...
А на земле я лишь в раздумья час
И океан, и эту мглу провидел...

Но кажется, я затянул рассказ.
Еще одно последнее признанье,
И утомлять не стану больше вас.

Я приобрел здесь новое сознанье,
Но даже в этой мертвой тишине
Осталось у меня непониманье

Того, что раз случилось. Странно мне
Подумать, почему оно так было.
Я кой-чего не помню. Но вполне

Вот этот случай сердце не забыло.
Вы видели: я столько знал людей,
И все ко мне ужасно были милы,

Но не знавал я среди них — друзей.
Единственный мне другом показался
И дружбы удостоился моей.

И он ко мне сердечно привязался,
Хотя природы был совсем другой.
Он наших мыслей дорогих касался

И в разговорах был открыт со мной,
Но постепенно, сам не понимаю,
В моих глазах он стал как бы иной.

Стремился вечно я, куда — не знаю,
Воображал, однако, что вперед.
А он — решил я, — мне не подражая,

Застыл на месте, никуда нейдет.
И сделался он мне — как все другие,
Как те, кого я обличал. И вот —

Пришли для дружбы времена иные:
Его теперь я также обличал,
Что недвижим, что дни его пустые...

А он... Он даже мне не возражал,
Он только слушал, как всегда спокоен,
И тем еще сильнее раздражал.

Коль он как все — того же и достоин!
Достаточно я всеми угнетен.
Ведь я не так, а по-иному скроен.

В душе-то знал я хорошо, что он
Останется, как прежде, неизменен.
Но знал и помнил это, как сквозь сон,

И уж жалел, что был с ним откровенен.
Так дружба наша и сошла на нет.
Он помнит всё, он ей, конечно, верен,

Ну а во мне — едва остался след.
Да ведь над ним не знает Время власти,
Я ж Время не любил, и я — поэт,

Я весь в движеньи, в переменах, в страсти...
Мне друга жаль, но чем я виноват?
Не разорваться ж для него на части!

Меня любил, я знаю, он как брат,
Но — кончено, не начинать сначала.
Пускай он примирится, рад — не рад,

И не такая дружба пропадала.
Теперь я понял суть ее вполне,
И на него не сетую нимало.

Здесь, сидючи один, и в тишине,
Я не успел понять, в чем было дело,
Кой-что в разрыве странно было мне.

Теперь же сердце всё раскрыть сумело.
Вам рассказав, я понял: друг не знал
Меня совсем, хоть много раз, и смело,

Он в разговоре это утверждал.
Меня он ни пророком, ни поэтом —
Сказать по истине — не признавал.

Недаром никаким его советам
Не думал следовать я никогда.
А был ли прав? Да что теперь об этом!

Он взят уж от земного... Иногда
Его я вижу здесь. Он навещает
Какого-то из наших. Но тогда

Скользнет как тень и тотчас исчезает,
Мне улыбнувшись только. Не пойму,
Как это он свободно здесь гуляет?

Мне правила известны. Почему
Допущено такое отступленье?
За что оно позволено ему?

Я беспристрастен...» Данте в нетерпеньи
Прервал его: «Да бросьте, всё равно!
Ведь он уж вам не друг, и, без сомненья,

Вам безразлично, что ему дано —
Что не дано... Постойте, вы сказали...
Я слушаю вас, кажется, давно...»

«Да, я кончал, но вы меня прервали.
О друге ж я затем упомянул,
Чтоб беспристрастие мое вы знали.

И вот, скажу: он больше понимал
Любовь, чем понимал ее тогда я.
Вы знаете, к Кому людей я звал.

Я проповедовал Любовь, не зная,
Люблю ли я Его, люблю ли сам.
И друг советовал, — не упрекая, —

Поставить хоть предел своим словам.
Он мне шептал — как помню этот шепот! —
"Вы говорите: «Все Ему отдам...»

Не нужно ли пройти вам раньше опыт?"
Не слушал я. За то, что он суров,
В душе к нему — досада или ропот,

Не слышит он, мол, искренности слов,
Моей борьбе и мне всегда мешает...
Теперь я должное ему готов

Отдать. Я думал, он меня не знает,
А знал он всё, и был он прав тогда.
Здесь это понял я, но не узнает

Мой бывший друг об этом никогда.
Оставим же его. Пора, кончаю.
Ясна вам жизнь моя, моя беда.

Вам ясно также, что теперь я знаю,
Как я обидел время и Того,
Кого любить хотел, и не прощаю

Себе еще покуда ничего.
Не я, ведь, создал Время; с ним боренье
Бореньем было с волею Его.

Ах, всё это единой цепи звенья!
И Тот, Кто в жизнь послал меня, на свет,
Послал не для такого искушенья,

Не для судящего огня — о нет! —
А для любви и для огня иного...
За это я и дам Ему ответ.

Скажите же теперь мне ваше слово.
Соседу вы сказали — слышал я, —
Сказали правду прямо и сурово.

Но я не он. Не та и жизнь моя.
Во многом виноват и я, конечно,
И сам себе я строгий судия,

Но вы.... не надо ли вам быть сердечней
И милосерднее меня судить?
Ужель вам кажется, что бесконечно

Могу я в этом подземельи быть?
Имейте же немного сожаленья,
Вы приговором можете убить

Ее — мою надежду на прощенье.
А без надежды, даже и в аду,
Поверьте мне, и лишнего мгновенья

Пробыть нельзя. И я не проведу».
Дант слушал океанца, сдвинув брови,
А тот опять: «Ответьте же, я жду!»

Но Дант молчал, и только всё суровей
И строже делалось лицо его.
«Уж лучше б обойтись без предисловий, —

Сказал он наконец. — Ты ничего
Еще не понял! Новое сознанье?
Нет, новое — оно не таково!

Не понял ты и смысла наказанья.
Не увидав его в своей судьбе,
Ты — прежний весь. И в этом состояньи

Ты с лаской повествуешь о себе.
Хотел ты цепь разбить — но целы звенья!
Ты вспоминаешь о своей борьбе

Там, на земле, — почти что с умиленьем,
А вечность друга позабыл легко.
И ныне ты — мечтаешь о прощеньи?..

Нет, до него, пожалуй, далеко!
Тебе осталось здесь немало дела,
Не залетай же сразу высоко.

Ты и покаяться не мог умело
И главного, увы, не мог понять:
Ведь надо, чтоб душа твоя посмела

Всего совлечься, до пылинки снять,
Отречься от того, что было прежде,
И быть готовой вечно умирать,

Не веря больше никакой надежде...
Какие-то слова ты повторял,
Но так как в той же, старой, был одежде, —

Значенья этих слов не понимал.
Ты говорил, что, Время проклиная,
Не только Время этим обижал.

О да, конечно! Зная иль не зная —
Тут одинаковый тебе укор, —
Ты жил, Того страданья умножая,

Кто за тебя страдает — до сих пор...
Вся жизнь твоя — лишь самолюбованье,
Вот человеческий мой приговор.

Ты дал Ему великое страданье...»
Тут океанец, что-то вдруг поняв,
Вскочив на кучу, с горестным стенаньем

В густые волны бросился стремглав
И в глубину тотчас же погрузился.
Дант недоволен был: «Ну что за нрав!

Совсем как мячик в океан скатился.
Не вынырнет ли он? Я подожду.
Ведь не дослушал, даже не простился...

Нехорошо же, если так уйду».
Тот вынырнул и, в длительном томленьи,
Стенал: «Я понял, понял всю беду!

Я был неправ! Не надо мне прощенья!
Я не хочу прощения! Клянусь
Вот в это незабвенное мгновенье,

Что к прежнему себе я не вернусь!
Пусть за меня Он больше не страдает.
Прощенья не прошу, боюсь, боюсь!»

Обрадовался Дант: «Он понимает!»
И крикнул уплывающему вслед:
«Не бойся! Ты прощен! Он всё прощает!»

Прислушался: что ж он? Ответа нет.
Волна вернулась и вздыбилась снова.
Дант слушает: не будет ли ответ?

Но ничего. Ответа — никакого.
Еще волна. Лишь пена на гребне.
«Нет, моего не услыхал он слова, —

Дант проворчал. — Остался в глубине.
Я слишком резок был с ним, очевидно,
Вот он, бедняга, и погиб в волне...

Уж это, право, как-то и обидно.
Да у меня — откуда этот пыл?
Принялся я за обличенья... Видно,

Меня своим он пылом заразил.
Ведь первый этого куда похуже,
А с ним я все-таки милее был...

Какая тьма, однако... Да и лужи...
Вот, поживи-ка в эдакой стране!
Вода не замерзает, хоть и стужа...»

Он прислонился к каменной стене,
Всё время сам с собой о чем-то споря:
«И нужно было ввязываться мне!»

Жалел о неприятном разговоре.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание включены четыре книги стихотворений З. Н. Гиппиус в полном объеме и в авторской композиции, а также стихотворения, в них не вошедшие. Книга Гиппиус «Последние стихи» вошла в ее книгу «Стихи. Дневник 1911—1921» почти целиком и здесь не воспроизводится; стихотворения из нее, не включенные в «Стихи. Дневник 1911—1921», выделены в особый раздел. Сборник политических и агитационных стихов «Походные песни», вышедшие в свет под псевдонимом «Антон Кирша», воспроизводится с изъятием двух стихотворений — заключительного («Знайте!»), входящего в «Стихи. Дневник 1911—1921», и вступительного («1917», первая строка: «Глядим, глядим всё в ту же сторону...»), принадлежащего Д. С. Мережковскому (сохранился черновой автограф стихотворения в ИРЛИ, № 24345; как стихотворение Мережковского, оно напечатано без заглавия в кн.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 27, 94; под заглавием «Возвращение» — в кн.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. 15. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1914. С. 205). За пределами издания осталась также книга «Как мы воинам писали и что они нам отвечали. Книга — подарок. Составлено З. Гиппиус» (М., 1915) — сборник стилизованных под «простонародное» творчество писем (в стихах и прозе) от петроградских женщин в действующую армию и ответных посланий.

В примечаниях указываются публикации стихотворений, предшествовавшие их появлению в авторских сборниках, а также наиболее существенные лексические варианты по отношению к окончательному тексту (многочисленные пунктуационные, строфические и графические варианты в автографах и первых публикациях стихотворений не фиксируются, за исключением наиболее значимых случаев). Перепечатки стихотворений Гиппиус в антологиях и хрестоматиях не фиксируются. В тех случаях, когда библиографические примечания к стихотворениям отсутствуют, это означает, что первая их публикация осуществлена в составе данной авторской книги (либо первая публикация не выявлена).

Тексты произведений Гиппиус, включенных в издание, печатаются по авторским сборникам; стихотворения, не вошедшие в сборники, — по прижизненным авторским публикациям, а также по посмертным публикациям, в отдельных случаях — по архивным источникам (если стихотворение публикуется впервые, а также в тех случаях, когда сверка с автографом позволяет внести коррективы в опубликованный ранее текст). Тексты печатаются с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Даты под текстами стихотворений — авторские. Годы в авторских дати-

ровках (воспроизводимые без дополнительных уточняющих редакторских коррективов) Гиппиус, как правило, обозначает сокращенно: «97», «01» и т. п.; мы их указываем в полной форме.

Наиболее полным собранием стихотворных произведений Гиппиус на сегодняшний день остается издание: Стихотворения и поэмы. Т. 1—2 / First comprehensive edition compiled, annotated and with introduction by Temira Pachmuss. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. В нем факсимильно воспроизведены все прижизненные отдельные издания стихотворений Гиппиус, а также поэма «Последний круг (И новый Дант в аду)» — по первой журнальной публикации; кроме того, издание включает большой раздел стихотворений, в большинстве своем не входящих в авторские сборники, которые распределены по четырем рубрикам: 1 — «Лаборатория стихов: 1918—1943», 2 — «Тетрадка стихов», 3 — «Из разных источников» («From various sources»), 4 — «Из писем Гиппиус к Грете Герелль» (в основном — авторские переводы стихотворений на французский язык). Стихотворения, напечатанные в 1-й (с. 1—81) и 2-й (с. 83—178) рубриках, приводятся по автографам, которые зафиксированы в рукописных тетрадях Гиппиус, находящихся в распоряжении публикатора — Темиры Пахмусс; многие из них имеют варианты по отношению к опубликованным при жизни автора редакциям текста. Комментариями издание не сопровождается. Тексты стихотворений, не входящих в авторские сборники, в этом издании не свободны от опечаток и иных публикаторских недочетов; тем не менее некоторые стихотворения Гиппиус, впервые в нем опубликованные, мы приводим по этому источнику, без проверки по автографам, которые остались для нас недоступными.

В России за последние годы появилось несколько изданий стихотворений Гиппиус, в том числе и комментированные: Стихотворения. «Живые лица» / Вступ. статья, составление, подготовка текста, комментарий Н. А. Богомолова. М.: «Художественная литература», 1991; Сочинения. Стихотворения. Проза / Вступ. статья, составление, подготовка текста и комментарии К. М. Азадовского, А. В. Лаврова. Л.: «Художественная литература», 1991; Стихи и проза / Составление, комментарии и послесловие Н. И. Осьмаковой. Тула: Приокское книжное изд-во, 1992; Опыт свободы / Подготовка текста, составление, предисловие и примечания Н. В. Королевой. М.: «Панорама», 1996. Опыт этих изданий также учтен при подготовке настоящей книги, которая является наиболее полным собранием стихотворного наследия З. Н. Гиппиус, осуществленным в России.

При составлении раздела «Стихотворения, не вошедшие в авторские сборники» за основу принят хронологический принцип, который, однако, не представлялось возможным соблюсти с неукоснительной точностью. Трудности при установлении внутренней композиции этого раздела были обусловлены тем, что многие стихотворения Гиппиус лишены авторских дат; имеющиеся же даты часто не содержат безусловно точного указания на время написания (в некоторых источниках один и тот же текст сопровождается различными авторскими датами — чаще всего ретроспективными; в иных случаях дата указывает не время окончания авторской работы над текстом, а день

фиксации данного автографа). Даты, отсутствующие в прижизненных авторских публикациях стихотворений, а также даты, приведенные в посмертных публикациях, но вызывающие те или иные сомнения, указываются в примечаниях к соответствующим текстам, также как и предположительные даты. При определении места стихотворения в общей композиции учитывались факт первой прижизненной публикации (указывающей на год, позднее которого не может быть датирован данный текст; нередко, однако, первая публикация стихотворения осуществлялась многие годы спустя после его написания), обстоятельства биографии Гиппиус, археографические особенности текста, иные косвенные свидетельства. В ряде случаев местоположение текста в общей композиции определяется условно (это относится главным образом к отложившимся в архиве Гиппиус или в фондах других лиц недатированным стихотворениям, опубликованным посмертно или впервые публикуемым в составе настоящего издания). Отсутствие указания в библиографической части примечаний на источник текста означает, что им является первая публикация или автограф, опубликованный в издании Темиры Пахмусс или хранящийся в рукописном собрании.

Раздел «Стихотворения, не вошедшие в авторские сборники» не претендует на исчерпывающую полноту. За его пределами остались ряд стихотворений (преимущественно — стихотворных экспромтов, стихов «на случай») из указанного выше двухтомного издания под редакцией Темиры Пахмусс и некоторые тексты аналогичного рода, в это издание не входящие.

Автографы и списки стихотворений Гиппиус рассеяны по многочисленным рукописным собраниям в России и за рубежом, использовать которые нам удалось лишь частично (особую благодарность выражаем Амхерстскому центру русской культуры в США — Amherst Center for Russian Culture, — предоставившему возможность ознакомиться со стихотворными автографами Гиппиус, хранящимися в коллекции Томаса Уитни); безусловно, при обследовании их, а также путем фронтального просмотра печатных изданий, вероятны и даже неизбежны новые находки, которые позволят расширить корпус стихотворного наследия Гиппиус. Большинство сохранившихся автографов стихотворений Гиппиус — беловые, имеющие чаще всего незначительные отклонения от печатных редакций; столь же невелики, как правило, разночтения между первопечатными редакциями стихотворений и теми, которые представлены в основном тексте — в авторских сборниках. В силу этого обстоятельства в книге не выделен особый раздел «Другие редакции и варианты», традиционный для изданий «Библиотеки поэта»; предполагаемая этим разделом текстологическая информация сообщается непосредственно в примечаниях.

Составитель выражает свою глубокую признательность людям, способствовавшим его работе над изданием — документальными материалами, ценными сведениями, конструктивными советами и указаниями: К. М. Азадовскому, Н. А. Богомолову, А. В. Бурлакову, В. Э. Вацуро, Дж. Стюарту Дюрранту, Н. В. Котрелеву, К. А. Кумпан, Л. А. Мнухину, М. М. Павловой, Стэнли Рабиновичу, А. Л. Соболеву, Т. Ф. Чудотворцевой, Е. Ц. Чуковской.

Список условных сокращений

БВ — газета «Биржевые Ведомости» (С.-Петербург).
ГАРФ — Гос. архив Российской Федерации (Москва).
ГЛМ — Отдел рукописей Гос. Литературного музея (Москва).
Дневники — Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914—1919. 2-е изд. Нью-Йорк: «Телекс», 1990.
ЖдВ — «Журнал для всех» (С.-Петербург).
Живые лица — Гиппиус З. Н. Стихотворения. «Живые лица» / Вступ. статья, составление, подготовка текста, комментарий Н. А. Богомолова. М.: «Художественная литература», 1991.
Загл. — заглавие.
Зеркала — Гиппиус (Мережковская) З. Н. Зеркала. Вторая книга рассказов. СПб.: Изд. Н. М. Гернштейна, 1898.
Из переписки З. Н. Гиппиус — Pachmuss Temira. Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. Из переписки З. Н. Гиппиус. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С.-Петербург).
Маковский — Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 87—122 (очерк «Зинаида Гиппиус» с публикацией неизданных стихотворений Гиппиус).
НЖ — «Новый Журнал» (Нью-Йорк).
НЖдВ — «Новый Журнал для всех» (С.-Петербург).
НЛ — Гиппиус (Мережковская) З. Н. Новые люди. Рассказы. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1896.
НП — журнал «Новый Путь» (С.-Петербург).
О Бывшем 1, 2, 3 — Гиппиус З. О Бывшем // Возрождение (Париж). 1970. № 218. С. 52—70 (1), № 219. С. 57—75 (2); № 220. С. 53—75 (3). Публикация Темиры Пахмусс.
Примеч. — примечание.
ПН — газета «Последние Новости» (Париж).
ПП — Антон Кирша. Походные песни. Варшава, 1920.
ПС — Гиппиус З. Н. Последние стихи. 1914—1918. Пб., 1918.
РГАЛИ — Российский гос. архив литературы и искусства (Москва).
РГБ — Отдел рукописей Российской гос. библиотеки (Москва).
РМ — журнал «Русская Мысль» (С.-Петербург).
РНБ — Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (С.-Петербург).
СВ — журнал «Северный Вестник» (С.-Петербург).
СЗ — журнал «Современные Записки» (Париж).
Сирин — «Сирин». Сб. 3. СПб., 1914.
СП — Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Том II: 1918—1945. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972.
ст. — стих.
ст-ние — стихотворение.
СЦ-1901 — «Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством "Скорпион"». М., 1901.
СЦ-1902 — «Северные цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством "Скорпион"». М., 1902.

СЦ-1903 — «Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства "Скорпион"». М., 1903.

ЧТ — «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подготовка текста М. М. Павловой. Вступ. статья и примечания М. М. Павловой и Д. И. Зубарева // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 11—173.

Экз. ИМЛИ — Экземпляр «Собрания стихов 1889—1903 гг.» с рукописными маргиналиями автора, хранящийся в библиотеке Института мировой литературы РАН (по предположению А. Л. Соболева, принадлежал Наталии Михайловне Доброхотовой, близкой знакомой Мережковских; см.: Новый мир. 1992. № 4. С. 251); использован в комментарии Н. А. Богомолова в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. «Живые лица». М., 1991.

Contes d'amour, 1,2 — Гиппиус З. Contes d'amour // Возрождение (Париж), 1969. № 221. С. 21—47 (1); № 212. С. 39—53 (2). Публикация Темиры Пахмусс.

СОБРАНИЕ СТИХОВ

1889—1903

Книга «Собрание стихов 1889—1903 г.» вышла в свет в московском издательстве «Скорпион» в октябре 1903 г. (на титульном листе: 1904). Печатается по тексту этого издания, с исправлением опечаток (листок с авторским исправлением замеченных опечаток сохранился в экземпляре издания, находящемся в собрании Л. М. Турчинского, Москва).

Работа над составлением сборника была начата Гиппиус, как это можно проследить по ее письмам к В. Я. Брюсову (РГБ, ф. 386, карт. 70, ед. хр. 36, 37; Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым (1901—1903 гг.) / Публикация и подготовка текста М. В. Толмачева. Вступ. заметка и комментарии Т. В. Воронцовой // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 284—322), представлявшему издательство «Скорпион», в 1902 г. и продолжалась в 1903 г., вплоть до стадии прохождения корректур (в ходе ее правки Гиппиус прибавляла новые стихи, меняла состав и композицию сборника). См.: Богомолов Н. А., Котрелев Н. В. К истории первого сборника стихов Зинаиды Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3. С. 121—132. Одно время Гиппиус предполагала образовать в сборнике особый раздел «иронических стихотворений». «...Думаю, надо выделить иронические стихотворения в один отдел, иначе они непонятны, — писала она Брюсову в конце мая 1903 г. — Можно назвать его какими-нибудь "улыбками": тихими, добрыми, печальными — вы лучше придумаете» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 299). К включению в этот раздел были намечены стихотворения «Я», «Христианин», «Грех» («Что есть грех?»), «Пьявки», «Старик» («Стариковы речи»), «Предсмертная исповедь христианина», «Любовь к недостойной», «Прямо в рай» (по-

следние два в книгу не вошли). От реализации этого замысла Гиппиус отказалась, однако определенно заявленное авторское отношение к перечисленным стихотворениям позволяет воспринимать их как заведомо неадекватное, опосредованное отражение ее поэтического кредо.

Критические отзывы на «Собрание стихов 1889—1903 г.» отчетливо делятся на две группы — многочисленные, появившиеся на страницах изданий, отвергавших «новое» искусство, и немногочисленные, опубликованные «декадентскими» органами; в первых преобладало негативное отношение к книге, во вторых — признание поэтического дарования Гиппиус. При этом отзывы «антидекадентского» характера, напечатанные в изданиях различных, а зачастую и полярно противоположных, общественно-политических позиций, в отношении к поэзии Гиппиус сливались в дружный хор. Публицист-марксист и литературный критик вульгарно-социологического толка В. М. Шулятиков писал о «полной художественной несостоятельности поэтессы», ее «растерянности перед процессом жизни» (Курьер. 1903. № 273, 1 декабря. С. 2—3), ему вторил консервативный публицист М. О. Меньшиков, полагавший, что отдельные «симпатичные строки» у Гиппиус «теряются среди нагроможденных друг на друга разнозвучных "безумно-безобразных и грубо-непонятных" строф» (Русский Вестник. 1904. № 5. С. 247. Подпись: М. М—в); в сходном ключе выступал и анонимный рецензент в либеральной «Русской мысли», утверждавший, что «г-жа Гиппиус — не поэт»: «Поэт имеет великую тайную власть над тем, кто слушает его», настроения же Гиппиус «нимало нас не трогают, не увлекают, не тревожат и не возбуждают уважения», а ее стихи представляют собой «размышления (о чем — редко можно сказать), облеченные в довольно неудачные формы, и некоторые картины, в которых содержание таинственно, а способы выражения некрасивы» (РМ. 1904. № 7. Отд. II. С. 208, 207). Особенно решительно критики стремились разоблачить и отвергнуть самые основы творческого мироощущения Гиппиус. Так, А. И. Богданович увидел в ней лишь самовлюбленного декадента, «кокетливого, манерного и игривого»: «...все "обособленные" до полной вздорности стихи г-жи Гиппиус не имеют в себе ничего поэтичного, молитвенного или оригинального: это просто фиглярство, доведенное иногда до неприличного издевательства над читателем» (Мир Божий. 1904. № 1. Отд. II. С. 85, 83. Подпись: А. Б.). Не менее резко высказывался П. Ф. Якубович: «...наша поэтесса готова любить кого и что угодно — себя, Бога, Дьявола — и только к людям относится с неизменным презрением»; «Не очевидно ли, что вся эта напускная религиозность есть лишь видоизменение того ломанья и паясничанья, которое заставляет разных декадентских рифмоплетов славословить черта, зло, порок и распутство?..» (Русское Богатство. 1904. № 1. Отд. II. С. 3, 4. Без подписи).

Не все отклики рецензентов-«традиционалистов» были столь однозначными. Например, А. М. Ловягин заключал: «В этих религиозных стихах немало оригинального. Подобно еврейским каббалистам, г-жа Гиппиус в непонятных для непосвященного сочетания цифр излагает свои мысли <...>. Большинство стихотворений, однако, в противность уверениям самого автора, не отличается ни непонятно-

стью, ни искусственностью содержания. Это не лишает их ни искренности, ни силы» (Литературный Вестник. 1904. Т. VII. № 1. С. 90). Н. Н. Вентцель противопоставлял непонятным, «умышленным» стихотворениям Гиппиус те ее произведения («Электричество», «Гризельда»), в которых она «умеет, когда захочет, выразить в образе красивом, ярком и в то же время понятном мысль, хотя бы и очень отвлеченную»; в целом же формы творческого самовыражения Гиппиус не вызывают у него признания и доверия: Гиппиус в восприятии Вентцеля — «поэтесса, которая молится, кокетливо охорашиваясь и как бы примеряя на себя какой-нибудь новый придуманный ею костюм в стиле "модерн"» (Ю—н. Поэты «стиль-модерн» // Новое Время. Лит. приложение. 1903. № 9968, 3 декабря. С. 9—10). Наконец, А. А. Измайлов в статье «Мистическая поэзия XX века» пришел к выводу, что в книге «сквозят <...> искренние и благородные искания пытливого духа, в которых нет ничего общего с тем низкопробным шарлатанством, каким угощали нас декаденты первичной фазы», и дал «Собранию стихов» по сути положительную оценку: «Предлагаемые не вразброс и частично, но в целом и достаточно цельном сборнике, — ее стихи чрезвычайно выигрывают. <...> Вы следите за субъективнейшими воззрениями и настроениями этой субъективнейшей из поэтесс. <...> Чтение этой книги в целом убеждает в искренности многих дум Гиппиус. Искренность примиряет со всем»; эта «книга для немногих», по формулировке Измайлова, «сконцентрировала в себе с удивительной и редкой определенностью элементы своеобразного мистического мировоззрения. Это одна из очень выдержанных и наименее прикровенных поэтических иллюстраций к буддизму, сплетшемуся с христианством» (БВ. Утр. вып. 1903. № 604, 6 декабря. С. 2). Точка зрения на поэзию Гиппиус, определенная Измайловым, в последующие годы обозначится в «широкой» литературной критике как преобладающая.

В «своем» литературном кругу «Собрание стихов» было встречено исключительно положительными откликами. Н. Я. Абрамович (критик, тяготевший к модернистам) посвятил ему пространную статью «Лирика З. Н. Гиппиус», в которой особенно акцентировал внутреннюю цельность и глубоко личностное своеобразие сборника: «Книгу "Собрание стихов" З. Н. Гиппиус кроме ее автора написать никто не мог. И то жизненно прекрасное, то духовное и пленительное по своей внутренней чистоте, твердости и изяществу, что составляет содержание этой белой книжки, — неповторяемо. <...> впечатление книги стихов З. Н. Гиппиус своим многообразием подобно именно свежему ощущению природы. В ней, этой книге, не мертвые, пустые слова и строки, но сама жизнь, странно и сильно переживаемая. *Книга живая*, — и это первое, что о ней должно быть сказано. <...> Да, поэзия Гиппиус — маленькая строгая часовня, безмолвная, сумеречная, в тишине которой чувствуется сосредоточенно глубокая, немая и незримая жизнь в Боге...» По убеждению Абрамовича, «три элемента художественного творчества лирика-стихотворца: 1) законченность, полнота мысли и образа; 2) легкость, чистота стиха и 3) наличность *своего* <...> слова особого индивидуального оттенка, цвета и запаха, — достигнуты здесь в совершенстве» (НП. 1904. № 8. С. 217—

219). Не менее восторженным был отзыв молодого поэта и критика А. А. Смирнова (впоследствии — известного историка западноевропейских литератур), утверждавшего, что творчество Гиппиус «озаряет самые смутные и тревожные наши переживания»: «Поэтесса <...> идет в глубину, вскрывает тайны окружающей действительности, передает свои откровения. Это — *религиозное созерцание* (другого имени не нахожу), наполняющее почти всю книгу и чувствующееся, может быть, сильнее всего там, где о Боге не сказано ни слова. Почти все стихотворения — вдохновенные псалмы, гимны, meditations religieuses, и потому не только очень современны (как идущие навстречу нашим молитвенным порывам), но и в высшей степени причастны вечному, непреходящему в искусстве». Осмысляя стихи Гиппиус на фоне «импрессионизма» новейших поэтов, Смирнов отмечает: «З. Гиппиус, наоборот, фиксирует свои образы, дает им вполне развиться, и лишь тогда замыкает в красивую, изысканную форму. Искусственность ли это? Думаю, что это "вторая искренность", "вторая непосредственность", которая избавляет и ее самое и читателя от неловкого обмана. Оттого и сами стихотворения, и форма их производят впечатление такой зрелости, такой глубины...» (Хроника журнала «Мир Искусства». 1903. № 16. С. 182.).

Поэт и критик Н. Е. Поярков, анализируя «Собрание стихов», увидел в нем возможность проследить духовную эволюцию Гиппиус — «своеобразный путь от липкого неверия к христианству»; при этом ранние, «декадентские», произведения ему представляются более художественно значительными, чем позднейшие, исполненные религиозных устремлений: «Именно те стихотворения Гиппиус, которые содержат искания Бога, холодны, сухи и немолитвенны. Они слишком логичны и схематичны, в них нет искреннего вопля грешника, страстности ищущего Бога — человека на распутьи. Манерностью и позой полны они, могут понравиться скорее эстету, чем глубоко верующему христианину. <...> А старые вещи лучше — они были действительно искренними молитвами, и в них звучала богатая разнообразными оттенками душа Гиппиус» (Поярков Ник. Поэты наших дней. Критические этюды. М., 1907. С. 37, 33). Ту же двойственность, но уже не в плане духовного развития, а в метафизической сути творческой личности Гиппиус, отмечал в очерке о ней М. Л. Гофман: «Творчество З. Гиппиус представляет собою нередко какое-то странное соединение искренности искания — с изломанною искренностью бессилия и вычурностью, и холодной, ледяной гордости и презрения ко всему — с жалобными мотивами смиренности и своеобразным сентиментализмом. <...> Часто мышление, головное перевешивает в З. Гиппиус все остальное, но глубоко чувствующая и умеющая чувствовать ее душа сказывается и в этих головных увлечениях, и они иногда облекаются в плоть и кровь живых, не всегда ярких, но сильных, искренних и художественных образов». Гиппиус, заключает критик, «пишет порою странные декадентские строчки "с дерзанием". И от этой рисовки бессилием еще ярче оттеняется ее подлинное, истинное бессилие, ее надорванная, изломанная современная душа. Какая-то необычайная честность и строгость к себе отмечают творчество Гиппиус <...> Пусть бессильной и болезненной

является иногда эта рефлексия, этот порою мелкий самоанализ, похожий на самовлюбленность, но рефлексия часто удерживает З. Гиппиус от успокоения в найденной вере красивых слов и фраз...» (Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. Модеста Гофмана. СПб.; М., [1909]. С. 176—177).

С. 71. Необходимое о стихах. Судя по письмам Гиппиус к В. Я. Брюсову, относящимся к июлю—августу 1903 г., предисловие было написано ею в ходе работы над корректурами «Собрания стихов». 24 августа Гиппиус писала Брюсову: «Посылаю вам "предисловие" <...>. Не скрою от вас, что я его отчасти употребила в дело, вставив куски из него в мою статейку для сентябрьской книжки Нов<ого> Пути. М<ожет> б<ыть>, это ничего. Другого предисловия написать не могу. Д. С. его одобряет» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36). Отдельные фрагменты предисловия почти дословно совпадают с положениями статьи Гиппиус «Нужны ли стихи?» (НП. 1903. № 9); см.: Антон Крайний (Гиппиус З.). Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908. С. 153—169.

Основное содержание предисловия Гиппиус проясняет в позднейшем письме к Г. В. Адамовичу (10 июня 1927 г.), откликаясь на его слова, произнесенные в кружке «Зеленая Лампа» («Некоторые говорят, что поэзия — молитва. Молитва — кому?»): «Тут вы, очевидно, намекали на мою статью "О стихах". Мне казалось, что я говорю ужасно ясно и точно, а вот, оказывается (по вашей фразе), что неясно. При чем тут "кому"? Я говорила об известном *состоянии души*, которое, по-моему, очень можно назвать словом, которым назвала я, обстоятельно, при этом, объясняя это "состояние", всячески оговаривая, — а вы — "кому?" Если вас смутило слово, и вы соединили его с тем, что им обычно зовется, — с молитвой перед обедом или с акафистом Тихону Задонскому, — оставьте его, понимайте "вдохновение", будет то же; а если мне это слово не нравится — тут дело привычных вкусов» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 346).

Поэзия, как определил ее Баратынский, — «есть полное ощущение данной минуты». — Цитата восходит к «Материалам для биографии Е. А. Баратынского», помещенным в издании сочинений поэта под редакцией его сына Н. Е. Баратынского: «Однажды спрашивали у Баратынского: что такое поэзия? — он отвечал: "поэзия есть полное ощущение известной минуты"» (Баратынский Е. А. Сочинения. Казань, 1884. С. 481).

1. СВ. 1895. № 12. С. 206; НЛ. С. 219, без деления на строфы. Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях. 19 марта 1893 г. Гиппиус зафиксировала в дневнике: «Я писала стихи сегодня, после многих лет. Пусть они плохи, но пишу их и повторяю потом — как молюсь. Есть неведомое чувство умиления и порыва в душе. О, если б молиться, пока жить!» Далее в дневнике приводится текст «Песни» в его первоначальной редакции:

«Окошко мое высоко над землею,
Высоко над землею.

Вижу я только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Пустым и бледным.
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
И жажду того, чего я не знаю,
Не знаю.
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце просит и хочет чуда,
Чуда!
Мои глаза его не видали,
Никогда не видали,
Но рвусь к нему в безумной печали,
В безумной печали.
О пусть будет то, чего не бывает,
Не бывает,
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает, —
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете.
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

После 17-го марта»

(Contes d'amour, 1. С. 31—32). Та же редакция ст-ния с небольшими разночтениями в беловом автографе (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122), на который нанесена черновая карандашная правка, дающая еще один вариант текста:

Песня

Окошко мое высоко над землею
Над темной землею,
Я вижу лишь небо с вечернею зарею
С далекой зарею
И мне кажется небо пустынным и бледным,
Холодным и бледным,
То небо над сердцем не сжалится бедным
<   > и бедным...
Увы, я в безумной тоске умираю
Давно умираю
И жажду я сердцем,* чего я не знаю,
<   >

* *Вариант:* К тому порываюсь <?>

И это желание — не знаю откуда
　　　　Слетело откуда
Но сердце и хочет, и требует чуда,
　　　　Великого** чуда!
О пусть то свершится,*** чего не бывает
　　　　Ни с кем не бывает,
Мне бледное небо чудес обещает,
　　　　<　　> обещает...
Но плачу без слез о прекрасном обете —
　　　　О ложном <?> обете,
Мне нужно того, чего нет здесь на свете,
　　　　И не будет на свете.

Ст-ние написано Гиппиус после разрыва отношений с поэтом Ф. А. Червинским (17 марта 1893 г.; см.: Contes d'amour, 1. С. 30—31); ср. фразу в одном из недатированных писем Гиппиус к Червинскому: «Я хочу того, чего на свете нет, я хочу и жду чудес» (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 9). Позднее Гиппиус признавалась Грете Герелль, что считает «Песню» одним из самых любимых своих ст-ний (см.: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale; Edwardsville, 1971. P. 35). Сопоставляя «Песню» со стихотворными опытами К. Льдова, написанными «полуритмической прозой», Гиппиус вспоминает: «Этой "Песни" никто не хотел печатать, находя, что это "не стихи"...» (Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С 27).

2. СВ. 1895. № 3. С. 136, с датой: 1893; НЛ. С. 222, без загл. и без деления на строфы, варианты — ст. 2: «Но я верю — дух мой высок» (СВ), последнего ст.: «Но я знаю — дух наш высок» (СВ), «Но верю я — дух наш высок» (НЛ). В Экз. ИМЛИ посвящение: «Никому». В беловом автографе — без загл., с датой: 8 октября, 1894 (ГЛМ, ф. 254, оп. 4702). Беловой автограф 2-й строфы, с датой: 8 октября 94 г. — в альбоме Ф. Ф. Фидлера (РГАЛИ, ф. 581, оф. 2, ед. хр. 13, л. 25). См. воспоминания П. П. Перцова о знакомстве (в начале 1895 г.) с этим ст-нием — оцененным им как «одно из лучших стихотворений нашей символической школы» (Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890—1902. М.; Л., 1933. С. 227). *Но люблю я себя, как Бога...* — Ср. дневниковую запись Гиппиус от 17 ноября 1893 г.: «Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя» (Contes d'amour, 1. С. 35). Накануне, 16 ноября, она же писала Н. М. Минскому: «Полюбите себя, как Бога, тогда вам не опасна ни любовь, ни самые мелкие страданья — все станет красотою» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205). Несколько лет спустя, летом 1897 г., Гиппиус признавалась в письме к З. А. Венгеровой: «Вы думаете, что я "люблю себя, как Бога"? Нет, я уже далеко впереди. Это был детский выкрик, что-то мною самой непонятое, гимназическая удаль слегка. И вообще, надо нам всем отдыхать от дешевого демонизма» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542).

** *Вариант:* Прекрасного <?>

*** *Вариант:* О пусть свершится,

3. НЛ. С. 215, без загл. и без деления на строфы.

4. НЛ. С. 216, вариант 6-й строфы:

Посты и вериги
Не весь Твой Завет...
В божественной книге
Прощенье и свет.

Сырые проходы // Под светлым Днепром... — Имеются в виду подземелья Киево-Печерской лавры, расположенной на берегу Днепра.

5. Труд. 1894. № 11. С. 324, под загл. «Никогда!», за подписью Д. Мережковского, варианты — ст. 11: «Не ты ль это слово, знакомое слово?..», ст. 14: «Мне страшно, что страха в душе уже нет»; НЛ. С. 220, без деления на строфы, варианты — ст. 8: «А кони быстрее и неутомимей», ст. 11: «О ты ль это снова, знакомое слово?»

6. Всемирная Иллюстрация. 1894. № 51. С. 187, без загл., за подписью Д. Мережковского; НЛ. С. 221, под загл. «Бессилие», без деления на строфы, вариант ст. 9: «Я тщетно к солнцу руки простираю — ». Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

7. Литературные приложения к «Ниве». 1894. № 10. Стб. 297, под загл. «Снег», без деления на строфы, за подписью Д. Мережковского, с посвящением: «Посвящается К. С. М.»; НЛ. С. 224, без деления на строфы. Беловые автографы (два) без деления на строфы (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122); в одном из них ст-ние под загл. «Снег».

8. НЛ. С. 223.

9. НЛ. С. 226, без деления на строфы, вариант заключительных ст.: «В этот час мы все близки к смерти, // Только странно живы цветы» (НЛ). Беловой автограф — с датой: 1895, без деления на строфы, вариант предпоследнего ст.: «В этот час все мы ближе к смерти» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях. *Арум* (арон, аронник) — болотное растение (сухотный корень).

10. СВ, 1895. № 2. С. 178, варианты — строфа 5, ст. 4: «И даже красотой...», строфа 8, ст. 3: «Хоть рыцарь твой далеко», строфа 11, ст. 3: «А за окном — утесы»; НЛ. С. 227. Н. В. Королева в примечаниях к ст-нию указывает, что Гризельда — имя героини одноименной драмы (1837) австрийского писателя Фридриха Гальма (Halm; псевдоним Элигиуса Франца Йозефа фон Мюнх-Беллингхаузена, 1806—1871), переделанной для русской сцены П. Г. Ободовским в 1840 г.: «Гризельда — дочь угольщика, прекрасная и добродетельная, на которой женился рыцарь, подвергший ее верность многим испытаниям. Она выходит из этих испытаний незапятнанной, прощает рыцаря ради их ребенка; сюжет баллады Гиппиус — дальней-

шая судьба верной и одинокой Гризельды, соблазняемой Сатаной» (Гиппиус З. Опыт свободы. М., 1996. С. 502). Более вероятно, однако, что сюжет о кроткой, терпеливой и верной жене принца, который подвергает ее чувства разнообразным испытаниям, Гиппиус восприняла из стихотворной сказки французского писателя Шарля Перро (1628—1703) «Гризельда», входящей в его знаменитый сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697).

11. НЛ. С. 230, без деления на строфы, вариант ст. 6: «В безмолвных, стынущих водах».

12. СВ. 1895. № 11. С. 118, с посвящением: «(Л. Н—м)» (как расшифровывается посвящение, неясно; возможно, по догадке А. Л. Соболева: «Людям Новым» — по связи с загл. книги Гиппиус «Новые люди» (1896), посвященной А. Л. Волынскому), вариант ст. 11: «Но верую: любовь, как смерть, сильна»; НЛ. С. 231, под загл. «Иди за мной («Будет день...»)», с датой: 1895 (Семнадцатое октября). Пояснение Гиппиус в Экз. ИМЛИ: «Никому, а всякий думал, что ему». Беловой автограф — с датой: 1895 г. (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). В подтексте ст-ния — сложные личные взаимоотношения Гиппиус с поэтом и философом Николаем Максимовичем Минским (Виленкиным; 1856—1937) и с литературным критиком и теоретиком искусства, идейным руководителем «Северного Вестника» Акимом Львовичем Волынским (Флексером; 1861—1926). 24 ноября 1895 г. Гиппиус записала в дневнике: «Я написала стихи "Иди за мной", где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой, т. е. Минским. Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку. Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что "чужие люди нас разлучают", что я "умираю среди них", а он, "единственно близкий мне человек, умирает вдали"... Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ <...>. Но интереснее всего то, что я, через два дня, послала Минскому букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо было это сделать, слишком невозможно....» (Contes d'amour, 1. С. 39). В упомянутом письме к Минскому (от 3 ноября 1895 г.) Гиппиус заявляла: «Наше знакомство прекратилось только потому, что оно мне не нужно. На этот счет у вас не должно быть больше никаких иллюзий. Все, что я делаю, думаю, писала и хочу писать, — не имеет к вам ни малейшего отношения. Покорнейше вас прошу мне ничего не посылать. Все конверты будут возвращены невскрытыми» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205).

13. СВ. 1896. № 9. С. 80, без ст. 30—33, вариант ст. 35: «Как призраки, тают». Беловой автограф — с датой: 1895? (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). *Парки* (римск. миф.) — богини судьбы, прядущие нити человеческих жизней.

14. Кавказ (Тифлис). 1897. № 162, 21 июня. С. 2, под загл. «Пруд», за подписью Д. Мережковского, без строфы 4, варианты — строфа 1, ст. 3: «Душа устала ненавидеть», строфа 2, ст. 1: «Я знаю — с ними задохнусь», ст. 3: «Их ласки — жалки, дни их серы...», строфа 3, ст. 4: «К давно заглохшему пруду...», строфа 5, ст. 3: «Я слышу душный запах тины...», строфа 6, ст. 1: «И бездыханен темный пруд...», ст. 4: «Они и здесь меня найдут!..», строфа 7, ст. 1: «Но слышу, кто-то шепчет мне:».

15. Зеркала. С. 290, варианты — строфа 4, ст. 2—4: «Мы делаем, что хочет Рок. // Кто создал нас без вдохновения, // Тот полюбить, создав, не мог»; последний ст.: «Глухие давят небеса». Автограф в альбоме Д. Н. Фридберга — с датой: 14 ноября, 98. СПб (видимо, дата фиксации текста); варианты — строфа 1, ст. 3—4: «Ужели нет у Бога жалости? // Ужель у Бога нет любви?», строфа 5, ст. 4: «Глухие давят небеса» (ИРЛИ, р. 1, оп. 42, ед. хр. 70, л. 1—2).

16. СВ. 1896. № 12. С. 158; Зеркала. С. 291. Варианты — строфа 1, ст. 2: «И разбивается волна» (СВ, Зеркала); строфа 2, ст. 2: «Мы лжем — но в сердце тишина» (СВ, Зеркала); строфа 4, ст. 3: «Все дальше путь, все ближе вечность» (СВ). Автограф ст-ния послан А. Л. Волынскому 25 октября 1896 г. с посвящением «(Акиму Львовичу Флексеру-Волынскому)», вариант — строфа 4, ст. 3: «Всё дальше путь, всё ближе вечность» (см.: Письма З. Н. Гиппиус к А. Л. Волынскому / Публикация А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой // Минувшее: Исторический альманах. 12. Paris, 1991. С. 327). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях. Близкие отношения Гиппиус с Волынским (с 1894 до весны 1897 г.) отразились в ее многочисленных письмах к нему (см.: Там же. С. 274—341; Rabinowitz Stanley J. A «Fairy Tale of Love»?: The Relationship of Zinaida Gippius and Akim Volynsky (Unpublished Materials) // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1991. Vol. XXIV. P. 121—144); см. также очерк Волынского о Гиппиус — «Сильфида» (1923) (Минувшее. Исторический альманах. 17. М.; СПб., 1995. С. 260—265. Публикация А. Л. Евстигнеевой). Проблематику ст-ния Гиппиус соотносила и с другими биографическими подтекстами и обстоятельствами; в частности, 2 октября 1897 г. она писала Н. М. Минскому: «Я верю, что вы меня любите, я всегда это знала, потому что еще никто, полюбив, не разлюбил. Любовь — всегда одна, как я еще недавно писала о вас» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 205).

17. Зеркала. С. 292. Помета Гиппиус в Экз. ИМЛИ: «О Минском». Беловой автограф — под загл. «Сантиментальное стихотворение», вариант — строфа 2, ст. 1: «Летят мгновения немые...» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

18. ЖдВ. 1903. № 9. Стб. 1039, с посвящением: «Посв. третьему», без деления на строфы, варианты — строфа 1, ст. 2: «И, знаю, вспоминать его не надо»; строфа 3, ст. 2: «Тот, позабытый, — вечно между нами». В Экз. ИМЛИ посвящено З. А. Венгеровой, под текстом помета: «Аврора» (дача под Петербургом в имении Дылицы, близ

станции Елизаветино Балтийской жел. дор.). Беловой автограф — первоначальный вариант в строфе 5, ст. 1: «Я мертвенного чувства твоего» (РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 1 — 1 об.). Беловой автограф — под загл. «Слиянье», с посвящением: «Посвящается Зинаиде Афанасьевне Венгеровой», с датой: 6 августа 98 (вероятно, дата вручения автографа З. А. Венгеровой); строфа 4 предшествует строфе 3; варианты — строфа 3, ст. 2: «Он, мертвый, третий — вечно между нами», строфа 4, ст. 3—4: «И только слышится мне запах тлена // В твоих речах, в движениях, — во всем...», строфа 5, ст. 1—2: «Ни тщетного я чувства твоего, // Ни мертвого в тебе — не принимаю» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Ст-ние навеяно взаимоотношениями Гиппиус с Зинаидой Афанасьевной Венгеровой (1867—1941), литературным критиком, переводчицей, историком западноевропейских литератур, близким другом Н. М. Минского (подразумеваемого в образе «третьего»). Ср. размышления Гиппиус в письме к Венгеровой от 22 мая 1897 г. о своем разрыве с Минским: «За свою собственную ложь в моих к нему отношениях я была наказана долгим, чересчур долгим мучением от безобразия, тихого, тупого, упорного, и сознанием слабости. Но я не переставала мучиться и *знала*, что должна и свергну с себя это. Вы меня тогда спутали с ним крепче — но мучений стало больше. Теперь все пережито, скинуто, сброшено — но осуждать его не хочу. Пусть он найдет ту, которая его поймет и полюбит. Я была не для него, как он не для меня. <...> я ушла, крепко, твердо, беспощадно, без той сантиментальной жалости (без ее внешнего проявления), которая оскорбляет и пачкает Бога. Н. М. не против меня виноват (пусть хоть и я против него виновата), он против Любви виноват, если она у него была такая большая и божественная. Он живет *в любви* не любя, и так всю жизнь!» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542). О взаимоотношениях Гиппиус и Венгеровой и их переписке в 1897 г. см.: Багно В. Е. «Красный» цикл писем Зинаиды Гиппиус к Зинаиде Венгеровой // Русская литература. 1998. № 1. С. 84—87.

19. Беловой автограф — 2-я строфа ст-ния, с датой над текстом: 17. I. 04 (видимо, дата фиксации автографа), под текстом — подпись-автограф (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях. Приводя ст-ние в письме к Н. Н. Берберовой (октябрь 1926 г.), Гиппиус отмечает: «Мне вспомнились мои старые-старые стихи, которые я написала на книге, даря ее Поликсене Соловьевой» (Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 9. О П. С. Соловьевой см. примеч. 52).

20. Зеркала. С. 294, вариант — строфа 6, ст. 3—4: «Молю, не цепляйся за прутья // Решетки печальной».

21. Зеркала. С. 298, вариант ст. 5: «Моей душе, в безмолвие влюбленной».

22. Зеркала. С. 297, вариант — строфа 4, ст. 1: «Повеяло нездешнею отрадой».

23. Зеркала. С. 299, без деления на строфы, варианты — ст. 10: «Дождем дохнул — и вновь исчез», ст. 12: «Ползут и тянутся с небес». Автограф, посланный З. А. Венгеровой, — с датой: 17 мая, 97. СПб. (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542); та же дата — в Экз. ИМЛИ.

24. СВ. 1897. № 8. С. 220, с посвящением Н. А. Борисовскому, без деления на строфы, вариант ст. 2: «И уплывают тучи полосою»; Зеркала. С. 300, без деления на строфы. Автограф, посланный З. А. Венгеровой, — с датой: 17 июля, 97. Шевино (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542); в Экз. ИМЛИ помета: «Шевино летом». Шевино — имение Борисовской у станции Преображенская Варшавской железной дороги (близ Луги), Гиппиус и Мережковский жили там летом 1897 г. Николай Александрович Борисовский — драматург 1890—1900-х гг.

25. СВ. 1897. № 10. С. 118; Зеркала. С. 301. В Экз. ИМЛИ помета: «Шевино осенью». Беловой автограф — с вариантами (строфа 6, ст. 1—2): «Прежнее даруй безмолвие, // О, возврати его вечности...» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

26. Зеркала. С. 302. *Светла печаль моя.* — Ср.: «Печаль моя светла» — из ст-ния А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

27. Живописное Обозрение. 1898. Т. 1. С. 106; НП. 1903. № 1. С. 113, вариант ст. 3: «Как сердцу сладостен полет счастливый!»

28. Беловой автограф (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 1—1об.). В Экз. ИМЛИ помета: «Taormina Sicilia». Мережковские жили в Таормине весной 1898 г. на вилле семейства Рейф (Marthe Reif и Mr. Reif) — villa Guardiola. Авторская дата: 1897 — неточна. *Н. В. — I — Henry Briquet* (Анри Брике), знакомый Рейфов. Гиппиус вспоминает о встречах с ним (запись от 16 августа 1899 г.): «В громадной пустой зале виллы Рейф <...> — тонкая, высокая фигура Briquet с невероятно голубыми глазами и нежным лицом. Очень, очень красив. Года 24, не больше. Безукоризненно изящен, разве что-то, чуть-чуть, есть... другая бы сказала — приторное, но для меня — нет, — женственное. Мне это нравится, и с внешней стороны я люблю иногда педерастов <...>. Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко. То есть то, что *кажется*. <...> Я почувствовала, что, пожалуй, могла бы очень приятно влюбиться в Briquet. Он совсем не глуп, очень тонок, очень образован (все это — французисто) — но очень многое понимает, с ним интересно говорить и — с ним я умна. <...> Ужасно все волновало, и дешевая красивость обстановки, и белые ирисы, и его удивленное, несколько опасливое, но искреннее внимание ко мне. Даже не французистое, а детское какое-то, очень льстящее мне. <...> Он, Briquet, так и уехал через неделю. Месяц чужой любовной атмосферы. Но я *сама* уже очень отдалилась и радовалась, что не пошла на эту "карикатурную" влюбленность» (Contes d'amour, 1. С. 43—44, 45).

29. В Экз. ИМЛИ посвящено: «Лизе О<вербе>к». Баронесса Елизавета фон Овербек — по словам Гиппиус, «молоденькая англичанка, идеально музыкальная (она написала музыку "хор" к трагедиям Софокла и Эврипида, шедшим тогда на Александринском театре)» (Пахмусс Т. Зинаида Гиппиус: «Эпоха Мира искусства» // Возрождение (Париж). 1968. № 203. С. 73). О знакомстве с Овербек Гиппиус писала В. Д. Комаровой 19 июля 1898 г.: «В последнее <...> мое путешествие, нынче весной, я встретилась с одной барышней, музыкантшей-композиторшей, с которой мы очень сошлись. Судьба ее трагическая: она русская, в раннем детстве была увезена из России родителями, бежавшими по политическим причинам в Англию и скоро умершими. Девочка не понимает ни слова по-русски, воспитана церемонной англичанкой. Кончила лондонскую консерваторию, издала уже несколько сборников своих песен, написала четыре симфонии, оперу, дирижирует оркестром и начинает приобретать известность. Но дело не в этом, а в том, что она *волшебно*-музыкальна. Никогда я не встречала такого страшного существа. Вы не поверите, как она была мне полезна, какие толчки уму в сторону музыки она мне дала. Я ее очень звала в Россию (которую она детски обожает), она должна была приехать, но, кажется, строгая мать-англичанка против этого» (РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154). Эпизод знакомства с Овербек на вилле Рейф весной 1898 г., отразившийся в ст-нии, Гиппиус воссоздает в ретроспективной дневниковой записи от 16 августа 1899 г.: «Мы спустились в сад, на крутой скале, и сели на камни. <...> У англичаночки была страшная, красивая палка в руках, с перламутровыми инкрустациями. — Покажите мне вашу палку, — сказала я. И когда она мне ее протянула, у меня было неопределимое чувство, без слов: а ведь я с этим существом все могу сделать, что захочу, оно — мое. Слова потом пришли, очень вдолге. На другой день — вечер у Gloëden'a... Там <...> — музыка и опять то же бессловесное чувство. Вдвоем — только раз, на каменной лестнице» (Contes d'amour, 1. С. 45—46; Franz von Gloëden — живописец и художественный фотограф). Таким образом, авторская дата: 1897 — неточна. Овербек приезжала в Петербург в 1898 г.; 21 августа 1898 г. Гиппиус писала о ней В. Д. Комаровой: «Она молоденькая, не очень развитая, наивная, как только может быть наивна англичанка, и скрытно-восторженная. Я бы очень хотела, чтоб вы послушали ее вещи» (РГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154). Вновь Овербек посетила Петербург в конце 1902 г., тогда с использованием ее музыки в Александринском театре была поставлена трагедия Софокла «Эдип в Колоне» в переводе Мережковского (см. письмо Д. В. Философова к В. А. Серову от 10 декабря 1902 г. // Валентин Серов в переписке, документах и интервью. Л., 1985. Т. 1. С. 389, 391). Близость Гиппиус к Овербек, включавшая и эротические обертоны, не осталась незамеченной в литературной среде; в частности, В. Я. Брюсов записал в дневнике в начале 1903 г.: «При Зиночке состояла и Лиза Овербек, девица для лесбийских ласк, тощая, сухая, некрасивая, лепечущая по-франц<узски>» (РГБ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 29 об.). Ко времени, когда Брюсов сделал эту запись, отношения Гиппиус с Овербек уже были прерваны. В письме к О. Н. Чюминой от 12 февраля 1903 г. Гиппиус сообщала: «Что касается Лизы —

то не могу передать ей ваш привет, ибо с "моего горизонта" она скрылась очень окончательно. Она попала в такое общество, с которым я не имела и не могу иметь никакой связи, и в исследование которого лучше не пускаться. Всего нормальнее для нас его игнорировать. Мне очень жаль это несчастное, исковерканное Европой, существо — Лизу Овербек, — но мы тут ничего не можем сделать. Следовало, чтобы кто-нибудь написал ее приемной матери и она увезла бы ее к себе. Ведь это почти больное существо, во многом ненормальное, и ее эпопея в Петербурге, в труппе театра Пассаж, может фактически очень печально, скандально и, по человечеству, жалко окончиться. Мне это чрезвычайно неприятно, тем более, что извне всякий вправе счесть и меня тут ответственной (хотя в этот раз М-llе Овербек приехала в Россию помимо меня) — однако вмешиваться в это, даже касаться "этого", я чувствую себя *совершенно неспособной,* да, думаю, было бы и бесполезно» (ИРЛИ, ф. 333, ед. хр. 57). Позднее Гиппиус вспоминала о своих отношениях с Овербек в письме к З. А. Венгеровой от 6 апреля 1908 г.: «Для меня не все равно, вдвоем, "втроем или соборне", — ибо малейший пол я признаю *только,* когда есть *любовь.* А любовь непременно "тайна *двух*". <...> Постольку, поскольку есть Любовь между *двумя,* — нет "разврата". Они — взаимоисключающи. <...> Я не была субъективно, в меру моего тогдашнего сознания, да и объективно, развратна, вступая "в брак с Лизой". Но была, говоря вам об этом и "шаля" с вами. Сложностей вопроса я не касаюсь, но вот общие черты» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542). О роли, которую сыграла в ее жизни встреча с Овербек, Гиппиус признавалась в недатированном письме к Андрею Белому: «...я в музыке ничего не понимаю, т. е. не имею никакого *музыкального образования,* а то, которое имела до двадцати лет (я росла в очень музыкальной семье и среди певцов и пьянистов), — совершенно утратила, — попросту забыла, *разучилась грамоте.* Года три-четыре тому назад я очень близко сошлась и подружилась с одной девушкой, полуангличанкой-полурусской, небезызвестным композитором (почти исключительно оркестр), которая опять ввела меня в мир музыки на несколько времени и расширила мое "образование" — но за то, от прикосновения, слишком глубокого и какого-то *узкого,* к этому странному... искусству?? у меня в душе осталось неразложимое чувство, но в котором, знаю, есть и.... отвращение. Или страх, который неприятен, как отвращение» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6).

30. ЖдВ. 1902. № 9. Стб. 1085, без деления на строфы. В Экз. ИМЛИ подзаголовок: «(Насмешка)». *Я изменяюсь, — но не изменяю.* — Ср. интерпретацию этой фразы в позднейшем письме Гиппиус к Г. В. Адамовичу (30 августа 1937 г.): «...Ведь надо все время "изменяться, но не изменять". Самое это трудное — но какое важное! <...> Потому что довольно даже крепко ощутить в себе *свое,* одно, коренное, важное, и ему не изменять — и тогда и будешь изменяться; расти... если не *до* "своей ослепительности", как я говорю, то, по крайней мере, *к ней...*» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 451). Сохранилась фотография Гиппиус с надписью к В. В. Котляревской (25 января 1898 г.): «...И лишь в одном душа

моя тверда — Я изменяюсь, но не изменяю» (ИРЛИ, р. 1, оп. 5, ед. хр. 211).

31. НП. 1903. № 9. С. 86. В Экз. ИМЛИ под текстом помета: «Аврора» (см. примеч. 18). Печатается с исправлением опечатки в ст. 1.

32. В беловом автографе — интервал между ст. 6 и 7 (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 2). В Экз. ИМЛИ посвящено: «Л. О<вербек>»; под текстом помета: «Гомбург» (в Гомбурге Мережковские жили летом 1899 и 1900 гг.). В экземпляре «Собрания стихов», принадлежавшем С. П. Каблукову, Гиппиус обозначила инициалы посвящения: Е. О. (Елизавете Овербек) (РНБ, ф. 322, ед. хр. 11, л. 173).

33. «Денница». Альманах 1900, изданный под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского. СПб., [1900]. С. 37, без загл., вариант заключительного ст.: «Моей души последние печали». Беловой автограф — без загл., вариант — строфа 2, ст. 2: «Я не открою им дверей познанья» (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1).

34. Ежемесячные Сочинения. 1901. Т. 4. № 3. С. 202, варианты — строфа 2, ст. 1, 5: «Мы слабы и оба устали», строфа 3, ст. 7: «Не знала, что надо дойти». В Экз. ИМЛИ посвящено: «Л. О<вербек>»; посвящение ей же (Е. О.) обозначено Гиппиус в экземпляре «Собрания стихов», принадлежавшем С. П. Каблукову (РНБ, ф. 322, ед. хр. 11, л. 173). Беловой автограф, варианты — строфа 1, ст. 4: «В долине — зеленые сени» (приведено к печатному варианту), строфа 3, ст. 2: «Ее поддержать я старался...», ст. 7: «Не знала, что надо дойти», строфа 5, ст. 7: «Я знаю: я должен дойти» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

35. Мир Искусства. 1901. № 5. С. 204, с датой: 30 октября 1900. Беловой автограф — под загл. «Соблазн (Посв. Петру Петровичу Перцову)», с датой: Ноябрь 1900 (РГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 240). Петр Петрович *Пéрцов* (1868—1947) — литературный критик, публицист, искусствовед; в 1903—1904 гг. — официальный редактор журнала «Новый Путь». В 1900 г. входил, наряду с Мережковским и Гиппиус, в интимный круг лиц, объединенных идеей создания «новой церкви» (см.: О Бывшем, 1. С. 53—54). Сохранились 49 писем Гиппиус к Перцову (см.: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Вступ. заметка, подготовка текста и примечания М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124—159; 1992. № 1. С. 134—157).

37. Авторизованный беловой список — без загл., ст. 17: «И все мне здесь кажется странно-недвижным» (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 3—3 об.). *Харон* (греч. миф.) — перевозчик умерших по водам подземных рек (*Стикс, Лета*).

38. ЖдВ. 1903. № 8. Стб. 931, без деления на строфы, вариант — строфа 4, ст. 3: «И будут два в одном соединенья —». *В начале было Слово.* — Ин. I, 1.

39. Новое Дело. 1902. № 10. С. 206. В Экз. ИМЛИ посвящено: «Л. О<вербек>»; посвящение ей же (Е. О.) обозначено Гиппиус в экземпляре «Собрание стихов», принадлежавшем С. П. Каблукову (РНБ, ф. 322, ед. хр. 11, л. 173). Беловой автограф — без загл., в строфе 3 ст. 2—3 подчеркнуты, на полях — приписка к ним Гиппиус: «Стихи, относящиеся прямо к Ольге Димитриевне!» (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1 об.).

40. ЖдВ. 1903. № 7. Стб. 808, под загл. «Молитва», другая редакция:

Ни о чем, о Господь, я просить не смею,
Все, нужное мне, Ты дашь мне Сам.
Но жизнь и любовь мою — все, что имею, —
Все к Тебе несу я, к Твоим ногам.
Тебе Мария умыла ноги,
И с миром Марию Ты отпустил.
Верю, Ты примешь и мой дар убогий,
Простишь и меня, как ее простил.

Беловой автограф — РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 2. *Тебе Мария умыла ноги...* — Лк. VII, 37—38, 48—50, Ин. XI, 2.

41. Беловой автограф — РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 2 об. Машинопись в архиве В. Е. Чешихина-Ветринского — под загл. «Скорбному Учителю» (РГАЛИ, ф. 533, оп. 1, ед. хр. 1069).

42. Беловой автограф — без посвящения, вариант ст. 4: «Что невозможное может свершиться» (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 2). В Экз. ИМЛИ после посвящения Д. В. Философову приписка: «Так как ему понравилось». Дмитрий Владимирович *Философов* (1872—1940) — публицист, критик, общественно-политический деятель; ближайший друг и единомышленник Мережковских в 1900—1910-е гг. Ср. записи Гиппиус о Философове, относящиеся к 1900 г.: «...с ним одним мы в Главном были согласны, и даже не в одном главном»; «Философов — первый, кто подошел к нам; единственный — который близок. Один — кто может помочь. <...> *Мы хорошо говорили вместе* — и почти стало явно, всем троим, что мы — *в Главном согласны, все трое*» (О Бывшем, 1. С. 54, 55). Сходные признания — в письме Философова к Е. В. Дягилевой от 3 января 1905 г.: «Мережковские — мои братья. Мы столько пережили с ними глубоких, несказанных мечтаний, столько настрадались в искании Бога, что вряд ли когда можем *при жизни* разойтись» (ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 189). Письма Гиппиус к Философову (1904—1908, 1923) см. в кн.: Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 59—113.

43. ЖдВ. 1902. № 1. Стб. 13, без деления на строфы. Беловой автограф — в блокноте Гиппиус, все четные стихи записаны «лесенкой» — строкой ниже справа от нечетных (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1). *«Не оставлю вас сиротами, // Приду к вам»*. — Ин. XIV, 18.

44. ЖдВ. 1903. № 8. Стб. 932, без деления на строфы, варианты — ст. 7: «Зачем мне грозное светило»; ст. 11: «И пламя робкое не может».

45. ЖдВ. 1903. № 9. Стб. 1040, без деления на строфы. Авторизованный список — РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 4.

46. Мир Искусства. 1901. № 5. С. 203, без деления на строфы, с датой: 6 марта. Беловой автограф — с датой: «6 м<арта> 01», в строфе 4-й ст. 1 исправлен карандашом: «Во всем однообразие», строфа 5 зачеркнута карандашом (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 5).

47—48. СЦ—1901. С. 2, 21, в составе драмы З. Н. Гиппиус «Святая кровь», вошедшей затем в ее «Третью книгу рассказов» (СПб., 1902). Ср.: Гиппиус З. Пьесы. Л., 1990. С. 10—11, 25.

49. Мир Искусства. 1901. № 5. С. 202, с датой: 17 окт. 1900. По свидетельству Греты Герелль, Гиппиус считала «До дна» одним из самых любимых своих ст-ний (см.: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale; Edwardsville, 1971. P. 35).

50. Новое Дело. 1902. № 12. С. 219, под загл. «Собрание». В Экз. ИМЛИ подзаголовок: «На журфиксе».

51. Мир Искусства. 1901. № 5. С. 201. Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

52. Беловой автограф — с делением на четверостишия, первоначальный вариант ст. 17: «Ручей нам так звонок»; на обороте листа — зачеркнутое четверостишие:

Растем мы хоть близко —
Растем одиноко.
А братья так низко,
А ты — так далеко!

(РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 3)

Посвящение *«А. М—ву»* подразумевает: «Алексею Меньшову» — один из псевдонимов поэтессы и художницы, сестры Вл. Соловьева Поликсены Сергеевны Соловьевой (Allegro; 1867—1924), под которым она печаталась в журнале «Новый Путь». В Экз. ИМЛИ к посвящению приписано: «Поликсене». Об одной из первых встреч с нею Гиппиус сообщает З. А. Венгеровой в письме от 17 марта 1897 г.: «Была я у Соловьевой. В сущности она очень обыкновенная, банальная, милая и несчастная девушка, совсем безобидная» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542). С конца 1890-х гг. П. С. Соловьева — близкая приятельница Гиппиус (см.: Пахмусс Темира. Зинаида Гиппиус: «Эпоха Мира искусства» // Возрождение (Париж). 1968. № 203. С. 66—69). В мемуарном очерке «Поликсена Соловьева» Гиппиус писала о ней: «...наши отношения не прерывались, можно сказать, до ее смерти: последнее письмо она прислала мне уже в Париж»; «Если не мужественности,

то мужества было немало в цельной натуре Поликсены. По-соловьевски страстная, скрытная — и прямая, она была религиозна как-то... непотрясаемо и точно насквозь. <...> Даже верила с такой неуязвимой твердостью, что кто-нибудь сомневающийся вызывал в ней искреннее удивление. Неверие казалось ей невероятным. <...> У нее был тонкий литературный вкус и способность к легкому стихосложению (завидная для меня)» (Возрождение. 1959. № 89. С. 119, 122—123). Касаясь оттенка своих отношений с Соловьевой в дневнике 1933 г., Гиппиус говорит о «*дружбе*, которую можно назвать также отношениями любовно-братскими» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 508).

53. В Экз. ИМЛИ помета: «Душа К<арташе>ва». Антон Владимирович Карташев (1875—1960) — религиозный мыслитель, общественный и церковный деятель, историк церкви; в Петербургской Духовной Академии исполнял должность доцента по кафедре истории русской церкви; оставив в 1905 г. Академию, служил в Петербургской Публичной библиотеке, преподавал на Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах по кафедре истории религий и церкви. В 1917 г. — министр вероисповеданий Временного правительства; в эмиграции — председатель Русского Национального Комитета (сначала в Финляндии, потом в Париже). См.: Епископ Кассиан. Антон Владимирович Карташев // Православная мысль. Труды Православного Богословского института в Париже. Вып. XI. Париж, 1957. С. 9—16. Карташев сблизился с Мережковскими в начале 1900-х гг., в ходе ведения Религиозно-философских собраний. Упоминая (в записи от 16 февраля 1904 г.) новых знакомых из церковной среды, Гиппиус отмечает: «Из всех заметнее был Карташев, умный, странноватый, говорливый на Собраниях: сразу, как будто, из *того* лагеря перешедший в наш, в наши мысли» (Contes d'amour, 2. С. 45). По мнению Гиппиус, Карташев (в 1903 г.) — «странный, юный культурностью, полуживой человек, полупонимающий, задерганный воспитанием, тянущийся к культуре, ее не постигающий и — до конца не верующий» (О Бывшем, 2. С. 67). Сообщая псевдоним, под которым Карташев печатался в журнале «Новый Путь» (Т. Романский), П. П. Перцов добавляет: «...тогда юный профессор петерб<ургской> дух<овной> акад<емии>, влюбленный в З. Н. Гиппиус» (письмо к Д. Е. Максимову от 1 мая 1929 г. — РНБ, ф. 1136, ед. хр. 34).

54. Беловой автограф — без загл., ст. 3—4 каждого четверостишия записаны «лесенкой» — строкой ниже справа от ст. 1—2 (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 2).

55. Беловой автограф — с зачеркнутой датой: «2 мая <?>»; первоначальная редакция текста:

Вам страшно за меня — а мне за вас.
Но страх не одинаковый мы разумеем.
Пусть схожие мечтания у нас, —
Различной жалостью друг друга мы жалеем.

Вам жаль «по-человечески» меня.
Вы знаете, что зол и тяжек путь исканий!
Дороги ровной, тихой, без огня
Вы мне желаете, боясь моих страданий.

Но вас — «по-Божьему» жалею я.
Не для себя я вас люблю — люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя,
Чем ваша тяжелей и огненней дорога.

Я тихой пристани для вас боюсь,
Уединенных дум и жизни знаю власть я
И не о счастии для вас молюсь —
О том молюсь, что выше и блаженней счастья.

(РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 5)

Посвящение (*«В. К.»*) Гиппиус расшифровывает в Экз. ИМЛИ: «Успенскому и К<арташе>ву вместе». В дневниковой записи от 27 октября 1910 г. С. П. Каблуков, описывая принадлежавший ему экземпляр «Собрания стихов» с пометами Гиппиус, сообщает: «На странице 99 инициалам В. К. приписано ею: "обоим" — разумеется Вас. Успенскому и А. Карташеву» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 11, л. 174). Василий Васильевич Успенский (1876—1930) — приват-доцент (позднее профессор) Петербургской Духовной Академии, участник Религиозно-философских собраний, историк педагогики (см. о нем статью Г. Б. Киселевой в кн.: Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1. Императорская Публичная библиотека 1795—1917. СПб., 1995. С. 529—531). Знакомство Гиппиус с ним (1902 г.) развивалось параллельно ее общению с Карташевым, который переживал тогда своеобразное увлечение ею. Говоря о Карташеве в записи от 16 февраля 1904 г., Гиппиус добавляет: «Другой профессор, Успенский, моложе и весь не то теленок, не то ребенок — и "кутейник" с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, "второй". Карташев бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать ему что-то *внешнее* ему недостающее (как мне казалось), чтобы он мог понимать мою, "декадентски"-отливающуюся, речь»; «Когда бывали оба — я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташева. Я баловала их, я пыталась показать им *настоящее* красивое и заботливо создавала для них массу *подлинных* внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташеву такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для... *всего* будущего, моего» (Contes d'amour, 2. С. 46, 47). Раскрывая «новопутейский» псевдоним В. В. Успенского (В. Бартенев), П. П. Перцов добавляет о нем, вслед за справкой о Карташеве: «...тогда тоже проф<ессор> дух<овной> ак<адемии> и тоже ры-

царь З. Н. Вообще он и Карташев — это были два Аякса. Вместе вышли из акад<емии>, под влиянием Мережк<овского>, и стали "либералами". Но в дальнейшем карьеры разные, соотв<етственно> дарованиям: Успенский — тусклая посредственность, он и сейчас в Ленинграде, а Карт<ашев> — умен, блестящий оратор и большой хитрец (сейчас заметная фигура в эмиграции). Из-за З. Н. друзья рассорились» (письмо к Д. Е. Максимову от 1 мая 1929 г. — РНБ, ф. 1136, ед. хр. 34).

56. НП. 1903. № 9. С. 87. В Экз. ИМЛИ пояснение: «О "философии" Минского». Подразумевается мистико-философская теория «меонизма» — религии небытия, — подробно изложенная Минским в трактате «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890). См. также: "Меонизм" Н. М. Минского в сжатом изложении автора» // Русская литература XX века. (1890—1910) / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 1. Кн. 3. М., 1914. С. 364—368.

57. Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453). *Ефрем Сирин* (ок. 306—373) — классик сирийской литературы, виднейший аскето-моралистический писатель и церковный поэт.

58. Беловой автограф — под загл. «За порог», без деления на строфы, с датой: 1. 4. 01. (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). *Со мною меч — мой оплот...* — В письме к В. Я. Брюсову от 11 января 1902 г. Гиппиус, приводя евангельскую формулу «не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. X, 34), добавляла: «Вот лицо *грядущего* Христа, Христа второго пришествия — (и того же самого, который был)» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 286).

59. Беловой автограф — без деления на строфы, с датой: «2 и<ю>л<я 01>», вариант — строфа 7, ст. 2: «Но лишь несмело обижаю...» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453). В Экз. ИМЛИ пояснение: «От имени Д. В. Философова». Ср. запись Гиппиус о весне 1901 г.: «*...я позвала* Философова и говорила *с ним*. А он говорил о *своей* слабости, не замечая, что эта слабость — вольная, и в зависимости от слабости Дмитрия Сергеевича, с которым он сочувственно соединился. Я хотела схватить его за плечи и крикнуть: "Позор! вы сильнее нас!" — но зачем? Разве он поверит? Быть слабым соблазнительнее. <...> Однако тогда я его во многом убедила» (О Бывшем, 1. С. 62).

60. В беловом автографе — два варианта загл.: «Предсмертная исповедь хорошего человека», «Предсмертная исповедь православного человека» (РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 7 об.—8). Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453). Кто подразумевается за инициалами посвящения, неясно (возможно, А. В. Карташев).

61. В Экз. ИМЛИ помета: «Мэонист». Беловой автограф — с подзаголовком: «(Мэоническая молитва)» (РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 7). См. примеч. 56.

62. Новое Дело. 1902. № 9. С. 87. Беловой автограф — с датой: 31. 12. 01 (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

63. ЖдВ. 1902. № 1. Стб. 14, без деления на строфы.

64. НП. 1903. № 9. С. 90.

65. Новое Дело. 1902. № 5. С. 50. Беловой автограф — с датой: 1. 1. 02 (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

66. НП. 1903. № 9. С. 91, вариант ст. 24: «Вот чьи-то легкие шаги».

67. СЦ-1902. С. 106, варианты — строфа 3, ст. 3: «И глубже боль сомнения»; строфа 5, ст. 1—2: «Унылые, бессильные, // Бескрылые мечты».

68. ЖдВ. 1902. № 3. Стб. 299, вариант — строфа 3, ст. 4: «Одною любовию слиты в одно»; СЦ-1902. С 106. О публикации ст-ния в «Журнале для всех», переданного также в альманах «Северные цветы», Гиппиус уведомила В. Я. Брюсова в письме от 11 марта 1902 г. (см.: Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 294).

69. Под «тетрадью любви» подразумевается собрание дневниковых записей «Contes d'amour», которые Гиппиус заносила с большими хронологическими перерывами; в частности, между 11 апреля 1901 г. и 16 февраля 1904 г. записей не было (по содержанию ст-ния можно судить, что Гиппиус в 1901 г. приговорила тетрадь лежать «вечно закрытой»). Запись от 16 февраля 1904 г. начинается словами: «Три года тетрадь эта лежала в запечатанном конверте. Сегодня я разорвала конверт, но тетради не перечитаю, нарочно, до тех пор, пока не сделаю того, для чего разорвала конверт, — не впишу нужного» (Contes d'amour, 2. С. 45).

70—71. ЖдВ. 1902. № 2. Стб. 191. Лев Самойлович *Бакст* (Розенберг) (1866—1924) — живописец, участник объединения «Мир Искусства»; автор портрета З. Н. Гиппиус (1905). Упоминая Бакста в незаконченном очерке «Эпоха Мира искусства», Гиппиус добавляет: «Мы с ним весьма дружили» (Возрождение (Париж). 1968. № 203. С. 72. Публикация Темиры Пахмусс). Дружба эта носила неровный характер: еще 20 октября 1899 г. Гиппиус сообщала З. А. Венгеровой, что «пошла к Баксту» и «совершенно и бесповоротно с ним порвала» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542), а в 1904 г., описывая свои встречи с Бакстом, заключала: «...если у него и было что-нибудь ко мне — то... он только лежал у моих "ног". Выше моих ног его нежность не поднималась. Голова моя ему была не нужна, сердце — непонятно, а ноги казались достойными восхищения» (Contes d'amour, 2. С. 52). В некрологической статье «Умная душа (О Баксте)» Гиппиус писала: «Знал ли кто-нибудь, что у Бакста не только большая и талантливая, но и *умная* душа? <...> я утверждаю, что Бакст обладал умом серьезным, удивляюще-тонким. <...> Он никогда не претендовал на длинные метафизические разглагольствования, — они были тогда в большой

моде, — но, повторяю: случайное ли письмо, случайно ли выпавшая минута серьезного разговора, и опять я удивляюсь уму, именно уму, этого человека, такой редкости и среди профессиональных умников» (ПН. 1925. № 1446, 11 января).

72. ЖдВ. 1903. № 7. Стб. 807, вариант ст. 10—12: «Для достижения // Господь прозрение // Нам ныне дал». Беловой автограф — с зачеркнутым первоначальным вариантом загл. «Единая дорога», с зачеркнутой датой: 28 марта 1902 (РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 6).

73. Новое Дело. 1902. № 9. С. 86, под загл. «Что есть грех». Беловой автограф из архива В. Ф. Нуведя — с датой: 2. 2. 02 (РГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 4, л. 1); та же дата — в беловом автографе из архива З. А. Венгеровой и Н. М. Минского (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453). Высылая автограф ст-ния В. Ф. Нувелю, Гиппиус писала: «Разберитесь там, что у вас есть, чего нет: это — грехи вообще, и даже считаются таковыми если и нет на то сознания, т. е. что они — грехи» (РГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 4). Вальтер Федорович *Нувель* (1871—1949) — чиновник особых поручений канцелярии Министерства императорского двора, один из организаторов «Вечеров современной музыки» и руководителей «Мира Искусства»; гимназический товарищ и близкий друг Д. В. Философова. Мережковские сблизились с Нувелем в 1901 г., надеясь с его помощью — а отчасти и нейтрализовав его влияние — всецело вовлечь Философова в мистический союз, объединенный идеей «новой церкви»; в частности, Мережковский писал Нувелю 14 января 1901 г.: «Я почти уверен, что без Вас никогда не придет к нам Философов. Вы неизбежный путь его к нам. И мы все уже настолько любим его, что без него нельзя нам быть» (Там же, ед. хр. 9). В ст-нии отразились коллизии общения с Нувелем весной—летом 1901 г. и представления Гиппиус о его духовно-психологическом облике, зафиксированные в ее записях: «Говорила с Нувелем, возвращаясь в белую ночь от Розанова. Нувель мне показался страдающим, и что-то искреннее мелькнуло в нем. *Накануне отъезда моего, днем,* Нувель был у меня — но тут он мне показался только любопытствующим»; «*Я виделась с ним,* говоря себе, что для того вижусь, чтоб любить себя и его. А выходило, что я, во время этих свиданий, презираю и себя, и его, и ничего сделать нельзя. <...> *А потом* мы уже стали говорить прямее, и тогда выяснилось и для него, что между нами нет ничего общего»; «*Нувель* считает себя выше меня, а я — себя выше него. И ничего не будет между нами, так же, как если бы я считала себя ниже его, и он себя — ниже меня. *Он почти страшен* отсутствием первого понятия о Любви. Жалость ему заменяет любовь. Говорил "я готов полюбить вас" — когда готов был пожалеть. <...> Ему все легко и все все равно» (О Бывшем, 1. С. 64—66). В позднейшем письме к Нувелю (от 5 декабря 1906 г.) Гиппиус возвращалась к проблематике своего ст-ния: «Помните мое вам стихотворение — "Грех"? "Полубезумие — полуничтожность..." Ну, не так, кажется, да я забыла, вроде. Я описывала нечто в вас, подлинно существующее, но не как нечто в вас, — а как *вас*. В реальности вы не такой,

никогда им не были и не будете. Но эта черта ваша, смешанная, умягченная, усложненная другими, часто ими заслоненная, — очень важна. И никто ее, может быть, в смешении и не разобрал бы (что она есть) — а теперь, благодаря моему "искусному" схематизированию, ее двое или трое увидали и запомнили, и вы сами могли бы увидать, и это, пожалуй, было бы нужно. Не для "исправления" даже, а просто, как нужное нам, радостно-желанное, ясные очи. <...> вот пишу, значит верю, что вы не такой, как в моем "Грехе". Но и грех — правда; только он — схема, т. е. то, чего реально не было, нет и не должно быть» (РГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 4).

74. Новое Дело. 1902. № 5. С. 49, под загл. «Старик». Беловой автограф — под загл. «Старик» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453).

75. Печ. с исправлением опечатки в ст. 13. Беловой автограф — при письме к В. Я. Брюсову от 17 августа 1903 г., с зачеркнутой датой: 17. 8. 03, первоначальный вариант ст. 6: «Веселых дум моих мятежность» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36, л. 43). Высылая в этот день Брюсову автограф ст-ния для включения в готовящийся сборник, Гиппиус писала: «Я изнурена однообразным благочестием моих стихов! <...> прошу вставить прилагаемое весело-извращенное стихотворенье в самое лампадное место, куда только возможно. Какая досада, что нельзя после Христианина по Ефрему Сирину! Конечно, я-то понимаю, что им, *в сущности*, однообразие не прерывается (однообразие моей искренности), но, к счастью, до сущности никто не дойдет, а со вне <sic!> — это милое, необходимое развлечение» (Там же; ср.: Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 307—308. Публикация М. В. Толмачева).

76. Беловой автограф — под загл. «Грехи», вариант ст. 5: «Но душа бессильная мертвенно тиха» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

77. Беловой автограф — с датой: 3. 1. 02 (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

78. НП. 1903. № 9. С. 89.

79. СЦ—1903. С. 149, без посвящения и даты. В беловом автографе, посланном Андрею Белому, — без посвящения, с датой: Пятница 29 марта 02; вариант — строфа 2, ст. 2: «на воспоминание и страх мы осуждены» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 7). Ст-ние написано «в годовщину Бывшего» (О Бывшем, 2. С. 63) — первой попытки домашнего богослужения втроем (Мережковский, Гиппиус, Философов) по выработанному ими новому религиозному ритуалу (29 марта 1901 г.). См.: О Бывшем, 1. С. 56—60.

80. СЦ-1903. С. 148. Беловой автограф в письме к Андрею Белому от 17 сентября 1902 г. — с датой: 3. 3. 02; в последнем ст. «2» написано красным цветом, «26» — лиловым, «8» — зеленым (РГБ, ф. 25,

карт. 14, ед. хр. 6, л. 17 об.—18). Гиппиус была глубоко убеждена в том, что, по ее словам в письме к Г. В. Адамовичу от 15 августа 1927 г., «категория чисел — ближе соприкасается с реальностью, чем мы привычно воображаем» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 367). *А числа, нас связавшие навек, — // 2, 26 и 8.* — Подразумеваются дни рождения Мережковского (2 августа), Философова (26 марта) и Гиппиус (8 ноября). В письме к Андрею Белому от 8 сентября 1902 г. Гиппиус спрашивала: «Которого *числа* вы родились?», — а 17 сентября 1902 г., высылая Белому текст «Чисел» и раскрывая цель своего вопроса («Зачем мне нужно ваше число? А я люблю иногда заниматься — примитивно и бесплодно — числами. Посылаю вам старое мартовское стихотворение для пояснения»), дополнила текст ст-ния числовыми выкладками на основании этих дат и даты рождения Белого (14 октября), обозначив числа, относящиеся к Мережковскому (I), Философову (II), себе (III) и Белому (IV), соответственно, разными цветами карандашей — красным, лиловым, зеленым и синим:

«I 2 = 2
II 26 = 26
III 8 = 2+6=8
Нет ли у этих трех связи с
IV 14 = 8+2=10
6—2=4
4+10=14
(6—2)+(2+8)=14» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 18 об.). Подробнее см.: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale; Edwardsville, 1971. P. 93.

81. Беловой автограф — с датой: «03. [13 авг<уста>]» (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 4—4 об.). *8 — бесконечность...* — Подразумевается математический знак бесконечности: ∞. *Число звериное...* — «Кто имеет ум, тот сочти число зверя <...> Число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. XIII, 18). *В святую ночь беседы тайной // Еще прибавил — одного.* — Подразумевается Тайная Вечеря Христа с 12-ю апостолами (Мф. XXVI, 20—29, Мк. XIV, 17—25, Лк. XXII, 14—23, Ин. XIII, 21—30).

82. *Мережи* (диалектн.) — рыболовные сети.

84. НП. 1903. № 9. С. 85, без посвящения. Адресат посвящения — по всей вероятности, А. В. Карташев (см. примеч. 53).

85. СЦ-1903. С. 150. Беловой автограф с правкой и датой: «22 янв<аря>02»; в строфе 2-й — первоначальный вариант ст. 4: «Того, кто как и мы — страдает», зачеркнутый вариант правки ст. 3—4: «И не могу я не скорбеть // Когда живая тварь страдает» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

86. НП. 1903. № 9. С. 93.

87. СЦ-1902. С. 108.

90. ЖдВ. 1903. № 7. Стб. 807. В Экз. ИМЛИ посвящено: «Л. О<вербек>».

92. *Астарта* — в западносемитской мифологии олицетворение планеты Венеры, богини любви и плодородия, богиня-воительница.

93. НП. 1903. № 1. С. 112.

94. НП. 1903. № 9. С. 96, без посвящения. Беловой автограф в письме к Андрею Белому от 5 апреля 1902 г. — без загл. и посвящения, вариант ст. 4: «И жизнь с тех пор уже не повторяла» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 9—9 об.). Посвящение ст-ния Валерию Яковлевичу *Брюсову* (1873—1924) отражает неоднократно возникавшие между ним и Гиппиус споры о христианстве, о вере и неверии; например, 17 ноября 1902 г. Брюсов сообщал жене: «У Мережковских спорили зло и отчаянно о христианстве <...> о том, что такое рай и ад и *свершилось ли уже* второе пришествие... Бррр. Словно некий кошмар и бред. В конце концов я объявил им, что Христос был самым простым человеком. Они пришли в уныние и стали обо мне скорбеть... <...> Расстались дружественно, всё друг другу объясняясь в любви» (РГБ, ф. 386, карт. 69, ед. хр. 2); ср. фрагмент из письма Гиппиус к Брюсову от 11 января 1902 г.: «Иногда у меня (уж не сердитесь) к вам в душе — малодушная и смиренная шалость: кто его знает? а вдруг он что-нибудь поймет, и пойдет туда, где воистину "трудны и узки пути"? Не лучше ли жить так, в тихой эстетике, в мирных отречениях, в бездейственном самодовольстве маленькой свободы? Ведь у вас нет мученичества в душе, того ожога, который дает Огонь, впервые касаясь души, той боли, огромной и невыносимой, которую причиняет *оскорбление* Христу?» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36; Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 287). Приводя ст-ние в письме к Андрею Белому от 5 апреля 1902 г., Гиппиус спрашивала: «Наступают дни... Что вы о них думаете? С чем они у вас связаны? Или — чего вы от них ждете? Чувствуете ли (и если да, то как) вы себя в них участником? Отозвалось ли бы в вас сердце и разум, если бы кто-нибудь пришел к вам и, с глубокой серьезностью и мукой, с почти уверенностью, сказал вам так» — далее следовал текст ст-ния, после чего Гиппиус добавляла: «Есть ли, вообще, у вас чувство — греха? Даже не греха, но я употребляю это слово за неимением пока нового для нового, сложного — и реального ощущения особой, нежеланной и возмущающей тяжести. Это то страдание, которому нет выхода в покорность. И не должно быть. <...> Так вот, чувствуете ли вы себя моим и Д. С. "сообщником", как мы — вас? Мы, каждый из нас, мог бы сказать вам эти слова о Голгофе. Нарочно написала вам эти "фактические" стихи. К моему удивлению — они очень нравятся Блоку, хотя он во всем бесфактичен» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6).

Брюсову адресован также пародийный текст Гиппиус:

Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!
Учитель, служитель священных преддверий!

Тебе поклонились, восторженно-чисты,
Купчихи, студенты, жиды, гимназисты...
И, верности чуждый — и чуждый закона,
Ты Грифа ласкаешь, любя Скорпиона.
Но всех покоряя — ты вечно покорен,
То красен — то зелен, то розов — то черен...
Ты соткан из сладких, как сны, недоверий,
Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!

Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!
Тебя воспевают и гады и звери.
Ты дерзко-смиренен — и томно-преступен,
Ты явно-желанен — и тайно-доступен.
Измена и верность — всё мгла суеверий!
Тебе — открываются сразу все двери,
И сразу проникнуть умеешь во все ты,
О маг, о владыка, зверями воспетый,
О жрец дерзновенный московских мистерий,
Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!..

(Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник) (1889—1907). СПб., 1908. С. 104—105 (в составе статьи «Два зверя», 1903); Русская литература XX века в зеркале пародии. М., 1993. С. 48, 412 — комментарий О. Б. Кушлиной). С. К. Маковский воспроизводит это послание к Брюсову в сокращенном варианте (вероятно, по памяти), добавляя: «Валерия Брюсова высмеивала не без злости» (Маковский. С. 102).

95. НП. 1903. № 9. С. 94, без посвящения. В ст-нии варьируется сюжетный мотив пьесы Гиппиус «Святая кровь» (СЦ — 1901; см.: Гиппиус З. Пьесы. Л., 1990. С. 9—36). О П. С. *Соловьевой* — см. примеч. 52.

97. НП. 1903. № 9. С. 88. В образном строе ст-ния отразилось, по всей вероятности, описание сна Ипполита в «Идиоте» Ф. М. Достоевского (ч. 3, гл. V); см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 323—324.

98. НП. 1903. № 9. С. 98. Беловой автограф — с датой: 28. 1. 02 (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122).

99. НП, 1903. № 9. С. 99. Беловой автограф — с правкой и датой: «17 янв<аря> 1902»; первоначальный вариант ст. 2—3: «И я приемлю испытание. // Приемлю с болью и смирением» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Эпиграф — Откр. III, 5: «Побеждающий облечется в белые одежды».

СОБРАНИЕ СТИХОВ

КНИГА ВТОРАЯ. 1903—1909

«Собрание стихов. Книга вторая. 1903—1909» вышло в свет в московском издательстве «Мусагет» в конце апреля 1910 г. Печатается по тексту этого издания.

Издание состоялось в «Мусагете» через посредничество Андрея Белого, одного из руководителей этого издательства, которому Гиппиус писала 8 декабря 1909 г.: «Я очень хочу, Боря, чтобы вы издали вторую книжку моих стихов. <...> Мне Брюсов писал, глухо, о вашем издательстве...». В письме к Белому от 27 января 1910 г. она вновь касалась этой темы: «Сережа передавал мне, что вы непрочь издать мою новую книгу стихов» (РГБ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6; Сережа — С. М. Соловьев). Книга была подготовлена и выпущена в свет за несколько месяцев. Издание осуществлялось при непосредственном участии М. С. Шагинян, свидетельствующей в воспоминаниях (упоминая А. М. Кожебаткина, тогда секретаря издательства «Мусагет»): «Еще ранней весной <1910 г.> Кожебаткин попросил меня достать что-нибудь у Гиппиус, и меня поразила быстрота, с какой она согласилась дать свои новые стихи. Я была назначена ею "шефом" издания, переписчиком (от руки), корректором, оформителем и страшно этим гордилась» (Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 323). В архиве издательства «Мусагет» сохранились наборная рукопись (РГБ, ф. 190, карт. 19, ед. хр. 1) и верстка книги с авторской правкой (Там же, ед. хр. 2—5). В наборной рукописи книги текст — рукой М. С. Шагинян, с правкой Гиппиус и типографскими пометами. Корректура-верстка, содержащая весь текст книги, датирована 16—17 марта 1910 г. (Там же, ед. хр. 2); дополнительная корректура-верстка (содержащая 1-й и 8-й печатные листы) датирована апрелем 1910 г. (Там же, ед. хр. 4, 5). Изданием Гиппиус осталась недовольна; в открытке из Ниццы (4 мая ст. ст. 1910 г.) она писала С. П. Каблукову: «Книга моя, по стараниям Шагинян, вышла препротивно изданная. Теперь она сама это видит!» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 9, л. 165).

Критические отклики на второй сборник стихов Гиппиус характеризуются преобладающим стремлением определить черты поэтической индивидуальности его автора — в отличие от многих отзывов на первый сборник, продиктованных главным образом противостоянием «декадентству» или приятием его. При этом вторая книга рассматривалась на фоне первой. Один из анонимных рецензентов, отмечавший, что уже в первой книге Гиппиус «ярко обнаружился острый, рассекающий ум этого поэта и болезненно-уединенная, жаждущая освобождения душа», полагал, что «внутренним раскрепощением, правда, еще не вполне осознанным и не вполне еще принятым, прежде всего и отличается вторая книга от первой» (Против течения. 1910. № 2, 22 октября. С. 4). М. Кузмин, напротив, полагал, что вторая книга не меняет «почти ни одной черты в знакомом лице»: «Будь обе книги в одном выпуске, цельность отнюдь не была бы нарушена <...> Ни падения, ни завоевания — ровная линия»; порицая стихи Гиппи-

ус за чрезмерную отвлеченность, он в то же время отдавал должное ее дарованию: «...З. Гиппиус — подлинный и весьма значительный поэт с редкой концентрацией, ритмическим богатством, остротою чувства и мысли, большою четкостью, но поэт безуханный, без очарования, без певучести, с мыслями скорей рассудочными, чем поэтическими, с головной страстностью, с чрезмерной долей "мозгологии". Цветок, засушенный в томе логарифмов» (Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 8. Отд. II. С. 62—63).

Упреки в рассудочности повторялись в нескольких рецензиях на вторую книгу. И. И. Ясинский, признавая, что Гиппиус — «настоящая поэтесса», заключал: «...в то же время стихи ее производят впечатление надуманности и слова ее, даже если они совсем простые, носят на себе печать изысканности. Рассудочность и надуманность часто берут верх над поэзией и, следовательно, над правдой» (Новое Слово. 1911. № 3. С. 155. Подпись: М. Чуносов). Л. Н. Войтоловский утверждал, что «философско-критическое дарование Гиппиус гораздо выше и разностороннее ее поэтического таланта», и, исходя из этого тезиса, оценивал книгу стихов: «От своей публицистической деятельности Зин. Гиппиус перенесла в поэзию только абстрактность мысли, составляющую весьма характерную черту ее творчества. У нее беспокойное воображение, носящее сильно метафизическую окраску и совершенно чуждое внешнему, красочному миру. Оно, как выражаются французы, смотрит на мир полузакрытыми глазами размышления, и оттого поэзия Гиппиус исходит не от души, а из головы. У стихов ее больше культурности и мыслей, чем поэзии, а у мыслей — больше стремительности, чем содержания»; «Ее стремительность вся изливается в каком-то странном, неукротимом беспокойстве, в судорожной тревоге, полной недоумевающих желаний и неясных предчувствий. <...> В странных сравнениях и образах слишком чувствуется терпение кропотливой руки, плетущей искусственные цветы, — без аромата и гибкости» («Парнасские трофеи. IV» // Киевская Мысль. 1910. № 215, 6 августа. С. 5. Подпись: Л. В.). Б. А. Грифцов, также сетовавший на отвлеченность и «немоту» поэзии Гиппиус («Новые религиозные мысли столь же мало, очевидно, доступны лирике, как и старые гражданские»), признавал, однако, что «теоретизация — только досадное пятно среди стихов, где действительно найдены образы для сложных чувствований» (Утро России. 1910. № 153, 22 мая. С. 3). Краткую, но чрезвычайно емкую характеристику второй книги стихов Гиппиус дал в своей рецензии В. Я. Брюсов (Русская Мысль. 1910. № 7), как бы подводя разнородные впечатления и оценки к общему знаменателю: «Своеобразное, вполне самостоятельное дарование З. Гиппиус давно определилось и, кажется, по всем направлениям уже коснулось своих пределов. Ее стихи всегда обдуманны, умны, в них есть острая наблюдательность, направленная как вовне, так и вглубь души; они всегда сделаны просто, но изящно и с большим мастерством. Видно, что как художнику З. Гиппиус доступны все современные пути поэзии, но что сознательно она не хочет полной яркости и полной звучности, избегает слишком резких эффектов, слишком кричащих слов. За двадцать лет своей литературной деятельности З. Гиппиус напечатала стихов очень

немного, и новый ее сборник всего второй по счету, но среди ее стихотворений почти нет совсем неудачных, лишних; все той или иной стороной интересны, имеют право жить. Несколько слабее среди новых стихотворений З. Гиппиус те, в которых решительно преобладает отвлеченная мысль, которые написаны как бы для проповеди определенных религиозных идей. Эти стихотворения порою обращаются исключительно к сознанию читателя, мало говоря его чувству и его воображению. Но, к счастию, такие стихотворения в новой книге З. Гиппиус образуют лишь незначительную группу, тогда как в других не только ярко выступают лучшие стороны ее дарования, но и чувствуется его полный расцвет» (Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 316—317).

100. Весы. 1909. № 10/11. С. 135, без посвящения, варианты — строфа 5, ст. 1: «Они, кровавые, — вкипели...», строфа 6, ст. 3: «И не пожрет тебя победный». В наборной рукописи «Собрания стихов» — первоначальный вариант ст. 1 в строфе 5: «Они, кровавые, вкипели»; зачеркнута дата: 30 марта. Беловой автограф — под загл. «Петра творенье», без посвящения и эпиграфа; варианты — строфа 5, ст. 2: «Их ни залить ни затоптать...», строфа 6, ст. 3: «И не пожрет тебя победный» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Список в дневнике С. П. Каблукова — под загл. «Он», с датой: 30 марта 09 г. (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 21 об., 22 об.). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях. 26 сентября 1909 г. Каблуков записал в дневнике: «З. Н. дала мне прочесть свое прекрасное стихотворение "Он" с эпигр<афом> из Пушкина: "Люблю тебя, Петра творенье". Тема — Петербург» (Там же, л. 3). Предполагавшаяся публикация ст-ния в петербургской газете «Речь» не состоялась. 22 апреля 1909 г. Гиппиус писала В. Я. Брюсову: «Разозлила меня "Речь". Я случайно дала туда стихи "Петра творенье". <...> "Речь" их набрала, прислала корректуру... и до сих пор боится пустить, как я их ни смягчала с помощью Вячеслава! И притом вовсе не в революции дело там!» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40. Вячеслав — В. И. Иванов). Приводя текст ст-ния в дневниковой записи от 2 октября 1909 г., С. П. Каблуков отметил: «Оно было предложено "Речи", но не принято "редакцией"» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 21); он же свидетельствует, что в «Речи» публикация ст-ния намечалась на 5 апреля 1909 г. (Там же, ед. хр. 3, л. 178). С. П. *Каблуков* (1881—1919) — преподаватель математики в 3-м реальном училище и женской гимназии А. Н. Никифоровой в Петербурге, музыкальный критик, секретарь Петербургского Религиозно-философского общества; его дневники (1909—1917) содержат множество фактических и документальных сведений о Мережковском и Гиппиус (РНБ, ф. 322, ед. хр. 3—50). Сообщая в записи от 28 апреля 1910 г. о выходе в свет «Собрания стихов», Каблуков отмечает: «Книга открывается превосходн<ым> стихотв<орением> "Петербург" <...>, которое посвящается "Сергею Платоновичу Каблукову". Мне же посвящено и другое стих<творе>ние сборника: "Довольно"» (Там же, ед. хр. 9, л. 147). В письме к Каблукову из Ниццы от 4 мая (ст. ст.) 1910 г., упомянув о выходе книги, Гиппиус спрашивала: «Имеете ли вы ее? <...> Она вся вами начинается!» (Там же, л. 165). Ср. днсвни-

ковую запись Каблукова от 27 февраля 1910 г.: «Вчера вечером был у З. Н. Мережковской. Застал ее за пересмотром стихов, которые она отдаст в печать. Из этих стихотворений — одно, а именно "Довольно", она посвящает мне. Другое — предложила выбрать мне самому. Я избрал "Петербург" <...>. Это стихотворение будет первым в книге и будет посвящено мне же» (Там же, ед. хр. 8, л. 213). Он же записал 30 сентября 1910 г.: «Сегодня З. Н. Гиппиус подарила мне сборник своих стихов (книга 2-ая) со следующей надписью: "Сергию Платоновичу Каблукову, с верою в его понимание, дружбу и сочувствие, любящий автор. 1 октября X. СПб. З. Гиппиус"» (Там же, ед. хр. 11, л. 107). Эпиграф — из Вступления к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833). *...вьется змей твой медный...* — Деталь конного памятника Петру I («Медного всадника») работы Э. Фальконе (1782) — змея под копытами коня (вылеплена скульптором Ф. Г. Гордеевым) — здесь соотносится с библейским образом медного змея, выставленного Моисеем в пустыне для защиты народа Израилева от ядовитых змеев (Числа, XXI, 8—9). *Ты утонешь в тине черной, // Проклятый город, Божий враг.* — Отзвук городской легенды XVIII в. о Петербурге как порождении Антихриста, опирающейся на пророчество царицы Авдотьи Лопухиной: «Петербургу быть пусту». Легенда была использована Мережковским в романе «Антихрист (Петр и Алексей)» (Мережковский Д. Христос и Антихрист. III. Антихрист (Петр и Алексей). СПб., 1905. С. 94, 402). Подробнее см.: Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX — начала XX века. Л., 1985. С. 150—153, 163—175; Минц З. Г., Безродный М. В., Данилевский А. А. «Петербургский текст» и русский символизм // Семиотика города и городской культуры. Петербург (Труды по знаковым системам, XVIII). Тарту, 1984. С. 87—92.

101. РМ. 1909. № 1. Отд. I. С. 88, без посвящения. *П. С. С.* — адресат посвящения П. С. Соловьева (см. примеч. 52).

102. Весы. 1906. № 3/4. С. 6 (4-е в цикле «Водоскат»).

103. Весы. 1906. № 3/4. С. 4 (2-е в цикле «Водоскат»). В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута дата: «Июль, 05. М<алое> Кобрино». Черновой автограф ст-ния, переданный Гиппиус А. А. Блоку 6 ноября 1915 г., — в его архиве (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 6), варианты — строфа 3:

Тобой в тиши завороженный
Страшусь узнать твои черты.
Но вспоминаю — это ты —
И вновь тоскую, как влюбленный.

Строфа 4, ст. 1—2: «Пусть разорвется дым покрова... // Увижу грозное лицо...», ст. 3 (первоначальный вариант): «Боюсь, боюсь и жду я зова», ст. 4, а. «Приди. Я твой. Сомкни Кольцо», б. «Приди. Я здесь. Сомкни Кольцо».

104. НП. 1904. № 5. С. 53, под загл. «Весть». В основе сюжета — евангельский эпизод Благовещения Деве Марии (Лк. I, 26—38).

105. НП. 1904. № 9. С. 237 (2-е в цикле из двух ст-ний «Днем и ночью»).

106. НП. 1904. № 9. С. 236 (1-е в цикле из двух ст-ний «Днем и ночью»).

107. НП. 1904. № 12. С. 119.

108. Весы. 1906. № 3/4. С. 8 (6-е в цикле «Водоскат»). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

109. НП. 1904. № 12. С. 117—118.

110. Золотое Руно. 1906. № 7/9. С. 102, вариант предпоследнего ст.: «С каждым дыханьем любовь озареннее».

111. НП. 1904. № 5. С. 56.

112. ЖдВ. 1904. № 10. С. 580, под загл. «В наши дни». Автограф — под тем же загл., варианты — строфа 4, ст. 3: «Нашей жизни темноокой», строфа 5, ст. 4: «Их свершений наяву» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 1383, л. 1).

113. НП. 1904. № 12. С. 116.

114. ЖдВ. 1904. № 10. С. 580, под загл. «Весенний коростель», вариант ст. 8: «Две обнявшиеся тени». Автограф — под тем же загл. и с тем же вариантом (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 1383, л. 2). Список С. П. Каблукова — с датой: «Авг<уст> 04. Гатчина» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 24), адресат посвящения «*А. К.*» — возможно, А. В. Карташев (см. примеч. 53).

115. Весы. 1907. № 5. С. 11, с посвящением: «Д. Ф—ву». Адресат посвящения — Д. В. Философов.

116. Образование. 1908. № 8. Отд. I. С 44, без деления на строфы.

117. Весы. 1908. № 12. С. 12, без посвящения. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж». *З. В.* — адресат посвящения З. А. Венгерова (см. примеч. 18). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

118. Весы. 1907. № 5. С. 10, вариант ст. 8: «Холодно-светлый снег, сиянье белизны». *А. Меньшов* — один из псевдонимов П. С. Соловьевой (см. примеч. 52). Эпиграф — 1-я и заключительная строка ее ст-ния «В безумный месяц март» (в оригинале: «В безумный месяц март я родился на свет»; см.: Соловьева П. (Allegro). Плакун-трава. Стихи. [СПб., 1909]. С. 59). *Овен, Стрелец* — знаки Зодиака; первый соответствует дате рождения Соловьевой (20 марта ст. ст.), второй — как полагала Гиппиус, ее дате рождения (8 ноября ст. ст.; на самом деле этой

дате соответствует знак Скорпиона). *Халкидон* и *гиацинт* — драгоценные камни, атрибуты — соответственно — Овна и Стрельца.

119. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута дата: «Январь 08. Париж». Список С. П. Каблукова — с датой: «Париж. Янв<арь> 08 г.» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 56 об.— 58).

120. Весы. 1906. № 3/4. С. 7 (5-е в цикле «Водоскат»). Неоднократно перепечатывалось в поэтических антологиях и хрестоматиях.

121. Весы. 1906. № 3/4. С. 9—10 (7-е в цикле «Водоскат»).

122. Весы. 1906. № 3/4. С. 17 (13-е в цикле «Водоскат»), под загл. «К земле».

123. Беловой автограф в архиве В. С. Миролюбова, вариант — строфа 5, ст. 3: «Я жду не всепрощения» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 415, л. 12). Список С. П. Каблукова — с датой: «8. 04. Гатчина» — т. е. август 1904 г. (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 20, 22). 17 августа 1904 г. Гиппиус писала из Мариенбурга (Гатчина) В. С. Миролюбову: «Редкое обстоятельство: я написала целых три стихотворения и спешу послать их вам <...>. Самое *мое*, конечно, "Оправданье"» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 415).

124. Весы. 1906. № 3/4. С. 5 (3-е в цикле «Водоскат»), под загл. «Ты —». Беловой автограф с правкой передан Гиппиус А. А. Блоку 6 ноября 1915 г. и сохранился в его архиве (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 4); варианты — строфа 1, ст. 3: «Ветра порыв, горячо-осторожный», строфа 2, ст. 2: а. «Свежего поля ромашка душистая», б. «Свежих полей маргаритка душистая», строфа 2, ст. 3: а. «Властный мой луч, меч небес многогранный», б. «Властный мой луч, меч небес остогранный», строфа 2, ст. 4: «Тайна последняя, весело-чистая...», строфа 3, ст. 2: «Ты — над долиною дымка невестная...», строфа 3, ст. 3: а. «Мой беззащитный и беспощадный», б. «Ты — непонятный и беспощадный», строфа 3, ст. 4 (первоначальный вариант): «Вечно мне близкая и неизвестная...», строфа 4, ст. 4: «Солнышко вещее, — милый мой — милая...». Передав ст-ние для публикации в журнал «Весы», Гиппиус писала В. Я. Брюсову (8 февраля 1906 г.): «Петербургские моралисты и моралистки, "искренно любящие" меня, узнав, что я — о ужас! — хочу *напечатать* стихотворение "Милый — мой — милая...", чуть не депутацию ко мне думали отправить, чтобы я этого не делала. Я же, — клянусь, без притворства, — никак не могу сообразить, что за пагубный вывод для моей "женской чести" (если таковая у меня с их стороны еще существует) *можно* тут сделать. Мне просто интересно, как, с житейской точки зрения, *можно* это понять? <...> Досаден факт, что не можешь пролезть в реальные мозги моралиста и понять, как же это у них там отражается? В каких представлениях?» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38).

125. НП. 1904. № 5. С. 55, вариант ст. 8: «Приникнув к черному стеклу».

126. Золотое Руно. 1906. № 7/9. С. 101.

127—129. В наборной рукописи и верстке «Собрания стихов» три ст-ния, составляющие цикл, озаглавлены, соответственно: «Первый», «Второй», «Третий». 8 января 1907 г. Гиппиус писала В. Я. Брюсову: «Посылаю 8 стихотв<орений>, из них "Скучные формы" — три сонета, *разно* написанные. Но в общем терпеть не могу сонетов» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39). Цикл не был напечатан в «Весах». 18 марта 1907 г. Гиппиус писала Брюсову в этой связи: «Стихи, которые вы не приняли, пришлите мне назад. Я не тороплюсь, да и не люблю печатать стихов. Я и вам прислала их только потому, что вы просили» (Там же).

З. Б. Б—у. — Посвящено Андрею Белому (настоящее имя: Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934). Белый особенно сблизился с Мережковскими в 1905—1907 гг., тесно общался с ними во время своего пребывания в Париже в декабре 1906 — феврале 1907 г. Гиппиус записала о нем в феврале 1908 г.: «...он нам тоже был близок, у нас и жил, приезжая из Москвы, и на четвергах бывал. Мы любили его, и он удивительный, только легкий»; «четверги» — интимные молитвенные собрания у Мережковских: «Тихие "вечери любви", молитвы и белое вино, виноград, хлеб» (О Бывшем, 2. С. 72, 70). В письме к Э. Ф. Голлербаху от 29 марта 1917 г., называя Белого «существом с гениальностью», Гиппиус добавляла: «Но в нем, при этой стихийной гениальности, и при громадном философском уме, живет ясная детскость, чистота, спасающая его "я" из всех провалов. Я знаю его годы. Бог знает, куда его заносит странная его судьба. А чуть мы видимся — я чувствую его опять тем же, неизменно чистым ребенком» (РНБ, ф. 207, ед. хр. 29). Эпиграф — Мк., VI, 5.

130. НП. 1904. № 7. С. 89, с посвящением: «Н. Г.», вариант ст. 9: «Мы думаем, что общий храм построим». Наталья Николаевна *Гиппиус* (1880—1963) — сестра З. Н. Гиппиус, скульптор; после смерти их матери (10 октября 1903 г.) она, как и ее сестра Татьяна Николаевна, духовно сблизилась с З. Н. и приобщилась к интимному религиозному кругу (см.: О Бывшем, 2. С. 69—70).

131. НП. 1904. № 10. С. 68.

132. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж»; первоначальный вариант ст. 16: «Лишь в сердце человеческом, забвенном и изменном». Ст. 21 исправлен на основании записи Гиппиус на полях корректуры-верстки «Собрания стихов»: «"Час" у меня с большой буквы, сверьте с Вашим экземпляром».

133. Весы. 1907. № 12. С. 7. Включено в сб.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 33, без загл.

134. Золотое руно. 1906. № 7/9. С 101.

135. Весы. 1906. № 3/4. С. 14 (10-е в цикле «Водоскат»). Интерпретацию ст-ния Гиппиус дала в письме к В. Ф. Нувелю от 5 декабря 1906 г.: «...было у меня <...> стихотворение "Она" <...>: "В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль сера"... И там все в таком роде, а кончается тем, что это "моя душа". Ну очевидно же, что моя душа вовсе не такая, и не была такою ни секунды. И однако все это она же, все это в ней есть, и очень хорошо, что я на минуту искусственно, посредством искусства, очистила подлинно существующее от смешения. Увидела яснее. А так как я предполагаю, что есть и другие, на меня похожие (не одна же я на всем свете), то и для других душ кое-что пояснеет. Вот вам мой "принцип", осознание моего чувственного устремления» (РГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 4).

136. Весы. 1906. № 3/4. С. 13 (9-е в цикле «Водоскат»), без посвящения. Посвящение вписано в наборной рукописи «Собрания стихов». Как сообщает З. Н. Гиппиус в мемуарном очерке об Александре Александровиче *Блоке* (1880—1921) «Мой лунный друг», она сама предложила Блоку выбрать для посвящения ему ст-ния из рукописи 2-й книги «Собрания стихов», подготовленной к печати: «Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие — не знаю, во всяком случае, те, которые мне были дороже других» (Живые лица. С. 232). О взаимоотношениях Гиппиус и Блока см.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 116—222; Королева Н. В. Неизвестные письма А. А. Блока к Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1994. М., 1996. С. 27—43.

137. Весы. 1907. № 12. С. 5, с посвящением: «Андрею Белому». В наборной рукописи «Собрания стихов» первоначальный вариант — строфа 4, ст. 2: «Черной сталью не пронзит, —». Об отношениях Гиппиус с Белым (Борисом Бугаевым) см. примеч. 127—129.

138. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж». В дневнике С. П. Каблукова — два списка ст-ния с пометами под текстом: «Paris 07», «Париж 07» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 6, л. 214, ед. хр. 7, л. 56).

139. Список в дневнике С. П. Каблукова, с датой: «5 апр<еля> 05», вариант ст. 4: «Я от людей их тайно берегу» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 55 об.).

140. Посвящение вписано в наборной рукописи «Собрания стихов». О В. Ф. *Нувеле* — см. примеч. 73.

141. Прометей. 1906. № 2. С. 21, с посвящением: «В. В. У—скому», вариант ст. 1: «В зеленом дыме листьев вешних». Посвящение вписано в наборной рукописи «Собрания стихов». О В. В. *Успенском* — см. примеч. 55.

142. Весы. 1906. № 3/4. С. 3 (1-е в цикле «Водоскат»), без посвящения. Посвящение вписано в наборной рукописи «Собрания стихов». См. примеч. 136. Список рукой Л. Д. Блок (2-я и 3-я строфы) — РГБ, ф. 178, карт. 9881, ед. хр. 8. Включено в сб.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 76, без загл.

143. Весы. 1908. № 12. С. 7. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж».

144. НП. 1904. № 8. С. 1.

145. Весы. 1907. № 5. С. 13. Первая публикация вызвала шумный эффект: ст-ние перепечатывалось с ироническими и издевательскими комментариями (в газетах «Биржевые Ведомости», «Русь» и др.), становилось объектом пародирования; см. пародии «Углем круги начерчу...» А. А. Измайлова (БВ. Утр. вып. 1907. № 10055, 19 августа; Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.) («Б-ка поэта». Б. с.). Л., 1960. С. 644), «...И я такая липкая...» Евг. Венского (в его кн.: Мое копыто. Книга великого пасквиля. СПб., 1911. С. 91). Гиппиус откликнулась на эту «кампанию» в письме к В. Я. Брюсову (июль 1907 г.): «Инцидент с моей "Болью" меня поверг в крайнее изумление, в общем. <...> Я многим читала "Боль" — и ни единому человеку не пришло в голову, что это *можно* принять за эротизм. С другой стороны, я никак не ожидала, что в нынешние времена, при наличности всяких "уродов" и "соитий" и перевертанностей, я еще могу "удивить мир декадентством". Полагаю, что тут не без наследственного Апостола Павла, не без требования бессознательного, бытового, глубоко еще варварского, чтобы "жены пребывали в молчании". Напиши *вы* такую "боль" — никому бы ничего в ум не пришло. А "жены" пусть пишут, как Столица в "Руне":

Стою я в белой кофточке,
Кругом всё левкои...
Счастье-то какое! и т. д.»

(РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39). Сходную трактовку этого инцидента Гиппиус развивает в статье «Зверебог» (Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 25). Подчеркивая, что в ст-нии «описывается страдание физическое, боль в ее высшей степени, со всеми оттенками и переливами, может быть, по воспоминанию о действительно бывшей болезни», Мережковский вспоминал: «Когда стихотворение появилось в "Весах", то раздались негодующие вопли: обвинения в какой-то чудовищной непристойности, "порнографии". <...> Если бы писала не женщина, положим, не Гиппиус, а Мережковский, — никому бы в голову не пришло искать между строками двусмысленности: боль есть боль, и дело с концом. Но женщина — значит, пол» (Мережковский Д. Ночью о солнце // Русское слово. 1910. № 138, 18 июня. С. 1).

146. Италии. Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине. [СПб.], 1909. С. 17, без деления на строфы. В

наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж»; первоначальный вариант последнего ст.: «Конец. Конец».

147. Весы. 1906. № 3/4. С. 15 (11-е в цикле «Водоскат»), без посвящения. Посвящение вписано в наборной рукописи «Собрания стихов». См. примеч. 136.

148. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж».

149. Весы. 1906. № 3/4. С. 11 (8-е в цикле «Водоскат»). Ст-ние отразило противоречивые впечатления Гиппиус и тревожные прогнозы, вызванные событиями Первой русской революции. 17 октября 1905 г., «за час до манифеста», она писала в той же связи Д. В. Философову о «предрешенном заранее, разумном, логическом, неизбежном *хаосе*», который последует за всеобщим вооруженным восстанием и повлечет за собой повсеместную победу социал-демократов, и заключала: «Главное — я *реально* представила грядущее насильническое (сами говорят) правительство и народный террор и кровь. И то, что это — в плане! Для их истины — такой путь! Это *делать, так* делать — мы не можем физически. Ни шагу *на это* не могу. Фр<анцузская> революция — ничего общего!» (Возрождение (Париж). 1957. № 64. С. 139, 141 / Публикация В. А. Злобина). *Оно* — образ из заключительной главы «Истории одного города» (1870): «Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня <...>. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. М., 1969. С. 423). *Будь, что будет — всё равно!* — Дословно цитируется 1-я строка ст-ния Д. С. Мережковского «Парки» (1892).

150. Весы. 1906. № 3/4. С. 16.

151. Утро. Понедельник. 1908. № 16, 15 сентября. С. 3, без загл. и посвящения, без деления на строфы, вариант последнего ст.: «Его сверкающий полет». Список С. П. Каблукова — без посвящения, с датой: «Париж. Осень 07» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 24 об.). О. П. *Соловьевой* — см. примеч. 52.

152. Весы. 1907. № 12. С. 9. Включено в сб.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 60, без загл.

154. Весы. 1908. № 12. С. 13, с делением на четверостишия. В наборной рукописи «Собрания стихов» текст разделен на четверостишия. Корректурный лист — в дневнике С. П. Каблукова, помета под текстом (от руки): «Париж 06. З. Гиппиус (не напечатано)» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 6, л. 216 об.).

155. Эпиграф — 1-я строка ст-ния Я. П. Полонского (1842). Список С. П. Каблукова — под загл. «Моей тоске», без эпиграфа, с датой: «2-го янв<аря> 07. Париж» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 25 об.).

156. Правда жизни. 1908. № 1, 1 декабря. С. 4, под загл. «О родине», с посвящением «(Посвящ. В. Ф—ъ)». Об Ал. *Меньшове* — см. примеч. 52.

157. Весы. 1908. № 12. С. 9. 24 января 1909 г. Гиппиус писала Брюсову: «Дьяволенок, как следовало ожидать, вызвал упреки в порнографии, но так как это теперь не модно, то и не вытанцевалось» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40).

158. Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., [1910]. С. 214, под загл. «Женское. Венок», без деления на строфы.

159. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута дата: «Осень 07. Париж». Список С. П. Каблукова — с другим делением на строки (повторяющиеся слова записаны одной строкой), с датой: «Paris осень 07» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 45 об.—46).

160. Весы. 1908. № 12. С. 15. В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута помета под текстом: «Париж».

161. Речь. 1909. № 265, 27 сентября. С. 2, под загл. «Zeppelin III», с датой: «Frankfurt M. 16(3)—9. 09»). *Цеппелин* — дирижабль большого размера, изобретенный графом Фердинандом Цеппелином в Германии в 1900 г. Третья модель его, созданная в 1906 г., проходила испытания особенно успешно. Летом 1909 г. в Германии Мережковские наблюдали полеты авиаторов, эти впечатления отразились в ст-нии; ср. письмо Д. В. Философова к Блоку от 2 октября 1909 г.: «...в Берлине мы видели аэропланщиков, Латама, Фармана, Ружье. Летали при нас по 2 ч. 3/4 <...>. Это зрелище совершенно необычайное. Дм<итрий> Серг<еевич> бегал по полю, спотыкаясь, и кричал: "Vive Rougier!"» (РГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 70). 2 сентября (ст. ст.) 1909 г. Гиппиус писала С. П. Каблукову из Гомбурга: «А какое, все-таки, зрелище — завоевание воздуха! Здесь теперь знаменитый Цеппелин — это что-то единственное. На дирижабли после него и не смотри» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 6, л. 153); в письме к нему же из Гейдельберга от 10 сентября (ст. ст.) 1909 г., касаясь той же темы, Гиппиус цитировала свое ст-ние: «Цеппелин — особое зрелище, вдохновляющее даже на стихи. Мы его видели везде, и даже вчера в Гейдельберге, когда

... сероблещущий летун
Жужжал над старой колокольней.

Французские, мягкие дирижабли отвратительны. Даже немецкий Персифаль лучше» (Там же, л. 177—179).

162. Посвящено С. П. *Каблукову* (см. примеч. 100). В наборной рукописи «Собрания стихов» зачеркнута дата: «17 декабрь». Безусловно, именно об этом ст-нии идет речь в дневниковой записи С. П. Каблукова от 21 декабря 1909 г.: «Сегодня Зин. Ник. Гиппиус сказала мне, что намерена написать стихотворение, посвященное мне,

где сильно осуждает мое "увлечение" эстетизмом. Если я соглашусь — оно будет напечатано» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 237).

163. Беловой автограф — в альбоме П. Н. Медведева (РНБ, ф. 474, ед. хр. 1, л. 26). Список С. П. Каблукова — под загл. «Годовщина (14 декабря 1825 г.)», с датой: «14 дек<абря> 09», варианты — строфа 3, ст. 3: «Но был потушен их же кровью», строфа 7, ст. 2: «Мы восемьдесят долгих лет» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 227 об.—229 об.). Написано в 84-ю годовщину декабрьского восстания 1825 г. на Сенатской площади. Ср. дневниковую запись С. П. Каблукова от 15 декабря 1909 г.: «Вчера 14-го, в 84-ую годовщину "бунта декабристов" (14-го дек<абря> 1825 г.) впервые в России в доме баронессы Варвары Ивановны Икскуль-Гилленбанд <sic! правильно: фон Гильденбрандт> были поставлены Вс. Мейерхольдом 3 сцены из "Павла I" Д. С. Мережковского <...>. На этом же вечере, устроенном Мережковскими в пользу Алексея Михайловича Ремизова, кроме театрального элемента были прочитаны: Ал. Ремизовым его новый рассказ "Пасха", довольно невинный и недурной, З. Н. Гиппиус ее новое стихотворение, посвященное декабристам, написанное в тот же день» (Там же, л. 220, 223).

СТИХИ. ДНЕВНИК 1911—1921

Книга «Стихи. Дневник 1911—1921» вышла в свет в Берлине в издательстве «Слово» в начале 1922 г. Печатается по тексту этого издания.

Этой книге предшествовал сборник Гиппиус «Последние стихи. 1914—1918» (Пб., 1918). (5 мая 1918 г. Гиппиус записала в дневнике: «Я издала крошечную книжечку "Последние стихи" (самые контрреволюционные!). Издание у меня купили все сразу» // ЧТ. С. 98). Из составляющих его 46 ст-ний 43 включены в «Стихи. Дневник 1911—1921». Три ст-ния из «Последних стихов», не вошедшие в этот сборник, печатаются ниже в особом разделе.

Вполне однозначная по своей политической — антибольшевистской — направленности, книга «Последние стихи» не имела возможности получить надлежащий резонанс в печати, подконтрольной большевикам. Тем не менее увидела свет заметка Н. Л. Слонимского, извещавшая, что «на днях из печати» вышел новый сборник Гиппиус: «...автор ни в чем не изменил себе за последние четыре года, когда столь многие успели изменить и себе и другим. Как ни различны были времена, как ни разнородны события — вера автора оставалась неизменной, воля — непоколебимой» (Слонимский Ник. «Последние стихи» З. Н. Гиппиус // Новые Ведомости. Веч. вып. 1918. № 78, 5 июня. С. 7). Стоявший тогда на позициях «скифского» революционного максимализма Иванов-Разумник построил на материале «Последних стихов» статью-памфлет «Бобок» (Знамя. 1919. № 2, 3 февраля. С. 17—20); признавая в ней высокий эстетический уровень книги Гиппиус: «Превосходные стихи! Сильные, точные, правдивые»; «Сжа-

тые, сильные, стильные, талантливые стихи», — критик основные усилия употребил на доказательства того, что в этих стихах заявляет о себе «вечно-обывательская стихия» с присущей ей «брюзжащей мелкодушной злостью»: «И чем талантливее по форме проявление этой обывательщины, тем яснее вырисовывается ее духовный облик, ее внутренняя сущность».

Книга «Стихи. Дневник 1911—1921» вызвала ряд критических отзывов в русской зарубежной печати. Большинство их объединяло настороженно-неприязненное отношение к политическим стихам Гиппиус, порой доходившее до резкого неприятия, — факт примечательный, в особенности если учесть антибольшевистскую направленность печатных органов, поместивших эти отзывы. Молодой критик А. В. Бахрах, признавая, что Гиппиус — «очень большой поэт» и что «новая ее книга лишний раз это подтверждает», в частности, заявлял: «...в Революции Гиппиус захлебнулась — не поняла ее и оказалась где-то далеко вдали. В Революции Гиппиус узрела лишь нечто внешнее, лишь разрушительное — подход к ней оказался с нотой обывательщины, и вместо спокойной философской оценки — жажда мести (кому??), концентрированная ненависть, вопль проклятий. Поэзия не может рождаться из ненависти и превращаться тогда в более или менее удачное и остроумное версификаторство» (Дни (Берлин). 1922. № 57, 7 января. С. 15). Другой рецензент, утверждавший, что Гиппиус в своем гневе «мелочна — озлобленна и вульгарна» («Все это мелкотравчатно, бледно и тускло, с претензией на развязность, с погоней за жанром Демьяна Бедного»), сетовал на то, что она приносит поэзию в жертву политике, и с особенной силой отвергал «Песню без слов»: «Эти стихотворные призывы к палаческому ремеслу, это сладострастие вешателей — великолепный пандан из белого стана к чекистскому садизму, имеющему тоже своих песнопевцев. <...> неужели эти грубые, антихудожественные, ядом злости пропитанные строки написаны тем же пером, которому люди, все люди были "так жалобно близки", и которое так убедительно писало о приятии отчизны до конца — в ее нищете, грязи и безобразии, которое звало "понимать и прощать", а не мстить и вешать?» (Голос России (Берлин). 1922. № 1013, 23 июля. С. 5—6. Подпись: Л—р). Роман Гуль, ранее участник белого движения, также указывавший на преобладание в книге «темных» настроений («Свет, молитва, радость, любовь — не дорога Гиппиус. Она ушла другой дорогой, темной, черной, ночной»), тем не менее отмечал: «Но мне кажется: ненависть Гиппиус больше всего ее личная боль, ее личная мука. <...> Добровольно ушедшая от России, З. Гиппиус не спокойна, сквозь темноту ненависти и злобы изредка вспыхивает старая любовность» (Новая русская книга (Берлин). 1922. № 8. С. 17).

Еще увереннее на неоднозначность эмоций, господствовавших в книге Гиппиус, обращал внимание Вл. Кадашев (В. А. Амфитеатров): «Эта книга бесконечно интимна, — не случайно названа она "Дневником". Но такова магия истинного поэта: претворенное в стихе его личное приобретает вселенскую общность, делается "своим" для каждой ощущающей подлинные реальные бытия души. Основное настроение "Дневника" — нестерпимо острое ощущение постигнувшей

мир космической катастрофы и столь же острое сознание, что черный вихрь хаоса, веющий ныне над землею, будет преодолен творческою любовью. <...> Но окрыленный гнев только первое, почти инстинктивное движение сердца при виде злобных мелких бесов, погано-счастливых победою тьмы. Душа книги гораздо глубже. Она — в творческой и творящей любви». Критик подчеркивал и высокие эстетические достоинства книги: «...все та же строгая четкость стиха, все те же матово-жемчужные, благородные краски, какими Гиппиус давно пленяет нас. Здесь во всей полноте раскрывается внутренняя свобода поэта: безмерно разнообразная ритмика, вольная игра рифм, логическая неожиданность сочетаний, смелость образов — определяют "Дневник"» (Руль (Берлин). 1922. № 464, 28 мая. С. 9). Не менее высокую оценку дал книге Гиппиус Саша Черный: «..."банальность" формы — строгая пластика старых созвучий, — неотделимо связана с "банальностью" тона и содержания: ясностью, простотой, вскрытой до дна глубиной, — не затемненной мелькающими шарадами намеков, которых, увы, немало в "Дневнике"»; разноголосицу поэтических тем и настроений «Дневника» он объяснял непосредственным воздействием запечатленной в нем исторической реальности: «Бездарная звериная эпопея последних лет, конечно, давно уже антиреволюционна по своему существу, и сама по себе тема эта за пределами лирических откровений. Отсюда и срывы от надежды и любви во что бы то ни стало <...> к темной проклинающей безнадежности» (Новости литературы (Берлин). 1922. № 1. С. 55. Подпись: А. Черный).

164. СЗ. 1922. № 10. С. 119, под загл. «1 января 1914 года», варианты — ст. 2: «Предчувствий непонятный бред»; ст. 4: «Что кажется — совсем дороги нет»; ст. 11: «И эта скорбь, что ныне у порога».

165. Свобода (Варшава). 1920. № 49, 12 сентября. С. 3 (1-е в цикле «Из Петербургского дневника»). Черновой автограф ст-ния, переданный Гиппиус А. А. Блоку 6 ноября 1915 г., — в его архиве (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 5); первоначальные варианты — строфа 1, ст. 2: «А кругом — стены тьмы», строфа 3, ст. 2: а. «Сердце мое, одно, рвется вперед», б. «Сердце мое говорит: не то!»; варианты — строфа 3, ст. 3: а. «Но и оно устанет», б. «Но и оно утомится во мгле», в. «Но сердце одно погаснет во мгле», г. «Одинокое сердце погаснет во мгле», д. как вариант в., ст. 4: а. «Ему навстречу никто нейдет», б. как в основном тексте, в. «Навстречу нейдет никто».

166. НЖдВ. 1912. № 10. С. 49. Беловой автограф — при письме к В. Я. Брюсову от 14/27 марта 1911 г. (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 42, л. 5—5 об.). Гиппиус написала автопародию на это ст-ние:

Ангелы со мной не говорили...

Я и тварям темненьким был рад,
Пусть они чуть-чуть не в самый ад
Бедного меня не заманили...

Ангелы со мной не говорили.

Но случайно, раз, на перекрестке,

Я на Ангела живого налетел.
Ангел этот был не очень бел,
Но за то ответил мне не жестко...

В сумерках дождя, на перекрестке.

Но сказать отныне было б ложью,

Что неведом сердцу райский сад...
Лишь одно: манеры чертенят
Что-то слишком с ангельскими схожи...

Умолчать об этом было б ложью.

(СП. С. 89. Другой вариант того же текста — СП. С. 88).

167. БВ. Утр. вып. 1914. № 14147, 11 мая; Новое Слово. 1914. № 5. С. 3. Беловой автограф в архиве Б. В. Савинкова — с датой: «9. 11. 11. Канн» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126, л. 60). Беловой автограф — с посвящением: «В. Р—ну» (ГЛМ, ф. 226, оф 5699). Беловой автограф — при письме к В. Я. Брюсову от 14/27 марта 1927 г., с посвящением: «В. Ропшину» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 42, л. 4—4 об.). Варианты автографов — строфа 2, ст. 3: «Рассветный ветер веял на меня» (ГЛМ), строфа 4, ст. 2: «Самодержавное Величество природы» (ГАРФ, ГЛМ, РГБ), строфа 6, ст. 3: «А ты — посмей свою зажечь свечу», строфа 7, ст. 1: «Посмей страдать, и плакать, и молиться» (ГАРФ). В названии обыгрывается загл. книги ст-ний К. Д. Бальмонта «Будем как Солнце» (М., 1903).

Стихотворной формой (терцины) и тематически ст-ние соотносится с «Терцинами» («Я вижу дней моих отображенье...», 1911) В. Ропшина (см.: Савинков Б. (Ропшин В.). То, чего не было. Роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. М., 1992. С. 661—662). Ср. дневниковую запись С. П. Каблукова (17 апреля 1911 г.): «Зина прочла "Терцины" Савенкова <sic!>, жившего в Cannes рядом с Мер<ежковскими>, очень недурные и благонамеренные. Отдельно прочла мне свой ответ на них и новое свое стихотворение "Ангелы со мной не говорят"» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 14, л. 159). Без достаточных оснований «Терцины» и еще одно ст-ние В. Ропшина (Савинкова) «Не князь ли тьмы меня лобзанием смутил?..» напечатаны (по списку из дневника С. П. Каблукова) А. Л. Соболевым как принадлежащие Гиппиус (см.: Русская литература. 1991. № 2. С. 185, 189); авторство этих ст-ний, однако, обозначено инициалами (В. Р.) в списке Каблукова (РНБ, ф. 322, ед. хр. 16, л. 40—41 об.), ср. дневниковую запись Каблукова от 24 августа 1911 г.: «Сегодня был у Дм. Вл. Знаменского. Читал ему новые стихотв<орения> З. Н. и В. Ропшина (Савенкова) <sic!>» (Там же, л. 51). *В. Ропшин* — литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879—1925), видного деятеля партии соци-

алистов-революционеров и одного из руководителей ее Боевой организации, прозаика и поэта, близкого друга Мережковских в 1910-е гг. Гиппиус содействовала вхождению Савинкова в литературу; ей принадлежит и предисловие к его посмертной «Книге стихов» («Несколько слов»), в котором говорится: «...почти в каждой строчке поэта Ропшина ощущается <...> правда самой настоящей жизни его тела и духа. Стихи для него — как бы продолжение жизненной действенности. <...> Савинков-Ропшин обладал удивительным свойством <...> это какое-то волшебное уменье угадывать и схватывать то, что оказывалось ему в данный момент нужным, и мгновенно претворять в собственную действенную силу. Он точно вдруг вспоминал, находил себя еще в новой какой-нибудь стороне, в новом даровании. Так нашел он и себя — писателя» (Ропшин В. (Савинков Б.). Книга стихов. Посмертное издание. Париж, 1931. С. VIII—IX). Познакомились и сблизились Мережковские с Савинковым во время пребывания в Париже в 1906—1908 гг.; 14 марта 1911 г. Гиппиус записала: «Борис Савинков — необыкновенно даровитый во всех отношениях человек. Поразительно умный и до испуга чуткий. <...> Железный занавес упал между нами, когда мы вернулись в Россию. Я увозила с собой только роман Савинкова "Конь бледный", написанный, конечно, от совместных наших разговоров»; «Я изредка переписывалась, с Савинковым, — насчет "Бледного Коня" (он был напечатан в "Русской Мысли", когда мы редакторствовали, я его цензурила и заглавие выдумала)» (О Бывшем, 3. С. 55, 57). «Подумайте, ведь вы в некотором роде мой крестник <...>», — писала Гиппиус Савинкову 2 января 1912 г., подразумевая свою причастность к его литературным опытам; она же старалась помочь Савинкову найти и осознать свое, специфическое место в современной литературе: «Вы должны бы не желать, чтобы я вас судила, как "даровитого дилетанта" <...>. А от вас очень много требуется, и нами в особенности, ибо голый профессионализм, голая литература (Ал. Толстой молодой, например) — в конце концов тоже не настоящая литература <...> ваша литература стоит в зависимости от вашего внутреннего роста и развития, от вашего личного человечества, от вашей жизни, от ваших действий. Происходить должно какое-то взаимопитание, причем отнюдь не становится литература дилетантством. У многих профессионалов их жизнь, их человечество — дилетантство <...> я смотрю на вас как на личность, способную на недилетантство в искусстве при недилетантском отношении к себе и к жизни; и даже это последнее условие — необходимо для первого положения» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126). См. также: Пахмусс Темира. Переписка З. Н. Гиппиус с Б. В. Савинковым // Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967. С. 161—167.

168. Сирин. С. [X—XI] (2-е в цикле «Молчания»), вариант заключительного ст.: «Иди...». В трех беловых автографах заключительный ст.: «Иди...» (ГЛМ, ф. 226, оф 5699; РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 8; ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126, л. 147—147 об.). В беловом автографе (наборная рукопись цикла «Молчания») в заключительном ст.: «Иди. Убей» — слово «Убей» вымарано, позднее приписано карандашом (рукой Иванова-Разумника), зачеркнутая дата: «Подгор-

ное. Июль. 11» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 2—2 об.). Первоначально Гиппиус предложила ст-ние для публикации в «Новое Слово»; в недатированном письме к И. М. Розенфельду она замечала о нем: «Оно лучшее, но не в том дело; и хотя я лично думаю, что никто в него вникать не станет, и ничего не будет, — однако дело ваше, и вам решать. Думаю, что из моих — всего возможнее для вашего журнала будут терцины» (ГЛМ, ф. 226, оф 5634. «Терцины» — ст-ние «Не будем как солнце», см. примеч. 167).

169. Сирин. С. [XIV—XV] (4-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «Июль 11. Подгорное» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 4). Об *А. Меньшове* — см. примеч. 52.

170. НЖдВ. 1912. № 12. Стб. 17, под загл. «Предательство». Беловой автограф — под загл. «Предательство» (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 11 об.).

171. Сирин. С. [XII—XIII] (3-е в цикле «Молчания»), вариант — строфа 4, ст. 3: «К Отцу, — своему Учителю...». Беловой автограф, вариант — строфа 4, ст. 3: «К Отцу — ее Учителю» (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 7—7 об.). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «24 августа 11. Подгорное» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 3, 3 об.).

172. РМ. 1912. № 5. Отд. I. С. 119, без посвящения. Беловой автограф — без посвящения (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 6—6 об.) был выслан В. Я. Брюсову для публикации в журнале «Русская Мысль». В сопроводительном письме от 18 февраля/2 марта 1912 г. Гиппиус сообщала, что высылает пять стихотворений, «...которые, еще раз повторяю, с настойчивой кротостью, все не для среднего читателя» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 42). Посвящено Амалии Осиповне Фондаминской (урожд. Гавронской, ум. 1935), жене И. И. Бунакова-Фондаминского (см. примеч. 416), многолетней близкой приятельнице Гиппиус (см. ее письма к Гиппиус — РНБ, ф. 481, ед. хр. 98). Ср. дневниковые записи Гиппиус: «Жили в Гомбурге (1909) опять. Там — приезжала к нам на два дня Амалия Фондаминская, прелестная, милая, маленькая женщина, тихая, которую все мы любим. Она — вне "партии", но нелегальная»; «...у нас гостила <...> милая, нежная Амалия» (1912); «С Амалией и Илюшей <...> мы сблизились внутренно, как никогда» (Ментона, весна 1913 г.) (О Бывшем, 3. С. 57, 61, 71—72). См. статьи Гиппиус «Негасимая свеча (Памяти Амалии Фондаминской)» (ПН. 1935. № 5230, 22 июня. С. 4) и «Единственная» (Памяти Амалии Фондаминской. Париж, 1937. С. 5—45); в первой из них Гиппиус писала: «...не вспоминать ее хочу, а вызвать живой образ этого единственного существа, — маленькой темноволосой женщины с вещими глазами и мужественным сердцем. <...> Амалия сама была "делом" — Божиим, — так ярко отразилась в ней единственность, особенность, человеческой личности. Одна из ее особенностей, это — непостижимое слияние, соединение многого, что, обычно,

в человеке не соединено. В ней была прелесть вечно-детского, его веселая, капризная чистота, — и смелая, мужественная воля. А поверх всего, какая-то особая тишина. <...> для того, поневоле сдавленного, круга, каким была довоенная революционная эмиграция, существование Амалии, единственной, "особенной", имело громадное значение. Она вносила как бы волну свежего воздуха. Атмосфера менялась, многим было легче дышать». 22 июня 1935 г. Гиппиус писала М. В. Вишняку: «Я сердечно радуюсь, что моя памятка об Амалии показалась вам во многом верной и нежной. Моя первая и главная задача была <...> вызвать общий образ А., очень, по-своему, сложный, сплетенный из всяких противоречий (как будто); что и делало ее "особенной". <...> А. действительно находилась в стихии жизни, "любила и жила", притом "любила разное"; и вот, что "разное" любила, тут, отчасти, и была ее особенность. На первом, втором или третьем месте была у нее "религия", я этого и не касалась; по-моему, у нее все было на первых местах, или на каких-то "своих", отчего и оставалась она "сама по себе"» (Cahiers du Monde russe et soviétique. 1982. Vol. XXIII (3—4). P. 461. Публикация Т. Пахмусс).

173. РМ. 1912. № 5. Отд. I. С. 120, под загл. «Крылатые», без посвящения. Беловой автограф — под загл. «Крылатые», без посвящения, под текстом помета: «Pau — Февраль» (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 5). В По (город в юго-западной Франции, близ Пиреней) Мережковские жили в первой половине 1912 г. С Иваном Алексеевичем *Буниным* (1870—1953) Гиппиус особенно сблизилась в 1920-е гг., в парижской эмиграции; см. ее статьи «Тайна зеркала. Иван Бунин» (Общее дело (Париж). 1921. № 304, 16 мая), «Бесстрашная любовь (Русский народ и Ив. Бунин)» (Там же. 1921. № 463, 23 октября), а также письма к Бунину 1921—1923 гг. (Cahiers du Monde russe et soviétique. 1981. Vol. XXII (4). P. 417—460).

174. Сирин. С. [XVI] (5-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «18/31 мая, 12. Париж» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 5). Беловой автограф — на авантитуле кн.: Гиппиус З. Н. Лунные муравьи. М., 1912; посвящение: «Сергею Платоновичу Каблукову», дата: «1 июня 12 Париж» (воспроизведен факсимиле в кн.: Автографы поэтов серебряного века. Дарственные надписи на книгах. М., 1995. С. 241).

175. Сирин. С. [XIX] (7-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «Декабрь 12 СПб.» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 7). *...вкруг летящего ядра.* — Обыгрывается основной сюжетный мотив романов Жюля Верна «С Земли на Луну» (1865) и «Вокруг Луны» (1870), герои которых совершают межпланетный полет внутри огромного пушечного ядра.

176. РМ. 1913. № 1. Отд. I. С. 163, с посвящением: «М—му», вариант — строфа 3, ст. 2: «И кровь и золото вина». Беловой автограф — без эпиграфа, с посвящением: «Д. М—му» — т. е. Д. Мереж-

ковскому (РГБ, ф. 77, карт. 21, ед. хр. 14). Эпиграф — из ст-ния Гиппиус того же названия (см. примеч. 16). Позднейший вариант текста — с пометой «Вспоминаю» (СП. С. 69).

177. Сирин. С. [XVII—XVIII] (6-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «12—12—12. СПб» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 6—6 об.). *Вл. Бестужев* — один из литературных псевдонимов поэта, критика, педагога Владимира Васильевича Гиппиуса (1876—1941), родственника З. Н. Гиппиус, близкого к Мережковским по идейно-эстетическим позициям. З. Н. общалась с Вл. Гиппиусом с начала 1890-х гг., содействовала его литературному самоопределению и отходу от юношеского «декадентства»; ср. письмо Гиппиус к З. А. Венгеровой от 3 июня 1897 г.: «Что касается Гиппиуса — то он, по-моему, стал писать очень недурно. У него есть прямо хорошие вещи, совсем не декадентские, простые, как у Пушкина. Это меня искренно радует...» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 542). В 1900—1901 гг. Гиппиус входил в узкий круг лиц, в котором Мережковские вынашивали идею «новой церкви»; вновь тесно сблизился с Мережковскими в 1910-е гг. См.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 65.

178. Сирин. С. [XX—XXI] (8-е в цикле «Молчания»), с посвящением: «А. Р.» Копия с белового автографа (на экземпляре «Собрания стихов 1889—1903 гг.», перед 1-м ст-нием «Песня») — с посвящением: «А. В. Руманову», с датой: «10—I—13», вариант — строфа 4, ст. 1: «О, все равно пред кеми, для чего» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 268). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «СПб. Дек<абрь>12»; посвящение («А. Р.») вписано карандашом (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 8). Адресат ст-ния — Аркадий Вениаминович Руманов (1878—1960) — юрист, журналист, директор петербургского отделения газеты «Русское Слово». См.: Голубева О. Д. Автографы заговорили... М., 1991. С. 180; Яковлева Е. Русское зарубежье. Аркадий Вениаминович Руманов // Журнал любителей искусства. 1997. № 8/9. С. 109—115.

179. Сирин. С. [XXV] (10-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «1—13 СПб.» (т. е. январь 1913 г.) (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 10).

180. Сирин. С. [XXII—XXIV] (9-е в цикле «Молчания»). Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «Янв<арь> 13» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 9—9 об.).

181. Сирин. С. [XXX—XXXI] (14-е в цикле «Молчания»), с посвящением Александру Блоку. Беловой автограф — в письме к С. А. Андреевскому (РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, ед. хр. 87); вариант — строфа 2, ст. 1: «Но сторожит Молчанья демон». Высылая текст ст-ния С. А. Андреевскому (февраль 1913 г.), Гиппиус добавляла: «Да, так вот все "в колодцы" и валится. В черные. И слова — и люди». (Там же).

182. Сирин. С. [XXVI—XXVII] (11-е в цикле «Молчания»), варианты — строфа 5, ст. 4: «Не может стать моей?»; строфа 6, ст. 1: «Достойней плакать одному». Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «СПб. — 1—13» (т. е. январь 1913 г.); вариант — строфа 6, ст. 1: «Достойней плакать одному» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 11—11 об.). *Храни, храни ее ключи, // И задыхайся — и молчи.* — Ср. «Silentium!» Ф. И. Тютчева: «Взрывая, возмутишь ключи, — // Питайся ими — и молчи».

183. Новое Слово. 1914. № 8. С. 3, под загл. «На севере», без посвящения, с эпиграфом: «"...Все ненужное, все чужое..." («На юге», — Р—на)» — подразумевается ст-ние В. Ропшина (Б. В. Савинкова) «Юг» (1912), его заключительная строфа:

Все неверно. Все ничтожно.
Все ненужно. Все темно.
И кружится безнадежно
Скучных дней веретено.

(Ропшин В. (Савинков Б.). Книга стихов. Посмертное издание. Париж, 1931. С. 15; Савинков Б. (Ропшин В.). То, чего не было. Роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. М., 1992. С. 669). *Суслоны* (обл.) — снопы, оставленные на полях для просушки. *Елани* (диал.) — луга, поляны, просторные лесные просеки.

184. Сирин. С. [IX] (1-е в цикле «Молчания»), с датой: 1913; ПС. С. [III], под загл. «Непредвиденное. 1913 г.». Включено в сб.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 66, без загл. Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55, л. 1). Imprévisibilité (франц. — непредвиденность) — один из терминов философии Анри Бергсона. Ср. запись Гиппиус (декабрь 1919 г.): «Ohe, Bergson! Мы вышли из твоей философии! Кончена imprévisibilité! Остался "учет", — по Ленину» (Дневники. С. 306). Об отражении в ст-нии толкования «реального времени» в философии Бергсона см.: Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale; Edwardsville, 1971. P. 80—82.

185. Очарованный странник. Вып. 3. СПб., 1914, под загл. «Банальность».

186. Сирин. С. [XXIX] (13-е в цикле «Молчания»).

187. БВ. Утр. вып. 1914. № 14498, 16 ноября, под загл. «С любовью»; эпиграф: «..."после славной победы // Нация стала союзом племен"... Сологуб. 7-го авг. 1914 г.»; варианты — ст. 2: «Мы все еще в руке Господней», ст. 4: «Слова еще не нужны сегодня»; тот же текст — в сб.: «Около войны. Отражения». Литературный альманах. М., 1915. С. 4; ПС. С. 1, с эпиграфом: «...Славны будут великие дела...». Автограф под загл. «С любовью» — в альбоме П. Н. Медведева (РНБ, ф. 474, ед. хр. 1, л. 26), текст его совпадает с текстом публикации в

БВ. Беловой автограф без загл. — в собрании П. Е. Щеголева (ИРЛИ, ф. 627, оп. 2, ед. хр. 7, л. 1), эпиграф: «Барабаны, не бейте слишком громко... Сологуб, "Марш"», первоначальный вариант ст. 6: «И неразрешенной битвы». Автограф в рукописном альманахе Корнея Чуковского «Чукоккала» — без загл., эпиграфы: «"Барабаны, не бейте слишком громко. // ...Громки будут отважные дела... // ... ...// Вспомнят, как после славной победы // Нация стала союзом племен..." "Марш" Сологуба», «"Что такое война, Ремесло варваров..." Наполеон I»; помета под текстом: «8—14. СПБ (*не* Петррогррад)». (Сообщено Е. Ц. Чуковской). Эпиграф в ПС — неточная цитата из ст-ния «Марш»; в оригинале: «Громки будут отважные дела» (Сологуб Ф. Война. Стихи. [Пг.], 1915. С. 8; впервые: День, 1914, 7 авг.) эпиграф в БВ и сб. «Около войны» — цитата из того же ст-ния.

188. ПС. С. 2. Список и корректурный лист — без загл., вариант — строфа 3, ст. 2: «Водою алою ты облил сушу» (РНБ, ф. 124, ед. хр. 1124); текст корректурного листа — под номером II (I — ст-ние «О Польше», см. примеч. 263), набран для журнала «Аполлон». Как явствует из пометы на корректурном листе: «Гиппиус (не проп<устила> цензура)», — ст-ние не было опубликовано не по воле редакции «Аполлона». *Адонаи* (евр. «Господь мой») — одно из обозначений Бога в иудаизме, применяющееся также как заменяющее «непроизносимое» имя Яхве (Иегова). *...матерям — // Твое оружие проходит душу!* — Слова Симеона Богоприимца к Богоматери: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. II, 35). *...Той, // Что под крестом тогда стояла...* — Подразумевается Богоматерь: «При кресте Иисуса стояла Матерь его...» (Ин. XIX, 25).

189. Вершины. 1914. № 2. С. 5; ПС. С. 4. Вариант — строфа 1, ст. 4: «Когда деянья невозможны» (Дневники. С. 69).

190. Речь. 1917. № 65, 17 марта (в заключительной части статьи Гиппиус «Петербург»); ПС. С. 5, без посвящения. Список С. П. Каблукова — без посвящения (РНБ, ф. 322, ед. хр. 33, л. 118—119). Приводя текст ст-ния в дневнике, Каблуков поясняет (запись от 11 февраля 1915 г.): «З. Н. Мережковская написала 14 дек<абря> прошлого года превосходное стихотворение "Петроград", совершенно "нецензурное"». (Там же, л. 117—118). Ст-ние представляет собой отклик на переименование Санкт-Петербурга в Петроград 19 августа 1914 г. Датировка (14 декабря 1914 г.) позволяет тематически соотносить «Петроград» с «декабристскими» ст-ниями Гиппиус («14 декабря», «14 декабря 17 года», «14 декабря 18 г.»). Ср. ее дневниковые записи — 29 сентября 1914 г.: «По манию царя Петербург великого Петра — провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнуть некий Николоград — по-казенному "Петроград". Толстый царедворец Витнер подсунул царю подписать: патриотично, мол, а то что за "бург", по-немецки (!?!)»; 14 декабря 1917 г.: «Люблю этот день, этот горький праздник "первенцев свободы". В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался "Петербург". Уж очень мне оскорбителен "Петроград", создание "растерянной челяди, что, властвуя, сама боится нас..."»;

17 марта 1917 г.: «Сегодня был напечатан мой крамольный "Петербург", написанный 14 дек. 14 года» (Дневники. С. 27, 28, 118) Владимир Николаевич *Аргутинский-Долгоруков* (1874—1941) — дипломат (секретарь русского посольства в Париже до 1917 г.), коллекционер произведений искусства; друг Мережковских.

191. ПС. С. 7.

192. ПС. С. 20, с датой: 1915. Адресат посвящения — вероятно, Н. Н. Гиппиус (см. примеч. 130).

193. Северный луч. 1916. № 9. С. 7, под загл. «Третье Рождество»; ПС. С 26, под загл. «Второе Рождество», с датой: 1915, перед ст. 1 — ст.: «Белый праздник, — рождается предвечное Слово, // белый праздник идет, и снова —». Беловой автограф — РНБ, ф. 481, ед. хр. 10; верстка (3 экземпляра) — там же, ед. хр. 11.

194. Голос жизни. 1915. № 16. С. 12; ПС. С. 11, с посвящением: «Ник. С—му». Посвящено Николаю Леонидовичу *Слонимскому* (1894—1996) — племяннику З. А. Венгеровой и старшему брату будущего писателя М. Л. Слонимского. Слонимский — автор рецензий на «Последние стихи» (Новые Ведомости. Веч. вып. 1918. № 78, 5 июня. С. 7) и на книгу Гиппиус «Как мы воинам писали и что они нам отвечали» (Журнал журналов. 1915. № 33. С. 11); впоследствии — видный музыковед, композитор, дирижер и пианист (с 1923 г. жил в США). *Сказано — смертию смерть побеждается.* — Отзвук пасхального канона: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...».

195. БВ. Утр. вып. (пасхальный). 1915. № 14741, 22 марта. С. 4; ПС. С. 12. Тематически ст-ние соотносится с пьесой З. Н. Гиппиус «Зеленое кольцо» (Пг., 1916) и ее постановкой в Александринском театре (премьера — 18 февраля 1915 г.). В пьесе затрагивалась проблема преемственности поколений, причем надежды на общественное обновление связывались с молодежью и ее устремлениями.

196. ПС. С. 18; Свобода (Варшава). 1920. № 58, 23 сентября. С. 1, под загл. «Новое знамя», вариант ст. 7: «За русскую Землю, за Совесть, за Волю —». Тематически связано с предыдущим ст-нием. *Зеленое — Белое — Алое.* — Авторское послесловие к «Зеленому кольцу» озаглавлено «Зеленое — белое — алое»: «...слово "Зеленое" не было мною взято как определяющее непременно "молодость"; шире: как "рост", как силу жизни, как возрождение» (Гиппиус З. Н. Зеленое кольцо. Пг., 1916. С. 137).

197. ПС. С. 19.

198. «В тылу»: Литературно-художественный альманах кассы «Взаимопомощь» студентов Рижск. Политехн. Института. Пг., 1915. С. 9, под загл. «Весне», без деления на строфы; ПС. С. 24. Посвящено Зинаиде Владимировне Ратьковой-Рожновой (урожд. Философовой; 1871—1966), сестре Д. В. Философова. Ее сыновья во время написания ст-ния нахо-

дились на фронте; ср. дневниковую запись Гиппиус от 28 апреля 1915 г.: «Сыновья З. Ратьковой живы, на войне» (Дневники. С. 33).

199. «Щит»: Литературный сборник под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. М., 1915. С. 51 (Изд. 3-е, доп. М., 1916. С. 58), без загл. и деления на строфы; Вешние воды. 1917. № 23/24 (май—июнь). С. 58, под загл. «Э. Голлербаху», без деления на строфы; ПС. С. 25; Русская литература в портретах и письменах / Составил и издал Александр Элиасберг, с введением Томаса Манна. Мюнхен, 1922. С. 118. Сборник «Щит» был издан с благотворительной целью: доход от издания предназначался в пользу «Общества вспомоществования бедствующему еврейскому населению, пострадавшему от военных действий». Публикация ст-ния в журнале «Вешние воды» (помета под текстом: «Петербург. 6 апр. 17» — дата автографа ст-ния Гиппиус на кн. 2-й ее «Собрания стихов», подаренной Э. Ф. Голлербаху; ныне книга — в собрании В. Э. Вацуро) сопровождалась полемическим стихотворным откликом Э. Голлербаха, помещенным на той же странице:

Ответ З. Н. Гиппиус

Я вижу свет языческой Эллады,
Немеркнущий — вкруг облика Христа.
Израилю любви Его не надо,
В земном пути не надобно Креста.
Свет Эроса во мраке Назарета! —
Он — Демиург, его алкал Платон,
Им сквозь века мы, нищие, согреты,
Им озарен наш бледный небосклон.
Арийский дух взрастил Любовь и Веру,
Семитов мир Материя и Мгла.
Был *эллином* отец Христа — Пандера *,
И только Мать — еврейкою была.
Когда б Он был и по отцу евреем —
Он жалости не лил бы с нами слез.
Арийцем был — чей образ мы лелеем,
Единственный, бессмертный наш Христос.

Ср.: Золотоносов М. Русоблудие. Заметки о русском «Оно». Антисемитизм как психоаналитический феномен // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 276.

200. Любовь к трем апельсинам. 1915. № 4/7. С. 9, без посвящения; вариант — строфа 5, ст. 2: «Грохочет уличная рать»; ПС. С. 13, под загл. «"Свободный" стих», без посвящения. В посвящении подразумеваются *молодые поэты*, регулярно собиравшиеся у Гиппиус в годы войны; ст-ния некоторых из них (Вл. Злобина, Дм. Майзельса, Г. Маслова, Н. Ястребова) она включила в антологию «Восемьде-

* По словам одного из апокрифических евангелий. *(Примеч. Голлербаха).*

сят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус» (Пг., 1917). Позднее Гиппиус рассказала об этом кружке в статье «Мальчики и девочки» (ПН. 1926. № 2004, 17 сентября). *...умыл усталым ноги / Слуга — и Господин.* — Ср.: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. XIII, 14).

201. ПС. С. 16. *Два ответа: лиловый и зеленый...* — Подразумевается символика пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо» (см. примеч. 195, 196).

202. Голос жизни. 1915. № 16. С. 12; ПС. С. 21, без ст. 3 в строфе 4.

203. БВ. Утр. вып. 1914. № 14575, 25 декабря. С. 3, с посвящением Д. Мережковскому; ПС. С. 8, с датой: 1914; Общее дело (Париж). 1921. № 176, 7 января. С. 2, варианты — ст. 7: «И мы не знаем, где Христовы ясли»; ст. 11—12: «Дай России освобождение, // Дай ей победную одежду белую...». *Мир на земле, в человеках благоволенье...* — См.: Лк. II, 14. *...дай побеждающей одежду белую...* — Ср.: «Побеждающий облечется в белые одежды» (Откр. III, 5).

204. ПС. С. 29, с посвящением: «М. Г—му» — М. Горькому, с датой: 1915, вариант ст. 5: «Как все, пойду, умру, убью». Посвящение ст-ния отражает кратковременный период (1915—1916) сочувствия Мережковских к деятельности и личности М. Горького, что было связано, скорее всего, с появлением его повести «Детство»: в частности, Гиппиус явилась одним из авторов «Письма в редакцию» в защиту Горького (БВ. Утр. вып. 1916. № 15328, 17 января; см.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 679—680), а Мережковский опубликовал статью «Не святая Русь (Религия Горького)», содержавшую чрезвычайно высокую оценку «Детства» (Русское Слово. 1916. № 210, 11 сентября; Мережковский Д. С. От войны к революции. Невоенный дневник. 1914—1916. Пг., 1917. С. 5—23).

205. ПС. С. 31; Отечество (Париж). 1921. № 2. С. 8, без деления на строфы.

206. ПС. С. 32, под загл. «Сентябрьское».

207. Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 18, без загл. и посвящения; ПС. С 35; Свобода (Варшава). 1920. № 49, 12 сентября. С. 3, под загл. «В колесе». Беловой автограф — под загл. «Говори о радостном...», с посвящением: «Посв. Д. Философову» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 7). Владимир Ананьевич *Злобин* (1894—1967) — поэт, многолетний друг и секретарь Мережковских (сблизился с ними в 1916 г.); автор книги о Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970) и сборника стихов «После ее смерти» (Париж, 1951). В письме к Е. А. Ляцкому от 22 сентября 1917 г. Гиппиус сообщала о Злобине: «Он чрезвычайно приличный юноша, окончивший студент (ныне юнкер), благовоспитанный и умный человек и тонкий поэт» (ИРЛИ, ф. 163, оп. 2, ед. хр. 141). Письма

Гиппиус к Злобину 1916—1919 гг. хранятся в РНБ (ф. 481, ед. хр. 41—45), письма 1920—1937 гг. опубликованы: Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 181—331. См. также: Злобин Вл. «Есть только твердость постоянства...» / Вступ. заметка и публикация Ал. Соболева // Дружба народов. 1991. № 6. С. 155—157.

208. ПС. С. 33.

209. ПС. С. 34; Свобода (Варшава). 1920. № 58, 23 сентября, без посвящения. Николай Николаевич *Ястребов* (1885—?) — студент физико-математического факультета Петербургского университета, начинающий поэт из круга Гиппиус (3 его стихотворения включены в кн.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917. С. 34, 50, 88), в 1916 г. учился в Тифлисской 3-й школе прапорщиков, в 1917 г. — офицер. См. о нем: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М., 1982. С. 474—475. 28 августа 1916 г. Ястребов писал Гиппиус из Тифлиса: «Вся наша "черноземная сила" распыляется по заводам и фабрикам, уничтожается на залитых кровью полях, а интеллигенция претерпевает какую-то непонятную метаморфозу. Остается кучка настоящей интеллигенции, но воин ли в поле один человек? Здесь живешь и чувствуешь ясно, отчетливо, что русская жизнь в клещах и эти клещи душат с каждым днем, с каждым часом сильнее и сильнее» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 102). *Тяжелый всадник на коне рыжем.* — Ср.: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр. VI, 4).

210. ПС. С. 41, под загл. «Вся».

211. ПС. С. 36, с посвящением Н. Слонимскому — см. примеч. 194; с датой: Ноябрь 16. С 1913 г. Мережковские жили на Сергиевской ул. (дом 83, кв. 17) — в доме на углу Потемкинской ул.

212. ПС. С. 39; Свобода. 1920. № 51, 15 сентября. С. 1, под загл. «Первая революция». Эпиграф — 1-я строка «Марсельезы» (1792 г.) К.-Ж. Руже де Лиля; в русском переводе: «Вперед, сыны отечества...».

213. ПС. С. 45, без посвящения, с датой: 4 сентября 17 г.; Свобода. 1920. № 51, 15 сентября. С. 1, под загл. «Гибель?». Степан Иванович *Осовецкий* (ум. 1944) — инженер-технолог, член Московского филармонического общества.

214. ПС. С. 43.

215. ПС. С. 47, с датой: «28—29 октября 17. Ночью»; Свобода. 1920. № 53, 17 сентября. С. 1, под загл. «26 октября 1917».

216. ПС. С. 48; Свобода. 1920. № 53, 17 сентября. С. 1, под загл. «Октябрь 17 года». Ср. запись Гиппиус от 24 октября 1917 г.: «Это,

пока что, не революция и не контрреволюция, это просто — "блевотина войны"» (Дневники. С. 190).

217. Воля народа. 1917. № 170, 12 ноября. С. 1, под загл. «Соглашателям», с делением на четверостишия и с посвящением: «Посв. спискам №№ 9 и 14»; ПС. С. 49, с посвящением: «"Новой Жизни" и пр.». *«Новая Жизнь»* — петроградская социал-демократическая газета, издававшаяся в 1917—1918 гг. при ближайшем участии М. Горького, печатавшего там цикл статей «Несвоевременные мысли». Ср. дневниковые записи Гиппиус — 28 октября 1917 г.: «Все газеты оставшиеся, (3/4 запрещены), вплоть до "Нов. Жизни", отмежевываются от большевиков, хотя и в разных степенях. "Нов. Жизнь", конечно, менее других. Лезет, подмигивая, с блоком, и тут же "категорически осуждает", словом, обычная подлость»; 29 октября: «Газеты все задушены, даже "Рабочая"; только украдкой вылезает "Дело" Чернова <...>, да красуется, помимо "Правды", эта тля — "Новая Жизнь"» (Дневники. С. 197—198, 199).

218. ПС. С. 50; Свобода. 1920. № 54, 18 сентября. С. 1, под загл. «Ноябрь». *Викжель* — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза, созданный на 1-м Всероссийском учредительном съезде железнодорожников в Москве в июле—августе 1917 г.; в его составе преобладали эсеры и меньшевики. После Октябрьского переворота Викжель требовал создания «однородного социалистического правительства», передачи в свое подчинение всего железнодорожного хозяйства, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой на транспорте.

219. Вечерний звон. 1917. № 1, 6 декабря. С. 2, под загл. «12 ноября» и с примечанием: «12 ноября — день выборов в Учредительное Собрание в Петербурге»; ПС. С 52; Свобода. 1920. № 54, 18 сентября. С. 1; Общее дело. 1921. № 177, 8 января. С. 2. В номере «Вечернего звона», в котором было опубликовано ст-ние, сообщалось, что в Петроград съехалось уже свыше 200 членов Учредительного Собрания и что из «большевистских кругов» передают о его предполагаемом открытии 8 декабря; там же под рубрикой «Откроется ли Учредительное Собрание» помещены интервью с представителями различных партий — М. Н. Скобелевым, М. А. Спиридоновой, И. К. <sic!> Сталиным-Джугашвили и О. М. Лихачом. В следующем номере появилась статья Д. В. Философова «Гадание» на ту же тему: «Любит, не любит, плюнет, поцелует... Так гадаем мы об Учредительном Собрании. Захотят большевики — оно будет, не захотят — не будет. <...> Народ в лице своих избранников объявляется средством для большевистской политики» (Вечерний звон. 1917. № 2, 7 декабря. С. 3). Ср. дневниковую запись Гиппиус (18 ноября 1917 г.): «Когда разгонят Учр<едительное> Собрание (разгонят!) — я, кажется, замолчу навек. От стыда. Трудно привыкнуть, трудно терпеть этот стыд» (ЧТ. С. 22).

220. Вечерний звон. 1917. № 8, 14 декабря. С. 3, под загл. «Им», без ст. 15—16; ПС. С. 53; Свобода. 1920. № 55, 19 сентября. Отклик на

первую годовщину восстания декабристов после свержения самодержавия. Ср. дневниковую запись Гиппиус от 14 декабря 1917 г.: «Люблю этот день. Но именно потому, что люблю, — и не хочу осквернять его, записывая день сегодняшний.

О, петля Николая — чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Это две выкинутые редакторами "нецензурные" строчки из моего сегодняшнего стихотворения "Им" (т. е. "декабристам"), которое я вчера ночью написала и сегодня напечатала в "Вечернем звоне"» (ЧТ. С. 35). *Д. С. Мережковский*, автор исторических романов «Александр Первый» (1911—1912) и «14 декабря» (1918), в том же юбилейном номере «Вечернего звона», в котором было опубликовано ст-ние, поместил статью «1825—1917», обнаруживающую с ним прямые параллели: «Нет, не вставайте из ваших могил, святые тени, — Рылеев, Пестель, Каховский, Муравьев, Бестужев — не смотрите на то, что сейчас происходит в России: это ваша смерть вторая. <...> Надо же, наконец, правду сказать: подлинный "авангард русской революции" — не крестьяне, не солдаты, не рабочие, а вот эти герои Четырнадцатого и мы, наследники их — русские интеллигенты — "буржуи", "корниловцы", "калединцы", "враги народа", "изменники революции". <...> Русская революционная интеллигенция — русская революционная аристократия. Вот почему восстание Четырнадцатого — исходная и предельная точка русской интеллигенции: вся она отсюда идет и сюда возвращается; здесь ее начало и конец. Все мы, русские интеллигенты, в этом смысле — "декабристы" вечные — вечные стражи революционного сознания, революционной свободы и революционной личности». *Мы утопили... // Ее в чану Дворца, на дне // ...И в наворованном вине.* — Подразумеваются многочисленные винные погромы, происходившие в Петрограде после Октябрьского переворота. Ср. записи Гиппиус: «"Комиссары" решили уничтожать винные склады. Это выродилось в их громление. Половину разобьют и выльют — половину разграбят: частью на месте перепиваются, частью с собой несут» (30 ноября 1917 г.); «Винные грабежи продолжаются. Улица отвратительна. На некоторых углах центральных улиц стоит, не двигаясь, кабацкая вонь. Опять было несколько "утонутий" в погребах, когда выбили днища из бочек» (1 декабря 1917 г.) (ЧТ. С. 28, 29). *Рылеев, Трубецкой, Голицын!* — Наряду с руководителями Северного общества и подготовки восстания на Сенатской площади Кондратием Федоровичем Рылеевым (1795—1826) и князем Сергеем Петровичем Трубецким (1790—1860) упоминается член Северного общества князь Валерьян Михайлович Голицын (1803—1859), главный герой романов Мережковского «Александр Первый» и «14 декабря».

221. ПС. С. 55, без деления на строфы.

222. Воля народа. 1918. № 2. С. 17, под загл. «Она»; ПС. С. 57, под тем же загл., с датой: «Янв<арь> 18». *Колпак фригийский* — головной убор якобинцев во время Великой французской революции, символ

свободы. *Пиши миры свои — ты мой!* — Подразумевается подготовка и подписание мирного договора с Германией в Брест-Литовске 18 февраля / 3 марта 1918 г.; ср. дневниковую запись Гиппиус от 11 февраля 1918 г.: «Да, решилось. Чтоб еще посидеть на России, трусливые мерзавцы отдают все, что им не жаль (т. е. почти всю, верно, Россию, кроме куска, выпрошенного, чтобы самим доесть). <...> Никогда нельзя угадать ни всей меры безобразия, ни всей глубины мерзости делываемого, пока не доделается, не довершится» (ЧТ. С. 72).

223. ПС. С. 59, под загл. «Так есть»; Последние известия (Ревель). 1920. № 8, 21 августа. С. 2, без загл. Ст-ние завершает дневниковую запись Гиппиус от 11 февраля 1918 г., содержащую ее отклик на принятие большевиками немецких условий «похабнейшего из миров» (ЧТ. С. 72—73).

224. ПС. С. 60, с посвящением: «И. В.».

225. ПС. С. 65, без посвящения. Беловой автограф — без загл. и посвящения, вариант ст. 5: «Свеча ль истает, Тобою зажженная?»; справа над текстом помета: «Не для печати», подпись: «Зина»; текст — в конверте с надписью: «Дмитрию Владимировичу» (Философову) (РНБ, ф. 481, ед. хр. 15). Посвящено памяти Владимира Александровича *Ратькова-Рожнова* (1891—1918), сына А. Н. и З. В. Ратьковых-Рожновых (см. примеч. 198), офицера Добровольческой армии, погибшего 8 февраля 1918 г. Сообщение об этом — в письме к Гиппиус полковника Моллера: «8-го в бою под Ростовом убит наш Володя Ратьков-Рожнов. Бедный Ратьков пополз в цепи за тяжело раненным офицером гренадером и был убит наповал пулей в грудь и голову. Т. к. казаки отказались драться против большевиков, мы 8-го покинули Ростов и ушли на юг. Тело Ратькова мы вывезли и похоронили в станице Ольгинской, причем с трудом удалось убедить местного попа похоронить его, т. к. тот боялся, что большевики его потом зарежут...» (ЧТ. С. 157. Примеч. М. М. Павловой и Д. И. Зубарева). Ср. дневниковые записи Гиппиус: «Большевики убили Володю Ратькова, второго сына сестры Зины. <...> Володя был ее любимый. <...> Да, вот этот умер, как святой, в борьбе с дьяволом, а не с человеком. Не могу сегодня больше ничего писать. Оружие прошло душу матерей. И слезы их еще не затопили землю!» (22 февраля 1918 г.); «Писать физически трудно. Смерть Володи ни на минуту не отходит. Еще не знает мать до сих пор. Ей — (сегодня поехал в Москву) — скажет последний сын, старший, Ника» (23 февраля) (ЧТ. С. 83).

226. Воля народа. 1918. № 6. С. 17; ПС. С. 63, с датой: «Февр<аль> 18». В обеих публикациях — вариант ст. 4: «Мы все заражены».

227. Свобода. 1920. № 60, 25 сентября. С. 1. Список в архиве В. С. Миролюбова, без загл., под текстом помета: «Керенскому Зин. Гиппиус», между строфами 5 и 6 — зачеркнутые строки:

Неискупимо то, что было,
Смерть не позорна, пусть умрем
Но старый клоун и могилу

(ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 1384). В ст-нии идет речь об А. Ф. Керенском (ср. запись Гиппиус от 14 марта 1917 г.: «Лицо Керенского <...> все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро» — Дневники. С. 114). Гиппиус вспоминает о зиме 1915—1916 г.: «У нас бывало много народа, чаще всего бывал Керенский. Мы его знали давно. <...> Главное — в нем была какая-то мальчишеская живость, скорость движений и — кажется, обманчивая — решительность. Но была в нем, увы, и женская истеричность» (Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 217—218). В 1917 г. отношение Гиппиус к Керенскому эволюционировало от надежд на его активную роль в деле преобразования России: «Я верю Керенскому, лишь бы ему не мешали» (5 апреля 1917 г.); «Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. <...> Керенский — настоящий человек на настоящем месте» (20 мая 1917 г.) (Дневники. С. 129, 131); «Керенский так понятен весь, и близок (т. е. его трагедия, не "партийная", конечно). <...> И в нем благородство» (письмо к Д. В. Философову от 18 августа 1917 г.) (РНБ, ф. 481, ед. хр. 166) — к глубокому разочарованию: «Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный» (Дневники. С. 207). Психологический портрет Керенского Гиппиус дала также в дневниковой записи от 9 января 1918 г.: «Человек не очень большой, очень горячий, искренний *двойным* образом, т. е. даже когда "делает" свой огонь. Человек громадной, но чисто женской интуиции — интуиции мгновенья. Слабость его также вполне женская. Его взметнуло вверх. И там ослепило, ибо и честолюбие у него необыкновенно-женское, цепкое, упрямое, тщеславное, невыдержанное, неумное, даже не хитрое, — но тем оно безмернее. Он не видел, да и не умел видеть людей, только всех боялся, всем не доверял. И чем дальше, тем больше. Конечно, не имел он ни силы, ни ума достаточно, чтобы перед собой сознаться во лжи. Увидеть эту страшную (здесь — страшную!) нитку личного, упрямого тщеславного честолюбия, которая в него была ввита. Он инстинктивно боялся всякого, в ком подозревал силу. И, слабый, подозревал ее во всех. <...> Подозрительность, недоверие, страх все больше кидали, швыряли, шатали Керенского, заставляли его делать бессмысленные и беспорядочные прыжки. Направо — налево. Туда — сюда. Нет-нет — да-да! И тревожное прислушиванье, без слов, — где же он сам? Где? Там же? Не падет ли? О, нет, он должен победить всех!» (ЧТ. С. 53—54). См.: Колоницкий Б. И. А. Ф. Керенский и круг Мережковских // Петроградская интеллигенция в 1917 году: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1990; Колоницкий Б. А. Ф. Керенский и Мережковские в 1917 году // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 98—106.

228. ПС. С. 61; Общее дело. 1921. № 272, 13 апреля. С. 2, под загл. «Имя. Лавру Георгиевичу Корнилову»; Последние известия. 1921.

№ 93, 22 апреля. С. 2, под загл. «Лавру Георгиевичу Корнилову». Генерал Л. Г. Корнилов (1870—1918) возглавил на Дону в 1918 г. белую Добровольческую армию и во время ее первого кубанского похода («ледяной поход») был убит (31 марта / 13 апреля) разрывом снаряда. 6 апреля (ст. ст.) 1918 г. Гиппиус записала в дневнике: «Подтверждается, что убит генерал Корнилов под Екатеринодаром...

... Открой, Господь, поля осиянные
Душе убитого на поле чести...

Корнилов — наш единственный русский герой. За все эти страшные годы. Единственная *личность*.

Его память, одна, останется, не утонет в черной гнилой гуще, которую хотят называть "русской историей"» (ЧТ. С. 90. Стихотворная цитата — авторский вариант заключительных строк ст-ния «На поле чести», см. № 225). См. также публикацию чернового текста письма Гиппиус (конец сентября — начало октября 1917 г.) о «мятеже Корнилова» (Горбачев Г. Святая семейка // Звезда. 1933. № 4. С. 183—190).

229. Свобода. 1920. № 61, 26 сентября. С. 1, под загл. «1-го мая 1918 г.», с посвящением Борису Савинкову. Беловой автограф — под загл. «Далекому — близкому», вариант — строфа 5, ст. 1: «Без страха в алые дали я» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 8). Об отношениях Гиппиус и Савинкова см. примеч. 167. После октября 1917 г. Гиппиус не имела непосредственных контактов с Савинковым вплоть до встречи в начале 1920 г. в Варшаве. В письме к Гиппиус от 4 января 1918 г. Савинков, давая развернутый анализ политической ситуации в стране, заключал: «Как бы то не было, даже если не суждено нам победить большевиков и немцев, лично я буду бороться, пока стою на ногах. Бороться за Россию, во-первых, за Учр<едительное> Собр<ание>, во-вторых. Пусть "товарищи" называют меня "изменником" и "продавшимся буржуазии". Я верю, что единственная надежда — вооруженная борьба в союзе с имущими классами. И надежды этой я не оставлю» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 86). Получив известия о подпольной деятельности Савинкова в Москве, Гиппиус записала: «Борис скрывается. Слышно, что он в серьезном контакте с союзными крутами. Да, его главная линия всегда верна» (5 мая 1918 г.); «Если и Борис не может заставить союзников прозреть... Он-то все понимает. И он удивительно чуток ко "времени". Поэтому, оставаясь собой всегда, он может действовать так, как нужно для России — сейчас» (7 мая 1918 г.) (ЧТ. С. 98, 99).

230. Новые Ведомости. Веч. вып. 1918. № 97, 28 июня. С. 5, вариант — строфа 4, ст. 2: «Тела июньских рощ...».

231—232. Новые Ведомости. Веч. вып. 1918. № 82, 10 июня. С. 5, под загл. «Идущий...» (текст разбит на двустишия восьмистопного хорея).

1. «По торцам оледенелым...». — Отклик на появление в печати (в газете «Знамя Труда») поэмы А. Блока «Двенадцать» (3 марта 1918 г.)

и его ст-ния «Скифы» (20 февраля 1918 г.), поэмы Андрея Белого «Христос воскрес» (12 мая 1918 г.) и других произведений обоих авторов, проникнутых революционным пафосом. Образ двух поэтов, обрисовываемый в ст-нии, сложился в сознании Гиппиус еще до большевистского переворота; ср. ее запись от 24 октября 1917 г.: «Бедное "потерянное дитя"», Боря Бугаев, приезжал сюда и уехал вчера обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. <...> Другое "потерянное дитя" похожее, — А. Блок. Он сам сказал, когда я говорила про Борю: "и я такое же потерянное дитя"» (Дневники. С. 190—191). В перечне «интеллигентов-перебежчиков» (запись от 11 января 1918 г.) Гиппиус зафиксировала: «2. Александр Блок — поэт, "потерянное дитя", внеобщественник, скорее примыкал, сочувствием, к правым (во время царя), убежденнейший антисемит. Теперь с большевиками через лево-эсеров. <...> 6. Анд<рей> Белый (Б. Бугаев) — замечательный человек, но тоже "потерянное дитя", тоже через лев<ых> эсеров, не на "службе" лишь потому, что, благодаря своей гениальности, неспособен вообще быть на службе» (ЧТ. С. 57). Резкое неприятие общественной позиции Блока и Белого Гиппиус выразила в статьях «Люди и нелюди» (Новые Ведомости. Веч. вып. 1918. № 43, 10 апреля), «Бабская зараза» (Там же. № 93, 22 июня; см.: Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 56—57, 62). 1 сентября 1918 г. она писала Белому: «Я считаю вас невинным (и Блока) потому, что вы не сознаете, куда идете, чему сопричастились. Но ваша невинность личная, как моя к вам личная любовь дела не меняют, а лишь дают мне боль, которую принимаю, вам на нее не жалуясь» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М., 1982. С. 480). Передавая в дневниковой записи свой разговор с Гиппиус (23 апреля 1919 г.), С. П. Каблуков отметил: «Она призналась мне, что из всех "измен" ей всего горше отступничество Андрея Белого и Ал. Блока, бывших ее друзьями 2 десятилетия» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 63, л. 176). См. также: Живые лица. С. 246—250; ЧТ. С. 129 (описание встречи с Блоком в трамвае 20 сентября / 3 октября 1918 г.). 16 декабря 1921 г. Гиппиус писала С. П. Ремизовой-Довгелло о Белом: «...я его любила все-таки прежде, но при большевиках, когда он туда пошел, я с ним порвала. Я и с Блоком порвала <...>. И многолетние, ведь, были отношения, а с Борей еще ближе. Но Боря особенно безответствен. А перед нашим отъездом, книжечка его "Христос Воскрес" — такая кощунственная мерзость. Я не думаю, чтобы я жаждала с ним снова дружить, *даже если он раскаялся*» (Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 170. Публикация Хорста Лампля).

233. См. примеч. 231—232. Ст-ние было написано Гиппиус на экземпляре «Последних стихов», подаренном Блоку (книга была передана 31 мая 1918 г., экземпляр в библиотеке Блока не сохранился). См.: Живые лица. С. 247—248. Блок ответил ст-нием «З. Гиппиус (При получении "Последних стихов")» («Женщина, безумная гордячка!..», 1—6 июня 1918 г.) (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 372, 634—635), которое записал на обороте обложки своей книги «Двенадцать. Скифы» (М.: «Революционный социализм», 1918), посланной Гиппиус (РНБ, ф. 481, ед. хр. 253). 5 мая 1918 г. Гиппиус

сообщала С. П. Ремизовой-Довгелло: «Стихи я написала раньше, чем книга была, а когда мне купили новые экземпляры, <...> то я как-то, довольно легкомысленно и вздумала: вот, написать это на книге и послать. <...> А Блока мне даже порой — жалко, совершенно платонически. Как бы дальше все ни повернулось — он будет в соответственном — и безответственном — бреду. Разница в том будет, что я с ним уже не стану лично общаться даже так, как прежде, но ненавидеть его до кровомщенья никак не могу» (Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 168. Публикация Хорста Лампля). В дневниковой записи от 11 января 1918 г., содержащей перечень «интеллигентов-перебежчиков», Гиппиус отметила: «Больше всех мне жаль Блока. Он какой-то совсем "невинный", un innocent. Ему "там" отпустится... но не здесь. Мы не имеем права» (ЧТ. С. 57—58). См. также: Гельперин Ю. М. Блок в поэзии его современников // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 562. *И плакала безумная в передней...* — Гиппиус вспоминает о визите Блока к ней весной 1916 г.; тогда в квартиру «вбежала незнакомая заплаканная девушка», «нервно расстроенная», прося защиты (см.: Живые лица. С. 241).

234. Автограф в тетради «Козерог» — другая редакция текста (СП. С. 40):

Слова

Мой Логос не тебе ли я
Несу любовно?
Как тихая Корделия,
Ты малословна.

Заря над садом красная,
А сад так снежен.
И может быть, напрасно я
С тобой так нежен?

Корделия — младшая дочь короля Лира в трагедии Шекспира (1605).

235. СЗ. 1922. № 10. С. 121. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — с датой: «Красная Дача. 9 июля 1918», варианты — ст. 3: «Но вспоминаются, мелькнут, скользнут едва —», ст. 6: «Их для себя — нарочно забывая» (СП. С. 3). Загл. — первые слова ст-ния М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

236. Отечество (Париж). 1921. № 1. С. 13, без деления на строфы; Последние известия. 1921. № 91, 20 апреля. С. 2, варианты первых публикаций — ст. 1: «Рабы, лгуны, убийцы, воры, тати ли —»; ст. 5—6: «Со страстью жду, когда отведаю // Я вашей крови... Сладко мстить». Автограф в тетради «Под знаком Девы» — с посвящением: «А. К.»; с датой: 6 августа 1918; варианты — ст. 5—6: как в первых публикациях; ст. 17: «Своей дорогой, без прощения,» (СП. С. 9). Автограф в рукописном альманахе Корнея Чуковского «Чукоккала» — варианты

ст. 5—6: «Со страстью жду, когда отведаю // Я вашей крови — сладко мстить!», помета под текстом: «25 марта 19 г. (Благовещенье). Под большевиками» (дата — день записи ст-ния в альманах) (Сообщено Е. Ц. Чуковской). *Не мне отмщение...* — «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. XII, 19); ср.: «У Меня отмщение и воздаяние» (Втор. XXXII, 35).

237. *Просто совьется свиток звездный...* — Ср.: «И небо скрылось, свившись как свиток» (Откр. VI, 14).

238. Автограф в тетради «Под знаком Весов» — под загл. «До сих пор», с датой: «22 сент<ября>. СПб.» (СП. С. 32).

240. Эпиграф — автоцитата (см. № 133).

242. Ст-ние было вписано Гиппиус в экземпляр «Последних стихов», подаренный С. П. Каблукову, под загл. «Наши дни...», с датой: 8 ноября 18 г. (дневниковая запись Каблукова от 16 апреля 1919 г.) (РНБ, ф. 322, ед. хр. 63, л. 151). Автограф в тетради «Стрелец» — под загл. «Все дни...», с датой: 8 ноября 1918, вариант заключительного ст.: «Эскадра в Ревеле — она придет!» (СП. С. 39).

243. О В. А. *Злобине* см. примеч. 207. Автограф — под загл. «Сейчас», с датой: «17 ноября 1918. СПб» (СП. С. 93).

244. СЗ. 1922. № 10. С. 123, под загл. «Декабристам», подзаголовок: «14 дек. 19 г. СПб.», эпиграф: «...О, если б начатое вами // Свершить нам было суждено!..// 09 г.» — заключительные строки ст-ния Гиппиус «14 декабря», варианты — строфа 2, ст. 1: «И как гремучий Змей железный», строфа 5, ст. 2: «Мы червю преданы и тле». См. примеч. 163, 220. *Заветов тайных Муравьева...* — Видимо, подразумевается проект конституции Никиты Михайловича Муравьева (1795—1843), члена Верховной думы Северного общества и правителя его. *«Русская Правда»* — основной программный документ Южного общества декабристов, составленный в 1824 г. Павлом Ивановичем *Пестелем* (1793—1826) и предусматривавший уничтожение крепостного права и сословного строя, равенство всех граждан перед законом и установление республиканского правления.

245. Современное слово. 1918. № 3546, 4 мая; ПС. С. 66, с датой: «Февр<аль> 18»; Общее дело. 1921. № 183, 14 января. С. 2; Последние известия. 1921. № 107, 7 мая. С. 3 (во всех источниках, кроме «Современного слова», — под загл. «Нет» или «Нет!»); Русский сборник. Париж, 1920. С. 173 (2-е в цикле «Из стихотворного дневника в Совдепии»); ПП. С. 23. Беловой автограф (на почтовой карточке) — с посвящением: «Диме» (Д. В. Философову), с датой: «20 февр<аля> 18 г.» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 12). Основную мысль, заложенную в ст-нии, Гиппиус развивает в недатированном письме к П. Н. Милюкову (видимо, 1923 г.): «В здравой точке своего разума и памяти <...> у всякого лежит знание, что Россия не умерла. Ведь даже если бы Россия вымерла, если бы от России осталось — не знаю что, ну одна

Тамбовская губерния, и то бесспорно было бы, что она не умерла. Россия (как всякая другая страна) — не территория, не правительство, даже не народ и, в особенности, не народная "масса" (условное и пустое понятие). Россия — дух. Определенный и неопределимый, себе довлеющий, не хороший, не дурной, — просто свой, единственный, и вечно творящий свою плоть» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 174).

246. РМ (София). 1921. № 3/4. С. 3 (1-е в цикле «Из С. П. Б.-ского дневника 19 года»), с датой: Январь.

251. РМ (София). 1921. № 3/4. С. 3 (2-е в цикле «Из С. П. Б.-ского дневника 19 года»), под загл. «Июнь». Эпиграф — стихи Гиппиус (в РМ не выделены из текста ст-ния); те же строки поставлены эпиграфом к ее «Черной книжке» — дневнику 1919 г. (Дневники. С. 245). Ср. № 397.

252. Русский сборник. Париж, 1920. С. 172 (1-е в цикле «Из стихотворного дневника в Совдепии»), подзаголовок с опечаткой: «(Сон на революцию)»; РМ (София). 1921. № 3/4. С. 4, под загл. «Сгон» (3-е в цикле «Из С. П. Б.-ского дневника 19 года»), с датой: Октябрь; Последние известия. 1921. № 129, 1 июня. С. 2, под загл. «Сгон». Автограф — под загл. «Наша революция», с датой: 20 октября 1919 г., варианты — ст. 3: «Замкни облавой, сомкни, как стадо», ст. 20: «Не понимают? Небойсь, поймут!» (СП. С. 56). *Сгон на революцию.* — Ср. запись Гиппиус от 26 (13) октября 1919 г.: «...две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ: "*гнать*" вперед красноармейцев (так и напечатал "гнать"), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. <...> Роют обыватели, схваченные силой» (Дневники. С. 283). На «общественные» работы был завербован и Д. В. Философов: «Сегодня его гоняли далеко за город, по Ириновской дороге, с партией других каторжан, — *рыть окопы!!* <...> Никто ничего не нарыл, да никто и не смотрел, чтобы рыли, чтоб из этого вышли какие-нибудь окопы. Самое откровенное издевательство. <...> Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатающихся от голода, — сгоняют в снег, дождь, холод, тьму... Бывало ли?» (Там же. С. 296—297).

253. РМ (София). 1921. № 3/4. С. 6 (5-е в цикле «Из С. П. Б.-ского дневника 19 года»), под загл. «Совдепская ночь»; Последние известия. 1921. № 148, 20 июня. С. 2, под загл. «Совдепская ночь».

256. Сегодня (Рига). 1920. № 54, 6 марта. С. 3, под загл. «Рифмоэтюд». Автограф — другая редакция (СП. С. 57):

На Смольном новенькие банты
из алых заграничных лент.
Принарядились комиссарские аманты:

близок великий момент.
Эр-эс-эф-эс-эр — из адаманта,
каков пролетарский гнев?
Взбодрились два наши Гиганта,
Ульянов и Бронштейн Лев.
Разработаны точно пуанты
Всеевропейских революционных дел.
Завели крепостные куранты,
чтоб заглушить ночной расстрел.
Упали в цене бриллианты,
появился швейцарский сыр...

Что ж это? А это — с Антантой
большевики заключают мир.

Аманты (франц. amant) — любовники. *Бронштейн Лев* — настоящее имя Л. Д. Троцкого. *Антанта с большевиками заключает мир.* — В декабре 1919 г. Верховный совет Антанты принял решение о прекращении помощи белогвардейским силам на территории Восточной России, а 16 января 1920 г. формально снял блокаду советской России.

257. Автограф — без загл, с датой: Май (Август) 1920, варианты — строфа 1, ст. 1: «Она никогда не узнает», ст. 3—4: «как эта любовь пронзает // все мое бытие», строфа 2, ст. 1: «Любил ее складки платья», строфа 4, ст. 2: «но каждая вещь мне близка», строфа 5, ст. 1: «Она никогда не знала», ст. 3—4: «Каким острием пронзала // Любовь мое бытие», строфа 6, ст. 1—2: «И только теперь оттуда — // если она уже там —» (СП. С. 51). *Д. П. С.* — Дарья Павловна Соколова (1856—?), няня Гиппиус.

258. Свобода. 1920. № 46, 8 сентября. С. 2, под загл. «Наши сны»; Общее дело. 1921. № 210, 10 февраля. С. 2, под загл. «Сны», вариант — строфа 4, ст. 2: «Неслышный стон...».

259. Общее дело. 1921. № 210, 10 февраля. С. 2, под загл. «Молчанье». Автограф — с датой: «Париж, 1920—21», вариант ст. 3—4: «Пусть это грех — мои молчанья. // Я этот грех несу в крови» (СП. С. 58). *Т. И. М.* — Татьяна Ивановна Манухина (урожд. Крупдышева; 1885—1962), многолетний близкий друг Гиппиус и собеседница ее по религиозно-метафизическим вопросам, автор романа «Отечество» (Париж, 1933; под псевдонимом: Т. Таманин; рецензия Гиппиус (Антона Крайнего) на него — «Живая книга» — опубликована в «Последних новостях» 12 января 1933 г.) и книги «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская» (Париж, 1954); к ней обращены религиозно-философские заметки Гиппиус «Объяснения и вопросы» (Возрождение. (Париж). 1970. № 223. С. 73—83. Публикация Темиры Пахмусс) и другие записи и письма аналогичной проблематики (см.: Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 461—517). См. также: Pachmuss T. A Literary Quarrel: Zinaida Hippius versus Tatjana Manuxina // The Estonian Learned Society in America. Yearbook IV: 1964—1967. New York, 1968. P. 63—83.

Вместе с мужем, И. И. Манухиным (см. примеч. 261), эмигрировала в начале 1921 г. (см.: Манухина Т. Путешествие из Петербурга в Париж в 1921 году // Путешествие из Петербурга в Париж: Воспоминания русских писательниц о первых годах советской власти (1917—1924). По материалам Бахметьевского архива / Составитель О. Р. Демидова. Wilhelmshorst, 1996. С. 157—202). Констатируя в дневнике 1934 г. осложнение отношений с Манухиной, Гиппиус признавалась: «...плоха я или хороша, это вопрос не главный, ибо я такова, какова есть и какова была перед той же Тат. Ив. в течение 15—17 лет, до последнего дня. В моем отношении к ней, — могу сказать это твердо и открыто, — не было *ничего, кроме самого доброго, хорошего, близкого, искреннего* и *безусловного*» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 514).

261. Общее дело. 1921. № 210, 10 февраля. С. 2, без посвящения, вариант ст. 9—10: «А если и умрем? // Россия воскреснет!»; СЗ. 1922. № 10. С. 124, без посвящения, с датой: «19 г. СПб». Автограф в тетради «Овен» (март 1919 г.) — без загл., варианты — ст. 5: «Везде обманывают», ст. 9—10: «А если и умрем, // То сейчас воскреснем» (СП. С. 49). Иван Иванович *Манухин* (1882—1958) — врач, муж Т. И. Манухиной (см. примеч. 259); после Февральской революции — врач при Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством; после Октября — работник Политического Красного Креста. Гиппиус называет Манухина «незабвенным другом нашим, удивительнейшим человеком»: «Он, — и жена его, — люди, с которыми мы действительно вместе, почти не разлучаясь физически и душевно, переживали годы петербургской трагедии. <...> И. И. — редкое сочетание очень серьезного ученого, известного своими творческими работами в Европе, — и деятельного человека жизни, отзывчивого и гуманного. Типичные черты русского интеллигента — крайняя прямота, стойкость, непримиримость — выражались у него не словесно, а именно действенно. Он жил по соседству с нами, но во время войны мы не были знакомы» (Дневники. С. 234). Манухин с женой проживал на пятом этаже дома № 83 по Сергиевской улице, в котором Мережковские жили в бельэтаже. Подробнее о нем см. в статье М. М. Павловой и Д. И. Зубарева (ЧТ. С. 17—18).Упоминая о Манухине в дневнике 1933 г., Гиппиус отмечает: «...он для меня весь ясен, и, думаю, я способна отдать этому человеку должное, взглянуть на некоторые черты его почти с благоговением и — не скрою — с завистью» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 506).

ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ»

В подборку вошли ст-ния из книги «Последние стихи» (Пб., 1918), не включенные в сборник «Стихи. Дневник 1911—1921».

262. Голос жизни. 1915. № 1. С. 1; ПС. С. 9.

263. Пряник осиротевшим детям: Сб. в пользу убежища общества «Детская помощь». Пг., 1916. С. 29, без загл.; ПС. С. 23. Беловой авто-

граф — под загл. «О Польше?..» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 13). Список (подпись — автограф, загл. зачеркнуто) и корректурный лист (РНБ, ф. 124, ед. хр. 1124); текст корректурного листа — под номером 1 (2-е — ст-ние «Адонаи», см. примеч. 188), набран для журнала «Аполлон». Как явствует из пометы на корректурном листе: «Гиппиус (не проп<устила> цензура)», — ст-ние не было опубликовано не по воле редакции «Аполлона». *О Бельгии, о Польше...* — Эти территории особенно сильно пострадали в ходе военных действий 1914—1915 гг.

264. «В год войны»: Сб. «Артист солдату» / Под ред. Л. Ю. Рахмановой и А. В. Руманова. [Пг.], 1915. С. 10, вариант ст. 1: «Хотелось нам тогда, чтоб помолчали»; ПС. С. 27; НЖ. 1952. № 30. С. 129, под загл. «Тогда и теперь» (посмертная публикация по автографу).

ИЗ «ПОХОДНЫХ ПЕСЕН»

Сборник «Походные песни», выпущенный под псевдонимом Антон Кирша, был отпечатан в Варшаве в 1920 г. В предисловии к «Варшавскому дневнику» Гиппиус Т. Пахмусс сообщает о «Походных песнях»: «Написаны эти песни были для русского отряда, который должен был находиться в авангарде польской армии при походе на Москву» (Возрождение. 1969. № 214. С. 76).

265. ПП. С. 4.

266. ПП. С. 6.

267. ПП. С. 8.

268. ПП. С. 9.

269. ПП. С. 11.

270. ПП. С. 14.

271—272. ПП. С. 16. Автограф 1-го ст-ния цикла в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «России», с посвящением Д. Мережковскому, с датой: «14. 2. 1918. СПб», вариант ст. 6: «но на тебе она, на мне» (СП. С. 20).

273. ПП. С. 17. *Бронштейн* — см. примеч. 256.

274. ПП. С. 19. Дэвид *Ллойд Джордж* (1863—1945) — английский политический и государственный деятель, премьер-министр (с 1916 г.). Леонид Борисович *Красин* (1870—1926) — советский партийный и государственный деятель, в 1920 г. — глава советского представительства в Лондоне.

СИЯНИЯ

Сборник «Сияния» вышел в свет в Париже в 1938 г. тиражом 200 экз. (серия «Русские поэты» (вып. 2), выпускавшаяся издательской фирмой «Дом книги»).

Приводимые в комментариях датировки ст-ний сообщены Темирой Пахмусс (см.: СП. Т. I. С. XLII).

Сопоставляя «Сияния» с предшествовавшими им книгами ст-ний Гиппиус, поэт и критик М. О. Цетлин заключал: «Стихи эти не очень отличаются от тех, которые в прошлом создали ей славу. Меньше, может быть, остроты и "игры", больше горечи и сильнее зазвучали мотивы разочарования, почти отчаянья в жизни. <...> Больше стало в них сдержанности, меньше изысканности. <...> Все главное осталось. Осталась своеобразная смесь рефлексии, и даже дидактизма, и подлинного лирического чувства, иронии и религиозности, мужского ума, направленного на высшие вопросы духа, и женской манерности». Цетлин подчеркивает, что лирика Гиппиус обделена характерными признаками символистской поэтической школы, что по-своему сближает ее с современностью: «По-прежнему любит она неожиданные прозаизмы <...> и вообще стремится, чтобы стихи звучали не как "напевы", а как интимная, разговорная речь. То, что наиболее отталкивает теперешнего читателя в стихах символистов — чрезмерная насыщенность образами, излишняя декоративность, извилистость, непрямота линий, — всего этого нет в стихах З. Гиппиус. Ее стихи вообще лучше сравнивать не с живописью, а с графикой. Это тончайшие рисунки тушью или пером, изломанные капризные линии, ставшие, правда, теперь менее острыми и выразительными, чем раньше» (СЗ. 1938. № 67. С. 449—450).

О верности Гиппиус в новой ее книге своему прежнему поэтическому облику говорили и другие рецензенты. Одних этот облик разочаровывал: «Читаешь стихи Гиппиус и остаешься часто равнодушным. "Да, да, не то!" — думаешь. <...> Весь набор символистических отмычек налицо в этой книге (слегка ржавчиной покрытый)» (Мирный В. С. «Сияния» — стихи З. Гиппиус // Иллюстрированная Россия (Париж). 1938. № 24 (682), 4 июня. С. 19); другие, наоборот, подчеркивали, что сборник «Сияния» — «это все та же своеобразная и острая поэзия, которая в прошлом приводила одних в восторг, других отталкивала от себя. Новый сборник не создаст новых поклонников З. Гиппиус, но прежних ее друзей укрепит в их искренней любви к творчеству поэта». Тот же критик (С. Осокин), однако, подчеркивал: «Прошедшие годы все же несколько изменили внутренний облик З. Гиппиус — в "Сияниях" меньше едкости, меньше обреченности, чем в прежних стихах: такое стихотворение, как "Св. Тереза", могло быть написано только теперь, когда для поэта уже ясна последняя цель его жизни — примирение» (Русские записки (Париж). 1938. № 10. С. 193—194).

С обстоятельными отзывами, содержавшими не только оценку «Сияний», но и характеристику поэтической индивидуальности Гиппиус в целом, выступили В. Ходасевич и Г. Адамович. «...Несмотря на крайнюю, иногда почти нестерпимую перенасыщенность философ-

ской или моралистической тенденцией, поэзия Гиппиус все-таки существует и часто радует вполне поэтической радостью, — писал Ходасевич. — <...> само обаяние этой поэзии в значительной мере возникает из происходящего в ней совершенно своеобразного внутреннего борения поэтической души с непоэтическим умом, художественного чутья с антихудожественными понятиями, вкуса с безвкусицей. Отсюда и происходит вся *причудливость* и вся в некотором роде прелестная хрупкость гиппиусовской поэзии, ежесекундно грозящей распасться, рассыпаться, безнадежно сорваться и — надо сказать правду — нередко в самом деле срывающейся». Ходасевич анализирует далее природу «срывов» в стихах Гиппиус, проницательно угадывая ее не только в особенностях символистской эстетики, но и в генетической связи с досимволистской поэтической стилистикой: «К форме она относится, как интеллигентная женщина к нарядам: любит их, но не уважает. Она формально усложняет и украшает свои стихи, но лишь между делом, не вдумываясь и нацепляя на себя, что попало. В конце концов ее стихи оказываются еще более манерными, чем у других символистов, и отсутствие стиля становится ее стилем, в котором от этого возникает даже подобие своеобразной, в высшей степени пряной прелести: прелесть безвкусицы, которой так много было в нарядах и в комнатном убранстве конца прошлого века, а в стихах — у Полонского, у Плещеева, в особенности — у Случевского». И тем не менее: «Как бы ни были велики прегрешения Гиппиус перед формой, — возлюбленное содержание платило и платит ей за любовь и верность взаимностью. Стихи Гиппиус не эмоциональны. Но у "нынешних" нет ни того своеобразия мысли, ни той остроты ее, которая то и дело, как тонкий луч, пробивается сквозь словесную ткань гиппиусовских стихов и самые тусклые слова как бы зажигают огнем. И если мысль Гиппиус далеко не всегда верна и порой погрешает напрасной прихотливостью, то она всегда тонка, изящна, заострена. Гиппиус не затратит целого стихотворения для доказательства того, что общеизвестно <...> Скупая на изъявления чувства, быть может — даже вообще бесчувственная, она за то и никогда не позволит себе нажать педаль или слишком красиво и томно высказаться о себе...» (Ходасевич Владислав. Двадцать два // Возрождение (Париж). 1938. № 4136, 17 июня. С. 9).

Если Ходасевич задерживает внимание на специфических недостатках поэзии Гиппиус, заключающихся в «прегрешениях» перед формой, то Адамович считает нужным сделать акцент на ее исключительном своеобразии: «Место стихам Гиппиус в русской литературе обеспечено — по той простой причине, что других *таких* стихов не было и, вероятно, не будет. <...> Гиппиус остается собой в соседстве с любым гением. Иному, как знать, может прийтись не по сердцу этот вновь открывшийся причудливый, узкий уголок пейзажа, — но никто его раньше не знал». «Сияния», по мнению Адамовича, «не слабее и не лучших других ее книг» («К поэтам ее склада не применимо понятие развития»), но в них «заметнее, чем прежде у Гиппиус, стремление к простоте и чистоте». В «Сияниях», утверждает Адамович, в полной мере сказывается «то, что Блок назвал когда-то "единственностью" Зинаиды Гиппиус: острое ощущение раздвоенности

бытия, постоянное томление о том, "чего нет на свете", подрезанное на самом корню прирожденной рассудочностью и охлажденное иронией. В этом может быть самая характерная черта Гиппиус: ее трезвый, логический ум, ее готовность в чем угодно усомниться сочетаются с тягой ко всему метафизическому или даже потустороннему. Взлетов нет. Поэт лишь верит в то, что они возможны, но сам их не знает. Стихи как будто оттого и извиваются в судорогах, что похожи на личинки бабочек, которым полет обещан, — но сами они прикреплены к земле. Они по отношению к себе насмешливы, они сами собой раздражены, в этом раздражении им случается соблазниться какой-нибудь диковинной позой — и постоянный, горький их привкус (не грустный вовсе, а терпкий, вязкий, разъедающий) внушен, вероятно, отталкиванием от мечты, вместо обычного влечения к ней...» (Адамович Георгий. Литературные заметки // ПН. 1938. № 6283, 9 июня. С. 3).

С. 261. Эпиграф — датирован 24 декабря 1933 г. Ср. № 451.

275. Русские записки (Париж; Шанхай). 1937. № 2. С. 114 (перед последними четырьмя ст. помета: «P.S.»).

276. СЗ. 1924. № 18. С. 98, под загл. «Прошедший мимо». Дата: «1924, Грасс».

277. Числа (Париж). 1930. № 1. С. 10. Дата: «Июнь 1924 г., villa Tranquille». Тема ст-ния развивается также в философских заметках Гиппиус «Выбор?» (1929): «О "мере"... Мера — это, в настоящем смысле, — *гармония*. Как раз то, чего лишен первый мир (который мы зовет "реальным") и к чему он стремится, стремясь к миру второму, как бы слепо ощущая, что там она есть. Проще — "мера только у Бога", и всегда, в чувстве Божества, есть тоска по гармонии. Но если мы пытаемся реализовать "меру" в реальном мире — в его круге, — у нас выходит только "умеренность", середина, теплота. Должно быть, не средством нашего "умеренья" достигается "мера". Должно быть, реальному миру из реального мира надо подняться на какие-то высоты безмерности, чтобы оттуда доплеснуться до "меры" (гармонии). Так или иначе, но раз мы находимся в области религии, то "меру" мы должны понимать в этом ее, настоящем, смысле» (Возрождение. (Париж). 1970. № 222. С. 69—70. Публикация Темиры Пахмусс).

278. СЗ. 1932. № 49. С. 203. Дата: «сентябрь 1928 г.; Café des Allées, Cannes».

279. Написано в 1920 г. в Париже.

280. Новый корабль. 1927. № 1. С. 6, под загл. «Падающее». Дата: 1923 г.

281. Новый корабль. 1928. № 3. С. 3. Дата: «январь 1928 г., Париж». Н. Н. Берберова сообщает: «В 1927 году З. Н. посвятила мне

стихотворение "Вечная женственность" (рукопись с посвящением хранится у меня, вместо названия поставлены буквы В. Ж.)» (Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 287). По автографу ст-ние «В. Ж.» (перед текстом: «Посв. Н. Б.», дата: «6. I. 28. Paris») опубликовано в кн.: Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 24. *Сольвейг, Тереза, Мария...* — Сольвейг — невеста Пера Гюнта, героя одноименной драматической поэмы Генрика Ибсена (1867). Тереза — см. примеч. 300. Мария — Богоматерь.

282. СЗ. 1926. № 27. С. 208, вариант ст. 16: «От этой двери не уйду я». Дата: «ноябрь 1925 г., villa Alba».

283—286. 1. СЗ. 1924. № 18. С. 100 (1-е в цикле «Южные стихи»), под загл. «Сумерки». Дата: «июнь 1923 г., Грасс».

2. СЗ. 1927. № 31. С. 244. Автограф — без загл., с датой: «1926 Cannet» (СП. С. 145). Ср. развитие темы ст-ния в письмах Гиппиус к М. В. Вишняку: «Я, ведь, за себя не держусь, я только за "бессмысленные мечтанья"; хоть лягушка проквакай их со смыслом, эти мечтанья <...> лягушку благословим» (31 марта 1927 г.); «Лягушка может быть сама плоха, голос может не нравиться; если она скверно и лживо сама к своему кваканью относится — ее можно убить; но все это последующее и особый суд над ней; проквакапная же правда таковой остается» (27 февраля 1931 г.) (Cahiers du Monde russe et soviétique. 1982. Vol. XXIII (3—4). P. 447, 453). О «принципе квакающей правду лягушки» и «бесконечной сложности их кваканья» Гиппиус пишет и Г. В. Адамовичу: «А лягушка ли проквакает правду, или я скажу, — это уже все равно» (27 июля, 4, 8 августа 1927 г. // Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 356, 358, 361).

3. СЗ. 1924. № 18. С. 101 (3-е в цикле «Южные стихи»), варианты — ст. 2: «Свой звездный купол ночь вскруглила»; ст. 7: «О, реки Божьих мыслей, — облака!».

4. СЗ. 1924. № 18. С. 102 (5-е в цикле «Южные стихи»), под загл. «Мелькнули дни...». Дата: «1923. Грасс».

287—288. ПН. 1925. № 1677, 11 октября. С. 2.

289. СЗ. 1930. № 44. С. 212, под загл. «Быть может?», с посвящением Г. В. Адамовичу и датой: «Сент<ябрь> 1930 г.», варианты — ст. 6: «Но почему же дни ее все множат?»; ст. 8: «Не знаю где, — но есть ответ... быть может». Автограф — под загл. «Быть может?», вариант заключительного ст.: «Не знаю где — ответ и есть... быть может?» (Amherst Center for Russian Culture).

290. Виктор Андреевич *Мамченко* (1901—1982) — поэт. К. Д. Померанцев пишет о нем: «Зинаида Гиппиус считала его своим "другом № 1", говорила, что он ей напоминает святого Иоанна Креста...» (Померанцев К. Сквозь смерть. Воспоминания. London, 1986. С. 63). См. письма Гиппиус к Мамченко 1936—1944 гг. (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 448—460). Упоминая о Мамченко в письме к В. А. Злобину от

10 октября 1936 г., Гиппиус отмечает: «Он, в Париже, один лишь чувствовался, как друг» (Там же. С. 275).

291. Окно (Париж). 1923. № 1. С. 52, варианты — строфа 1, ст. 4: «Здесь — только радость лунного окна»; строфа 2, ст. 4: «Как мост, как путь в залунную страну»; строфа 3, ст. 1—2: «Все эти дни, под ядовитым жалом, // (Безумные, как длительный — один!)»; строфа 4:

И все прозрачнее, необычайней
Прорез высокий моего окна.
Люблю Любовь в ее последней тайне:
Нездешняя и здешняя — одна.

Дата: «13 августа 1918 г. С.-Петербург». Беловой автограф (в футляре с фотографиями Гиппиус и В. А. Злобина) — без загл., варианты — строфа 1, ст. 1: «Здесь только обещанья, только знаки», строфа 2, ст. 4: «Как мост, как путь в надзвездную страну», строфа 4, ст. 3—4: «Одну Нездешнюю ты любишь в здешней. // Люби ее. Она и я — одно» (первоначальный вариант ст. 4: «Ее Одну. Она и я — одно») (РНБ, ф. 481, ед. хр. 107). Автограф — с датой: «13 марта 1918. Дружноселье»; варианты — строфа 2, ст. 4: «Как мост, как путь в Заветную страну», строфа 3, ст. 4: «На терпком холоде холодных льдин», строфа 4, ст. 3—4: «Одну Нездешнюю ты любишь в здешней. // Люби ее. Она и я — одно» (СП. С. 92).

292. Числа. 1930. № 1. С. 9, под загл. «Вверх», без посвящения и деления на строфы. Георгий Викторович *Адамович* (1892—1972) — поэт, литературный критик, неоднократно писавший о творчестве Гиппиус; автор мемуарного очерка о ней (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 151—168). См. письма Гиппиус к Адамовичу за 1926—1933 гг. (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 332—447). В письме к Гиппиус от 3 марта 1931 г. Адамович признавался: «Я очень дорожу дружбой с Вами и, кажется, с своей стороны прочно и "непоколебимо" верен Вам» (Amherst Center for Russian Culture).

293. СЗ. 1930. № 43. С. 209. Автограф — под загл. «Закат», помета над текстом: «Июль — Август, Thorenc 1928. Château des 4 Jours» (ПС. С. 149).

294—295. Автограф (цикл из трех ст-ний), подаренный Берберовой, — под загл. «Ей в Thorenc», с пометой под текстом: «Thorenc 1928» (Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 23—24); 3-е, заключительное, ст-ние при жизни Гиппиус не было напечатано (см. № 439). Автограф (цикл из трех ст-ний) — под загл. «Ей в Thorenc»; в ст-нии 2-м — вариант ст. 7: «Только шипя проползла змея» (СП. С. 152; тот же вариант — в автографе, подаренном Берберовой). Цикл адресован Н. Н. Берберовой, которая вспоминает: «...я прожила у них (Мережковских. — *Ред.*) три дня, в Торран, над Грассом, и она подарила мне листок с тремя стихотворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили меня, они показали мне неожиданную нежность ее ко

мне и тронули меня. <...> Торран — место в горах, высоко-высоко, в Приморских Альпах, и там, в старом замке, Мережковские снимали один этаж» (Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 288, 289).

296. СЗ. 1925. № 23. С. 208; Памяти Амалии Фондаминской. Париж, 1937. С. 48. Дата: «начало 1925 г., Париж».

297. СЗ. 1925. № 23. С. 207, варианты — ст. 12: «Клубятся под мостом»; ст. 15—16: «Я бросил ключ ненужный, // Твой ключ — в кипенье вод». Дата: «1924. Париж».

298. СЗ. 1923. № 14. С. 168, вариант ст. 1: «На круглом выгибе лесного склона». Дата: «1921, Висбаден».

299. СЗ. 1926. № 27. С. 210; За свободу! (Варшава). 1929. № 135, 26 мая. С. 3, под загл. «24 декабря». Дата: «23 декабря 1925 г., Париж».

300. СЗ. 1925. № 23. С. 207, под загл. «Thérèse de l'Enfant Jésus», варианты — ст. 7: «Милая девочка, чужая»; ст. 12: «Такою нежною радостью дышат...»; За свободу! (Варшава). 1929. № 135 (2768), 26 мая. С. 3, вариант ст. 7: «Милая девочка, чужая». Дата: «1 января 1925 г., Париж». Автограф в тетради «Телец» — под загл. «Терезе», варианты — ст. 8: «Придешь ли ко мне, недостойному...», ст. 10—13:

Розы в руках радостью дышат,
Благоуханной радостью чистою...
Желанье сердца она услышит,
Чужая девочка, моя родная,

(СП. С. 59). *St. Thérèse de l'Enfant Jésus* (франц.) — Св. Тереза Младенца Иисуса. Имеется в виду так наз. «маленькая Тереза» — Тереза Лизьеская (Мари-Франсуаза-Тереза Мартен, 1873—1897; канонизирована в 1925 г.), французская монахиня-кармелитка, чрезвычайно высоко почитавшаяся Мережковским и Гиппиус; в ней они видели живое воплощение своей метафизической концепции любви-«влюбленности». Подробнее см.: Мережковский Д. Маленькая Тереза / Под ред., со вступ. ст. и коммент. Темиры Пахмусс. Ann Arbor, 1984. В газете «За свободу!» ст-ние было опубликовано вместе с небольшой статьей Гиппиус «Любимая», являющейся по отношению к нему своего рода автокомментарием: «Я пишу о ней, потому что, как все, тоже люблю ее, и потому что ныне ей... "поручена Россия". Это — маленькая "Тереза Младенца Иисуса", теперь уже "святая". Наша современница, — она, кажется, последняя канонизированная святая. <...> Дело в том, что Рим *не мог* ее не канонизировать. Он лишь признал то, что уже было сделано тысячами "малых сих". Это они полюбили Терезу, поверили ей, — и почувствовали ее *своей*; такой близкой, как будто равной, и в то же время такой любимой Богом, что для нее Он все сделает. К Терезе же совсем просто можно обращаться — к своей-то! И не обещала ли она: кто меня ни попросит — я никого не оставлю без ответа? <...> Влечет к "Терезочке" простых

и малых и самый ее образ — совершенной, неизъяснимой чистоты и прелести: девочка, полуребенок, чуть благоухающий, белый полевой цветок. <...> Никаких видимых героических подвигов у Терезы нет. Нет у нее и никаких ослепительных экстазов. Но у нее есть *свой* духовный путь». В письме к Г. В. Адамовичу от 5 сентября 1928 г. Гиппиус отмечала: «...моя влюбленность в маленькую Терезу — а у нас с ней свои отношения — из того же источника: влечение к "простому" и простоте, к сиянию "enfance spirituelle", к самому высокому, потому что в малом» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 383). Ср. признания Гиппиус в письме к Грете Герелль от 20 октября 1938 г.: «Я не могу вам сказать, что я всегда *верю* в маленькую Терезу, но я люблю ее, и если это правда — тогда вера несомненно существует; мы не замечаем ее, но она есть, и все заключается в этом. Вера существует во всякой любви. Правда никогда не лжет. Маленькая Тереза сама была в неведении относительно веры. Но она любила, и поэтому вера отсутствовала лишь в ее сознании» (Там же. С. 611. Перевод с французского).

301. СЗ. 1923. № 15. С. 157, под загл. «Зеркала повсюду» (то же загл. — в оглавлении к «Сияниям»). Дата: «1922, Париж».

302. СЗ. 1933. № 52. С. 185, под загл. «О воскресенья», без посвящения и деления на строфы. Автограф — без посвящения, с датой: 1933 (СП. С. 162). Автограф — под загл. «Последние» (Amherst Center for Russian Culture). Посвящено Д. С. Мережковскому. *Кроме слов — последних — Фомы.* — Имеются в виду слова апостола Фомы воскресшему Иисусу: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. XX, 28).

303. Дата: март 1933 г. Автограф — под загл. «Все ясно», варианты — ст. 3—5: «это восстанье из мертвых, // и все, что когда-то было, — // все просто, и все, как надо» (Amherst Center for Russian Culture).

304. Числа. 1930. № 1. С. 9, под загл. «Вниз».

305. Числа. 1933. № 9. С. 7 (с делением на четверостишия), варианты — ст. 3—4: «Розовато-серая и безответная, // Тоже тихая, во мне печаль», перед ст. 9—12 строка отточий, ст. 10: «к окнам высоким мрак приник». Дата: 1933 г. *Радуйся, радуйся Архистратиг!* — 8 ноября ст. ст. (день рождения Гиппиус) — Собор Архистратига Михаила.

306. СЗ. 1934. № 54. С. 189, без посвящения; под загл. помета: «Плотин—Бергсон». Дата: 23 декабря 1933 г. Eternité frémissante (франц.) — трепещущая вечность; философская формула А. Бергсона. Владимир Сергеевич *Варшавский* (1906—1978) — прозаик, журналист; знаток философии А. Бергсона.

307. Возрождение (Париж). 1928. № 982, 9 февраля. С. 3, под загл. «Он — без плаща». Дата: «1927, Париж». Эпиграфы — из ст-ний Гиппиус «В черту» и «Час победы» (см. № 133, 240). Черновой авто-

граф — без загл. и эпиграфов; варианты верхнего слоя справки — строфа 4, ст. 3: «Как с минуточку в ней побудешь —», ст. 5: «Все до донышка в нем поймешь», строфа 5, ст. 1—2: «Не забавно? Постой, постой // Обернись, поболтай со мной», строфа 6, ст. 2: «Не отвечу ли? Ждал — и чах», строфа 7, ст. 1: «Уходи — иль сиди со мной», ст. 6: «Потому что я равнодушен»; зачеркнутые варианты:

строфа 1, ст. 4—5: И садится тихонько в углу
Далеко от меня, на полу
строфа 2, ст. 2: Просто так, посмотреть на тебя,
ст. 3: *а.* А мешать тебе не посмею.
б. Мешать никак не посмею.
между ст. 3 и 4: Если занят — тишком посижу.
Нет — картинки тебе покажу...
Я забавные штучки умею...
ст. 4—5: Посижу тишком в уголку
Устал — я тебя развлеку,
строфа 3, ст. 3: *а.* Открою тебе любого.
б. Укажи мне скорей любого,
ст. 4—6: Назови, назови, ничего.
И тотчас же, увидишь, в него
Превращу тебя, честное слово!
строфа 4, ст. 1: *а.* Не навек же, — на миг, чтоб узнать,
б. Лишь на миг — не навек! Чтоб узнать,
ст. 2: Надо в шкуре его побывать.
ст. 3: *а.* А минутку побудешь —
б. Как с минуточку там побудешь —
ст. 4: Все узнаешь, где правда, где ложь,
ст. 6: А узнаешь — так не забудешь!
строфа 5, ст. 1: *а.* Ты не хочешь болтать со мной?
б. Что же ты? поболтай со мной!
строфа 6, ст. 6: Безболезненно-равнодушен.
строфа 7, ст. 6: Потому что я был равнодушен.

(Amherst Center for Russian Culture).

308. СЗ. 1924. № 20. С. 221, под загл. «Etoile» (франц. — звезда), варианты — ст. 7—8: «Какие улицы звонкие // в желтой волне туманов!»; ст. 11: «Но отчего у меня такое пламенное»; ст. 17—18: «Господи! Я пойду в неизвестное, // только пусть оно будет родное». Дата: «1 марта 1924 г., Париж».

309. СЗ. 1930. № 44. С. 211, варианты — строфа 4, ст. 3—4: «На спуске тихо. Все же след // Игры и здесь остался малый»; строфа 5, ст. 1: «Когда придет моя пора». Дата: «1930. Le Cannet». Беловой автограф — Amherst Center for Russian Culture; там же черновой автограф строф 4—6:

Играет рифмами поэт,
И пена по краям бокала

[И остается даже след
Ее на спуске, хоть и малый...]
На спуске тихо... Все же след
Игры и здесь остался малый.

А вот когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу что

310. СЗ. 1924. № 20. С. 222, под загл. «Веер времени», варианты — строфа 2, ст. 2: «Ты не владеешь им, как я»; строфа 5, ст. 2—4: «Всегда дробясь средь пустоты... // Но вечный веер снова сложится // И буду я — не там, где ты». Автограф, варианты — строфа 1, ст. 2: «И милых черт не узнаю», строфа 5, ст. 2: «Всегда дробясь средь пустоты», ст. 4: «Боюсь, что в нем не будешь ты» (СП. С. 134).

311. СЗ. 1933. № 52. С. 184, вариант ст. 7: «Но пускай, ослабев, упаду». Дата: 1933. Автограф — с датой: 1933, варианты — ст. 1: «К простоте возвращаться — зачем? Зачем?», ст. 3: «Но дано возвращаться не всем. Не всем», ст. 5: «Сквозь колючий кустарник иду, иду», ст. 7—8: «Но пускай ослабею и упаду, // До второй простоты пускай не дойду —» (СП. С. 162).

312. Окно. 1923. № 1. С. 50, под загл. «Рыжее кружево (о Петербурге)», с датой: 8 ноября 1922 г., варианты — строфа 1, ст. 4: «почему огню на ней не гореть»; строфа 2, ст. 2: «пустоглазая, проворен бег»; строфа 4, ст. 2: «конь не ржет, змей ни гу-гу». *Петр чугунный* — памятник Петру I («Медный всадник») в Петербурге. *Ты Строитель, сам пустоглазый, // ну и добро!* — Реминисценция из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (ч. 2): «Добро, строитель чудотворный!» *Кто отвалит камень от гроба?* и т. д. — Актуализируется одно из чудес Христа — воскрешение Лазаря: «То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе»; «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами <...> Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин. XI, 38—39, 44).

313. В «Сияниях» текст поврежден при наборе; восстановлен по автографу. В том же автографе варианты — строфа 3, ст. 1: «И мы простим, и Бог простит», ст. 6: «Хотя и мы простим, и Бог простит» (СП. С. 61).

314. СЗ. 1923. № 15. С. 158. Дата: «1922, Париж».

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

315. Русская литература. 1991. № 2. С. 182. Публикация А. Л. Соболева по автографу (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36, л. 10). Как «первое стихотворение» Гиппиус опубликовано В. А. Злобиным в составе первых двух строф; строфа 2:

Людей любить — сам будешь в горе.
Всем не поможешь всё равно.
Мир что большое сине-море,
И я забыл о нем давно.

(Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 13; СП. С. 180). Сообщая текст ст-ния В. Я. Брюсову, Гиппиус писала ему (11 января 1902 г.): «В 1880 году, т. е. когда мне было 11 лет, я уже писала стихи (причем очень верила во "вдохновение" и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги). Стихи мои всем казались "испорченностью", но я их не скрывала. Были довольно однообразны, не сохранились, но вот, помню кусочки одного из самых первых. Оцените детскую и странную искренность. Должна оговориться, что я была нисколько не "испорчена" и очень "религиозна" при всем этом». Приведя далее текст ст-ния, Гиппиус добавляла: «Выписываю со всеми трогательными "рифмами", как помню. Вот вам ваше сердце — в теле одиннадцатилетней девочки, едва прочитавшей Пушкина и Лермонтова — потихоньку! не знающей ни стиха, боящейся наказания за "испорченность", напрасно старающейся каяться перед Христом "нищих духом и обремененных"!» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 288. Публикация М. В. Толмачева). В. А. Злобин приводит также четверостишие, написанное Гиппиус, по его свидетельству, в девятилетнем возрасте:

Довольно мне тоской томиться
И будет безнадежно ждать!
Пора мне с небом примириться
И жизнь загробную начать.

(Злобин В. Тяжелая душа. С. 14).

316. СВ. 1888. № 12. Отд. I. С. 112 (1-е в подборке «Два стихотворения»). Подпись: З. Г.

317. СВ. 1888. № 12. Отд. I. С. 112 (2-е в подборке «Два стихотворения»). Подпись: З. Г.

318. СВ. 1889. № 10. Отд. I. С. 156. Подпись: З. Н.

319. СВ. 1889. № 11. Отд. I. С. 212. Подпись: Н. З. — опечатка (в указателе содержания журнала обозначено: «Стихотворение З. Н.»).

320. СВ. 1892. № 2. Отд. I. С. 116.

321. Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 249. Беловой автограф — подпись: З. Гиппиус (Мережковская) — на карточке с рисунком, изображающим цветущую яблоневую ветку (ИРЛИ, ф. 62, оп. 3, ед. хр. 326, л. 1). Петр Исаевич *Вейнберг* (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы. Сохранившиеся 47 писем Гиппиус к Вейнбергу охватывают период 1893—1906 гг.: в одном из них (10/21 <sic!> апреля 1896 г.) Гиппиус обращается к Вейнбергу: «мой единственно-верный и неизменно дружественный человек»; в другом (12 июня 1898 г.) отмечает: «Одно утешение — петербургские друзья, которые у меня, могу похвастаться, и верные, и милые. Из них же первый есте вы» (ИРЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 11). Гиппиус дала литературный портрет Вейнберга в очерке «Благоухание седин» (Живые лица. С. 389—396); в нем она, в частности, писала: «...Вейнберг, так нежно и так верно любивший литературу старую, так знавший и ценивший ее традиции, даже *быт*, интересовался и новым, и, пожалуй, более других <...> едва занялась заря декадентства (почти и не занялась еще), он дерзнул пригласить на традиционный вечер литературного фонда (ежегодный вечер в зале Коммерческого училища) — меня. Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, "старую" молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость»; «Неиссякаема была веселость и остроумие П. И. Вейнберга, как неиссякаемы его экспромты. Не существовало слова, на которое он тотчас не открыл бы рифмы. Переписывались мы с ним всегда стихами. У нас бывал он часто» (Там же. С. 390—393). Ср. шуточное четверостишие Гиппиус, относящееся, по всей вероятности, к 1898 г. (когда она посетила Таормину на Сицилии):

Провались все Таормины!
Плачет сердце нежной Зины!
Ей не будет там добра —
Нет там Вейнберга Петра!

(ИРЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 11).

322. Русская литература. 1991. № 2. С. 183. Публикация А. Л. Соболева по черновому автографу (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1—2); варианты — ст. 3—4: «Беру перо, сижу — и чуть не плачу... // Шутить стихом — увы! мне не дано», ст. 9: «Легкозвенящий стих — и, с гибкостью завидной», ст. 24: «От милого, но тяжкого возврата...», ст. 29: «Все, как и быть должно... Мне просто жалко», ст. 33: «Венгерову же, вашу, Зинаиду, —», ст. 37: «Нам с Вейнбергом Петрушей в этом разе», ст. 45: «Я соглашалась и на Меррекюль...», ст. 48—49: «Он постоянства моего не ценит. // Он чувства лучшие мои отверг», ст. 51—52: «Блестящий, легкомысленный Вейнберг... // Но заводить я не желаю ссору», ст. 55: «Они будет встречен милостью моей», ст. 61: «Нет, радуюсь, что минуло пол-лета!». Печ. по беловому автографу — контаминация двух ст-ний («Как поживаете? Что ваши своды...», «Вы задали мне трудную задачу...»), обращенных к Вейнбергу (ИРЛИ, ф. 62, оп. 3, ед. хр. 326, л. 2—3). Впервые в этой редакции —

в кн.: Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 249. Об адресате см. примеч. 321. *Аврора* — см. примеч. 18. *И на Фонтанку не могла попасть.* — Адрес П. И. Вейнберга — набережная Фонтанки, дом 25; в его квартире еженедельно устраивались литературные вечера. *Но я рецензии пошла писать...* — Публикации рецензий, написанных Гиппиус в 1898 г., нам неизвестны; возможно, они были напечатаны анонимно. *Венгерову же нашу, — Зинаиду...* — З. А. Венгерова (см. примеч. 18) дружила как с Гиппиус, так и с Вейнбергом (см.: Венгерова З. П. И. Вейнберг (к 50-летию его литературной деятельности) // Образование. 1901. № 12. Отд. I. С. 93—101). *Мечтая с Фонда получить гроши?* — Имеется в виду Литературный фонд (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым); Вейнберг был с 1893 г. членом Комитета Литературного фонда, а с 1901 г. — его председателем. *Меррекюль* — курорт в Эстляндской губернии на берегу Финского залива. *Космополис* — международный журнал «Cosmopolis», основанный в 1896 г. в Париже на трех языках: французском, английском и немецком; с 1897 г. в Петербурге выходил русский вариант журнала (редактор Ф. Д. Батюшков). В 1898 г. издание прекратилось.

323. Литературное обозрение. 1990. № 9. С. 99. Публикация Н. А. Богомолова и А. Л. Соболева (с неточностями). Печ. по беловому автографу; первоначальный вариант — строфа 3, ст. 3: «Она — отражение солнца бедное». Предположительная дата: 1897. О З. А. *Венгеровой* — см. примеч. 18.

324. Беловой автограф (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 1122). Литературное обозрение. 1990. № 9. С. 100. Публикация Н. А. Богомолова и А. Л. Соболева. Ст-ние обращено к З. А. Венгеровой. Предположительная дата: 1897.

325. Русская литература. 1991. № 2. С. 182. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по черновому автографу (ГЛМ, ф. 254, оф 4702) — с воспроизведением верхнего слоя правки, в котором зачеркнуты два последних стиха: «Любил — по Божьему велению, // Забыл — в заботах о себе». В черновом варианте представлена также другая редакция текста (Там же):

Брат Иероним! Я умираю.
Всех зови! Хочу при всех
Поведать то, что ныне знаю,
Исповедать тяжкий грех.

Как мог я думать, что нарушу
Волю Бога моего!
Он дал мне пламенную душу
Для любви — и для Него.

Ему покорный, чуждый страха,
Я в страдании — любил.

Увы! я слаб! Я прах от праха!
Диавол сердце мне смутил.

Отверг я Божие веленье
И любовь — еще любя...
Пришел сюда, в уединенье,
Чтобы здесь спасать себя.

Шептал мне враг: вот подвиг крестный!
В мире — брань и суета,
И променял я путь мой тесный
На широкие врата.

326. Автограф — ИРЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 11, л. 16. О П. И. *Вейнберге* — см. примеч. 321. *Мы приедем на Фонтанку // В среду, в среду, ровно в 2.* — Судя по датировке послания, имеется в виду 7 февраля 1901 г. См. также примеч. 322.

327. Перцов П. Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.; Л., 1933. С. 229. Печ. по беловому автографу (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 5, л. 4). Публикуя этот стихотворный набросок, сохранившийся в его архиве, Перцов поясняет: «Несмотря на недовершенность и очень "женский" характер темы и исполнения, этот поэтический эмбрион не лишен интереса, — тем более, что он реалистически точно рисует домашнюю обстановку Зинаиды Николаевны» (Перцов П. Литературные воспоминания. С. 228—229).

328—329. Печ. по автографу (РГАЛИ, ф. 154, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1—1 об.); рукой П. П. Перцова — дата: «1901; IV» и пояснения к тексту.

1. Перцов П. Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.; Л., 1933. С. 207, вариант ст. 2: «Он властвует своих вассалок множа». Пояснение Перцова: «*На Сергея Павловича Дягилева*, о котором члены "Мира Искусства" говорили: "Он — наш Наполеон". (В ответ я послал З. Н. юмористич<еское> стихотворение "*Vive l'empereur!*")». В «Литературных воспоминаниях» (с. 307—308) Перцов приводит «Мой ответ» («Когтистых эпиграмм колючие словечки...») на это ст-ние Гиппиус. С. П. Дягилев (1872—1929) — театральный и художественный деятель, один из создателей художественного объединения «Мир Искусства» и редактор одноименного журнала (1899—1904). Строфа 2 — в кн.: Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 49.

2. Русская литература. 1991. № 2. С. 183. Публикация А. Л. Соболева. Пояснение Перцова: «—"Ждать гения" — тогда рекомендовал обычно Д. В. Философов. В ответ я послал стих<отворение> "*Заря-заряница*". *Не* напечатано». О П. П. *Перцове* — см. примеч. 35. О В. В. *Гиппиусе* — см. примеч. 177. Эпиграф — Откр. II, 7.

330. Литературное обозрение. 1990. № 9. С. 100. Публикация Н. А. Богомолова; Русская литература. 1991. № 2. С. 183. Ст. 17—36 — опубликованы А. Л. Соболевым как самостоятельное ст-ние. Бе-

ловой автограф ст. 1—16 — РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 10 об.; ст. 17—36 — карт. 56, ед. хр. 16, л. 2 об. Одно из «иронических» ст-ний (см. выше, с. 453).

331. Русская литература. 1991. № 2. С. 183. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по автографу (первоначальное загл. — «Несчастная») (РГБ, ф. 386, карт. 128, ед. хр. 13, л. 8 об.—10). Ст. 45—48 опубликованы в кн.: Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 15 («Решала я — вопрос огромен...») — с сопроводительным текстом: «Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли не с пеленок решением "вечных вопросов". Она сама над этим смеется в одной из своих пародий, писать которые мастерица». Те же строки перепечатаны под загл. «Пародия» (СП. С. 189). Другая редакция текста — под загл. «Прекрасная Дама» (НЖ. 1997. № 207. С. 250—251. Публикация Темиры Пахмусс). Варианты — ст. 1: «Я у одной прекрасной Дамы»; ст. 3—5: «Был ей покорен. И когда мы // Шли в парк вечерний с ней вдвоем, — // Я шел весь бледный, задыхался»; ст. 8: «Я был несчастен — был влюблен»; ст. 11: «Что даже гордая кокетка»; ст. 14: «Тиха, задумчива, грустна»; ст. 16: «Что над волною склонена»; ст. 17—20 отсутствуют; ст. 23: «Я оживил мои надежды»; ст. 25—27: «Она моим внимает пеням. // Лови мгновение, лови! // Я пал, припав к ее коленям»; вместо ст. 33—38: «Я осмелел... Ужель привета // Паж недостоин ожидать?»; ст. 42: «Луна, любовь и мы одни...»; ст. 44: «Сказать не трудно, вот они»; ст. 57—61:

Сокройся месяц! Вяньте травы!
Замолкни, нежный коростель!
Сомкнитесь чашечки, купавы,
Сломись, душистый розенель!
Иссохлось всё и почернело.

Ст. 64: «А я стоял, как истукан»; ст. 66: «Страшнее всяких похорон». Тексту предпосланы строки из стихотворного послания В. Брюсова «З. Н. Гиппиус» («Твои стихи поют, как звучный...», 1909), входящего в его книгу «Все напевы» (фрагмент от строки «Однажды в год, в святой Сочельник» до строки «Твоих стихов бессмертный ключ»). По сообщению публикатора этой редакции текста стихотворения, оно имеет «непосредственное отношение» к «верному "пажу"» Гиппиус — В. А. Злобину; автограф ст-ния Т. Пахмусс получила от Злобина (НЖ. 1997. № 207. С. 248). Ст-ние, однако, было написано Гиппиус задолго до ее знакомства с Злобиным; вероятна позднейшая «переадресовка» при восстановлении (скорее всего, по памяти) текста, получившего загл. «Прекрасная Дама».

332. Русская литература. 1991. № 2. С. 184. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по автографу (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 12).

333. СЗ. 1925. № 25. С. 243. Автограф ст-ния, переданный А. А. Блоку 15 февраля 1914 г. (см. примеч. 350), — в его архиве (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 3—3 об.). В мемуарном очерке

«Мой лунный друг. О Блоке» (1922) Гиппиус свидетельствует: «...у меня случайно остался листок с одним очень старым моим, никогда не напечатанным, стихотворением — "Песня о голоде", переписанным рукой Блока» (Живые лица. С. 236).

334. Русская литература. 1991. № 2. С. 184. Публикация А. Л. Соболева. Список рукой И. М. Брюсовой в тетради «Списки стихов разных поэтов. 1899—1900 гг.» (РГБ, ф. 386, карт. 129, ед. хр. 41, л. 34). Александр Михайлович *Добролюбов* (1876—1945?) — поэт-«декадент»; в 1898 г., пережив внутренний религиозный переворот, ушел в народную среду, стал странником, позднее организовал религиозную секту (см.: Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III (Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 459). Тарту, 1979. С. 121—146; Иванова Е. В. Александр Добролюбов — загадка своего времени // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 191—236). По предположению А. Л. Соболева, ст-ние написано под впечатлением от общения с Добролюбовым во время его непродолжительного пребывания в Петербурге в декабре 1904 г. (Русская литература. 1991. № 2. С. 188). В статье «Критика любви» (1901), посвященной в значительной части анализу личности и духовной эволюции Добролюбова, Гиппиус заключала: «В Добролюбове, несомненно, как во многих и многих теперь, жила смутная жажда <...> новой, неизвестной и необходимой религии не отречения от жизни, а освящения и принятия ее, жажда свободного оправдания и плоти и духа равно — потому что всякий из нас — плоть и дух равно»; «Действительно была у Добролюбова, если не в сознании, то в муке, все возрастающая потребность слить в одно два начала человеческой природы — любовь к небу и любовь к земле. Оправдать дух плотью, оправдать плоть — духом» (Антон Крайний (Гиппиус З.). Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908. С. 58—59, 60).

335. Русская литература. 1991. № 2. С. 184. Публикация А. Л. Соболева. Автограф — ИРЛИ, ф. 289, оп. 7, ед. хр. 10, л. 3. В мемуарном очерке о поэте и прозаике Федоре Сологубе (настоящ. имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863—1927) «Отрывочное» (1924) Гиппиус приводит ст-ние по памяти (без ст. 11—12) и с вариантами — ст. 1: «Все колдует, все морочит», ст. 4: «Колдовством своим достичь?», ст. 10: «Так не трогай эти вещи», ст. 15: «О, Кузьмич мой беднокудрый» (Живые лица. С. 367). Характеризуя там же «краткую переписку в стихах» с Сологубом, Гиппиус пишет о своих ст-ниях: «...мои не были напечатаны и затерялись. Помню лишь первое, совсем шутливое, поводом к которому послужили разные мелкие "колдовства" Сологуба — над чьими-то калошами, а главное, случай с Вяч. Ивановым: только что приехавший тогда из-за границы поэт-европеец отправился знакомиться с Сологубом. Да так пропал, с утра, что жена тщетно искала его по всему городу. И сидела у нас, в ужасе, когда ей дали знать, что он обретен наконец у себя в постели и в крапивной лихорадке. Словом, смешные пустяки» (Там же. С. 366). Этот эпизод документирован недатированным письмом Гиппиус к Сологубу, при-

веденным в комментарии А. Л. Соболева: «Федор Кузьмич. Когда был у вас Вячеслав Иванович и куда девался от вас? Лидия Дмитриевна у нас и страшно беспокоится, в самом деле страшно, нигде его нет, ни дома, — ждем немедленно вестей от вас, все, что знаете. З. Мережковская» (Русская литература. 1991. № 2. С. 188). В мемуарах Вл. Пяста приводится без указания автора «четверостишие» (ст. 5—8 ст-ния Гиппиус) с разъяснениями по поводу его написания и относительно «гипнотической силы» Сологуба: «Приведу здесь рассказывавшийся самим Вячеславом Ивановым анекдот об этой особой силе Федора Сологуба. Только что с ним познакомившись и в первый раз к нему придя, Вячеслав Иванов никак не мог от него выйти: на улице моросило, и ему казалось, что это, т. е. дурную погоду, сделал нарочно Федор Сологуб. Но чтобы выйти под дождь, необходимо было надеть калоши. В передней было много калош, в том числе и его, В. И., в которых он пришел. Однако на всех калошных парах Вячеслав Иванов видел одни и те же буквы: Ф. Т. — настоящая фамилия Сологуба была Тетерников...» (Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 84). На стихотворное послание Гиппиус Сологуб откликнулся следующим ст-нием:

Заклятие первое

(Зинаиде Гиппиус)

Не облекся я в хламиду,
И на звезды не гляжу.
Без реторт я Зинаиду
Гиппиус заворожу.

Зинаида, искушаешь
И меня ты, и судьбу.
Ты не видишь, не внимаешь,
Но узнаешь ворожбу.

Помни эти перемены
То погоды, то калош.
Это только брызги пены,
И усмешка, но не ложь.

Ассирийская хламида
Не нужна для мудреца.
Бойся, бойся, Зинаида,
Двери, тени и кольца.

Есть неведомые круги, —
Ты гляди, гляди вокруг.
Не тебя ль ведут подруги
В заколдованный мой круг?

(ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 3, № 1007. По списку рукой Д. М. Пинеса опубликовано А. Л. Соболевым: Русская литература. 1991. № 2. С. 189).

Ср. надписи Гиппиус Сологубу на ее книгах «Третья книга рассказов» (М., 1902): «Федору Кузьмичу Тетерникову, т. е. Сологубу с надеждой на будущий общий еретизм З. Гиппиус. 21 ноября 02 СПб.» (Автографы поэтов серебряного века. Дарственные надписи на книгах. М., 1995. С. 243), «Собрание стихов 1889—1903 г.» (М., 1904): «Близкому поэту Ф. К. Сологубу от З. Н. Гиппиус.

Выходи к воротам
И фонарь пред собою неси.
Хоть бы сгинул ты сам,
Но того, кто взывает, спаси.

6 декабря 1903 г. СПб.» (Шаталина Н. Н. Библиотека Ф. Сологуба. Материалы к описанию // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 444). В письме к Б. В. Савинкову от 25 сентября 1908 г. Гиппиус отмечала, что Сологуб «очень *субъективно* близок» ей — «в некоторых стихах, повестях, переживаниях» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126).

336. Русская литература. 1991. № 2. С. 185. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по автографу (ИРЛИ, ф. 289, оп. 7, ед. хр. 10, л. 2—2 об.). Отклик на ст-ние Ф. Сологуба «Заклятие первое» (из которого взят эпиграф), см. примеч. 335. Сологуб откликнулся на «Реплику ведьмы» следующим ст-нием:

Заклятие второе

(Зинаиде Гиппиус)

Ты не сломаешь похвальбою
Того, что сковано судьбою,
Что я ковал.
Они везде, всегда с тобою,
Кого я вещей ворожбою
К тебе послал.

Нет в чарах смерти и потери, —
Нет мелкой злости в той пещере,
Где мой очаг.
Всё в должный срок и в должной мере,
В растворе каждом каждой двери
Их зыбкий шаг.

Замкнув тебя широким кругом,
Тебя доверил я подругам, —
И твой сосуд
Они в стремлении упругом
Над живоносным, тайным лугом
Ко мне несут.

Соблазны чисел в дольнем мире, —
Ликуют три, горят четыре,

И семь в кольце.
Но знанье есть верней и шире.
Уже и ты в моей порфире,
В моем венце.

Твой ропот и твоя мятежность
В моей душе рождают нежность,
И с ней печаль.
В моих томленьях есть безбрежность,
И в чарах злая безнадежность, —
Тебя мне жаль.

Пока, последнего размаха
Еще не зная, злая пряха
Глядит во тьму
К исчадьям робким лжи и праха, —
Я, так и быть, заклятье страха
С тебя сниму.

Пока твердишь ты об измене,
Уста ты умочила в пене,
А не в вине.
Когда же всходишь на ступени,
То обо мне вещают тени,
Лишь обо мне.

24.3.1905

(Сологуб Ф. Неизданное и несобранное. (Slavistische Beiträge. Bd. 245). Herausgegeben von Gabriele Pauer. München, 1989. С. 89).

337. Русская литература. 1991. № 2. С. 185. Публикация А. Л. Соболева. Автограф — ИРЛИ, ф. 289, оп. 7, ед. хр. 10, л. 1. Ответ на «Заклятие второе» Ф. Сологуба (см. примеч. 336). В автографе, посланном Сологубу, подпись: «З. Гиппиус (которая оч<ень> просит зайти в воскресенье по особо важному делу)» (воскресенье — 27 марта 1905 г.).

338. Возрождение (Париж). 1955. № 43. С. 28. Опубликовано по рукописи, предоставленной А. М. Ремизовым; над текстом помета: «Из альбома Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло († 13. V. 1943)». С. П. Ремизова (урожд. Довгелло; 1876—1943) — жена А. М. Ремизова; была связана с Гиппиус многолетними дружескими отношениями. См. публикацию фрагментов из писем Гиппиус к ней 1905—1935 гг. (Lampl Horst. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 155—194).

339. Русский сборник. Кн. I. Париж, 1946. С. 135. Повторная публикация — НЖ. 1954. № 37. С. 122, с датой: 1906. Об адресате ст-ния см. примеч. 52.

340—341. Северные цветы. Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911. С. 1. Иронический отзвук ст-ний с «неуместными» (т. е. находящимися не на привычном месте — в конце ст.) рифмами — в письме Гиппиус к В. Я. Брюсову от 6 сентября 1910 г.: «Ах, рифмы! Я их совсем утеряла и только

Закидываю неводы
В озера грусти...

Но ничего не вылавливаю» (РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 41). 17 ноября 1910 г. Гиппиус писала Брюсову, откликаясь на предложение выслать стихи (для журнала «Русская Мысль» или альманаха «Северные цветы»): «У меня есть одно сомнительное новое; и два совершенно сомнительных годовалых, которые я писала в виде пробы на начальные рифмы (одно) и второе на рифмующие начала последних слов. Я хотела их дать в Альманах Кожебаткина, но, если хотите, пришлю сначала вам для совета. Я их вовсе не рассчитывала печатать и не знаю, прилично ли это» (Там же).

342. Беловой автограф в архиве Б. В. Савинкова ст. 1 — с правкой: «Январь, ты он. Тебя вино встречает» (ГАРФ, ф. 5831, оп. 1, ед. хр. 126, л. 57). Написано в связи с днем рождения Б. В. Савинкова (19/31 января 1879 г.). См. примеч. 167.

343. СЗ. 1925. № 25. С. 244, с датой: 1911. В. А. Злобин в списке ст-ния, переданном С. К. Маковскому, приводит дату: 1904 (РГАЛИ, ф. 2512, оп. 1, ед. хр. 233, л. 56). Беловой автограф, переданный А. А. Блоку 6 ноября 1915 г., без загл., — в его архиве (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 4 об.).

344. Литературное обозрение. 1990. № 9. С. 100. Публикация Н. А. Богомолова. Печ. по автографу (РГБ, ф. 386, карт. 56, ед. хр. 16, л. 9—11), посланному В. Брюсову в 1911 г.

345. Памяти Амалии Осиповны Фондаминской. Париж, 1937. С. 47. Повторная публикация — НЖ. 1954. № 37. С. 182. Обращено к А. О. Фондаминской (см. примеч. 172).

346. Русская литература. 1991. № 2. С. 186. Публикация А. Л. Соболева по списку в дневнике С. П. Каблукова. Печ. по: Автографы поэтов серебряного века. Дарственные надписи на книгах. М., 1995. С. 238 (текст и факсимиле белового автографа на шмуцтитуле кн.: Гиппиус З. Н. Чертова кукла. М., 1911; книга хранится в РГБ). О С. П. *Каблукове* — см. примеч. 100. 27 сентября 1911 г. Каблуков записал в дневнике: «Сегодня получил от З. Н. Мережковской ее рукописи и рассказы "Жестокие люди" и др. и 1 экземпляр "Чертовой куклы" с надписью, ею сделанной, такого содержания» (далее приводится текст ст-ния) (РНБ, ф. 322, ед. хр. 16, л. 129).

347. Автограф — СП. С. 117. Адресат ст-ния — О. А. Флоренская. Сведения о ней приводятся в родословных росписях Флорен-

ских, составленных по материалам, собранным ее братом, богословом и ученым П. А. Флоренским: «Ольга Александровна Флоренская (р. 19 февраля 1890, + 2 октября 1914). <...> В семье ее звали "Валя". Художница, поэтесса. Некоторое время в ранней юности была близка к кругу Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, затем под влиянием П. А. Флоренского отошла от них» (Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 450).

348. Тропинка. 1912. № 1. С. 37; перепечатано в сб.: «Радуга». Детская библиотека «Слова» / Составил Саша Черный. Берлин, 1922. С. 49.

349. Печ. по беловому автографу (РНБ, ф. 481, ед. хр. 9, л. 2). Позднейший автограф 12-ти начальных ст. — под загл. «Вспоминаю» (СП. С. 68), варианты — ст. 3: «Но что-то в тебе восхитительно», ст. 5—6: «Купиду подобен, // Как яблоко весь ты "ахтительно"», ст. 8—10: «Четыре богини, // Любви твоей сладостной жаждая, // Но пламень твой страстный». Обращено к А. В. Руманову (см. примеч. 178). *Поспорили ныне // Две лучших богини...* — Иронически обыгрывается сюжет из греческой мифологии — суд Париса над тремя богинями (Герой, Афиной, Афродитой), заспорившими о своей красоте. *Уехал Аркашенька в Верино.* — Верино — имение близ Ямбурга (в Петербургской губернии); Гиппиус и Д. С. Мережковский жили там летом 1912 г.

350. Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапертутто. 1914. № 2. С. 5. Беловой автограф под загл. «Ответ» — в архиве А. А. Блока (ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 63, л. 2—2 об.), между строфами 1 и 2:

В росной сырости дорожка
Жук гудит, цветет сирень.
Не пройтись ли мне немножко
По дорожке, там, где тень?

Между строфами 5 и 6 — зачеркнутые ст.: «Посмотри, как все прекрасно! // Где вопросы — там ответ»; первоначальные варианты — строфа 1, ст. 4: «Нынче ясный будет день», строфа 4, ст. 5: «Ждем, чего на свете нет», строфа 6, ст. 3—4: «Любим мы, как любят дети, // Да иной любви и нет». К тексту приложена пояснительная записка Блока: «Два стихотворения *З. Н. Гиппиус* (она дала мне их 15 февр<аля> 1914 г.). Первое ("Ответ") — шутка по поводу Бакстовых объяснений ей в любви. Оба — черновики. "Ответ" — во 2-ой № "Любви к трем апельсинам"» (Там же, л. 1. Второе ст-ние в этой подборке — «Песня о голоде»; см. № 333). Об отношениях Гиппиус с Л. С. Бакстом см. примеч. 70—71.

351. Возрождение (Париж). 1955. № 43. С. 28. Опубликовано по рукописи, предоставленной А. М. Ремизовым.

352. Сирин. С. [XXVIII] (12-е в цикле «Молчания»); вариант ст. 4 «Бьенье, — забвенье всего, что было». Печ. по: СЗ. 1930. № 43. С. 208 Беловой автограф (наборная рукопись цикла «Молчания») — с зачеркнутой датой: «Янв<арь> 14» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 55 л. 12).

353. День. 1914. № 286, 21 октября. С. 4. Беловой автограф — в собрании П. Е. Щеголева (ИРЛИ, ф. 627, оп. 2, ед. хр. 7, л. 2); вместо ст. 7—14:

Ей — два креста послали наши дни,
Неистовым безумием дыша...
И на одном кресте томится тело,
А на другом — душа.

Первая публикация — в номере газеты, посвященном «Героической Бельгии» (в первые месяцы мировой войны в Бельгии происходили особенно кровопролитные сражения), наряду со ст-ниями Ф. Сологуба («Утешение Бельгии»), А. Блока («Антверпен»), И. Северянина («Поэза о Бельгии») и статьей Д. С. Мережковского «Убийца лебедей». Перепечатано в сборниках «Современная война в русской поэзии» (Пг., 1915), «Книга короля Альберта» (М., 1915), «Военные стихи современных русских поэтов» (Пг., 1917).

354. БВ. Утр. вып. 1914. № 14032, 2 марта. С. 2.

355. Женский сборник в пользу Ялтинского попечительства о приезжих больных и больных туберкулезом из действующей армии. М., 1915. С. 41; Русский сборник. Кн. I. Париж, 1946. С. 135 (посмертная публикация), под загл. «Анне Осиповне Лурье».

356. Вершины. 1915. № 6. С. 6. Печ. по: СЗ. 1930. № 43. С. 208. В ст-нии содержится полемический отклик на жизненную проповедь Л. Н. Толстого. Цитируя его в письме к Г. В. Адамовичу от 12 августа 1927 г., Гиппиус поясняла: «Для обеднения, опрощения, — совлечения, — нужна смелость, но все же оно не цель, а лишь переход, искус. Мысль "коварно-сложную", поэзию, "коварно-красивую" следует проучить. Но проучив — ее

опять прими, прими
... ... смелую
ибо пройденное испытание
Вернуло ей одежду белую.

Белизна, ведь, не *первая* простота, а *вторая*» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 363).

357. Русская литература. 1991. № 2. С. 186 (с неточностью). Публикация А. Л. Соболева. Печ. по черновому автографу (РНБ, ф. 481, ед. хр. 13). Текст зачеркнут; рядом с ним — еще один зачеркнутый черновой набросок:

Я в плотной запертой банке
С целой кучей жаб.
Давно душа на изнанке
Кто я? Не жабий ли раб?

Развитие тех же образных построений — в стихотворном фрагменте, опубликованном Т. Пахмусс (СП. С. 35):

Я в плотной запертой банке
Под целой кучей жаб.
Давно душа на изнанке,
Давно я — жабий раб.

Смотрите сюда, народы,
Народы всех Европ:
Здесь в банке — предел свободы
Широк стеклянный гроб.

358. Русская литература. 1991. № 2. С. 186. Публикация А. Л. Соболева. Черновой набросок — первоначальный вариант ст. 2: «Покинь меня — Ее ты не покинешь» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 9, л. 3).

359. Русская литература. 1991. № 2. С. 186. Публикация А. Л. Соболева. Автограф — РНБ, ф. 481, ед. хр. 9, л. 3.

360—363. Русская литература. 1991. № 2. С. 186 (1-е ст-ние цикла). Публикация А. Л. Соболева. Печ. по списку в дневнике С. П. Каблукова с его подстрочными пояснительными примеч. (РНБ, ф. 322, ед. хр. 39, л. 205 об. — 217). В записи от 15 марта 1916 г. Каблуков указывает: «...четыре стих<отворе>ния З. Гиппиус о Николае II. Эти стихотворения переданы ею мне 14. III» (РНБ, ф. 322, ед. хр. 39, л. 206). Наряду со ст-ниями Каблуков записал в дневник полученные им от Гиппиус сведения из современной политической жизни, которые поясняют и дополняют содержание ее стихотворных сатир (там же, л. 222—226):

«Из рассказов З. Гиппиус 14 марта:

1) Депутат-казак Караулов познакомился где-то с Гр. Распутиным и спросил его, чем объясняется его необычайный успех у женщин. Р<аспутин> ответил буквально: "оттого что я шибко любить умею".

2) Бывший министр вн<утренних> дел — Ал. Н. Хвостов по его удалении с должности призывал к себе Гессена из "Речи" и Б. Суворина и показывал им разные документы, касающиеся Распутина. На вопрос их, почему же он не удосужился выслать Распутина из СПб, сказал: "что же, я вышлю, а за ним пошлют императорский поезд и все выйдут его встречать". К этому прибавил, что из-за Р<аспути>на ему покоя не было ни днем, ни ночью. Напр<имер>, на Рождество у "Никса" была устроена елка для Распутина, дочери Н<иколая> Ольга и Татьяна одолели Хвостова требованиями по телефону привести Распутина, который накануне где-то пьянствовал и блудил, и не вполне отрезвился. Х<восто>ву пришлось отрезвлять его.

3) При Распутине Хвостов держал 5 филеров, столько же и> было при нем и от С. Белецкого, товарища м<инист>ра внутр<ен-них> дел. Между Х<востовым> и Б<елецким> около Распутина шла борьба. Белецкому удалось "уйти" Хвостова в связи с раскрытием организованного им покушения на Р<аспути>на, но на радостях Белецкий разболтал Гаккебушу из "Б<иржевых> В<едомостей>" данные предвар<ительного> следствия по этому делу, эта болтовня была напечатана в "Биржевке", и Белецкий потерял свое место иркутского генерал-губернатора, подал в "чистую" отставку и даже привлекается к суду за оглашение данных предв<арительного> следствия вместе с ред<актором> "Биржевых Ведомостей" Проппером.

4) Будто и Штюрмер уже уходит...

5) У мин<истра> нар<одного> просв<ещения> гр<афа> Игнатьева тоже недурные отношения с "священным" Гришей. Последний часто пишет первому записочки такого рода: "Милай, прими NN..."

6) Следственная комиссия о Сухомлинове с достоверностью установила, что существовали до 18 (*пока*) шпионских немецких организаций, руководимых Сухомлиновым, и что он несвоевременно уничтожил 1 000 000 запасных берданок, которые скоро понадобились. Недавно Сухомлинов был в "Речи" у Гессена и просил напечатать в газете заявление, что известная ст<атья> в "Б<иржевых> В<едомостях>" "Мы готовы" была написана Ржевским без всякого его участия. Гессен отказался.

Рассказывая это, З. Н. Гиппиус прибавила: "Что сталось бы уже с Германией, если бы ее военный министр был таким шпионом и предателем, как Сухомлинов. А России все ничего". Замечание верное.

7) Хвостов А. Н. уехал из СПб. не вполне добровольно, а "повинуясь воле Монарха" (его слова)». (Упоминаемый в записях Каблукова бывший военный министр генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов (1848—1926) был летом 1915 г. в связи с обвинением в государственном преступлении отстранен от должности, 18 марта 1916 г. исключен из Государственного Совета, а 20 апреля арестован и препровожден в Петропавловскую крепость, позднее переведен под домашний арест. Николай II был убежден в его невиновности; см.: Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 579—580). О жизни при дворе Николая II в предреволюционные годы и о роли Г. Е. Распутина в ней Гиппиус подробно пишет в очерке «Маленький Анин домик. Вырубова» (1923) (Живые лица. С. 277—313).

1. *«Нет, я не льстец!»* — Начало ст-ния А. С. Пушкина «Друзьям» (1828): «Нет, я не льстец, когда царю // Хвалу свободную слагаю». *Ни трус меня не остановят.* — Трус (древнерусск.) — землетрясение. *Трудился с Филиппом — не ты ли?* — Речь идет о «знахаре Филиппе из Лиона», друге и последователе знаменитого французского оккультиста и гипнотизера Папюса (см.: Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 235—236).

2. *И верный Фредерикс.* — Граф Владимир Борисович Фредерикс (1838—1927) — генерал-адъютант, член Государственного Совета, министр императорского двора; пользовался полным доверием Ни-

колая II, с начала мировой войны находился с ним в ставке в Могилеве. *Возил сюда сынишку...* — Со второй половины 1915 г. Николай II «жил в Ставке, примерно раз в месяц приезжая на несколько дней в Царское Село. С Ним вместе, большей частью, находился Наследник Цесаревич» (Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. С. 568). *Но тут сам Куропаткин...* — Алексей Николаевич Куропаткин (1848—1925) — генерал, в 1898—1904 гг. — военный министр, во время русско-японской войны 1904—1905 гг. — главнокомандующий сухопутными, а затем всеми вооруженными силами России на Дальнем Востоке.

3. *«Буря мглою небо»...* — Начало ст-ния А. С. Пушкина «Зимний вечер» (1825); далее пародийно обыгрываются его последующие строки. *А воротишься — Родзянку...* — Михаил Владимирович Родзянко (1859—1924) — один из основателей партии «Союз 17 октября», один из лидеров Прогрессивного блока (август 1915 г.) и единственный официальный посредник между Государственной Думой и верховной властью; активный противник Г. Е. Распутина, требовал отставки ряда непопулярных министров. *...«спасен // Претерпевый до конца».* — Имеется в виду статья Д. В. Философова «Рождественские мечты австро-германцев», содержащая обзор рождественской австро-венгерской и немецкой печати и завершающаяся словами: «...будем бодры. Опыт войны нас научил скромности. Неосторожностей мы, конечно, совершать больше не будем. Но из этого не следует, что разумно преувеличивать силы врага. Враг заметно устает, теряет ощущение смысла дальнейшего ведения войны. <...> Претерпевый до конца спасен будет» (Речь. 1915. № 355, 25 декабря. С. 4).

4. *Со старцем Ник беседовал вдвоем.* — Вероятная пародийная реминисценция 1-й строки стихотворного послания Пушкина Н. И. Гнедичу (1832): «С Гомером долго ты беседовал один». *Чем не министр Владимирыч Бориска?* — Председатель Совета министров Иван Логгинович Горемыкин (1839—1917) был отправлен в отставку 20 января 1916 г., его преемником стал Борис Владимирович Штюрмер (1848—1917). О замене Горемыкина Штюрмером Гиппиус подробно пишет в очерке «Маленький Анин домик» (Живые лица. С. 301—303). *...с Алешкою убивцем.* — Министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов Алексей Николаевич Хвостов (1872—1918) последовал в отставку следом за И. Л. Горемыкиным. Ср. свидетельства Мориса Палеолога (3 февраля 1916 г.): «Отставка Хвостова дело рук Распутина. В течение некоторого времени между этими двумя лицами шла борьба не на живот, а на смерть. По этому поводу по городу ходят самые странные, самые фантастические слухи. Говорят, будто Хвостов хотел убить Гришку через преданного ему агента, Бориса Ржевского <...>. Но директор департамента полиции Белецкий, креатура Распутина, напал на след заговора и донес непосредственно императору. Отсюда внезапная отставка Хвостова» (Палеолог М. Царская Россия накануне революции. С. 35). Гиппиус, упоминая об отставке Хвостова в очерке «Маленький Анин домик», пишет, что Распутин был исполнен «самого обыкновенного, животного страха перед "убивцем", как зовет Хвостова» (Живые лица. С. 304). *Свершилось все по изволенью Гриши...* — Имеется в виду прибытие Николая II с фронта

в Петербург к открытию думской сессии: 9 февраля 1916 г. он присутствовал на молебне в Таврическом дворце и обратился к депутатам Думы с приветственным словом. *А Скобелев, Чхеидзе и Чхенкели...* — Члены меньшевистской фракции 4-й Государственной Думы Матвей Иванович Скобелев (1885—1938), Николай Семенович Чхеидзе (1864—1926), Аркадий Иванович Чхенкели (1874—1959 или 1931?).

364. Русская литература. 1991. № 2. С. 186. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по ксерокопии автографа на титульном листе сборника З. Н. Гиппиус «Лунные муравьи. Шестая книга рассказов». М., 1912 (РГБ, ф. 218, карт. 1362, ед. хр. 11). Адресат — Вера Емельяновна Федосеева (род. в 1896), студентка Психо-Неврологического института. *На луне живут муравьи...* — Подразумевается один из эпизодов романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» (1901; гл. XVII — «Битва в пещере лунных мясников»), переосмысленный Гиппиус в рассказе «Лунные муравьи» (1910), открывающем одноименный сборник (см.: Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 575—576).

365. Русская литература. 1991. № 2. С. 187. Публикация А. Л. Соболева. Беловой автограф (РНБ, ф. 481, ед. хр. 16), текст — на открытке, посланной Д. В. Философову из Кисловодска (почт. шт. — 28. 5. 16) в Ессентуки (почт. шт — 29. 5. 16). *Нет, Жизнь — как наглая хипесница...* — Хипесница (арго) — мошенница, завлекающая мужчину-жертву на квартиру, где ее сообщники обворовывают его или вымогают ценности (см.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона / Сост. Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов. М., 1992. С. 269).

366. Автограф — в письме к В. А. Злобину от 13 октября 1916 г. (РНБ, ф. 481, ед. хр. 41); тексту предшествует следующий иронический пассаж: «Я вспоминаю, Владимир Ананьевич, что мы о многих поэтах забыли. <...> В конце концов я даже склоняюсь *и* к Маяковскому. Он противен, но не без значения же. А противен он, может быть, потому, что сам себе иногда бывает противен. (Это бы дай Бог ему!) Всякую противность можно понять — по-человечески. Я бы могла, пожалуй, ему в таком роде сказать что-нибудь» — далее следует текст ст-ния, после чего Гиппиус заключает: «Фу, как затянул меня! Даже надоело. Спешу кончить это письмо».

367. Русская литература. 1991. № 2. С. 187. Публикация А. Л. Соболева. Печ. по автографу (РНБ, ф. 481, ед. хр. 14, на обороте телеграфного бланка, почт. шт.: Петроград, 15. 2. 17). *Там молодой штейнерианец...* — Подразумевается Андрей Белый, возвратившийся в августе 1916 г. в Россию из Швейцарии убежденным приверженцем антропософии Р. Штейнера; 16 февраля 1917 г. он выступил в Петроградском Религиозно-философском обществе с докладом «Творчество мира», ср. его запись за этот день: «Лекция моя "Творчество мира". Примирение с Мережковскими» (Андрей Белый. Жизнь без Аси // РГБ, ф. 25, карт. 31, ед. хр. 1). Гиппиус свидетельствует (22 февраля 1917 г.): «У нас в Рел.-Фил. Об-ве Андрей Белый читал

дважды. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно позорное: почти не могу видеть эту праздную толпу, жаждущую "антропософии"» (Дневники. С. 74). *Уж исполнял свой нежный танец...* — Имеется в виду интенсивная жестикуляция, которой Андрей Белый неизменно сопровождал свои публичные выступления. *Вот Сологуб с Чеботаревской...* — Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876—1921) — литератор, переводчица; с 1908 г. — жена Ф. Сологуба и помощница в его литературных делах. *Василий Розанов и дщерь...* — В. В. Розанов и, видимо, его старшая дочь Татьяна Васильевна Розанова (1895—1975). *След прошлого лежит на Пясте...* — Владимир Алексеевич Пяст (наст. фам. Пестовский; 1886—1940) — поэт, переводчик.

368. Грядущее (Кисловодск). 1917. № 2, сентябрь; De Visu. 1993. № 2. С. 43 (в составе заметки А. Л. Соболева «"Грядущее" Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус»). Позднейший вариант — № 427.

369. Автограф — на 2-й странице обложки кн.: Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. [Пг.], 1917 (ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 232). Симон *Петлюра* (1879—1926) был с ноября 1917 г. по апрель 1918 г. генеральным секретарем (министром) по военным делам в правительстве Украинской Центральной Рады.

370. Огонек. 1918. № 12, 26 (13) мая. С. 7.

371. Автограф — СП. С. 87. *Наш дружносельский комиссар...* — Имение Дружноселье (близ Сиверской под Петербургом) распоряжением Сиверского волостного совета перешло в середине февраля 1918 г. от управляющего имением Крумберга в ведение комиссара Мелешина (Гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области, ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 32); в 1919 г. комиссар Мелешин был директором совхоза «Дружноселье» — до прихода белых войск осенью того года (сообщил А. В. Бурлаков). *Зиновьев, Урицкий, иль Он...* — Григорий Евсеевич Зиновьев (Овсей-Герш Аронович Радомысльский; 1883—1936) — член ЦК РСДРП(б), с декабря 1917 г. — председатель Петроградского Совета. Моисей Соломонович Урицкий (1873—1918) — член ЦК РСДРП(б), с марта 1918 г. — председатель Петроградской ЧК, с апреля 1918 г. — нарком внутренних дел Северной области. *Иль сын Израиля — Леон...* — Подразумевается Лев Давидович Троцкий. *Его пленил левак-Прошьян // И разнесчастная Маруся?* — Прош Перчевич Прошьян (1883—1918) — член ЦК Партии левых социалистов-революционеров, с декабря 1917 г. возглавлял Наркомат почт и телеграфов. Мария Александровна Спиридонова (1884—1941) — лидер Партии левых эсеров. *Зоф...* — Вячеслав Иванович (Шанович) Зоф (1889—1937) — рабочий-металлист, большевик, член ВЦИК; в 1918 г. — комиссар дивизии и начальник снабжения 3-й армии восточного фронта. *Вдруг это Витенька Чернов...* — Виктор Михайлович Чернов (1873—1952) — лидер Партии социалистов-революционеров, председатель Учредительного Собрания (5—6 ян-

варя 1918 г.). *Его решит Володя Злобин.* — В. А. Злобин (см. примеч. 207) летом 1918 г. жил в Дружноселье вместе с Гиппиус и Д. С. Мережковским.

372. Автограф — в тетради «Под знаком Девы» (СП. С. 21).

373—375. Звено (Париж). 1926. № 160, 21 февраля. С. 3. *Дружноселье* — место под Петербургом, близ станции Сиверская Варшавской железной дороги. Мережковские проводили там лето 1917 и 1918 г. (Старое Дружноселье кн. Витгенштейна, Красный Дом). Ср. дневниковую запись Гиппиус (Дружноселье, 31 июля / 13 августа 1918 г.): «Ясные, тихие — вполне уже осенние дни. Я гуляю, читаю французские романы, смотрю на закаты и — вместе с Володей Злобиным — пишу стихи! Это какое-то чисто органическое стремленье хоть на краткий срок отойти, отвести глаза и мысли в другую сторону, дать отдых душевным мозолям. И я почти не осуждаю себя за эти минуты "неделанья", за инстинктивную жажду забвения. Душа самосохраняется» (ЧТ. С. 112—113).

1. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — другая редакция текста (СП. С. 25):

Былое

Вы разлюбили — почему? — со мной гулять
По жесткому, щетинистому полю
Идти вдвоем, неведомо куда,
Смотреть на рожь, высокую, как я,
О чем-то говорить, полуслучайном,
Легко и весело, чуть-чуть запретно...
И вдруг — под розовою цепью гор,
Под белой, незажегшейся луною,
Увидеть море, синий полукруг,
Нездешних волн сияющее пламя.

Идти назад, идти вперед, туда,
Где теплой радуги дымно-горящий столб
Закатную поддерживает тучу...
И на одном плаще минутно отдохнуть,
Опять идти и рассуждать о Данте,
О вас и о замужней Беатриче,
Но замолчать средь лиственного храма
В чудесном сумраке прямых колонн
Под чистою и строгой лаской
Огней лампадных...
Странно, почему
Вы разлюбили?.. Нет, я улыбаюсь,
Я понимаю...

2. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «Пробужденье в Дружносельи» (СП. С. 24).

3. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «Буду», с датой: Август 1918, варианты ст. 1—2: «Пусть шумит звериная гроза. // Пусть гремят бесцельные раскаты» (СП. С. 29).

376. СЗ. 1922. № 10. С. 120. Автограф — с датой: 2 августа 1918, варианты — строфа 3, ст. 2: «Мы видели сладость встреч», строфа 4, ст. 2: «И милое — будет вновь» (СП. С. 8).

377. Черновой автограф; первоначальные варианты — ст. 2: «И нет греховной чистоты», ст. 5: «Душа ждала, душа искала», ст. 7—8: «Тебя, Любви двойное жало // Благословляю — навсегда», «Любви одной двойное жало // Благословляю — навсегда» (РНБ, ф. 481, ед. хр. 13). В дневниковой записи от 16 апреля 1919 г. С. П. Каблуков сообщил о получении от Гиппиус автографа ст-ния «Навсегда» с датой: август 1918 г. (РНБ, ф. 322, ед. хр. 63, л. 151).

378. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — с датой: 10. 8. 1918.

379. СЗ. 1930. № 43. С. 209. Автограф — в тетради «Под знаком Девы»; общая датировка тетради: июль—август 1918 г. (СП. С. 14).

380. СЗ. 1926. № 27. С. 209. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «Котенок», с датой: Август 1918, варианты — строфа 2, ст. 3: «Все оставалось непонятно...», строфа 3, ст. 2: «В котенке, в луге, — как вино...», ст. 5: «И до времен утаено?» (СП. С. 22).

381. Сегодня. 1924. № 94, 26 апреля. С. 3. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «Три сердца», с датой: «Июль 1918. СПб.», варианты — строфа 1, ст. 2—3: «пришел к ней Ангел в одежде шарманщика // (а она, счастливая, жила на даче)», строфа 3: «Шарманщик заплакал и завертел шарманку. // Другие слушали и не понимали ничего, // а для нее шарманка ясно выговаривала:», строфа 4, ст. 2—3: «все три сердца у тебя будут вынуты, // и вместо них останутся тебе три раны», строфа 5, ст. 1: «Розовые в свете зорь багровых», строфа 6, ст. 1: «Но чуть вышел за ограду сада», строфа 8, ст. 2: «что распустил слюни розовые», строфа 9, ст. 2: «в тысячу дней веревочка», строфа .10, ст. 2—3: «Да как ты на это осмелился, // силы-то человека ты не считал!», строфа 11, ст. 2: «Узнал Николая-Угодника», строфа 15, ст. 2: «все три сердца у нее вынуты», строфа 20, ст. 3: «Она очнулась, слушает, встает», строфа 21, ст. 1: «Ах, я вдруг точно уснула», строфа 22, ст. 1—2: «Три сына, отмеченные смертью, // три узелка на длинной веревочке», строфа 24, ст. 2: «У кого они сердец не вынули» (СП. С. 4). *З. В. Р.-Р.* — Посвящено З. В. Ратьковой-Рожновой (см. примеч. 198); младший ее сын, Дмитрий (крестный сын Д. В. Философова), погиб на фронте мировой войны 20 сентября 1916 г., средний, Владимир, — в бою с большевиками в 1918 г. (см. примеч. 225), старший, Николай, штабс-капитан, погиб под станцией Карсновской 20 июля 1918 г. (сообщил Дж. Стюарт Дюррант). 1 сентября 1918 г. Гиппиус записала: «У Ратьковых убили (б<ольшеви>ки) третьего и *последнего* сына — старшего. Это что-то уж... .... я не вмещаю» (ЧТ. С. 114).

382. СЗ. 1930. № 43. С. 209. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — с датой: «Сентябрь 1918. Окт<ябрь> — Петербург» (СП. С. 31).

383—386. Автограф — в тетради «Под знаком Девы».
1. С датой: 12. 10. 1918.
2. С датой: 13. 10. 1918.
3. С датой: 15. 9. 1918 (СП. С. 16). Ср. № 418.

387. СЗ. 1922. № 10. С. 122. Два автографа (СП. С. 94, 95), с делением на четверостишия, с датой: «Осень 1918. СПб.», в первом между ст. 4 и 5 строфа:

Искушенье — твоя ответность...
а я почти безоружен...
Но ведь я иду через семицветность —
и я тебе не нужен...

Во втором — между ст. 4 и 5 эта и дополнительная строфа:

Твой дар иной, и ясен.
Служи этим чистым даром.
Поверь, он не напрасен,
и не погибнет даром.

Вариант ст. 5—6: «А я для тех, кто всеми оставлен, // пойду за второй белизною —».

388. НЖ. 1952. № 30. С. 127. Автограф в тетради «Под знаком Девы» — под загл. «Шестнадцать», без деления на строфы, с датой: 9 августа 1918; варианты — ст. 3: «В нем было откровенье поцелуя...», ст. 5: «Жестокостью иль нежностью волнуем», ст. 9: «И даже если вдруг, полуслучайно» (СП. С. 10).

389. СЗ. 1923. № 15. С. 159. Автограф — под загл. «Лучи», без деления на строфы, с датой: 30 дек<абря> 1918; варианты — ст. 1—2: «Здесь все — томно опалово, // в лучшем случае аметистово...», ст. 7: «Что мне желтое, жемчужное, алое?» (СП. С. 42).

390. СЗ. 1932. № 49. С. 204; НЖ. 1954. № 37. С. 123, посмертная публикация, под загл. «Сон (советский)». «Физиогномическая» тема ст-ния возникла из наблюдений, восходящих к начальной поре большевистской власти; В. А. Злобин свидетельствует: «...отсутствием лица больше всего и ужасали Мережковского октябрьские толпы. В его записной книжке есть такая заметка: "Как благоуханны наши февраль и март <...> В эти первые дни или только часы, миги, какая красота в лицах человеческих! Где она сейчас? Вглядитесь в толпы октябрьские: на них лица нет! Нет, не уродство, а отсутствие лица, вот что в них всего ужаснее"» (Злобин Вл. Д. С. Мережковский о свободе // НЖ. 1990. № 180. С. 206). *Ам...ии* — Амалии; см. примеч. 172.

391. Звено. 1923. № 7, 19 марта. Печ. по: СЗ. 1925. № 25. С. 244. Автограф в тетради «Овен» — вариант заключительной строфы:

И если в дверь мою железную
Он постучит — услышу ль я?
Нет, рву как тряпку бесполезную
Я мой остаток бытия.

(СП. С. 50)

392. Орлов Вл. Поэма Александра Блока «Двенадцать». М., 1962. С. 143. Печ. по автографу — с датой: «Апрель 1919 г. СПб.» (СП. С. 99). Автограф, посланный Блоку, — под загл. «Б<ывшему> рыцарю Прекрасной Дамы»; варианты — ст. 2—3: «Так мне сказали сами хамы. // Но зато в Кронштадте пьяный матрос», ст. 5—6: «Говорят — он умер... А если и нет? // Вам не жаль Дамы, бедный поэт?»; на листе — помета Блока: «Д. С. Мережковский передал мне 7 мая 1919 года» (РГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26, л. 93). Блок ответил на него ст-нием «Вы жизнь по-прежнему нисколько...» (май 1919 г.), написанным на экземпляре его книжки «Катилина», предназначавшемся, но не отосланном Гиппиус (см.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 373, 636; Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 212—213). Эпиграф. — Ср. запись в дневнике С. П. Каблукова от 24 апреля 1919 г. (под общим заголовком: «Из вчерашних рассказов З. Н. Гиппиус»): «Кронштадтское "чудо". На танцев<альном> вечере некий сильно пьяный матрос пригласил девицу на танец. Она отказала, т. к. он был пьян зело. Тогда он сказал — "хорошо! не хочешь, так я найду себе пару!" И сняв икону Богородицы, пустился с нею в неприст<ойный> пляс. И через час внезапно умер. Смерть его была странная. Случай произвел впечатление» (Сажин В. Н. О последней стихотворной переписке Зинаиды Гиппиус и Александра Блока в 1919 году // Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн, 1989. С. 199—200).

393. Беловой автограф — РНБ, ф. 481, ед. хр. 9, л. 1. С отсылкой к этому тексту, но с разночтениями опубликовано А. Л. Соболевым (Русская литература. 1992. № 3. С. 198). Позднейший автограф — под загл. «А. А. и Л. Д.», помета под текстом: «Очень давно», варианты — ст. 5: «Но вот прошло, и стало былью», ст. 7: «И затянулись точно пылью» (СП. С. 116). *А. и Л.* — А. А. Блок и его жена Любовь Дмитриевна Блок (урожд. Менделеева; 1881—1939); Гиппиус была посвящена в перипетии их личных отношений (см.: Из переписки Зинаиды Гиппиус / Вступ. заметка и публикация А. Л. Соболева // Русская литература. 1992. № 3. С. 197—200).

394. Автограф — СП. С. 45. Датируется предположительно февралем 1919 г. Центральный образ ст-ния связан, скорее всего, с английской сказкой, известной в русском изложении детского писателя и художника Валерия Вильямовича Каррика (1869—1942); см.: Каррик В. *Хобиасы* (Английская сказка). («Сказки-картинки», № 22). СПб., 1912.

Хобиасы — злобные фантастические существа (на рисунках — наподобие жуков или больших букашек), съевшие старика и старушку и похитившие девочку; рефрен сказки: «Войдем, войдем в избушку, // Съедим старика и старушку!»

395. Звено. 1923. № 7, 19 марта. Автограф в тетради «Овен» — с датой: 6 марта 1919 (СП. С. 48).

396. Окно. 1923. № 1. С. 48. Ст-ние было вписано Гиппиус в экземпляр «Последних стихов», подаренный С. П. Каблукову, с датой: 6 апреля 1919 г. См. дневниковую запись Каблукова от 16 апреля 1919 г. (РНБ, ф. 322, ед. хр. 63, л. 151). Автограф в тетради «Телец» — под загл. «Питербурх» (СП. С. 52), вариант — строфа 3, ст. 2: «И рабский сон твой — проклял я...»; позднейший вариант (с датой: «4—6 авг<уста> 1919») заключительной строфы:

Пора! Хочу, чтоб злого слова
Мои бичи в тебя впились.
О, Петербург, дитя Петрово,
Освободись! Освободись!

Эпиграф — автоцитата (см. № 100). *Мга* — сырой, холодный туман.

397. РМ. 1921. № 3/4. С. 49. В составе дневников Гиппиус, запись, открывающая «Черную книжку» (июнь 1919 г.). Ср.: Дневники. С. 245. Автограф — под загл. «В июне» (СП. С. 54). Предпослано эпиграфом к ст-нию «Летом» (№ 251).

398. Возрождение (Париж). 1949. № 5. С. 11. Автограф — СП. С. 54. Предположительно датируется осенью 1919 г.

399. Маковский. С. 109. Автограф — с делением на четверостишия, с датой: 17 октября 1919 (СП. С. 55).

400. Автограф — СП. С. 101. Другая редакция текста (СП. С. 100):

О нем никто не знает,
Лишь двое: он и ты.
Что день — там расцветают
Всё новые цветы.
Они разнообразны,
Красивы — и смешны,
Но все, хотя и разны,
Таинственно-нежны.
И несравнимо-милы
Они ему — как ты.
Сама Любовь взрастила
Волшебные цветы.

401. РМ. 1921. № 3/4. С. 96. В составе дневников Гиппиус, запись от 23(10) декабря 1919 г. См.: Дневники. С. 309.

402. Виленский курьер. 1920, 28 января, под загл. «Рай земной». Печ. по: РМ. 1921. № 3/4. С. 5 (4-е в цикле «Из С.-П.-Б.-ского дневника 19 года»). Автограф — под загл. «В Альбом Чуковскому», с пометой: «СПб., Дек. 1919, перед бегством» (СП. С. 86), варианты — ст. 1—2: «Не только молока и шеколада, // Не только булок, соли и конфет», ст. 14: «Искал вблизи, искал издалека», между ст. 25 и 26:

Мятежный, безнадежный, я в Манежный,
Влачась по стыди снежной, заходил,
К седому мальчику с душою нежной...
Увы, увы, и он меня не утолил!

Эпиграф — слова Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. IV): «...слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. <...> Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 223). («Седой мальчик» — К. И. Чуковский; он жил в Петрограде в Манежном переулке). Автограф в рукописном альманахе Корнея Чуковского «Чукоккала» — под загл. «В раю земном», эпиграф: «"Я только почтительнейше билет возвращаю..." Федор Михайлович», варианты ст. 1—2 — как в СП, между ст. 25 и 26:

Голодный, безнадежный, и в Манежный
Влачась по стыди снежной, заходил,
К седому мальчику с душою нежной...
Увы, и он меня не утолил!

Ст. 28: «Я карточки от рая открепляю»; дата: «5 дек. 19 г. СПБ». (Сообщено Е. Ц. Чуковской). Первая газетная публикация перепечатана в статье Анатолия Иванова «Все карточки от рая открепляю...» (Русская мысль. 1995. № 4095, 5—11 октября; № 4096, 12—18 октября. С. 10); в ней эпиграф — неточные цитаты из шуточного послания А. А. Блока «Чуковскому» («Стихи о предметах первой необходимости», 6 декабря 1919 г.), занесенного в «Чукоккалу» 28 декабря 1919 г.: «...Для носящего котомки // И капуста — ананас. // Как с Прекрасной Незнакомки // Он с нее не сводит глаз... // Где же дальше Совнархоза // Голубой искать цветок?» (см.: «Чукоккала». Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979. С. 218—220; Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 426—427).

403. НЖ. 1961. № 64. С. 8. Автограф — под загл. «Стихи» (СП. С. 60).

404. Автограф — СП. С. 102.

405. СЗ. 1923. № 14. С. 171. Автограф — без посвящения, с делением на два четверостишия и датой: «1921. Висбаден», варианты — ст. 3—6:

Сегодня меня палач
В рассвет поведет из тюрьмы.

Бессилен слепой палач.
Зарей зеленеет твердь.

Ст. 8: «Мы вместе сквозь смерть — за смерть» (СП. С. 103). Посвящено Амалии Фондаминской (см. примеч. 172).

406. Автограф — СП. С. 105.

407. СЗ. 1923. № 14. С. 170. Автографы — с датой: «1921. Париж» (СП. С. 106, 108), варианты — ст. 13—16:

Я знаю, ты придешь, я не боюсь.
Я знаю, ты голодная, без крова...
Но я твоей одежды не коснусь,
Не вымолвлю перед тобой ни слова,

Ст. 19: «Пока лицом в траву не упадешь»; ст. 23—24: «Любовь моя, пойми, так быть должно! // Так быть должно, и верю я — так будет!»; ст. 27—28: «Я жду тебя! Хотя бы ждать всегда // Пришлось у серого столба, на склоне» (СП. С. 106). *Но я твоей одежды не коснусь...* — Реминисценция из ст-ния А. Блока «Русь» («Ты и во сне необычайна...», 1906): «Твоей одежды не коснусь».

408. Возрождение (Париж). 1929. № 1386, 19 марта. Автограф — с датой: «Июнь (на случай) Париж» (СП. С. 110). Развитие темы «Бродячей Собаки // С далеких берегов Невы» — в ст-нии Гиппиус «Ночная гостья» (Возрождение (Париж). 1958. № 82. С. 29—30; СП. С. 64). *Бродячая Собака* — название петербургского литературно-художественного кабаре (1911—1915), располагавшегося в подвале здания Михайловского театра; пользовавшаяся исключительной популярностью в столичных литературно-артистических кругах, «Бродячая Собака» отобразилась в ряде ст-ний, куплетов, экспромтов. См.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей Собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985. С. 160—257.

409. СЗ. 1923. № 14. С. 169. Автограф — с датой: «Париж, 2 июля 1922», варианты — ст. 5: «Три строчки всего: "Поверьте"», ст. 9: «В сердце было пустынно», ст. 11—12: «Разорванный, чуждый, длинный // конверт на ковре васильковом» (СП. С. 62). Беловой автограф — на последней странице кн.: Гиппиус З. Н. Дневник 1911—1921. Берлин, 1922; с датой: «Июль 22 Париж». Экземпляр этой книги был подарен М. С. Цетлин (урожд. Тумаркиной, в первом браке Авксентьевой; 1882—1976), жене поэта и деятеля эсеровской партии М. О. Цетлина (Амари); на авантитуле — автограф: «Дорогой Марии Самойловне Цетлин, верной и твердой, от непримиримого поэта З. Гиппиус. 19 juin 22. "...Радость будет, Близкая радость..."» (Мороз Д. Автографы Зинаиды Гиппиус. Рассказ книголюба // Книжное обо-

зрение. 1995. № 37, 12 сентября. С. 10). По всей вероятности, ст-ние включает отклик на полученное Гиппиус письмо М. С. Цетлин.

410. Числа. 1933. № 9. С. 6. Автограф — с делением на четверостишия и датой: «1922 в Париже», варианты — ст. 1—2: «25, 27, 28 // На пруду стонет Лебедь», ст. 4—9:

43, 46, 39

23, 2×2=90
Под землей бы землею покрыться.
Узел туг — но развяжется просто.

18, 11, 30.
60, 114, 10.

Ст. 12: «27, 25 и 13!» (СП. С. 112).

411. Автограф — СП. С. 66. *Как Симеону увидеть // Дал Ты, Господь, Мессию...* — Симеон, «муж праведный и благочестивый» из Иерусалима, пришел «по вдохновению в храм» увидеть младенца Иисуса и благословил его (Лк. II, 25—35).

412. СЗ. 1924. № 18. С. 100 (в цикле «Южные стихи»). Автограф — с датой: «Grasse. Июнь 1923» (СП. С. 123). *Этна* — действующий вулкан на остове Сицилия (высота 3340 м).

413. СЗ. 1924. № 18. С. 102 (в цикле «Южные стихи»). Автограф — под загл. «Gourdon», с датой: «23 августа 1923. Grasse» (СП. С. 126). *Гурдон* (Gourdon) — горное селение на юге Франции, в Приморских Альпах (между Ниццей и Грассом). Имя адресата посвящения совпадает с именем героини повести Гиппиус «Мисс Май» (1895). См.: Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 303—338.

414. Автограф — СП. С. 121.

415. СЗ. 1924. № 20. С. 223. Автограф — под загл. «Должное», с датой: «1924. Париж»; варианты — строфа 3, ст. 4: «еще здесь, на земле, — живой», строфа 4, ст. 3: «но не боюсь, ибо радостью верую:» (СП. С. 128).

416. СЗ. 1924. № 18. С. 99. *И. И. Ф—му.* — Адресат посвящения Илья Исидорович Фондаминский (псевдоним — Бунаков; 1880—1942) — видный деятель партии социалистов-революционеров, журналист, один из редакторов «Современных Записок» (1920—1940) (см.: Дэвис Д. Переписка редактора журнала «Современные Записки» // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 25—31); многолетний близкий друг Мережковских (знакомство завязалось зимой 1907—1908 г.). Ср. дневниковые записи Гиппиус: «Илья Фондаминский — еврей, абсолютно непохожий на еврея. Нежный, кроткий, христианнейший, — весь любовь. Смутно верующий и веры своей

боящийся» (14 марта 1911 г.); «Илюшу я поняла изнутри и полюбила еще больше» (1913. Страстная Суббота) (О Бывшем, 3. С. 55, 72). В письме к В. Ф. Ходасевичу от 31 октября 1926 г. Гиппиус упоминает про свою «нежную дружбу многолетнюю» с Фондаминским (Гиппиус 3. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 69). «...Мой единственный друг, и не только в районе Парижа, а гораздо шире...»,— так отозвалась Гиппиус о Фондаминском в письме к М. М. Винаверу от 1 марта 1925 г. (Минувшее: Исторический альманах, 24. СПб., 1998. С. 138. Публикация О. А. Коростелева).

417. СЗ. 1924. № 18. С. 101 (4-е в цикле «Южные стихи»). Автограф — под загл. «Днем», варианты — строфа 1, ст. 2—3: «На небесный фарфор: // что это за желтый локон», строфа 3, ст. 1—2: «И все багровеет хмара... // О, не гроза, не гроза!», строфа 5, ст.1: «И с неба кто-то струями» (СП. С. 124); автограф — под загл. «Пламя», вариант — строфа 3, ст. 1: «Вся в искрах страшная хмара...» (СП. С. 125).

418. НЖ. 1961. № 66. С. 7. Автограф — в тетради (1924) под загл. «Еще пародия», между 1-й и 2-й строфами — строфа:

Я не боюсь ее скольженья:
Любовь сумеет умереть.
Скорей, чем я, в своем забвеньи,
О ней успею пожалеть.

(СП. С. 90)

В тексте — вариации образного строя 3-го ст-ния из цикла «Любовь» (№№ 383—386).

419. СЗ. 1925. № 25. С. 245—246. Автограф — под загл. «Как пыль», с датой: «1924 Париж» (СП. С. 130). Автограф — без загл., вариант ст. 27: «В кустах на Muette» (СП. С. 132).

420. СЗ. 1925. № 23. С. 206. Автограф — с датой: «24—12—1924 Париж» (СП. С. 135).

421. СЗ. 1925. № 23. С. 208. Автограф — вариант ст. 3: «А темноокую Сестру?»; тексту предшествует еще одна строфа:

Ты хочешь Жизнь любить? Люби.
Но с честным и святым вниманьем.
Ее Сестру — не оскорби
Непонимающим незнаньем.

(СП. С. 91).

422. СЗ. 1925. № 25. С. 246.

423. Возрождение (Париж). 1928. № 982, 9 февраля. С. 3; НЖ. 1952. № 30. С. 129 (посмертная публикация), с делением на четверостишия, варианты — ст. 2—4: «В капризной памяти людской. // Но память — призрак бытия — // Ненужный, лживый и пустой», ст. 10:

«Пройдут единой чередой», ст. 14: «Но на земле пока моя». В автографах — варианты ст. 3: «Но память, призрак бытия», ст. 10: «Пройдут единой чередой», ст. 14—15: «Но здесь, пока еще моя // Живет страдающая плоть» (СП. С. 138).

424. СЗ. 1927. № 31. С. 246. Автограф — с датой: «1925. Cannet», вариант ст. 16: «Ты волчьего сынка!» (СП. С. 139). Автограф — без загл., с делением на четверостишия, варианты — ст. 1: «Пришла — и смотришь тихо», ст. 5: «Щетинишься ли, серая», ст. 11—12: «не вгонишь, — не посмеешь, — // опять к себе в нору», ст. 14: «Смотри издалека», ст. 16: «ты вольного щенка»; вместо ст. 17—28:

Я из лесу дорогу
узнал — теперь шалишь.
Не сунусь я в берлогу,
пока ты там сидишь.

В заветный час к берлоге
нежданного пути
обходные дороги
сумею я найти.

Придет свой час для бою,
придет, — я не боюсь.
Нежданною тропою
в родимый лес вернусь.

Не сбережешь ты шкуры,
дай отрастить клыки.
По ветру шерсти бурой
я размечу клоки.

Я в листьях, в палой прели
разнюхаю твой след.
Среди родимых елей
вдвоем нам места нет.

(СП. С. 141).

Эпиграф — цитата из книги Д. С. Мережковского «Наполеон» (глава «Устроитель хаоса»); в оригинале: «Революция вскормила его, как волчица Ромула» (Мережковский Д. С. Наполеон. Т. 1. Наполеон — человек. Белград, 1929. С. 24).

425. ПН. 1925. № 1677, 11 октября. С. 2 (3-е в составе цикла «Стихи о луне». 1-е и 2-е ст-ния цикла — №№ 287—288). Автограф — с датой: «1925. Июль—Авг<уст>—Сент<ябрь>. Villa Alba»; варианты — ст. 12: «Любил? Не знаю. Я все забыл», ст. 14: «Скажи мне еще: а где золотой», ст. 16: «Юный, веселый, двурогий?», ст. 19: «Я не всегда бываю та же» (СП. С. 137).

426. Новый дом. 1926. № 1. С. 5. Автограф — под загл. «Ответ Дон-Жуана (ответ Адамовичу)», с датой: «1924?», вариант — строфа

2, ст. 2: «Ввысь взлететь, чтобы пойти ко дну» (СП. С. 136). «Ответ» — на ст-ние Г. В. Адамовича, опубликованное вместе с ним (Новый дом. 1926. № 1. С. 4):

Дон-Жуан, патрон и покровитель
Всех, кто не находит забытья,
Первомученик, первоучитель
Дон-Жуан, — тебя ль не вспомню я?

На Монмартре, в сумерки, в отеле
С первой встречною наедине,
Наспех, молчаливо... Неужели
Знал ты все, что так знакомо мне?

Также ль умирала, воскресала,
Улетала вдаль душа твоя?
Также ль ей казалось слишком мало
Бесконечности и бытия?

И потом, почти в изнеможеньи,
С отвращеньем глядя на кровать,
Также ль ты хотел просить прощенья
Говорить, смеяться, плакать, спать?

О намерении публично «прочесть вашего "Дон-Жуана"» Гиппиус писала Адамовичу 20 июля 1927 г. (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 351).

427. Новый корабль. 1927. № 1. С. 5. Ср. № 368.

428. Новый корабль. 1927. № 2. С. 5, под псевдонимом В. Витовт. Перепечатано: Маковский. С. 98. В. А. Злобин сообщает о Гиппиус: «...она раз послала, через Г. В. Адамовича, несколько стихотворений за подписью В. Витовт в "Новый корабль", ближайшей сотрудницей которого состояла. Одно из них было напечатано во втором номере. Но авторство Гиппиус открылось совершенно случайно. Она, должно быть, не рассчитывала, что стихи будут напечатаны, и хотела сконфузить слишком разборчивую редакцию, объявив, что Витовт — это она» (Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон. 1970. С. 31). Среди писем Гиппиус к Злобину помещено следующее послание (22 мая 1926 г.): «М. Г. Я послал в *Звено* письмо (2—3 недели) *для вас* и *для Гиппиус*, с указанием адреса, о достоинствах моих стихов, прося ответа (З.). Вы оба не ответили, не оказав помощи, о которой просил. Если бы вы объявили, что не отвечаете, люди бы знали. Очень жалею. В. Витовт» (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 217).

429—431. Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 218. Тексты ст-ний были присланы В. А. Злобину с сопроводительным письмом: «М. Г. Позволяю себе просить вас в случае достоинства напечатать следующие мои стихотворения. (З.) В. Витовт» (Там же. С. 217).

О В. Витовте — литературной мистификации Гиппиус — см. примеч. 428.

1. *Улица. Фонарь. И я...* — Иронический отклик на ст-ние А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912).

432. Автограф в альбоме Е. А. Ляцкого (ИРЛИ, ф. 163, новое поступление). Адресат — Евгений Александрович Ляцкий (1868—1942), литературный критик, историк русской литературы, этнограф-фольклорист, прозаик. В его романе «Тундра» (ч. 1—2. Прага, 1925) описывается жизнь русских эмигрантов.

433. НЖ. 1961. № 64. С. 9. Автограф — под загл. «Неоконченное...», с датой: «1926 Париж», варианты — строфа 2, ст. 2: «Мы оба знаем, // я и ты», строфа 3, ст. 3—4: «Поверь мне — там уже отмечено // И в светлый круг заключено...» (СП. С. 143).

434. Автограф — СП. С. 144.

435. СЗ. 1927. № 31. С. 245. Автограф — под загл. «Отраженное», с датой: «1926. Cannet» (СП. С. 146).

436. НЖ. 1952. № 30. С. 128; Маковский. С. 121, под загл. «Ты». Автограф — под загл. «Две», с датой: «1919—1927. Париж» (СП. С. 147). В письме к С. К. Маковскому от 23 декабря 1955 г. В. А. Злобин вспоминал о Гиппиус: «О ее стихотворении "Две" у меня был с ней разговор. Она объясняла, почему она так долго его писала. Она говорила, что оно написано "накрест". И если ей было сравнительно легко на любовь земную — "она войдет земная и прелестная" — ответить небесной, то как на любовь потустороннюю ответить земной страстью, т. е. в чьем образе эту потустороннюю любовь воплотить? Она много об этом думала и часто к своему стихотворенью возвращалась. Но ничего не выходило, пока она, наконец, не почувствовала "первые ее прикосновения" и тогда поняла, что мучившая ее всю жизнь страсть находит свое разрешенье и исполненье в смерти» (РГАЛИ, ф. 2512, оп. 1, ед. хр. 238).

437. Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 106. Ст-ние было записано Гиппиус в одну из тетрадей парижской литературной группы «Перекресток» (парижские участники: гр. П. Бобринский, Довид Кнут, Ю. Мандельштам, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Терапиано), хранившихся у Ю. Терапиано. Последний сообщает о событии, послужившем поводом для написания ст-ния: «Дело было в том, что поэты — старшие и молодые вместе, потребовали от Мережковских устроить в Зеленой Лампе вечер чтения стихов — и, несмотря на противодействие Мережковских, вечер был устроен» (Там же. С. 106). *«Зеленая Лампа»* — организованное в Париже по инициативе Мережковского и Гиппиус и действовавшее в 1927—1939 гг. общество русской эмигрантской интеллигенции, собрания которого были посвящены докладам и дискуссиям по различным проблемам литературной и интеллектуальной жизни. См.: Терапиано Ю. Литературная

жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 38—79. *Берберовы, Злобины...* — В. А. Злобин (см. о нем примеч. 207), наряду с Мережковскими, был одним из устроителей собраний «Зеленой Лампы». Нина Николаевна Берберова (1901—1993) — прозаик и поэтесса, до 1932 г. — гражданская жена В. Ф. Ходасевича. Ср.: «В. Ходасевич и Н. Берберова, не принадлежа официально к "Перекрестку", участвовали не только в его литературных выступлениях, перекресточники бывали у Ходасевича, который входил в их поэтические, а порой и личные дела, и участвовал не только в литературных беседах "Перекрестка", но и в некоторых "эскападах"» (Терапиано Ю. Встречи. С. 105). Николай Авдеевич *Оцуп* (1894—1958) — поэт, прозаик, критик, основатель и руководитель парижского журнала «Числа» (1930—1934), ставшего основным печатным органом молодых литераторов-эмигрантов. *Георгий Иванов с Ириною...* — Поэт и прозаик Георгий Владимирович Иванов (1894—1958) и его жена, поэтесса и прозаик Ирина Владимировна Одоевцева (1895—1990). *Юрочка* — Юрий Константинович Терапиано (1892—1980), поэт и литературный критик. Михаил Осипович *Цетлин* (псевдоним — Амари; 1882—1945) — поэт, прозаик, журналист. Антонин Петрович *Ладинский* (1896—1961) — поэт, исторический романист. Довид *Кнут* (наст. имя — Давид Миронович Фиксман; 1900—1955) — поэт, прозаик, один из издателей литературного журнала «Новый дом» (1926—1927).

438. СЗ. 1927. № 31. С. 247. Автограф — с датой: «1927. Париж», вариант ст. 8: «Ведь только об этом думает Бог:» (СП. С. 148).

439. Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiberder Sheikholeslami. Ann Arbor, 1978. С. 24. Помета под текстом: «Thorenc 1928». См. цикл «Ей в горах» (№№ 294—295). Автограф — СП. С. 154.

440. Автограф — СП. С. 67. Написано под впечатлением от поездки в Белград в конце сентября — начале октября 1928 г. на Международный конгресс русских писателей-эмигрантов, состоявшийся при материальной поддержке югославского правительства и под эгидой короля Югославии Александра I; в числе других писателей Гиппиус и Д. С. Мережковский были награждены орденом св. Саввы (Мережковский — орденом 1-й степени, Гиппиус — 2-й степени). См.: Пахмусс Т. З. Н. Гиппиус в эмиграции — по ее письмам // Русская литература в эмиграции: Сб. статей под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 125—126; Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 219—228; Ђурић Остоја, Dr. Руска литерарна Србија 1920—1941 (Писци, кружоци и издања. Београд, [1990]. С. 160—168. В собрании А. Д. Романенко сохранились записные книжки Гиппиус с рассказом о поездке в Белград (Зайцева-Соллогуб Н. Я вспоминаю... Устные рассказы. М., 1998. С. 52).

441. Числа. 1930. № 1. С. 10. Автограф — с датой: «24 сент<ября> 1929. Villa Tranquille. Le Cannet», вариант ст. 5: «Не то, чтоб обезьянка он; нисколько не кошка:» (СП. С. 156).

442. СЗ. 1930. № 43. С. 210. Автограф — СП. С. 151.

443. СЗ. 1930. № 43. С. 210. Автограф — СП. С. 150.

444. СЗ. 1930. № 44. С. 210. Автограф с датой: «1930 Le Cannet» — СП. С. 161. Автограф — Amherst Center for Russian Culture.

445. СЗ. 1932. № 49. С. 203.

446. СЗ. 1932. № 49. С. 205.

447. Памяти Амалии Осиповны Фондаминской. Париж, 1937. С. 49; НЖ. 1954. № 39. С. 50 (посмертная публикация). Об адресате ст-ния А. О. Фондаминской — см. примеч. 172.

448. СЗ. 1933. № 52. С. 185.

449. СЗ. 1934. № 54. С. 188. Автограф — с датой: «Весна 1933» (СП. С. 164).

450. СЗ. 1934. № 54. С. 188. *У маленькой Терезы* — см. примеч. 300. Автограф — под загл. «У Нее дома», с датой: 1933 (СП. С. 163).

451. СЗ. 1934. № 54. С. 189. Автограф — с датой: «24 дек<абря> 1933» (СП. С. 165). Ср. ст. 3—4 эпиграфа к кн. «Сияния» (С. 261).

452. Числа. 1933. № 9. С. 6. Автограф — варианты ст.1: «Среди огней, среди цепей», ст. 8: «И жду, хочу, ищу забвенья», ст. 13: «Чуть в тишине очнусь — и вновь» (СП. С. 159).

453. СЗ. 1935. № 57. С. 232; НЖ. 1952. № 30. С. 128 (посмертная публикация) — без загл., вариант ст. 6—8: «Приготовься им быть слугой. // Неожиданность же самая большая — // Это, что женщина — твой другой». Автограф — вариант ст. 6—7: «Приготовься им быть слугой. // Неожиданность двойная» (СП. С. 77). Адресат посвящения — Татьяна Сергеевна Варшер (1880—1960), приятельница Гиппиус, ученица проф. М. И. Ростовцева, историк, археолог (участвовала в археологическом исследовании Помпей), автор книги «Виденное и пережитое в Советской России» (Берлин, [1923]). См. о ней: «Скифский роман» / Под общей редакцией академика Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 193, 199, 272, 285.

454. СЗ. 1935. № 57. С. 232. Автограф — вариант ст. 3: «Вдруг вы сказали: "Я верна"» (СП. С. 76).

455. СЗ. 1935. № 57. С. 232. Позднейшая редакция текста (1937) напечатана по автографу с тем же заглавием :

До самой смерти... Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда, вечер, снег.)
Знаю, знаю. Но как было думать,
Что это — до смерти? Совсем? Навек?

Молчите, молчите, не надо надежды.
(Вечер, ветер, снег, дома...)
Но кто бы мог думать, что нет надежды?
(Санки. Вечер. Ветер. Тьма.)

(СП. С. 166)

Ст-ние навеяно воспоминаниями об отъезде из Петрограда 24 декабря 1919 г. с целью нелегального перехода польской границы — в эмиграцию. Ср. свидетельства Д. С. Мережковского: «Дня за три до отъезда сделался мороз в 27 градусов, а мы не знали, топят ли вагоны. И невозможно было откладывать. Мглисто-розовым декабрьским вечером, по вымершим улицам со снежными сугробами, на двух извозчичьих санях, нанятых за 2000 рублей, мы поехали на Царскосельский вокзал» (Мережковский Д. С. Записная книжка // Царство Антихриста: Сб. воспоминаний и статей. Мюнхен, 1921. С. 246).

456. СЗ. 1938. № 67. С. 147. Автограф — с датой: «1938 Париж» (СП. С. 170).

457. НЖ. 1961. № 64. С. 9.

458. Cahiers du Monde russe et soviétique. 1980. Vol. XXI. № 2. P. 230. Публикация Темиры Пахмусс. *Тереза* — см. примеч. 300. *Но не могу я тебя от Жанны...* — Имеется в виду французская героиня св. Жанна д'Арк (ок. 1412—1431). Параллели между ней и св. Терезой Лизьеской Гиппиус проводит также в письме к Грете Герелль от 26 октября 1938 г. (Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 609; Пахмусс Т. Вступ. статья в кн.: Мережковский Д. Маленькая Тереза. Ann Arbor, 1984. С. 19). Та же параллель подробно развивается в книге Д. С. Мережковского «Жанна д'Арк» (1938). См.: Мережковский Д. Жанна д'Арк. М., 1995. С. 8—10, 25—26, 104—106.

459. СЗ. 1938. № 67. С. 147. Автограф — с датой: 1937, варианты — ст. 4: «Как бы предчувствия небытия», ст. 7—8: «Когда Молчанья трепетно-свободны, // Когда Слова крылаты и чисты...» (СП. С. 166).

460. СЗ. 1938. № 67. С. 148. Автограф — с пометой под текстом: «Для Т. И.» (подразумевается Т. И. Манухина; см. примеч. 259); с датой: 25 января 1938; эпиграф: «По Жуковскому: "...Тот край, где о «прости» уж и помину нет". "...В разлуке вольной таится ложь...". По Лермонтову: "Но в мире новом друг друга они не узнали"». Варианты — строфа 1, ст. 3: «Мы сами гасим обещанье», строфа 2, ст. 2: «Тех, кто не Высшим указаньем», ст. 4: «Давно покинула она» (СП. С. 167). Эпиграфы — заключительная строка ст-ния В. А. Жуковского «Прости» (1811) и заключительная строка ст-ния М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841).

461. СЗ. 1938. № 67. С. 149—150. Автограф — с датой: «Май 1938 Париж»; варианты — ст. 4: «Мой страшный путь остановил», ст. 40:

«Ни Ей, — ни женщине, ни другу —», ст. 49: «Дверь оттолкнул передо мною:» (СП. С. 168).

462. НЖ. 1952. № 28. С. 115. Автограф — с датой: «Февраль 1940. Париж» (СП. С. 172).

463. НЖ. 1961. № 66. С. 7. Автограф — без загл., с датой: 1941; вариант ст. 3: «Мне бы заплакать, чтоб сердце растаяло» (СП. С. 173).

464. Автограф — СП. С. 174. См. примеч. 300.

465. Автограф — СП. С. 175. О В. А. *Злобине* — см. примеч. 207.

466. Автограф — СП. С. 176.

467. Автограф — СП. С. 34. О В. А. *Злобине* см. примеч. 207. *St. Geneviève* — русское кладбище в Сен Женевьев де Буа под Парижем, на котором в январе 1941 г. был похоронен Мережковский.

468. Возрождение (Париж). 1958. № 76. С. 117 (в составе книги В. Злобина «Тяжелая душа»); Маковский. С. 122. Приведя текст ст-ния, Злобин подчеркнул: «Это *единственное* стихотворение Гиппиус, написанное в женском роде. И это, конечно, не случайно» (Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 93). Ст-ние, «без сомнения, написано с мыслью об умершем уже тогда Д. В. Философове» (Маковский. С. 122). Философов скончался в Отвоцке (под Варшавой) 4 августа 1940 г.; после отъезда Гиппиус осенью 1920 г. из Варшавы в Париж ее отношения с ним были фактически прерваны. В дневнике 1940 г. («Серое с красным») Гиппиус записала: «22 августа на улице, от Меньшикова, узнали, что 4 августа умер Дима»; подробнее о том же — в ее записи от 2 сентября: «С того дня (22 августа), как мы, встретив на улице зловещего Меньшикова, узнали, что умер Дима, я так в этом и живу. Я знала, что он умрет, что он глубоко страдает и жаждет смерти. Я даже думала, что он уже умер — трудно было себе представить, что он мог все это, и себя, пережить...

А все-таки — лучше не знать наверное. Вот снова подтверждение, что вера — всякая, даже не моя ничтожная, а большая — *всегда* слабее любви. Чего бы проще, кажется, говорить, как Сольвейг:

"Где б ни был ты — Господь тебя храни,
А если ты уж там — к тебе приду я"...

Да, приду. А если и не приду — ведь я этого не узнаю... Но мысль, что не приду и не узнаю...» (НЖ. 1953. № 33. С. 222, 224—225).

469. Автограф — СП. С. 177. См. примеч. 207.

470. Автограф — СП. С. 178. См. примеч. 207.

471. Маковский. С. 122. Приводя это четверостишие, С. К. Маковский поясняет: «А вот — совсем последние ее <З. Н. Гиппиус>

строки. Они сочинены накануне смерти. Она уже не могла писать и продиктовала их В. А. Злобину». Последний сообщает, что эти строки Гиппиус, уже полупарализованная, написала «за несколько недель до своей смерти» на обложке антологии русской поэзии «Якорь» (Берлин, 1936) — «левой рукой, справа налево, так что прочесть написанное можно только в зеркале» (Злобин В. Тяжелая душа. С. 12).

472. Возрождение (Париж). 1968. № 198. С. 21; № 199. С. 7. Публикация Темиры Пахмусс. Поэма представлена двумя версиями текста. Т. Пахмусс сообщает в текстологических пояснениях к публикации: «Непосредственно за <...> текстом поэмы, написанным ямбическим пентаметром, в рукописях З. Н. Гиппиус следует текст в терцинах. Автор настоящего примечания видел три версии "Последнего круга" в терцинах. Одна, находящаяся во владении Виктора Мамченко, оканчивается первой песней; вторая, находящаяся в библиотеке Иллинойсского университета, кончается словами из первой песни "Так кончился подземный разговор". Приводимая ниже третья версия — самая длинная и более законченная — воспроизводит целиком первую и вторую песни. Очевидно, третья и четвертая песни не были переписаны терцинами из-за болезни и последовавшей 9 сентября 1945 г. кончины поэтессы <...> текст в терцинах соответствует тексту в ямбическом пентаметре, отличаясь от него, однако, по тону и по стилю. В терцинах меньше иронии, но больше горечи и чувства личного разочарования поэта в "друге" и "полу-друге", изменивших поэту в наиболее тяжелую пору жизни» (Возрождение. 1968. № 199. С. 23).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СОБРАНИЕ СТИХОВ
1889—1903

СОБРАНИЕ СТИХОВ. КНИГА ВТОРАЯ.

1903—1909

СТИХИ. ДНЕВНИК 1911—1921

У ПОРОГА

ВОЙНА

РЕВОЛЮЦИЯ

ТАМ И ЗДЕСЬ

ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ»

ИЗ «ПОХОДНЫХ ПЕСЕН»

СИЯНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

З. Н. Гиппиус. Стихотворения / Вст. ст., сост., подг. текста и примеч. А. В. Лаврова — СПб.: Академический проект, 1999 — 592 с.

ISBN 5-7331-0137-7

Поэтическое наследие Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945), одной из самых ярких фигур в русском символизме, печатается в России в таком объеме впервые. Издание включает все книги стихотворений Гиппиус, опубликованные при жизни автора, а также подавляющее большинство стихотворений, в эти книги не включенных и воспроизводимых как по прижизненным публикациям, так и по посмертным, а также по архивным источникам. Комментарии к книге содержат многообразные сведения текстологического, биографического, реального характера, извлеченные из публикаций, российских и зарубежных, освещающих жизнь и творчество З. Н. Гиппиус, и из архивных документов.

Зинаида Николаевна Гиппиус

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *Л. А. Николаева*
Художник *В. В. Еремин*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Технический редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректор *О. Э. Карпеева*

ЛР № 066191 от 27.11.98.

Подписано в печать 12.12.98 г.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика.
Печать высокая. Печ. л. 47. Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 3216

Гуманитарное агентство «Академический проект».
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической
типографии «Наука» РАН
199034 Санкт-Петербург, 9 линия, 12.